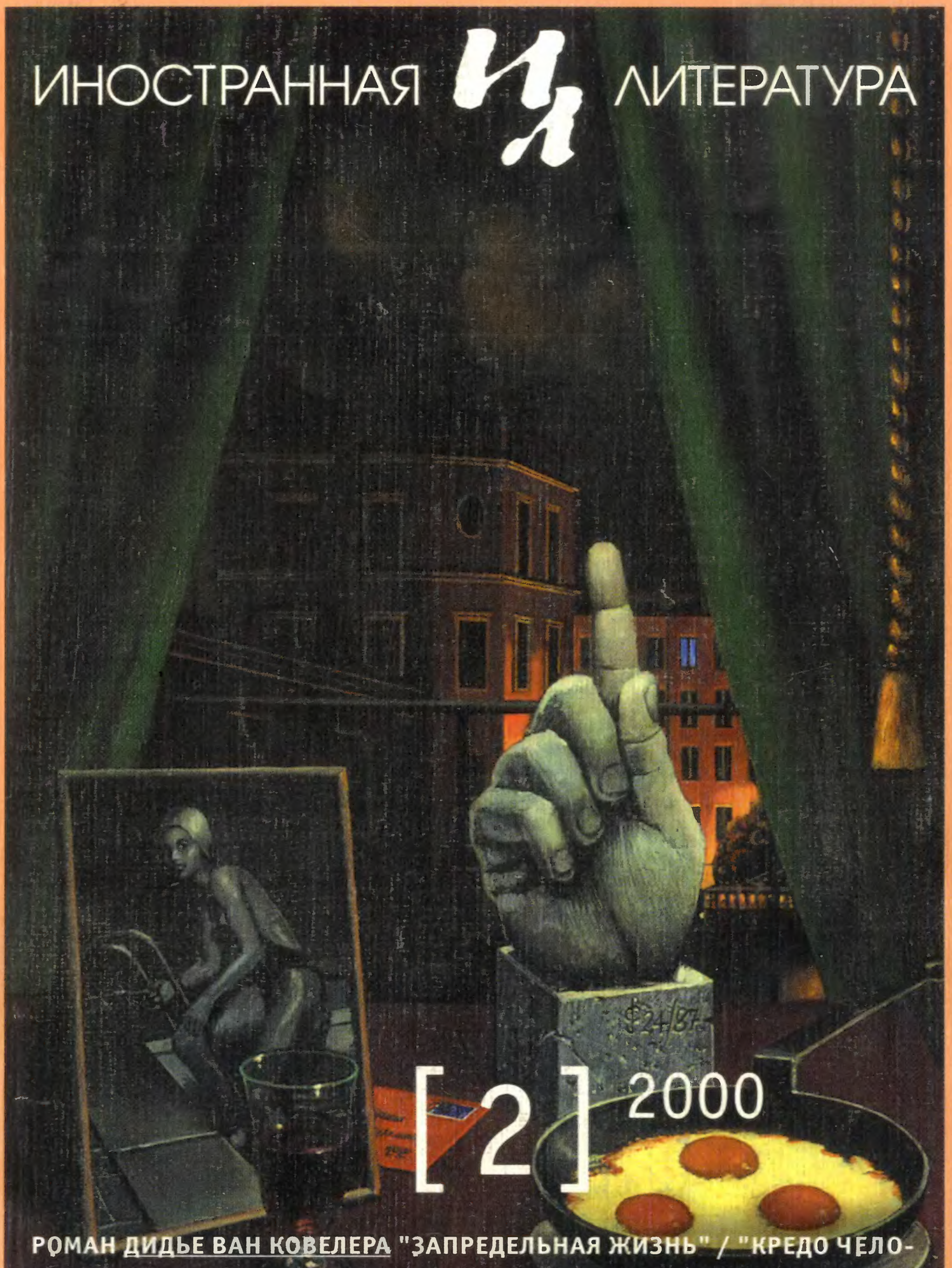
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА



[2] 2000

РОМАН ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕРА "ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" / "КРЕДО ЧЕЛОВЕКА" ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ / РАССКАЗЫ УИЛЬЯМА ТРЕВОРА И СЬЮЗЕН СОНТАГ / "ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ" МАРЕКА ХЛАСКО / ЭССЕ-ИСПОВЕДЬ ГОТФРИДА БЕННА "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" / СТИХИ ИМОНА ГРЕННАНА И АНТЕ ПОПОВСКОГО / АНКЕТА "ИЛ": ПЕТР ВАЙЛЬ И ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

Основан в 1891 году

[2]
2000

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Уильям Тревор. *Рассказы.* Перевод с английского Инны Стам

25 Анте Поповский. *Стихи.* Перевод с македонского Жанны Гилёвой

29 Дидье ван Ковелер. *Запредельная жизнь.* Роман. Перевод с французского Натальи Мавлевич

182 Имон Греннан. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Вл. Гандельсмана

185 Сьюзен Сонтаг. *Вот так мы теперь живем.* Рассказ. Перевод с английского М. Гальпериной

198 Марек Хласко. *Письма из Америки.* Перевод с польского И. Подчищаевой

Документальная проза

215 Готфрид Бенн. *Двойная жизнь.* Главы из книги. Перевод с немецкого и вступление Игоря Болычева

Статьи, эссе

268 Эрнест Хемингуэй. *Кредо человека.* Перевод с английского В. Стоянова

Анкета «ИЛ»

273 *Мировая литература: круг мнений.* На вопросы анкеты отвечают Петр Вайль и Виктор Шендерович

Курьер "ИЛ" 281

Авторы номера 285

© "Иностраная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература".С 1955 года –
"Иностранная литература"

Из общего тиража
в 13 750 экземпляров
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и безвозмездно
направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
(Акционерный банк Конверсии).

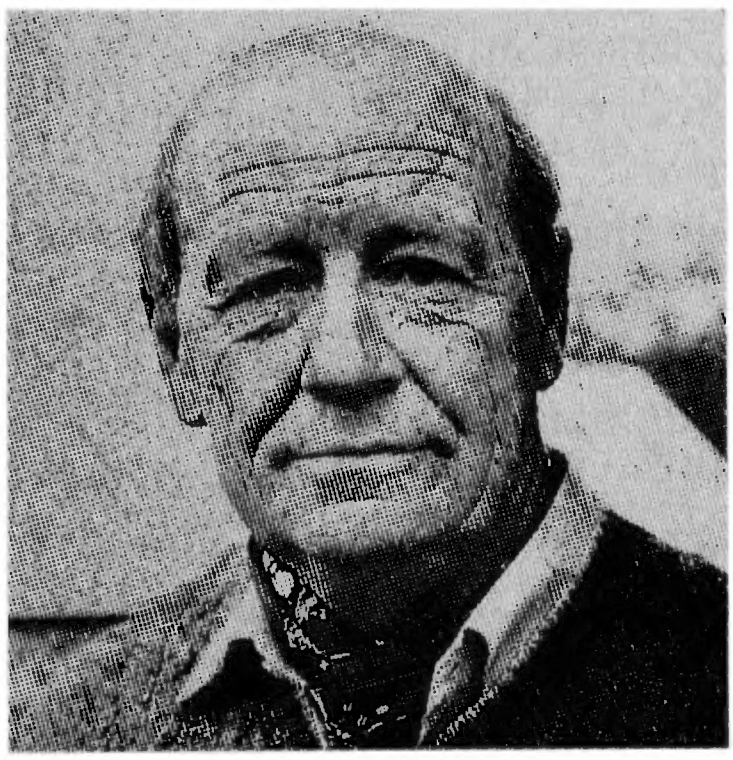
Главный
редактор
А.Н. Словесный

Редакционная коллегия:
Н.А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы
А.В. Михеев
ответственный секретарь
Г.Ш. Чхартишвили
заместитель главного редактора

Международный
совет:
Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:
С.С. Аверинцев
В.П. Аксенов
С.К. Апт
А.Г. Битов
П.Л. Вайль
М.Л. Гаспаров
Е.Ю. Гениева
А.А. Генис
В.П. Голышев
Т.П. Григорьева
Б.В. Дубин
А.Н. Ермонский
В.В. Ерофеев
Д.В. Затонский
А.М. Зверев
Вяч.Вс. Иванов
В.Б. Иорданский
Т.П. Карпова
А.С. Мулярчик
Д.Б. Рюриков
М.Л. Салганик
Е.М. Солонович
П.М. Топер
Н.Л. Трауберг
М.А. Федотов
Б.Н. Хлебников

Уильям Тревор



Рассказы

Перевод с английского ИННЫ СТАМ

Телефонная игра

ПОСКОЛЬКУ Лизе заявила, что ей не нравится обычай в предсвадебный вечер собирать парней и девушек в отдельных компаниях, Тони решил пригласить гостей и со стороны жениха и со стороны невесты на общую вечеринку. Оба понимали, что вечеринка и впрямь нужна, потому что на следующий день во время свадебной церемонии и приема гостей им не удастся спокойно пообщаться с друзьями, которых они давненько не видели, а затягивать торжество им с Лизе не хотелось: они торопились в Венецию к своему первому брачному ужину. И вот накануне ответственного дня в квартире Тони, уже подготовленной для семейной жизни, сошлись повеселиться их друзья; вино лилось рекой, кое-кто танцевал под негромкую музыку, а тем временем завтрашние молодые узнавали друг о друге немало нового, ведь их собственное знакомство было куда короче давней дружбы с большинством гостей.

Лизе держалась серьезно и торжественно, отчего ее красивое лицо казалось еще нежнее; мысли ее были целиком заняты предстоящей свадьбой. Гладкие светлые с пшеничным отливом волосы падали на плечи; во взгляде, против обыкновения, сквозило легкое беспокойство, но стоило Лизе улыбнуться, и ее голубые глаза начинали лучиться прежней безмятежностью.

— Ну, Тони, тебе крупно повезло, — шепнул жениху его двоюродный брат, только что познакомившийся с Лизе; еще бы, я и сам знаю, ответил Тони. Беззаботный и веселый, он тоже был светловолос и по-своему красив.

Отец Лизе жил в Германии и занимался производством перчаток. Тони родился и всю жизнь прожил в Англии; его растила тетка, после

© W. Trevor, 1997, 1998
© И. Стам. Перевод, 2000

того как его родители погибли в самой страшной авиакатастрофе 1977 года: два реактивных гиганта столкнулись на взлетно-посадочной полосе; Тони, единственному ребенку в семье, было тогда всего шесть лет. Девятнадцать лет спустя он случайно познакомился с Лизе за обедом в переполненном ресторанчике неподалеку от вокзала Виктория.

— Давайте с вами встретимся, прошу вас, — умоляюще сказал он тогда, и коренастая пожилая толстуха-официантка, принесшая им в ту минуту кофе, явно одобрила его смелость.

00 178 — этот номер значился на спинке водительского сиденья в первом такси, куда они сели вместе, — черные цифры на белом эмалированном овале. Позже под наплывом романтических чувств они оба припомнили и номер, и разговор с таксистом, и толстуху-официантку.

Когда они уже были влюблены друг в друга, Лизе узнала о трагедии, произошедшей в 1977 году, а Тони — о перчаточном деле, которым из поколения в поколение кормилось семейство Лизе. Движимый любовью, Тони прилежно играл в Шелеснау положенную ему роль: задавал вопросы про свиную кожу, про лайку и замшу, проявлял интерес к технике ручного шитья, к секретам красильного мастерства и стегания. Лизе нервничала перед встречей с теткой Тони, которая тихо старилась в курортном городке на южном побережье, откуда в морской дали виднелись паромы, курсирующие между Англией и Францией. Но Лизе тревожилась понапрасну.

— Она прелесть, — объявила тетка Тони, а в Шелеснау, где оставались две младшие сестры Лизе и шла напряженная семейная жизнь, все нашли Тони очаровательным.

Поначалу и в Шелеснау и в Англии их родственники испытывали легкое беспокойство оттого, что на этот брак ложится груз, которого другие супружеские пары не испытывают почти никогда, — груз, которого можно было бы избежать, если бы Лизе вышла замуж за немца, а Тони женился на англичанке, ведь что было, то было — позади вражда, две ужасные войны. И хотя это подспудное, совершенно не в духе времени ощущение продолжало витать, словно древний надоевший всем призрак, в конце концов ему не нашлось места в дальнейшем ходе событий. Зато возникла телефонная игра.

Не кто иной, как Тони, предложил сыграть в нее накануне свадьбы. Впоследствии он сам удивлялся, как это пришло ему в голову, с чего он вообразил, что немцы оценят юмор игры; правда, он, естественно, хлебнул в тот вечер лишку. Лизе, в свою очередь, жалела, что не заявила решительно: ее свадьба отнюдь не время для подобных развлечений. Впрочем, она попыталась было протестовать, но Тони и ухом не повел.

Он уже объяснил сестрам Лизе — завтрашним подружкам невесты, — что играющие звонят совершенно посторонним людям и выигрывает тот, кто, набрав какой попало номер, сумеет дольше всех вести разговор с незнакомым собеседником. Потом эти правила стали растолковывать озадаченным немцам, которые вежливо интересовались, что будет потом.

Выключили музыку, и в наступившей тишине раздался голос бывшего одногруппника Лизе по детскому саду фройляйн Грёневольд:

— Я занимаюсь моторными лодками. «С подвесным мотором» — так они у вас называются, да?

И его, и всех остальных — в квартире оставалось еще человек тридцать, не меньше — попросили помолчать. Шафер Тони набрал номер,

и *первый* же незнакомец услышал, что на улице обнаружена утечка газа, в связи с чем ему необходимо обойти все комнаты в доме и проверить, нет ли характерного запаха, потом вернуться к телефону и доложить о результатах. Следующему было сказано, что на подстанции сгорел предохранитель и во избежание аварии все электроприборы надо отключить. Очередному собеседнику посоветовали закрыть и запереть окна, а то по округе шныряет хорек.

— Говорят из отдела водоснабжения, — произнес Тони, когда подошла его очередь. — Очень сожалеем, что приходится звонить так поздно. У нас авария.

Кое-кто из немецких гостей по-прежнему пребывал в недоумении.

— Выходит, это ваши приятели? — спросила девушка с косой, хотя всё уже всем объяснили. — Вы приятелей разыгрываете?

Лизе снова растолковала, что звонят они наобум, совершенно случайным людям. Она перешла на шепот, чтобы жертва Тони не услышала ее пояснений.

— Was? Stimmt irgendwas nicht?[1] — прошептала в ответ подружка, и Лизе сказала, что все затеяно просто смеха ради.

— Мы бы очень просили вас, — продолжал тем временем Тони, — подняться на чердак к баку с водой и закрыть впускной вентиль. Как правило, сударыня, это кран красного цвета, но краска, возможно, стерлась от времени. Мы стремимся предотвратить затопление вашего дома.

— Что-что? — сонным голосом переспросила его собеседница. — Затопление?

— У нас вышел из строя клапан, регулирующий давление воды, и оно поднялось до опасного уровня.

— Не могу я в такую поздноту по чердакам лазить, — вновь послышался женский голос. — Ночь-полночь на дворе.

— Мы вынуждены просить об этом всех, кто живет в вашем районе, сударыня. Может, ваш муж...

— Нет у меня никакого мужа. Здесь вообще больше ни души. Мне семьдесят три года. Неужто вы думаете, что я в состоянии разобраться с этим краном?

— Приносим извинения за причиняемые неудобства, сударыня. Без острой необходимости мы, конечно же, не стали бы обращаться к вам с подобной просьбой. Но когда выходит из строя клапан, регулирующий давление, это грозит серьезной аварией. Если полетит и шарнирный клапан, за считанные минуты вода может подняться на шестнадцать футов. И тогда я советовал бы вам не покидать верхнего этажа вашего дома.

Тони прикрыл трубку ладонью. Отправилась за стремянкой, прошептал он, и за фонариком. Снова приложив трубку к уху, он сообщил, что слышит кошачье мяуканье.

— Теперь все будет в порядке? — наклонившись к Лизе, спросила другая немка, а тот немец, что занимался подвесными моторами и прекрасно разобрался в игре, улыбнулся и жестом дал понять, что все будет хорошо. Игра, конечно, забавная, размышлял он, но не из тех, в которые стоит играть в Шелеснау. Чересчур изощренная — знаменитый английский юмор.

Тони слышал шаркающие шаги, в отдалении закрылась дверь, где-то в глубинах дома снова замяукала кошка. Потом наступила тишина.

1. Что? Что-то случилось? (*нем.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Тони оглядел гостей; некоторые, как и он сам, были под хмельком. Он рассмеялся, уже не заботясь, что его могут услышать в том, другом, доме, ведь его единственная обитательница уже, надо полагать, вскарабкалась на чердак. Он положил трубку на узкий телефонный столик рядом со справочниками и, взяв бутылку «Сансерр», потянулся наполнить два пустых бокала. Его приятель, с которым они вместе учились в школе, принялся рассказывать, как однажды в Хокстоне они отправили одного бедолагу посмотреть, не стоит ли на ближней улице угнанный синий фургон. Несколько немцев объявили, что им пора идти.

— Ш-ш-ш. — Тони снова прислушался и поднял руку. Но с другого конца провода не долетало ни звука. — Она все еще на чердаке, — сказал он и опять положил трубку рядом со справочниками.

— В Германии, — объяснил тот, что занимался подвесными моторами, — мы бы сказали, что это Ärgernis[1].

— Ах, да и здесь тоже, — заметила англичанка, не одобрявшая телефонной игры. — Если это слово означает «досадную назойливость».

Наконец все, кто еще оставался в квартире, поднялись и ушли, причем немцы вспомнили Wasservexierungsport — розыгрыш с обливанием. Опускаешь в щель автомата десять пфеннигов, чтобы включить свет в гроте, а тебя окатывает с головы до ног.

— Раздражение водой, — перевел специалист по подвесным моторам.

— Знаешь, а ты ведь можешь остаться здесь, — сказал Тони, когда они с Лизе собрали бокалы и пепельницы, когда все было вымыто и вытерто, диванные подушки взбиты, а в открытое окно струился ночной холодок.

— Но мне еще надо упаковаться, я не все сложила. Утром будет некогда.

Они бродили по квартире, которая вскоре станет их домом, заглядывали то в одну комнату, то в другую, хотя все там было им знакомо. Еще тихонько наигрывала музыка, и они немного потанцевали в тесной прихожей, счастливые уже тем, что остались наедине. В тот день, когда они с Тони впервые встретились, ресторан в обеденный час был полон, шумело застолье какой-то фирмы, гвалт стоял страшный, а возле них за соседним столиком женщина в платье в красный горошек ссорилась со своим кавалером. Позднее они вспоминали, как опасливо держалась в тот день Лизе, да и потом, долгое время спустя, когда Тони признался, что любит ее, тоже была настороже. А еще с той же нежностью вспоминали, что оба мечтали о настоящем, полноценном браке, жаждали его уз, его строгих требований и обетов. Лондон был городом их любви, а потому именно в Лондоне — к неудовольствию и досаде родителей Лизе — вопреки всем обычаям, но по ее требованию должна была состояться свадьба.

Танцуя с Лизе, Тони вдруг заметил, что телефонная трубка по-прежнему лежит возле справочников. Он уже полчаса как напрочь забыл о ней. Тони потянулся к трубке, и танец их оборвался.

— А она-то свою так и не положила, — заметил он.

Лизе взяла у него трубку, тоже прислушалась, но услышала лишь гулкую пустоту.

— Алло, — произнесла она. — Алло.

— Да она забыла. Спать легла.

— Разве могла она забыть, а, Тони?

— Так ведь на то похоже.

1. Неприятность (*нем.*).

— Она назвала себя? У тебя есть ее номер?

Тони покачал головой.

— Нет, своего имени она не называла.

Номер он успел забыть; он ведь набирал цифры наобум, объяснил он Лизе.

— Что же она сказала, Тони?

— Сказала только, что мужа нет.

— Он вышел куда-то? В такую поздноту?

Они отодвинулись друг от друга. Тони выключил музыку.

— Надо понимать, она овдовела, — сказал он. — Тетка эта уже в годах. Лет семьдесят или что-то в этом роде.

— И такая старая женщина лезет на чердак...

— Слушай, она только сказала, что полезет. А сама небось не поверила ни единому моему слову.

— Так она же пошла за стремянкой и фонарем. Ты сам говорил.

— Кажется, она сказала, что ей холодно в одной рубашке. Скорее всего, она просто легла снова спать. И я ее понимаю.

Послушав трубку еще, Лизе промолвила:

— Кошку слышно.

Она передала трубку Тони, но он сказал, что не слышит ничего. Ни единого звука.

— Где-то очень далеко. Помяукала, а потом перестала. Не клади! — вскрикнула Лизе, видя, что Тони собирается положить трубку на рычаг. — Она же там, Тони, на чердаке.

— Ох, я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Что ей там делать-то? Чтобы закрыть запорный вентиль, вовсе не требуется час с четвертью.

— Какой еще запорный вентиль?

— Такой, для регулировки напора воды.

До слуха Тони долетело еле слышное мяуканье — раз, потом еще. Не отдавая себе отчета, Тони опять покачал головой, будто молча отрицая самую возможность этого звука.

— Она могла упасть с лестницы, — сказала Лизе. — Ей плохо видно при свете фонарика, и она, возможно, упала.

— Да нет, вряд ли.

Впервые за полтора года знакомства Лизе уловила в голосе Тони раздражение. Бессмысленно держать трубку возле аппарата, сказал он.

— Послушай, Лизе, давай забудем об этом.

Страдальчески хмурясь, Лизе внимательно вглядывалась в лицо человека, за которого через каких-то двенадцать часов ей предстояло выйти замуж. Он улыбался знакомой непринужденной улыбкой. Совершенно бессмысленно, повторил он немного тише. Бессмысленно продолжать это все.

— Ей-богу же, Лизе.

В тот первый свой день они долго бродили вместе. Он повел ее по Грин-парку, потом к Темзе. Она приехала в Лондон совершенствоваться в английском и днем должна была идти еще на одно занятие. А сам Тони, объявившись на работе только в четверть шестого, не слишком правдиво объяснил свое послеобеденное отсутствие. На следующий день они встретились снова...

— Ну, Лизе, ничего же не случилось.

— Может быть, она умерла.

— Ох, Лизе, не глупи.

И сразу, едва успев произнести эти слова, Тони принялся извиняться. Конечно же, она не глупая. А вот игра глупая. Он очень жалеет, что затеял ее сегодня.

— Так ведь, Тони...

— Да не умерла она.

— Почему ты так уверен?

Он покачал головой, давая понять, что не настаивает на своей уверенности, просто здравый смысл подсказывает, что он прав. За время знакомства с Лизе он понял, что ее воображение способно порою сильно осложнять жизнь; Лизе и сама об этом говорила: бесполезное, мол, оно и ненужное — каприз природы, слишком часто заставляющий ее, Лизе, подвергать сомнению очевидное. Тогда и музыку можно назвать бесполезной, возражал ей Тони, а лепесток цветка — никчемным; однако то, что ни в грош не ставится на рынке, частенько и есть самое бесценное в нашей жизни. Но Лизе по-прежнему называла этот каприз природы сущим бедствием; и теперь, впервые испытав на себе его силу, Тони готов был с нею согласиться.

— Давай не будем ссориться, Лизе.

Тем не менее незаметно начавшаяся ссора уже предательски разрасталась в тиши, которую, казалось, сгущала безмолвная телефонная трубка, передаваемая из рук в руки. Мяуканья они больше не слышали, и Тони сказал:

— Пойми, утром она увидит болтающуюся трубку и вспомнит, что забыла положить ее на место.

— Сейчас уже утро, Тони, можно идти в полицию.

— *В полицию?!* Это еще зачем?

— Там сумеют выяснить, где она живет.

— Ох, ну это уж полный вздор.

В ту минуту трубка была в руках у Тони, и он потянулся положить ее на рычаг.

Лизе перехватила трубку, и щеки ее вспыхнули от гнева. Зачем он вздумал это сделать, спросила она, на что он пожал плечами и ничего не ответил. Не ответил, потому что все это просто нелепо, потому что не мог за себя поручиться: боялся сорваться на грубость.

— Без номера ее телефона полиция все равно ничего не выяснит, — после некоторого молчания сказал он. А они с Лизе могут только сообщить полицейским, что в каком-то затерянном в Лондоне доме находятся старуха и кошка. Так в Лондоне тьма-тьмущая старух и кошек, заключил Тони.

— Попробуй все же вспомнить ее номер, Тони.

— О господи! Как я могу вспомнить этот чертов номер, если я его вообще отродясь не знал?

— Ну ничего, в компьютерах-то он все-таки есть.

— В каких компьютерах?

— В Германии все звонки фиксируются компьютерами.

— Послушай, не можем же мы почти в три часа ночи взять и явиться в полицейский участок только для того, чтобы сообщить, что одна старуха полезла к себе на чердак. Это была безобидная игра, Лизе.

Она попыталась промолчать, но у нее ничего не вышло. Слова полились сами собой, без всякого отбора, против ее воли:

— Это ужасная игра. Как же не ужасная, если она так кончается?

Вот лежит там эта старуха, слышала Лизе свой упрямый голос. Через открытый в полу люк пробивается свет, внизу стоит стремянка. А вокруг пыльные доски и водопроводные трубы. И кошачьи глаза посверкивают во мраке.

— Что, если она ударилась головой, Тони? Кости ведь в старости становятся хрупкими. Такое на самом деле вполне могло случиться.

— Нет совершенно никаких оснований думать, что произошло нечто подобное.

— Но телефонная трубка же болтается...

— Она ее не повесила, потому что забыла.

— Так ты ведь просил ее подойти потом к телефону. Велел выполнить твои указания, а потом сообщить тебе.

— Иногда люди сразу догадываются, что все это розыгрыш.

— Алло! Алло! — взволнованно крикнула в трубку Лизе. — Алло... Пожалуйста, ответьте.

— Лизе, нам придется подождать, пока она снова не проснется.

— Хорошо хоть кошка будет мышей отгонять.

Соседи, прохожие заметят, что в доме горит свет. Они зайдут в дом и увидят неповешенную трубку. Зачем вдруг старухе в одной ночной рубашке понадобилось ставить стремянку под люком в потолке? Всякий, попав туда, непременно задастся этим вопросом. Кошке поставят блюдечко с молоком, трубку положат на место, а кто-нибудь взберется по стремянке на чердак.

— Хоть бы это произошло в любой другой вечер!

— Лизе...

— Ты хотел повесить трубку. Ты не желал ничего знать. Хотел, чтобы мы вообще никогда ничего не узнали, чтобы все было покрыто мраком тайны.

— Да ничего подобного.

— Человек иногда и сам не сознает, что делает. Совершает поступки, их не осознавая.

— Пожалуйста, — снова взмолился Тони, и Лизе очутилась в его объятиях.

Комната стала расплываться из-за навернувшихся на глаза слез; бормоча слова утешения, он нежно гладил ее по волосам. Немного овладев собой, Лизе вновь прошептала, что лучше бы это случилось раньше, в другой вечер. Ей казалось, что на нее напала какая-то хворь, в глубине ее существа пульсировала боль, но где — не понять. Наверное, от всей этой путаницы и неразберихи, думала она, или от чувства раздвоенности, как будто в ней теперь уживаются два разных человека. Ведь им с Тони нет причин ссориться. Они раньше не ссорились, и сейчас незачем. Почему это случилось именно сегодня, сейчас? Игра воображения — это готические замки и сказки, которые она придумывала в детском саду фройляйн Грёневольд, а позже — фантазии с участием любимых кинозвезд. Но если в воображении искажается окружающий мир, то это чистая глупость. Тони конечно же прав.

— Не могу я не думать о ней, — тем не менее прошептала Лизе. — Что тут поделаешь?

Тони отвернулся и медленно подошел к окну. Ему хотелось выйти из дому, побродить по улицам и там спокойно поразмыслить. В свое время его просили разубедить Лизе, когда она захотела устроить свадьбу в Лондоне. Из Шелеснау пришло пространное письмо — его угова-

ривали вмешаться и урезонить ее. Это же доставит неудобства всем: лишние ненужные траты; с ее стороны это exzentrisch[1].

Сегодня Лизе узнала, что Тони в детстве был отчаянно смелым , что он прошел по карнизу от одного окна школьной спальни до другого на высоте в восемнадцать футов над землей. Тогда она восхитилась его подвигом, а главное тем, что он ей об этом не рассказывал, не стал хвастаться своей храбростью. Теперь же все выглядит иначе.

— Это какое-то наваждение, — сказала Лизе.

Стоя у окна, Тони смотрел вниз на улицу. Фонари еще не выключили и долго не выключат. Но уже незаметно подкрадывается рассвет, таясь среди неподвижных машин, среди пластиковых мешков с мусором, накануне вечером вытащенных из цокольных этажей, среди велосипедов, прикованных цепью к ограде. «Наваждение». Что она имеет в виду?

— Честное слово, расстраиваться не из-за чего.

С этими словами Тони отвернулся от окна. Лицо у Лизе было строгое и напряженное, на миг показавшееся ему даже некрасивым. В комнату вливался прохладный, освежающий воздух, и Тони снова захотелось пойти пройтись где-нибудь в одиночестве. Она его не любит, вот что значат ее слова, ее у него отняли. Повернувшись к ней спиной и снова глядя на улицу, он так и сказал.

— Да нет же, Тони, я тебя люблю.

Где-то в разных уголках Лондона спят гости, приехавшие на завтрашнюю свадьбу: ее мать с отцом, ее друзья, прибывшие из Шелеснау. Лежат подготовленные на завтра платья ее сестер, подружек невесты. Заказаны цветы, украшенная лентами машина. Лужайки перед гостиницей уже подстригли и привели в порядок к свадебному приему. В своем домике у моря тетка Тони выгладила отобранный к торжеству костюм, и Лизе мысленно представила, как он уже висит в полной готовности на плечиках. Утренними рейсами прибудут еще гости из Германии. Лизе настояла на том, чтобы свадьбу играли в городе их любви. А ведь в Шелеснау никакую старуху не потревожили бы среди ночи, не было бы скверного, хоть и нечаянного происшествия. И вдобавок, как она случайно узнала, покойников здесь выносят из дому в простом длинном коробе, а не в гробу.

— Мы с тобой разные люди, Тони.

— Потому что ты немка, а я англичанин, да? Стало быть, тут играет свою роль история?

Она покачала головой. Почему он так подумал? Почему он охотно уцепился за такое избитое выражение?

— Мы же не враги, мы друзья.

Она говорила еще, пытаясь объяснить то, что ей самой казалось совсем несложным. Однако чувствовала, что лишь запутывает все, потому что в ответ видит только замешательство.

— Помнишь застолье той фирмы в ресторане? — сказал Тони. — Женщину в красном, которая с кем-то бранилась? Помнишь, как улыбалась официантка, когда мы вышли вместе? оо 178. Помнишь этот номер?

Она напряглась, вспоминая, но в памяти, против обыкновения, все расплывалось.

— Да, помню, — сказала она.

В их голосах слышалась неуверенность, ее невозможно было

1. *Здесь:* сумасбродство *(нем.)*.

скрыть, она порождала сомнение. Паузы нарастали, каждая, как брешь, всякий раз становящаяся все шире.

Тони молча кивнул и ощутил бремя терпения. На сколько его хватит, думал он в тянувшейся долгими минутами тишине, как вдруг услышал далекие звуки человеческой речи, тихие, еле слышные. Стоя у окна, он посмотрел на трубку, которую Лизе положила на стол. Лизе подошла к столу, подняла трубку, и через мгновение Тони увидел, что по лицу ее разливается радость облегчения.

Съехавшиеся на свадьбу гости прогуливались по аккуратным лужайкам перед гостиницей. Под ярко-синим небом суетился фотограф.

— Такой красивой я тебя еще не видел, — шепнул Тони; вокруг пили шампанское и переговаривались по-немецки и по-английски. — Я тебя еще больше люблю.

Они посмотрели друг на друга, и Лизе улыбнулась, но тут объявили очередной тост, и ее отец выразил особую радость по поводу того, что сегодняшний союз двух семей будет содействовать союзу двух народов.

— Мы с тобой просто два дурака, — подытожил на рассвете Тони, когда телефонная трубка возвратилась наконец на рычаг, а путешествие на чердак было рассказано во всех подробностях и даже с извинениями за то, что выполнение инструкций заняло столько времени. Потом они с Лизе обнялись, тесно прильнув друг к другу, счастливые оттого, что благополучно вышли из зоны беды. И возникший было призрак истины исчез, вытесненный бурной радостью.

— Извини меня, — позже под ярким светом солнца сказала Лизе. — Я вела себя несносно, прости.

Снова подняли бокалы — за еще большее, чем в день свадьбы, счастье молодых. Они оба улыбались и махали гостям из приехавшей за ними машины. Оставшись наконец наедине, они, не скрывая усталости, одновременно потянулись друг к другу, и руки их встретились. Но думали они о разном. Все-таки я оказался прав, думал Тони. И для него этот вывод был не внове: он и ночью ни разу не усомнился в своей правоте. А Лизе размышляла о другом: почему случайные происшествия кажутся важнее в жизни и отношениях между людьми, чем лад или вражда между народами? Она совсем уж было собралась заговорить об этом, но в последнюю минуту передумала.

Оплакивание

Они жили на улице Данмэнуэй в угловом доме, что стоял среди таких же серых домов. Обитали они там невесть с каких пор. Миссис Броган успела родить и вырастить шестерых ребятишек. Сам Броган, рабочий при муниципалитете, по-прежнему копался в огородике позади дома, выращивая овощи и два-три кустика ноготков. С родителями теперь жил только Лиам-Пат, который и в двадцать три года все был самым «младшеньким»; он работал в строительной бригаде мистера О'Дуайера. Когда Лиам-Пат заявил, что подумывает уехать из родного дома, мать огорчилась; отец тоже огорчился, но по-своему.

— В Корк поедешь, что ли? — спросила мать.

Но Лиам-Пат замыслил двинуться в Лондон.

Его вовсе не обуревали честолюбивые мечты, просто хотелось по

мере сил чего-то в жизни добиться. Когда Лиам учился в приходской школе, он был самым большим чистюлей в классе. И слушал очень внимательно, хотя не всегда понимал, о чем речь.

— Ясное дело, одолеешь, — сказал О'Дуайер, когда Лиам-Пат спросил, сумеет ли он овладеть ремеслом.

Всему он научится, заверил О'Дуайер: и сантехнику устанавливать, и кирпич класть, и плотничать, и малярить. Будет все знать как свои пять пальцев. На самом деле О'Дуайер считал, что у Лиама-Пата на ремесло шариков не хватает, и если уж на то пошло, чем плохо управлять бетономешалкой?

— Главное, чтобы крутилась большая мешалка, а при ней стоял Лиам-Пат Броган, — время от времени шутливо возглашал О'Дуайер на стройплощадках, где его рабочие возводили дома.

Десси Коглан — вот кто сказал, что может пристроить Лиама-Пата в Англии. Он и сам уехал бы, говорил Десси Коглан, если б не жена, которая вдобавок на сносях. Роситу с места никакою силой не сдвинуть, она на пять ярдов не отъедет от их квартала: еще бы, в двух шагах живет ее мамаша.

— Ты там обоснуешься в лучшем виде, — уверенно предрекал Десси Коглан. — Это уж как пить дать. А вот если останешься вкалывать на О'Дуайера, то до самой смерти будешь мокрый бетон лопатить.

Десси жил в том же квартале. Он женился на местной девчонке, и когда у них родился второй ребенок, им выделили дом. Десси еще в приходской школе отличался завиральными идеями. Они и сейчас из него перли, стоило ему выпить стаканчик-другой. Он заводил треп про «корешей», про «контакты» с радикальным республиканским движением, хвастал, что он у них связной. По профессии-то он был штукатуром.

— Как приедешь, звякни вот этому человеку, — наставлял он Лиама-Пата, и тот послушно записывал номер телефона.

Лиам-Пат всегда восхищался Десси, тем, как легко он до женитьбы охмурил Роситу Друди; тем, что он словно бы заранее знает, как пройдет матч по хоккею на траве, хотя сроду не держал в руках клюшки; тем, как он разговаривает, не вынимая изо рта горящей сигареты и понижая голос так, что и не разберешь, о чем он толкует, а Десси значительно щурится, подчеркивая секретность своих сведений. Некоторые утверждали, что Десси Коглан только трепаться мастак, но Лиам-Пат придерживался иного мнения.

«Здесь вполне сносно», — писал Лиам-Пат в открытке родителям, прожив в Лондоне неделю. Приятель Десси Коглана устроил его на работу.

— Есть тут один, мистер Хакстер его зовут, так он как раз подыскивает молодых ребят, — сообщил человек по имени Фини, когда Лиам-Пат ему позвонил.

«Зарплата в два раза больше того, что платил О'Дуайер»,— приписал Лиам-Пат в самом низу открытки, на которой был изображен гвардеец в караульной будке.

А потом примерно раз в месяц, обычно в субботу вечером, Лиам-Пат стал звонить домой. Он рассказывал либо о законченной работе, либо о новой, только начатой стройке, да еще о том, что каждое утро к дому, где он снимает комнату, подъезжает белый фургончик «ниссан» и Лиам-Пат едет на нем через пол-Лондона на работу. Он не говорил им о своем одиночестве, о том, как бригадир Хакстер, услышав, что Лиам-

Пат хочет овладеть ремеслом, отрезал: бери, что дают, или катись на все четыре стороны — ему-де нужен только разнорабочий, чтобы заливать фундаменты. Раздевшись до майки и брюк с медной бляхой на ремне, могучий черноусый Хакстер вкалывал наравне с подчиненными. Не рассказывал Лиам-Пат и о том, что с самого первого дня, как он появился в бригаде Хакстера, тот его невзлюбил и смотрел на него так, словно веснушчатая физиономия разнорабочего вызывает у него отвращение.

— Это еще что за имечко?! — воскликнул Хакстер, когда Лиам-Пат сказал, как его зовут, и окрестил его Миком.

— А, ирландские штучки, — приговаривал он, даже если Лиам-Пат действовал вполне разумно, например, укладывал в грязь доски, чтобы катить по ним тачку.

Как-то в воскресенье, когда Лиам-Пат проработал у Хакстера месяца полтора, ему позвонил тот самый Фини.

— Как дела? — спросил Фини. — Обжился тут?

— Обжился, — ответил Лиам-Пат.

А спустя несколько дней, когда он с двумя приятелями-ирландцами болтал у стойки в пивной «Шпоры и лошадь», Фини пришел туда самолично.

— Как дела? — представившись, спросил Фини.

Это был черноволосый человек с морщинистым лицом и большими залысинами на лбу. Чем-то он походил на священника, но, как вскоре стало ясно, к духовному званию отношения не имел: по его собственным словам, он работал на стекольном заводе.

Фини поздоровался за руку со всей троицей, причем с Рафферти и Нунаном так же сердечно, как с Лиамом-Патом. Поставив им по стаканчику, он отмел их попытки заплатить за его выпивку — не может он-де позволить молодежи так тратиться. Ему просто охота пообщаться со своими ребятами.

— На чем же еще держится несчастный эмигрант? — сказал он, и все с ним согласились. — Бывают ведь и такие, — добавил Фини, — которые приехать приедут, а живут здесь считанные дни, не больше. По мамочке скучают, — хохотнул он, и его тонкие губы на мгновение раздвинулись; позже Рафферти обронил, что смех Фини очень напоминает ему собачий лай. — А один парень так из вагона и не вышел.

После того вечера Фини стал частенько наведываться в «Шпоры и лошадь». Он расспрашивал парней, с интересом слушал их и вскоре узнал, что Хакстер цепляется к Лиаму-Пату. Фини на это сказал, что он с Хакстером лично незнаком; Рафферти и Нунан дружно заверили его, что Лиам-Пат просто не все рассказывает, но причин жаловаться у него хватает, ведь когда Хакстер распоясывается, тут уж какие к черту шутки. Фини сочувственно поджимал губы, возмущенно качал головой. Тогда-то он и начал особо привечать Лиама-Пата.

Он брал его с собой на собачьи бега; подыскал ему комнату получше; как-то, когда Лиам-Пат поиздержался, Фини одолжил ему денег и не настаивал на возврате долга. Неделя шла за неделей, и, если б не Хакстер, все было бы у Лиама-Пата хорошо.

— Да нет, дела у меня идут отлично! — по-прежнему уверял он по субботам родителей, ни словом не обмолвясь о своих неладах с бригадиром. А ему уже не раз приходило на ум, что не стоит в очередной понедельник утром поджидать фургончик, который возит его на работу, — мочи больше нет.

— И что же ты станешь делать, Лиам-Пат? — спросил Фини, когда они сидели в столовой «У Боба», в конце рабочей недели они частенько заходили туда поесть.

— Уеду домой.

Фини кивнул, потом вздохнул и, помолчав, промолвил, что, может, тем все и кончится. Такое уже и раньше случалось: прицепится придира мастер к парню и житья ему не дает.

— До того дошло, что я его прямо-таки возненавидел.

Снова выдержав длинную паузу, Фини обронил:

— Они на нас смотрят свысока.

— На кого «на нас»?

— На любого, кто говорит с ирландским акцентом. При нынешней-то обстановке.

— Это ты про бомбы и все прочее?

— Это я про то, что ты дышишь их воздухом, стало быть, по их мнению, с тебя причитается. — Фини подался вперед и, понизив голос, зашептал над тарелкой с печенкой и картошкой: — После нас они аж дважды моют посуду. Тарелки, чашки, стакан, из которого ты пил. В прачечной самообслуживания я как-то постирал бельишко и попытался предложить одной женщине воспользоваться тем же автоматом. Так не успел я рот открыть, а она уже: «Нет, спасибо».

Такого с Лиамом-Патом не случалось ни разу, хотя люди и впрямь держатся неприветливо. В бригаде-то все нормально, или когда он ходит куда-нибудь вместе с Рафферти и Нунаном либо с Фини. Но никто здесь ему не улыбается, никто никогда не кивнет приветливо, словечка доброго не скажет. В доме, где Фини подыскал ему комнату, каждое воскресенье утром появляется человек, который там не живет и имени которого Лиам-Пат не знает; ему платишь, а он выписывает квитанцию. Этот человек ни разу не проронил ни звука; может, ему почему-либо трудно разговаривать, частенько думал Лиам-Пат.

Хотя в кухне порою стояли тарелки с чьей-то едой, а с лестницы и верхнего этажа доносились шаги, за те недели, которые Лиам-Пат прожил в доме, он ни разу не видал никого из соседей и не слышал их голосов. В одной из комнат на первом этаже окна были всегда зашторены, поэтому дом казался совсем нежилым.

— И так все время, — продолжал Фини. — «Тупые, как свиньи. Имени своего путем написать не умеют». Слепому видно, что́ они про нас думают.

Зато Хакстер выкладывал все без обиняков.

— Живей, пошевеливайся! — орал он на Лиама-Пата; а однажды, когда что-то было сделано не так, как хотелось бригадиру, он буркнул, что в ирландской репе и то больше ума.

— Оттащили бы вы свой проклятый остров подальше в море, — однажды заявил он. И добавил: — За что боролись, на то сами и напоролись.

— Не могу я перевести тебя на другую работу, — говорил Фини. — Если б мог, обязательно перевел бы.

— Вот бы в другую бригаду, а?

— Может, недельки через две что-нибудь и подвернется.

— Здо́рово было бы в другую бригаду.

— Тебе человек по имени Мактай не знаком?

Лиам-Пат отрицательно покачал головой. Фини его об этом уже спрашивал.

— А что, Мактай тоже бригадир? — поинтересовался он.

— Он в доле у букмекера. Познакомиться с Мактаем тебе было бы полезно. Во всех отношениях.

Десять дней спустя, когда Лиам-Пат вместе с Рафферти и Нунаном заглянули в «Шпоры и лошадь» выпить пивка, к ним подсел Фини; из пивной он пошел вместе с Лиамом-Патом.

— Пропустим на ночь еще стаканчик? — предложил он. Лиам-Пат удивился, ведь они ушли, когда пивная закрывалась; стало быть, и в других питейных заведениях спиртного не купишь.

— Ерунда, — бросил Фини, отметая его возражения.

— Но мне надо поспеть на последний автобус из центра. Он придет через десять минут.

— Подумаешь, дело. Переночуешь там, куда мы идем.

Уж не напился ли Фини, подумал Лиам-Пат. В своей-то постели ночевать куда лучше, пытался настаивать он, но Фини его будто и не слышал. Они свернули в переулок. Подошли к черному ходу одного из домов. Фини легонько стукнул в оконное стекло, и телевизионная трескотня в доме почти сразу смолкла. Дверь распахнулась.

— Это Лиам-Пат Броган, — сказал Фини.

В прямоугольнике света стоял массивный пожилой человек с ежиком жестких светлых волос над красноватой бесстрастной физиономией. Одет он был в черный свитер и брюки.

— А-а, крепкий мужик, — приветствовал он Лиама-Пата, протягивая ему руку; на большом пальце подживал рубец.

— Это мистер Мактай, — представил его Фини, завершая процедуру знакомства. — Мы тут шли мимо и решили зайти.

Мистер Мактай повел их на кухню. Он ловко открыл две банки пива и протянул гостям. Затем снял с холодильника третью. Пиво было «Карлинг, Блэк лейбл».

— Как жизнь, Лиам-Пат? — спросил мистер Мактай.

Нормально, ответил Лиам-Пат, но Фини мягко опроверг это утверждение.

Опять та же история, пояснил он: бригадир не дает ирландцу житья. Мистер Мактай сочувственно мотнул большой квадратной головой. Голос у него был хриплый, исходивший, казалось, из самой глубины его могучей груди. Городской, из Белфаста, заключил про себя Лиам-Пат, попривыкнув к акценту хозяина дома.

— Как комната, ничего? — задал мистер Мактай неожиданный вопрос. — Жить можно?

— Хорошая комната, — ответил Лиам-Пат.

— Это мистер Мактай тебе ее раздобыл, — вставил Фини.

— Кого, комнату?

— Ну да.

— Я этот дом хорошо знаю, — заметил мистер Мактай, но больше ничего пояснять не стал. А еще он назвал лошадь, на которую стоило поставить — Друг Кассандры, ипподром в Ньютон-Абботе, первый забег.

— Ставь все до последнего гроша, Лиам-Пат, — посоветовал Фини и засмеялся.

Они посидели на кухне с полчаса, не больше, и ушли, как и пришли, через заднюю дверь. Уже на улице Фини сказал:

— С мистером Мактаем не пропадешь.

Про что он говорит, Лиам-Пат не понял, но не признался. Наверное, про совет насчет бегов, подумал он, а вслух спросил, что за человек приходит утром в воскресенье за квартплатой.

— Понятия не имею.

— Сдается мне, я там сейчас единственный жилец. Остальные, похоже, съехали.

— Зато тихо, тебе же лучше.

— Да уж, что тихо, то тихо.

В ту ночь Лиаму-Пату пришлось добираться до дому пешком; о том, чтобы ночевать у мистера Мактая, речь даже не заходила. На дорогу ушло часа два; правда, погода стояла прекрасная, и Лиам-Пат прошагал свой путь не без удовольствия. Мысленно перебирая недавний разговор, он снова с недоумением вспомнил заботу мистера Мактая о его благополучии. Дома он лег не раздеваясь -- слишком уж было поздно — и крепко уснул.

Потом Лиам-Пат несколько недель подряд не виделся с Фини. Одну из комнат в доме, где он обитал, сняли опять, но только на выходные, а затем он вроде бы вновь остался один. Как-то в пятницу, обозвав Рафферти и Нунана сачками, Хакстер отдал им их документы.

— А ты, если хочешь, оставайся, — бросил он Лиаму-Пату, и Лиам-Пат понял, что бригадир не хочет, чтобы он ушел — ему нужен козел отпущения. Но без друзей ему стало одиноко, его снедала горькая обида, нараставшая из-за вечных попреков.

— Пожалуй, я все же вернусь, — сказал он Фини, столкнувшись с ним как-то вечером у пивной.

Раньше, когда Фини рассказывал о том случае в прачечной самообслуживания или о тарелках, которые моют дважды, Лиам-Пат думал, что Фини чересчур обидчив; теперь же не исключал, что все именно так и обстоит. Скажем, регулярно покупаешь пачку сигарет у одной и той же продавщицы, а она с тобой минуты лишней не задержится, хотя ты и вчера в ту лавчонку заходил. В этом городе если и есть что хорошее, так только пивные; там можно встретиться с земляками, обменяться шутками, позубоскалить немного, а если не возбраняется, то и песню хором спеть. Но вечер проходит, и ты снова остаешься один-одинешенек.

— Почему же ты хочешь вернуться?

— Здешнее житье не по мне.

— Я тебя понимаю. Я и сам частенько об этом подумывал.

— Разве это жизнь для парня?

— Выкурили они тебя все-таки. Восемь веков изводили нас и опять взялись за свое.

— Он обозвал мою маму шлюхой.

Да Хакстер в подметки не годится миссис Броган, заявил Фини. Он уже такого здесь нагляделся.

— Все они одинаковы, — подытожил он.

— Я только доработаю несколько недель, пока мы не закончим объект.

— И к Рождеству будешь дома.

— Ага, обязательно.

Они медленно побрели по улице; из пивных выходили последние посетители, ночь была сырая и холодная. Под перегоревшим фонарем, где сгустилась тьма, Фини приостановился.

— У мистера Мактая к тебе дельце есть, — тихо произнес он.

Лиам-Пат было подумал, что это снова совет насчет бегов, но Фини сказал «нет» и молча двинулся дальше; значит, другая работа, другой бригадир, решил про себя Лиам-Пат. И стал размышлять об этом. Главное зло здесь — это, конечно, Хакстер, но дело не только в Хакстере. Лиам-Пат скучает по своему кварталу, по городку, где принято здороваться с каждым встречным. Со дня приезда сюда он питается как попало, завтракает и обедает купленными накануне бутербродами, вечером котлета с картошкой, по воскресеньям — столовая «У Боба». Раньше-то он и думать об этом не думал — что́ он будет есть, как будет проводить воскресенья. Не раз на обедне он замечал симпатичную девушку с неброским приятным лицом и стянутыми на затылке волосами. Несколько недель назад он как-то после мессы подошел к ней, но она, ни слова не говоря, повернулась к нему спиной.

— Не надо мне другой работы, — сказал он.

— Ясное дело, не надо, Лиам-Пат. После всех этих издевательств.

— Но ты, кажется, говорил, что мистер Мактай...

— А-а, вон ты о чем. Нет-нет, мистер Мактай только вспомнил те времена, когда вы с Десси Когланом разносили журнальчики.

Они по-прежнему брели неторопливо — темп задавал Фини.

— Мы ж тогда были несмышленыши, — отозвался Лиам-Пат, немало удивленный поворотом разговора.

— Все равно было ясно, с кем вы.

Этого Лиам-Пат не понял. Он никак не мог уразуметь, почему речь зашла о том, как они с Десси Когланом, тогда еще ученики католической школы, совали журнал, отстаивавший независимость Ольстера, в окрестные почтовые ящики. Они занимались этим только с наступлением темноты, чтобы их никто не увидел.

— Нелегальное же издание, — пояснял Десси; пару раз он упомянул Майкла Коллинза[1].

— Мистер Мактай мне тут кое-что сообщил.

— Мы к нему зайдем?

— Ага, он нас пивком угостит.

— Мы просто разыгрывали из себя взрослых парней, когда разносили те журнальчики.

— Кому надо, помнят, что вы их разносили.

Лиам-Пат понятия не имел, откуда брались журнальчики. «У знакомых ребят беру», — бросил однажды Десси Коглан, но скорее всего — у парикмахера, престарелого Гохана, который в 1921 году[2] потерял четыре пальца на левой руке. Лиам-Пат не раз видел, как Десси выходит из парикмахерской Гохана или же болтает с ним в дверях под вывеской в виде столбика, обвитого красно-белой лентой. Несмотря на беспалую руку, Гохан по-прежнему мог побрить и постричь любого.

— Входите, — пригласил Мактай, распахнув перед ними заднюю дверь. — Ночка выдалась промозглая.

И опять они сидели на кухне. Мистер Мактай выставил каждому по банке «Карлинг, Блэк лейбл».

— Спроворишь дельце, а, Лиам?

— Какое, мистер Мактай?

1. Майкл Коллинз (1890—1922) — борец за независимость Ирландии, один из лидеров ирландской партии Шин фейн.
2. В 1919—1921 гг. шла война за освобождение Ирландии от английского господства.

— Фини тебе все растолкует.

— Вообще-то я уезжаю назад, в Ирландию.

— Я почему-то так и думал. «Этот парень уедет домой», — говорил я себе. Верно, Фини?

— Ясное дело, говорили, мистер Мактай.

— Вот я и подумал, Лиам, а не сделаешь ли ты мне до отъезда одну чепуховину. Вроде той, что мы еще в прошлый вечерок обсуждали, — добавил мистер Мактай; уж не перебрал ли я в ту ночь пива, подумал про себя Лиам-Пат, ведь никакого такого обсуждения он припомнить не мог.

В доме у Лиама-Пата Фини отпер дверь комнаты, в которой всегда были задернуты шторы, и откинул половик. Не зажигая света, вынул разом несколько сбитых вместе досок и посветил вниз фонариком. Лиам-Пат увидел черные и красные провода, кремовый циферблат часового механизма. «Плевое дело», — сказал Фини и выключил фонарь.

Слышно было, как он укладывает половицы на место. Лиам-Пат вернулся в задний коридор, куда выходила дверь комнаты. Вместе с Фини они пересекли прихожую и по лестнице поднялись в комнату Лиама-Пата.

— Опусти-ка штору, парень, — скомандовал Фини.

Под висевшее над раковиной зеркало была бочком подсунута фотография матери Лиама-Пата; чуть повыше — снимок отца, два незакрепленных уголка уже начали загибаться. На полу лежал дешевый коричневый чемодан, с которым Лиам-Пат приехал из Ирландии; крышка была откинута, в чемодане кучей громоздилось неразобранное белье, принесенное из прачечной самообслуживания. Чемодан он купил в лавке Лейси на Эммет-стрит в тот день, когда подал О'Дуайеру заявление об уходе.

— А теперь слушай меня, — приказал Фини, усаживаясь на кровать.

Пружины громко заскрипели. Изголовье резко накренилось, и Фини придержал его рукой.

— Вот это видеть отрадно, — сказал он, кивком головы указывая на открытку, которую Лиам-Пат свято обещал матери вешать в своей комнате, куда бы ни забросила его судьба: младенец Иисус сидит на руках Девы Марии, воздев два пухлых пальчика в знак благословения.

— Напрасно ты думаешь, я ведь ничем таким не занимаюсь, — сказал Лиам-Пат. — Вроде того, что там, внизу.

— Тебя сюда привез мистер Мактай.

Морщинистое лицо Фини было бесстрастным. Костюм, похожий на пасторский, сидел на нем мешковато, рукав на локте протерся насквозь. Из-под засаленного ворота рубашки шнурком свисал узенький галстук, крохотный жесткий узел залоснился. Говоря, что Лиама-Пата привез из Ирландии мистер Мактай, Фини не отрывал глаз от своих колен.

— Вообще-то я сам приехал, — произнес Лиам-Пат.

По-прежнему разглядывая туго натянутую на коленях ткань, будто опасаясь, что она вот-вот треснет и здесь, Фини отрицательно покачал головой.

— О комнате договорился мистер Мактай. Заботился о тебе мистер Мактай. «По сердцу мне Лиам-Пат Броган» — это ведь его собственные слова, так-то, парень. В тот день, когда мы с тобой были у него первый раз, кто, как не он, позвонил мне спозаранку, в восемь утра? Знаешь, что он мне тогда сказал?

– Нет, откуда мне знать.

– «Лиам-Пат – мужик настоящий», вот что.

– Все равно, не смогу я сделать то, о чем ты толкуешь.

– Слушай, парень. Ты же перед ними чистенький. Ты для них просто еще один Пэдди – ирландец, который едет на Рождество домой. Ты хоть понимаешь, Лиам-Пат, что я тебе говорю?

– Да я про мистера Мактая слыхом не слыхал, пока сюда не приехал.

– Он – твой друг, Лиам-Пат, как и я. Разве я не доказал тебе своей дружбы?

– Ясное дело, доказал.

– Вот и все, что я хотел тебе сказать.

– Так у меня на бомбы духу не хватит.

– Понятно, а кому вообще охота с ними вожжаться? Разве найдется в Божьем мире хоть один человек, который по доброй воле выбрал бы себе это занятие, а, парень? – Фини смолк. Вынув из кармана брюк платок, он провел им под носом. Впервые с тех пор, как они вошли в комнату Лиама-Пата, Фини взглянул ему прямо в лицо. – Никому не будет никакого вреда, парень. Ни малейшего для жизни и здоровья. Даже близко ничего такого не будет.

Лиам-Пат нахмурился и в знак полного замешательства покачал головой.

– О душегубстве мистер Мактай не стал бы никого и просить, – продолжал Фини. – Воскресный вечер. Улавливаешь? В воскресенье же город весь вымирает. Но, чур, ничего не записывать. Ни числа, ни точного времени. Ничего из того, о чем я сейчас толкую. – Он побарабанил пальцами по виску. – Все только на память.

Фини продолжал говорить. Поскольку в комнате не было стула, Лиам-Пат сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Плевое дело, снова повторил Фини. Он рассказывал о мистере Мактае, о задаче, сделавшейся для мистера Мактая целью жизни – как для всякого настоящего ирландца, который, чем дальше от дома, тем сильнее чувствует свое предназначение.

– Понимаешь меня? – прерывая свою длинную речь, время от времени вопрошал Фини: он опасался, как бы вместо полной ясности не возникло некоторое непонимание ситуации. – Мечта Уолфа Тона[1]. Мечта Исаака Батта[2] и Чарльза Стюарта Парнелла[3]. Мечта лорда Эдварда Фицджеральда[4].

Эти имена пробудили в душе Лиама-Пата воспоминания школьных лет: вот не имеющий сана учитель Риордан требует рассказать об этих героях; обгрызенные усы учителя прикрывают длинную верхнюю губу, костюм в тонкую полоску перепачкан мелом.

– А этот ваш Фицджеральд принимал участие в «бегстве графов»[5]? – спросил как-то с задней парты Хасесси, и Риордан облил его презрением.

1. Тиоболд Уолф Тон (1763–1798) – борец за независимость Ирландии.
2. Исаак Батт (1813–1879) – ирландский ученый, журналист и видный политический деятель.
3. Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891) – один из лидеров движения за самоуправление Ирландии («гомруль»).
4. Лорд Эдвард Фицджеральд (1763–1798) – борец за независимость Ирландии, прославившийся своей отвагой.
5. Гуг О'Нейл, граф Тирон, и Гуг О'Доннел, граф Тирконнель, в 1595–1603 гг. руководили восстанием, охватившим провинции Ольстер и Манстер, против английской колонизации Ирландии. Восстание было подавлено в 1601 г., а в 1607 г. графы Тирон и Тирконнель бежали за границу.

— «Избиение младенцев», — говорил Фини, — «Кровавое воскресенье»[1].

Он рассказывал об обмане и откровенной лжи, о вероломстве и невыполненных обещаниях, о грубости и издевках, мало чем отличавшихся от издевок Хакстера.

— О'Коннел[2], — перечислял он. — Пирс[3]. Майкл Коллинз. Вот это мужчины, Лиам-Пат, и ты запросто станешь с ними вровень. Разом превратишься в великана.

Подобно рыбке, которую, несмотря на страх, так и влечет к червяку, Лиам-Пат чувствовал, как затягивает его Фини в сети своего красноречия.

— Господи, да ты и сам сможешь стать Великим Героем[4], — как-то давно, когда они разносили ночью те журнальчики, похвалил его Десси Коглан.

Лиаму-Пату уже приходилось видеть придорожный крест, поставленный в память о жизни и смерти Великого Героя; а всего за несколько недель до того он посмотрел и фильм о нем. И теперь, ощущая затылком стену и неотрывно глядя на Фини, мысленно видел, как идет он размашистым шагом Майкла Коллинза. Заверения и обещания, имена знаменитостей, которыми сыпал Фини, произвели на него сильное впечатление, и все же он произнес:

— Так ведь наверняка кто-нибудь да пойдет мимо в эту самую минуту.

— Никто, парень, никуда не пойдет. Для того и выбрали воскресный вечер, чтоб наверняка. Вокруг одни только пустые конторы, даже сторожей возле них не будет. Все учтено.

Фини рывком поднялся с кровати. Он махнул рукой, и Лиам-Пат встал. Ничего не записывай, вновь сказал Фини. Теперь до назначенного дня никого, кроме Лиама-Пата, в доме не будет.

— Ничего не записывай, — еще раз повторил Фини свой наказ. — Потом тебя будут допрашивать. Возможно, полицейские сядут на тот же поезд. Или встретят на причале, когда ты туда доберешься.

— И что же я им скажу?

— Что едешь на Рождество домой, в графство Корк, что сроду не бывал в том месте, про которое они тебя расспрашивают. И слыхом про него не слыхивал.

— А вдруг они спросят, знаю ли я тебя? Или мистера Мактая?

— Они и имен-то таких знать не будут. Если потребуют кого-то назвать, называй парней из своей бригады, тех же Рафферти и Нунана, да любые имена, какие слышал в пивных. Если уж и не знаешь, кого еще перечислить, назови Фини и Мактая. Они все равно не поймут, о ком ты говоришь.

— Это, стало быть, ненастоящие ваши имена?

— С чего им быть настоящими, а, парень?

Поначалу Лиам-Пат твердо стоял на том, что он с этим делом не справится, но Фини все говорил и говорил, и слова его превращались в сознании Лиама-Пата в образы, причем сам он неизменно оказывал-

1. В воскресенье, 30 января 1972 г., пытаясь разогнать марш протеста против политики британского правительства в Северной Ирландии, английские солдаты убили 13 человек.
2. Дэниэл О'Коннел (1775–1847) — ирландский политик, выступавший за независимость Ирландии.
3. Патрик Генри Пирс (1879–1916) — ирландский поэт и просветитель, возглавлял ирландские повстанческие силы в восстании 1916 г.
4. Имеется в виду Майкл Коллинз.

ся в центре событий, и в конце концов Лиам-Пат ощутил незнакомое возбуждение. Хакстер даже понятия не имеет о том, что должно произойти; Хакстер будет смотреть на него и думать, что он все тот же Лиам-Пат. И те, кто не здоровается с ним, когда он покупает у них сигареты или газету, тоже не заметят никакой разницы. Это волнение придавало ему сил и энергии, каких он отродясь не испытывал. Каждое утро он будет привозить свою тайну на стройку. Будет ходить с этой тайной по улицам, ощущая в себе совершенно новую, необычайную мощь.

— Сразу видно, что ты — мужчина из Корка, — заключил Фини и в комнате с задернутыми шторами показал Лиаму-Пату, как работает часовой механизм.

До назначенного воскресенья прошло шестнадцать дней. Все это время Лиама-Пата тянуло разговаривать с окружающими так, как говорили Фини и мистер Мактай, вкрадчиво и таинственно, придавая словам новый, известный ему одному смысл. Настроение у него было беспечное, держаться он стал уверенно и в разговор вступал легче, чем прежде. Однажды вечером он заметил, что официантка в пивной смотрит на него так, как много лет назад Росита Друди смотрела на Десси Коглана в баре «У Брейди».

Больше Лиам-Пат не видел Фини, как тот его и предупреждал. Мистера Мактая он тоже больше не видел. И за квартплатой никто не приходил, так что шестнадцать дней Лиам-Пат жил дома в полном одиночестве. Он безвылазно сидел в своей комнате, однажды только сходил к тайнику и поднял выпиленные половицы, желая получше познакомиться с устройством, которое предстояло пустить в дело; он удостоверился, что часовой механизм запросто уместится в спортивной сумке и при этом его легко будет установить на нужное время. Никакой еды он на кухне не готовил: Фини предупредил, что лучше бы от стряпни воздержаться. Это было непонятно, но Лиам-Пат исправно следовал совету, воспринимая его как приказ, а приказы не обсуждают. Он заваривал в комнате чай, потом, намазав хлеб маслом, посыпáл сверху сахаром, открывал банки с бобами и супом и ел все не разогревая. Целых пять раз, засекая время, как учил Фини, он прошел маршрут, которым ему предстояло следовать в назначенное воскресенье; маршрут становился вполне знакомым, и Лиам-Пат внимательно примечал, где могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

В субботу, накануне того воскресенья, он уложил чемодан и, следуя указаниям Фини, через весь город отвез его в автоматическую камеру хранения на Юстонском вокзале. Вернувшись к себе, сгреб пустые консервные банки и остатки еды в хозяйственную сумку и отнес ее в мусорный бак на другой улице. На следующий день он в последний раз пообедал в столовой «У Боба». Окружающие были приветливее обычного.

Когда он окончательно собрался к отъезду, в его комнате и в целом доме не оставалось никаких его пожитков. Фини велел ему убрать комнату предназначенным для постояльцев пылесосом «филипс» — он хранился внизу под лестницей. Фини распорядился пропылесосить все, каждую поверхность, и Лиам-Пат точно следовал приказу, орудуя маленькой круглой щеткой, которую насадил прямо на сопло шланга, без удлиняющей трубки. Для его же собственной безопасности, вот для чего это делалось. А напоследок вытри ручки дверей и все, к чему прикасался, бумажной салфеткой, советовал Фини.

В самом начале восьмого Лиам-Пат снова поупражнялся в установке часового механизма. Ему захотелось выкурить сигарету, но он не решился, потому что Фини не велел. Застегнув сумку на молнию, он вышел из дому. И уже на улице закурил.

По дороге к остановке автобуса в двух кварталах от дома он выбросил ключи от парадной двери в водосток — в соответствии с распоряжением Фини. Когда тот наказывал ему протереть все поверхности, чтобы наверняка не оставить никаких следов, Лиам-Пат подумал, что мистер Мактай в такие мелочи входить бы не стал, мистера Мактая интересовало лишь одно — чтобы работа была сделана. В автобусе Лиам-Пат поднялся наверх и сел сзади. На следующей остановке парочка, тоже сидевшая наверху, сошла, и он остался один.

И тут на Лиама-Пата накатил страх. Одно дело держать все это в секрете от Хакстера, знать то, о чем Хакстер и не подозревает; или, скажем, заслужить улыбку официантки. Но совсем другое дело — ехать в автобусе с адской машиной в спортивной сумке. Воодушевления, с которым он, сидя на полу и прижимаясь затылком к стене, слушал Фини, уже и в помине не было. То, что мистер Мактай выбрал именно его, теперь воспринималось совершенно иначе, и когда Лиам-Пат попытался вообразить, что вот идет он размашистым шагом Майкла Коллинза, в длиннополом пальто военного образца, как у Майкла Коллинза, то ровно ничего при этом не испытал. И фраза Фини о том, что по нему-де сразу видно: это — мужчина из Корка, теперь словно бы потеряла всякий смысл.

Он сидел, положив сумку на пол и придерживая ее от тряски обеими ногами. Руки у него вдруг ослабели, и на минуту даже показалось, что ему уже не поднять их, но, попытавшись, он убедился, что с руками все в порядке, хотя ощущение слабости не проходило. Через мгновение накатила такая тошнота, что он закрыл глаза.

Кренясь и содрогаясь, автобус ехал по пустынным в воскресный вечер улицам. На остановках сильно ощущалась вибрация двигателя, и Лиам-Пат то и дело хватался за ручки сумки, чтобы унять тряску. Его подмывало встать, сбежать вниз по лесенке, расположенной как раз возле того места, где он сидел, и, бросив лежащую на полу сумку, спрыгнуть с автобуса прямо на ходу. Не осознавая того, он нутром чуял: все это уже раньше было, и ужас охватил его так внезапно потому, что он снова переживает то, что уже переживал однажды.

По лестнице, болтая, взбежали две девушки и прошли в глубь салона. Уселись хохоча, а одна из них, не в силах унять смех, даже согнулась пополам. Вторая, тоже смеясь, продолжала что-то рассказывать, но слов Лиам-Пат разобрать не мог. Поднялся кондуктор, чтобы взять с пассажирок плату за проезд, а когда он ушел, девушки обнаружили, что им нечем зажечь сигареты. Та, которая так заливисто хохотала, сидела дальше, у окна. Вторая встала с места, попросила у Лиама-Пата зажигалку и, когда он дал ей свой коробок спичек, сказала: «Спасибо». Он не зажег спичку сам, потому что у него тряслись руки, но она и так это, наверно, заметила. «Спасибо», — повторила она.

Казалось, все это сон. Может, ему только приснилось, что он с сумкой едет на автобусе. Скорее всего, приснилось, а потом он свой сон позабыл, такое же иной раз случается. Очень может быть, что в ту ночь, когда он в последний раз виделся с Фини, ему приснилось, как он едет на автобусе, а на следующее утро он попытался вспомнить сон, да не смог.

Сидевшая у окна девушка оглянулась через плечо, словно подружка ей уже сообщила, что он сунул ей коробок, вместо того чтобы зажечь спичку. Этак они его запомнят. Та, которая к нему подходила, небось приметила его спортивную сумку. «Пока», — бросила она через пару остановок, и обе сошли с автобуса.

Никакой это был не сон. Номер «Экзаминера», несколько месяцев назад расстеленный на кухонном столе, отец, сокрушенно качающий головой над фотографией похоронной процессии, его мрачный, ни к кому в отдельности не обращенный вопрос: почему нельзя было дать этим людям спокойно предаваться горю, почему рядом стоят мужчины в вязаных шлемах, готовясь нести гроб с телом паренька, который подорвал себя в Лондоне, а его останки потом переправили домой? «О господи! О господи!» — с трудом сдерживая ярость, повторяет отец.

В тот раз, стало быть, не получилось. Ничего, выйдет в другой воскресный вечер, у другого юнца, на другом автобусе. Лиам-Пат попытался припомнить имя того парнишки, но не смог. «Какой уж там герой, горе одно», — произнес отец, отодвигая от себя газету.

Организовал это все другой Десси Коглан, в связке с другим Гоханом и корешами. Специально подобрали другого такого же Хакстера. Другой Фини заверил парня, что он потом успеет добраться до Юстонского вокзала, что никто ничуть не пострадает, что поезд ровно в десять. А потом в пятидесяти ярдах от того места собирали осколки костей, обрывок бумажника, отскребали с тротуара и мостовой ошметки плоти. На похоронах ребята шли строем.

На башне парламента Биг Бен отбивал восемь, когда Лиам-Пат сошел с автобуса, держа спортивную сумку несколько на отлете, хотя и знал, что это бессмысленная предосторожность. Руки у него уже не дрожали, тошнота прошла, но страх остался; тот самый страх, что накатил в автобусе, холодил ему нутро.

Недалеко от того места, где отбивает часы Биг Бен, через реку перекинут мост. В свои первые выходные в Лондоне вместе с Рафферти и Нунаном они шли по нему, думая, что направляются в Фулем, да только зашли совсем не туда. Теперь-то он знал, куда идти, но когда добрался до набережной, пришлось переждать, потому что кругом были люди и ехали машины. А когда, улучив удобный момент, Лиам-Пат поставил сумку на закругленный парапет, мимо проехала еще одна машина; сейчас она остановится и сдаст назад, подумал он, ведь люди, сидящие в ней, все поняли. Но машина поехала дальше, а сумка почти беззвучно упала в реку, и ничего не произошло.

У О'Дуайера место для него найдется, только надо подождать до марта, когда наступит пора старику Хойну уйти на пенсию. Работать опять придется на бетономешалке, да еще смолить крыши и подметать после рабочего дня площадку. Дела у Лиама-Пата пойдут отлично, заверял О'Дуайер. Погоди немного, сам удивишься; погоди немного, станешь моей правой рукой. Он на Лиама-Пата зла не держит за то, что Лиам-Пат уезжал на какое-то время.

— Прикуси язык, — улучив момент, посоветовала миссис Броган мужу в тот вечер, когда Лиам-Пат так неожиданно вернулся домой. Они удивились, что приехал он кружным путем, а не напрямик через Уэксфорд, как уезжал.

— Опоздал я на семичасовой поезд, — соврал Лиам-Пат, и миссис

Броган поняла, что он лжет, она своих детей видела насквозь. Может, из-за девчонки какой решил вдруг вернуться, предположила она. Но выяснять не стала.

— Да, конечно, тамошняя жизнь не всякому по вкусу, — заметил Десси Коглан в баре «У Брейди». Со дня на день Росита должна была родить, и он был целиком поглощен этим. — Сроду не встречал женщины, которая беременела бы так легко, как Росита, — говорил Десси. Он и не спросил у Лиама-Пата, звонил ли тот по телефону, который получил от Десси, там ли ему дали работу или нет. — Эдак их в конце концов штук четырнадцать наберется, — сказал он. В семье у самой Роситы было одиннадцать детей.

Лиам-Пат не особенно пускался в разговоры — ни с О'Дуайером, ни дома, ни с Десси Когланом. Мучительно тянулось время, пока Хойн дорабатывал у О'Дуайера оставшиеся до пенсии месяцы. Выше разнорабочего старик так и не поднялся; Лиам-Пат понимал, что ему тоже не подняться выше.

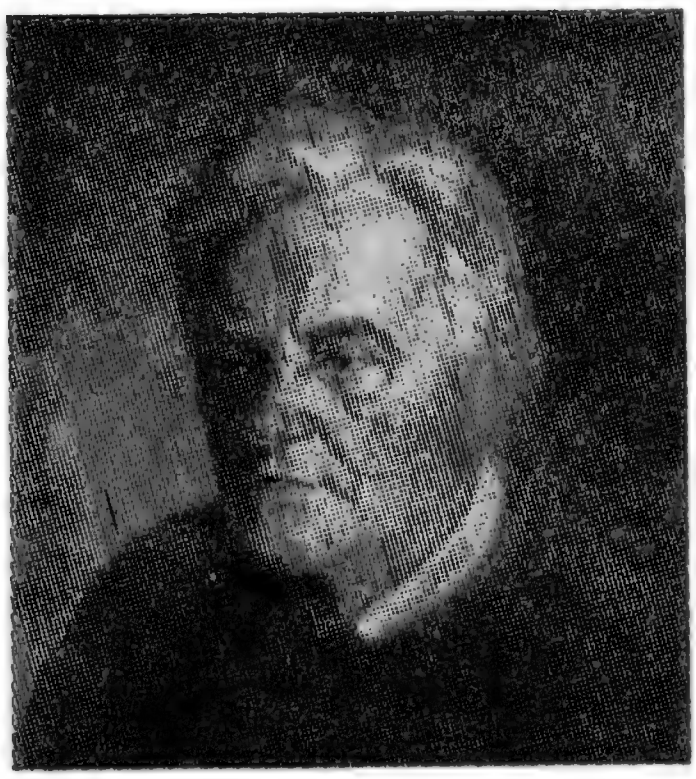
Каждый день он ходил по Маунтросс-роуд, и ледяной зимний ветер обжигал его лицо и руки. И в январе, и в феврале, когда холода немного отпустили, проходя мимо изъеденных ржавчиной ворот Маунтросского аббатства и дорожного указателя на Балливон, он каждый день размышлял о похоронах, на которые непрошеными явились ребята в вязаных шлемах, и частенько представлял себе, что это его собственные похороны.

Никогда в жизни он не сможет никому ничего рассказать. Не сможет описать безмолвный дом и бесстрастное лицо мистера Мактая или воспроизвести уговоры Фини. Никогда он не расскажет про девушек в автобусе, про то, как он не сумел зажечь спичку, или про то, как он вдруг понял, что все это уже однажды было. Никогда никому не скажет, что стоял над рекой, поставив сумку на парапет, что, когда она шлепнулась в воду, ничего не произошло. Не скажет, что, уходя оттуда, плакал и слезы стекали по щекам на одежду, что оплакивал он террориста, которым мог оказаться сам.

Ведь мог же он, как и собирался, оставить сумку в автобусе. Мог быстро сбежать по лесенке вниз и спрыгнуть на тротуар. Но, обуянный страхом, он все же нашел в себе каплю мужества — благодаря тому несчастному парнишке; теперь он это понимает и заново переживает то чувство. Он оплакивает того парня, как оплакивал бы себя.

И в долгих прогулках, и за столом, когда он садится есть, и когда слушает разговоры родителей, плач все звучит в нем, одинокий, не слышный никому. Он продолжается и в баре «У Брейди», и в городских лавках, куда посылает его мать. Плач будет звучать и тогда, когда он встанет у бетономешалки О'Дуайера, когда будет в любую погоду лопатить влажный цемент. По Маунтросс-роуд Лиам-Пат шагает вовсе не походкой Майкла Коллинза; зато он дивится проснувшемуся в нем мужеству, которое пересилило страх, и молит Бога, чтобы плач в нем не затих никогда.

Анте Поповский



Стихи

Перевод с македонского ЖАННЫ ГИЛЁВОЙ

Археология

Где ни копнешь — повсюду
глиняные черепки,
на них — птицы и воины.
На одном —
всадник с копьем.
Вдали
ему видится
что-то страшное и великое.

Ничто не предвещает его поражения.

Кровавые письмена

Если б они вернулись, чтобы начать сначала,
постичь даже то, что скрыто,
пережить историю с антиисторией,
если бы, словом, вернулись туда, на пустое место, —
все равно ничего не добились бы:

всюду, во все времена, главенствует меч,
испещряя память потомков
кровавыми письменами.

© Анте Поповски, 1995
© Ж. Гилёва. Перевод, 2000

Оро

Помню, как они танцевали оро –
три брата, в своем дворе, на своей земле.
Вижу, как эта трехглавая крепость
из камня, который сочится кровью,
качается, превращается
в тень, которая то вырастает, то падает на колени,
то движется, то замирает; я вижу – земля
принимает форму их тел,
камень – их имена...

Я вижу, как их шаги
отвоевывают у жизни
то, что она пыталась у них отнять.

Поют и стонут свирели,
будят разгневанных мертвых,
и я поднимаю ногу,
застываю на миг,
наклоняюсь вперед,
делаю два шага
и готовлюсь к последнему шагу – назад, –

которым закончится оро.

Она кого-то ждала

Всю жизнь она кого-то ждала:
на окошке – стакан с полевыми цветами,
в горнице – красный половичок...

За этим ревниво следили деревья,
росшие во дворе, и самое старое,
раскинув ветви, как человечьи руки –
от тоски, от чего ль другого, –
вынырнув из тумана,
зашагало к ней, чтобы ее обнять.

Грех

Не от проклятья засохло дерево –
от горя, что не было у него плодов,
когда подошел к нему
истомленный странник.
Странник не умер, но погибло дерево.
– Любви я хочу, а не жертвы, –
взглянув на него, промолвил странник,
и с тех пор две тысячи лет
он бродит в слезах по страницам
Священного писания.

Христос воскресе

Когда мы ночью отправились в церковь,
на дереве не было листьев,
будто оно засохло.

Когда на заре мы вернулись домой,
неся зажженные свечи,
вишня уже расцвела!

Боже! Святое дерево у меня во дворе!

Оно корнями сумело почувствовать
победу над смертью и тайну,
заключенную между словом и жизнью,
и — расцвело.

Его цветки белыми голосами
запели вместе с людьми:
Христос воскресе...

Цветок трепещет от собственной белой песни
и, осыпаясь,
белыми лепестками пишет ее название:
Христос воскресе...

Мельбурн. Пасха

В немощи и одиночестве, как Бог,
иконами, колоколами в ночи,
Византия бессильна
разбудить океан,
взволновать его, всколыхнуть...

Старушки с Балкан
в поношенных черных одеждах
держат зажженные свечи
(как бы воздев над собой),
ходят вокруг церкви
с пасхальными песнопениями
и в пламени свеч
видят себя молодыми,
в родимом краю...

Во всем присутствует странный смысл:
на Балканы Пасха приходит весной,
а здесь ее празднуют осенью,
и среди догорающих свеч
эти старушки не сознают,
что так, со свечами, угасают и они —
именно здесь,
где ничего не помнит
даже пыль под ногами...

В день св. Николая, Битола 1991

Столько вина и всякого угощения
принесла старушка для нашей трапезы,
что хватило б на маленький монастырь —
с кельями, восхвалением Господа, добрым словом,
молитвой
и одной зажженной свечой:
чуть приоткроется дверь
или кто-нибудь слово промолвит —
и затрепещет пламя,
замечется, как птица в промозглую ночь,
как Македония
под наточенными балканскими кинжалами.

Дидье ван Ковелер

Запредельная жизнь

Роман

Перевод с французского НАТАЛЬИ МАВЛЕВИЧ

Я УМЕР в семь часов утра. Сейчас в окошке радиобудильника светится 8.28, а никто еще не знает об этом событии. Книга, над которой я заснул вчера вечером, захлопнулась, и мой палец остался в ней закладкой.

В первую минуту я решил, что мне просто снится дурной сон, который кончится ровно в девять, когда, как каждое утро, включится "Радио Савойя" и вернет меня к повседневной реальности. Однако необычность этого сна — изображение не менялось, я постоянно видел со стороны, *извне*, собственное бездыханное тело крупным планом и с наплывом — несколько смущала. Все еще не решаясь поверить до конца, но уже готовый смириться, я стал рыться в памяти, пытаясь вспомнить, что случилось ночью, но не находил ни следа боли, дурноты, разрыва — одно только ничего не говорящее ощущение ровной протяженности.

Помню, в половине седьмого Фабьена, как всегда, подняла стальную шторку на витрине лавки, готовясь принять ранних клиентов — строителей. И уже через минуту кричала, высунувшись в сад через заднюю дверь:

— Жак! Месье Рюмийо интересуется газовыми горелками для городских условий, что ты ему посоветуешь?

Я зарылся в подушку и подумал — и это была последняя мысль, которая сформулировалась у меня *изнутри:* "Нет меня, я умер!" Похоже, так и случилось. Представляется невероятным, чтобы простые слова, в которые я не вкладывал ни воли, ни приказа, вдруг возымели столь действенную силу, но другого объяснения своей внезапной кончины я не вижу. Чувствую (прошу прощения — *чувствовал*) я себя прекрасно. И даже имел шанс дожить чуть не до ста лет — так, по крайней мере, посу-

© Albin Michel, 1997
© Н. Мавлевич. Перевод, 2000

лил мне электронный астролог, сервер "Минителя" "36-15 Оракул", – я услышал по "Радио Савойя" рекламу и из любопытства подключился. Вы вводите свой возраст, вес, пульс, знак зодиака, профессию и любимое занятие – и получаете предполагаемую продолжительности жизни. На мои данные – тридцать четыре с половиной, семьдесят три, пятьдесят девять, Близнецы, торговец скобяными товарами, акварель – выскочило девяносто восемь лет и поздравление с лучшим результатом. И вот вам!

– Слышишь, Жак! Что ты скажешь по поводу газовой горелки для месье Рюмийо?

Моя вдова повторила вопрос исключительно для того, чтобы месье Рюмийо, один из наших лучших клиентов, подумал, что я с утра пораньше в делах, копаюсь на складе. Она прекрасно знает, что на самом деле я сплю до девяти, но, поскольку владельцем скобяной лавки числюсь я, считает нужным создавать видимость, будто я активно занимаюсь торговлей.

– Спасибо, Жак! – Выслушав ответ, которого не было, Фабьена, видимо, передала месье Рюмийо полученные от меня сведения.

Рядом с моим телом, тихонько постанывая, спит Наила. Первые лучи солнца гладят ее разметавшиеся на голубой подушке волосы. Нежность, тоска и безутешность охватили меня при виде наших обнаженных тел, тесно прижавшихся друг к другу на узком диване. Я лежу на животе, впритык к стенке, и правой рукой обнимаю Наилу за плечи. Мой трейлер – домик-прицеп – чуть раскачивается от ветра, и можно подумать, что я дышу.

Судя по ракурсу, я нахожусь где-то над холодильником – надо бы сказать, "находится моя душа", но я никак не выговорю, мне все кажется, что это было бы преувеличением. Ничего не изменилось в моем мышлении, я не получил никакого откровения, у меня не открылось никакого особого дара, никакой сверхчувствительности. Просто я отделился от тела и смотрю на него, как будто я – висящее на стене зеркало. Но, за исключением этого, я как был, так и остаюсь собой. Единственная серьезная перемена касается зубов: у меня уже три дня ныл нижний коренной, а сегодня боли как не бывало. И вот интересно: то, что прекратилась зубная боль, произвело на мое сознание большее впечатление, чем то, что я скончался. Остановка же сердца и дыхания не вызвала у меня никаких эмоций – я ее попросту не заметил. Спал себе и спал. Можно сказать, проспал свою смерть. И сам не знаю, хорошо это или плохо.

Наила повернулась и уперлась в мою ногу ягодицами. Я с грустью констатировал, что не чувствую ни уютного тепла ее кожи, ни холода, который должен передаваться ей, – впрочем, я не знаю, успел ли уже остыть. Меня самого раздражает, что приходится говорить "я", обозначая одновременно семьдесят три килограмма неживой плоти и покинувшую ее личность, но мне пока трудно разделять эти два моих компонента. Наверно, со временем привыкну. А, собственно, сколько времени я буду пребывать в таком состоянии? Мое сознание – оно что, тоже вот-вот должно умереть? Если я продолжаю жить, как утка, которая еще бегает пару минут с отрубленной головой в силу рефлекса, то эта мнимая жизнь продлится до тех пор, пока информация о моей смерти не дойдет до всех нервных узлов... Может, некий контрольный пункт в самых глубинных структурах мозга еще не в курсе события и действует

наперекор общему процессу или отказывается сдаться? Этакий центр управления полетом, который срочно катапультировал мой интеллект в виде спутника, чтобы сохранить обозревающее устройство — только зачем?

Откровенно говоря, все это меня очень мало колышет. Единственное, что могло бы представлять для меня интерес в плане посмертной жизни, это возможность воскреснуть. То есть вернуться в свое тело на денек-другой или пускай хоть на несколько часов. Успеть кое-что привести в порядок, кое-что доделать — самое важное и дорогое. Закончить картину, изменить завещание, написать письмо сыну, перевести на один счет дивиденды по акциям и страховку, сменить аккумулятор в моем "форд-ферлейне", который стоит и ржавеет под чехлом, да прокатить отца вокруг озера и, наконец, насладиться еще разок телом Наилы и пряным фондю по-савойски с сухим вином. Пребывать в виде чистого духа — это не по мне. Если нельзя активно действовать, участвовать в жизни, общаться, лучше уж совсем исчезнуть. У меня не созерцательная натура.

Кварцевые цифры на часах сменяют друг друга под мерное дыхание Наилы, к которому каждые десять минут присоединяется урчанье холодильника. Кажется, время идет для меня так же, как при жизни, но бег секунд больше ничего не значит, никуда не направлен. Скучно. Я попробовал молиться, препоручить свою душу Кому (с большой буквы) подобает, но почувствовал себя необслуженным клиентом в ресторане, который старается привлечь внимание официанта, и замолк из чувства собственного достоинства. Господи Боже (если Ты существуешь — до настоящего момента у меня нет на этот счет никакой информации...), Господи, какая скука! И, сдается мне, это еще только самое начало.

Несколько раз я делал попытки воссоединиться с плотью. Собрав все силы, о которых решительно ничего не знал: какие они, как действуют и существуют ли вообще, — пытался сконцентрироваться и вернуться в себя, втиснуться в тело, как в тесный ботинок. Черта с два! Тужился, тужился, прилаживался так и этак, искал точку опоры, и все без толку — все равно оставался снаружи. Добился только продолжительного урчания в животе, да и то неизвестно: может, это результат независимой от моей воли химической реакции.

Впрочем, желание вернуться в тело скоро прошло. Какой-то внутренний инстинкт — или стремление оправдать неудачу — говорил мне, что если бы мне и удалось обрести свою оболочку, то я остался бы заточенным в ней, пока она не рассыплется в прах. Нет, лучше уж поскучаю в нематериальном состоянии над холодильником, чем буду медленно разлагаться по законам биологии. Если все равно предстоит воскреснуть из праха — в конце концов, возможно, я нахожусь лишь в преддверии, на стадии первоначальной подготовки к новой, еще не изведанной форме существования, — чего ради тянуть волынку?

Без четверти восемь я смирился с неизбежным — окончательно признал свою смерть. И это вовсе не было капитуляцией. Все мои потуги горе-спасателя, целителя-телепата вновь завести сердце, восстановить дыхание и кровообращение казались теперь глупыми и жалкими. Оглянешься — так даже смешно. Я улыбнулся. Как бы это объяснить? Стоило мне успокоиться, принять свое, так сказать, посмертное состояние, как все компактное пространство моего трейлера, с красками, кистями, мольбертами и спящей натурщицей, прояснилось, стало бо-

лее ко мне расположенным, более приязненным, что ли, — отсюда ощущение улыбки, вот как говорят: "улыбается жизнь". Перестав бунтовать, я как бы вписался в отлаженный миропорядок, и природа радовалась этому. Конечно, все это очень субъективно, но что я могу поделать, в моем-то положении!

Итак, вот уже сорок пять минут я покорно слежу за скачущими на экранчике зелеными цифрами и жду. Жду, что будет дальше. Жду, чтоб проснулась Наила и увидела меня. Она первой удостоверит мою смерть. Посмотрит, откажется верить, испугается, расстроится — и это будет окончательным закреплением происшедшего. Тем самым мое бытие будет исчерпано. Сначала я стану покойником для нее, потом для моего семейства, и их скорбь вольется в мою память. Если мое мышление и дальше не потухнет, я обрету свою проекцию в другом измерении — в зеркале чувств моих ближних: горя, любви и обиды, — которые вызовет мой внезапный конец. И уже не буду одинок.

Пока же я парю над холодильником под усыпляюще-ровное дыхание Наилы, словно привязанный к своему телу невидимой бечевой. Однако, повторяю для сведения живых, если кто-нибудь из них меня слышит (хотя мои первые попытки установить контакт потерпели неудачу): это единственное изменение, которое я могу отметить. Теперь, когда недоумение, протест и страх перед неизвестностью, бушевавшие во мне поначалу, улеглись, я чувствую себя как обычно. Разве что ощущаю, ввиду прерванной связи между сознанием и мышцами, некоторую расслабленность и неприкаянность, но в этом для меня нет ничего нового. Я и при жизни был весьма легковесным.

Если что и омрачает мой покой, так это мысли о Наиле. Она первый раз согласилась остаться у меня в трейлере, под окнами жены. Я умоляю ее проснуться и уйти, чтобы не оказаться замешанной в моей смерти, избежать скандала. Фабьена все знает или, по крайней мере, догадывается, и, по-моему, ей на это плевать, но родители Наилы — правоверные мусульмане, и они ей не простят. У нас с ней все было безоблачно... И вдруг такой конец! Представляю, что начнется: подозрения, допросы в полиции, пересуды, злорадные расистские россказни, косые взгляды — шум на весь городок. Проснись скорее, радость моя, пожалуйста, проснись и уходи!.. Я так хочу остаться живым в твоей памяти, в нашей любви, которая касается только нас двоих. Беги скорее, и, может, успеешь забрать меня с собой; может, я поселюсь в твоих воспоминаниях, как знать... Проснись же!

Не слышит. Коснуться ее я не имею никакой возможности, проникнуть в ее сны тоже не могу. Какое горькое бессилие.

Мне вспомнились все теории и верования, которыми нам прозудили уши на земле. Тридцать с лишним лет я был убежден, что после смерти существует Нечто. А выходит, после смерти нет ничего. Одно только мое "я" — и больше совсем ничего. Единственное любопытное явление, которое я отметил с семи часов двух минут — я принял за точное время своей кончины показания кварцевого будильника в момент, когда увидел его из позиции "над холодильником", — касается памяти. Она как будто подчинялась теперь некоему ритму, подобному вдоху и выдоху, приливу и отливу: меня по временам захлестывал, помимо моего желания, поток воспоминаний о чем-то давно забытом, незначительном или смутно неприятном, что давно было вытеснено временем. Ничего особенно интересного, и я уже начал жалеть, что не прожил жизнь бур-

но, экстравагантно, бесшабашно и экзотично... Если я обречен после смерти пересматривать всю цепочку нудных мелочей, из которых она состояла, — ничего себе развлеченьице! Или это, что ли, и есть рай и ад? Ты на целую вечность заперт один, и тебе снова и снова, до бесконечности, прокручивают день за днем все, что ты делал, пока был жив. В таком случае участь какого-нибудь наглого гуляки, нераскаявшегося грабителя или удачливого садиста вполне может оказаться куда завиднее участи обычного порядочного человека, который никогда не делал ничего дурного и жил в мире со своей совестью.

Гляжу на тело, из которого меня выставили без всякого предупреждения, — вот он я, этот парень с голым белым задом, что валяется впритирку к стенке, долговязый, дрябловатый, нескладный, лежит, засунув палец между двадцать четвертой и двадцать пятой страницами романа Ламартина. Что я оставил после себя на земле? Что толку было от моего существования? Всю жизнь я хранил верность юношеским мечтам, которыми сам пресытился; всю жизнь лелеял образ идеальной женщины, неизменно желал добиться внутренней гармонии в своих картинах, мазал полотно за полотном, чтобы они служили перегородкой между мной и обыденностью; наблюдал, как стареет мой отец и растет мой сын, и старался не показать им свое разочарование; обожал озеро Бурже, книги Александра Дюма, запах мокрых кипарисов, бургундское вино, фондю, оперы Верди и песенки Брассанса, заварные пирожные, тихий снег и первое пятно краски на полотне, которое еще вольно стать чем угодно. Я любил жизнь, но обходился малым; путешествовал по миру на своем неподвижно стоящем прицепе, и если не отъезжал далеко от дома, зато ничего не потерял в пути. Прожил сравнительно благополучно и ушел из жизни, как выходят из-за стола, учтиво поблагодарив шеф-повара. К чему ругать меню, раз сам его выбрал, оспаривать счет, выпрашивать добавку? Будь мне отпущено еще с десяток лет, я с удовольствием прожил бы их, а нет — легко обойдусь. Все равно, сколько бы времени тебе ни было отпущено, гением не станешь, а все остальное мне успело надоесть.

Конечно, все было бы иначе, если бы я был нужен тем, кто мне дорог. Но сын меня не любит, отец ругает, а жена давно не замечает. Люсьен ставит мне в вину, что я не имею достаточного веса в глазах его друзей и учительницы, отец обижается, что я уже не ребенок, Фабьена прекрасно справляется с лавкой — я лишь наследник стен. Ну а Наила... Наила торгует путешествиями в турагентстве "Хавас", я для нее — лишь эпизод, найдутся другие клиенты, посвободнее, которые забредут полистать каталоги.

Я не хочу сказать, что моя смерть как-то оправдана, но не было и никаких доводов, чего бы ради ее откладывать. Пустота, которая после меня останется, заполнится довольно быстро. Мой уход всем на пользу: Люсьену наконец будет чем похвастаться, папа сможет еще глубже погрузиться в прошлое, обложившись моими детскими фотографиями, а Фабьена поспешит забетонировать заросшую бурьяном площадку, которую занимал трейлер, чтобы расширить место для склада. Все без меня пойдет отлично. Возможно, это единственный отчет, который я смогу представить Кому надлежит, но, как мне кажется, если мои руки пусты, значит, они уж точно чисты.

Ну вот. По-моему, я испытал свою совесть — проверка закончена. Если Ты этого дожидался, чтобы появиться. Я готов. Можешь дать о

себе знать. Чем больше минут сменяется на экране часов, тем больше я убеждаюсь — вот-вот произойдет нечто: меня позовут, словно пациента из очереди перед врачебным кабинетом.

Интересно, кто мне откроет дверь, кто вызвался или кому поручено меня встречать? Ангел-хранитель, Судия, мать, которой я так и не узнал, бабушка с дедушкой, которых мне так не хватало, светящееся существо, возникающее в конце туннеля, как рассказывают некоторые из побывавших одной ногой в могиле и вынесших из состояния комы непоколебимо-безмятежный взгляд и тоску по смерти, которая не пожелала взять их? Или, может, перевозчик душ через реку забвения? Или инспектор, который будет проверять мои счета? Или крылатый казенный адвокат, который выделен защищать меня против рогатого прокурора?

Дожидаясь, что же будет, от нечего делать еще раз мысленно проглядываю свою жизнь.

На полу, завернутые в бумажный носовой платок, валяются два презерватива — свидетели моей последней ночи в этом мире; комок у самого мольберта, где сохнет портрет Наилы, которому суждено остаться незавершенным.

Меня звали Жак Лормо, я проживал по адресу: Экс-ле-Бен, авеню Терм, дом 64, мне было почти тридцать пять, но все говорили, что я на них не тяну. Я и вообще-то ни на что особенное в жизни не тянул. Вот уже пять с половиной поколений Лормо торгуют скобяным товаром, дело передается от отца к сыну, меня же семейное призвание обошло стороной: покупатели меня раздражали, цифры не лезли в голову, инструменты валились из рук. К счастью для моего отца (который терпеливо, хотя и не слишком веря в успех, пытался направить меня на истинный путь), я повстречал Фабьену.

Первое время после того, как отец оставил нам магазин, она из уважения к нему еще делала вид, что я участвую в торговле. Продолжала его игру. Стояла за прилавком и при случае призывала меня на помощь. "Жак, объясни мадам Бофор, что бельевая веревка продается в мотках по двадцать метров, а меньше отрезать нельзя". Но мадам Бофор долго и нудно убеждала меня, с мерками в руках, что ей нужно от силы шесть с половиной метров, и я, чтобы она отстала, в конце концов шел и отрезал ей эту веревку, так что Фабьена вскоре понизила меня по служебной лестнице. Я же был только рад спускаться по ступенькам, на которые меня заставил вскарабкаться отец. От продавца-консультанта к кассе, от помощника кассира в отдел оборудования для ванных комнат, оттуда, поскольку я валялся в ваннах и читал "Три мушкетера", меня вежливо переместили подальше с глаз на второй этаж, к болтам и гайкам, которые я отвешивал по заказам Фабьены; она передавала их по внутреннему телефону, а я, при большом наплыве покупателей, его выключал и потому вскоре очутился в подсобке, где, как когда-то в пятнадцать лет, распаковывал картонные коробки. Постепенно жена отказалась от мысли добиться от меня хоть какого-то толку, привыкла, что меня никогда нет рядом, и я мог спокойно вернуться к своим картинам и устроиться в трейлере "эвазьон-400 L", свадебном подарке отца.

Между тем картина у меня перед глазами сменилась на другую. Меня словно охватило тепло, я слышу пение птиц, далекий гул винтового самолета. Мне пять лет, и я только что нечаянно наступил на улитку в саду нашего дома в Пьеррэ. Можно подумать, это самое важное собы-

тие в моей жизни — я все время мысленно к нему возвращаюсь и вновь, обрывками, его переживаю. То вижу всю сцену целиком, то в сжатом виде, то со всеми ближайшими и дальними последствиями. Вот я поднимаю улитку и кладу ее на листок орешника. Раковина разбита, рожки поникли, скользкое тело съежилось. Я заливаюсь слезами. Бегу домой и выпрашиваю у занятой стряпней бабушки вилку для торта и скотч, устраиваюсь со всем этим хозяйством в кухне за столом и пытаюсь починить ракушку — складываю осколки один к одному, а на пустые места вклеиваю картонные заплатки. Потом кладу раненую в коробку из-под шоколадного печенья, подстилаю ей листочек салата и выставляю коробку на подоконник, на солнышко. Улитка не шевелится, но это просто потому, что она еще боится. Папа выслушал мой диагноз, затягиваясь трубкой, и, выпустив дым, покачал головой. Я должен был, как он считает, воспользоваться листьями салата в натуральном, а не кулинарном виде или уж хотя бы, рассуждая с чисто психологических позиций и из деликатности по отношению к улитке, стряхнуть с них резаный чеснок. Все эти, казалось бы, давно забытые слова, из которых я тогда мало что понял, воспроизводятся в моей памяти с чеканной точностью, и вокруг каждого эхом роятся позднейшие ассоциации.

Наступил вечер, а улитка так и не пошевельнулась. Мне было ясно, что она умерла, но я не мог признать это перед взрослыми и уверял, что я ее вылечил, демонстрируя засохшие листья салата, якобы ею *обгрызенные*. Папа кивал, бабушка же считала, что потакать моим иллюзиям нехорошо и жестоко. Она показывала мне на цепочку муравьев, которая протянулась по картонной стенке коробки прямо к застывшей в салатных грезах выздоравливающей. Я давил муравьев по одному пальцем — нечего, навещать больную еще рано. Папа налил полную компотницу воды и пустил реанимационный бокс плавать по поверхности, чтобы непрошеные посетители утонули. Бабушка со вздохом пошла спать.

Посреди ночи я встал и в пижаме вышел в мокрый от росы сад. Тщательно прочесав в лунном свете треугольный участочек в два десятка квадратных метров, где росли гортензии и японские сливы, а над головой скрипел под ветром соседский орешник, нашел-таки точно такую же улитку. Осторожно взял и, объяснив ей ситуацию, отнес в дом, а там переклеил на ракушку, в которую она, конечно же, спряталась, кусочки скотча с картоном. После чего положил невредимую улитку на место пострадавшей, а ту, прочитав над ней "Отче наш", зашвырнул за забор к соседям.

Утром меня разбудил папа и радостно сообщил о чудесном исцелении. Он вытащил из ванной бабушку с зубной щеткой в руке, повлек ее к подоконнику, где стояла коробка, и дрожащим пальцем показал нам обоим на залатанную скотчем воскресшую улитку — она безмятежно завтракала листиком цикорного салата. Я напустил на себя скромный вид, а бабушка поздравила меня с прекрасным самочувствием пациентки и протянула руку, чтобы сменить салатный лист. И тут-то, под листом, она обнаружила вторую улитку, украшенную точно такими же скотчевыми заплатками, которая шевелила рожками, обследуя внутреннюю поверхность коробки. Видимо, нам с папой пришла в голову одна и та же мысль. Не говоря ни слова, мы посмотрели друг на друга с полным взаимопониманием, которое существовало между нами много лет и притупилось только с появлением в нашей жизни Фабьены.

— Жак!

Ее голос замутняет кадр, и снова меняются декорации. С пола до потолка стеллажи с металлическими ящиками, и на каждом вместо ярлыка отвертка, или гвоздь, или шпингалет, или пассатижи разных калибров — моя супруга, придумавшая это новшество, постановила, что это лучшее украшение лавки и одновременно стимул что-нибудь купить. Если покупатель не знает названия нужного ему предмета, ему достаточно ткнуть пальцем, не уронив своего достоинства. За десять лет Фабьена подняла процент прибыли, и без того вполне приличный, до сорока. Она приписывает этот успех своим способностям психолога, но, по-моему, куда большую роль тут сыграли ее внешние данные — в двадцать восемь лет она сохранила безупречную фигуру и легкую походку, благодаря которым в 1986 году завоевала титул "вице-мисс Савойя", вот только скандинавски-белокурые волосы несколько потускнели под неоновым освещением торгового зала, превратив ее в типичную блондинку-продавщицу.

Фабьена стоит около приспособления для мытья паласов и зовет меня. Не знаю, перенесся ли мой дух в магазин, или это воспоминание.

— Жак, мадемуазель Туссен хочет посмотреть последний каталог автокосилок от "Массей-Фергюсона".

Воспоминание. Вот я вылезаю из витрины и несу мадемуазель Туссен каталог новейших косилок. Ну а эта картинка мне зачем? Что за важность в этой беседе о преимуществах усовершенствованного подвесного бака-травосборника по сравнению с моделью D-93? Или из всей моей земной жизни не нашлось припомнить ничего более стоящего и приятного? Я еще понимаю — эпизод с улиткой, он имеет какую-то весомость, какой-то смысл, возможно даже символический, но снова выслушивать брюзжание мадемуазель Туссен по поводу ее садового инвентаря — это-то чего ради?

Я и без того слово в слово знаю все, что скажет эта карга и что я ей отвечу.

— А систему приводных ремней к лезвиям они улучшили? А то у меня за сезон срывались трижды — не успеешь включить.

— Это еще и потому, что вы слишком коротко подстригаете, мадемуазель Туссен. Я ведь вам говорил, что надо ставить переключатель на цифру два.

— На цифре два газон похож на плешивого ежа, а я хочу, чтоб он был гладенький, как поле для гольфа, я уж вам сто раз повторяла!

Вот стерва. Семьдесят лет, железное здоровье, сухонькая, как девчонка, на лице ни морщинки, глазки змеиные, седые волосенки забраны в хвост резинкой, иссиня-черное платье и дутая куртка в любое время года, собачья корзинка на руке, здоровенные розовые кроссовки "Палладиум" на литой подошве, оставляющие великанские следы, — ее ноги похожи в них на зубочистки, воткнутые в закусочные мини-колбаски. Сколько раз я пытался спихнуть ее нашим конкурентам, но нет: у нее самое крупное в Эксе состояние, и она желает отовариваться в самом крупном скобяном магазине. Поэтому каждые две недели является менять свой инвентарь, требует "хозяина", каковая роль возлагается по этому случаю на меня, и я обязан выслушивать ее претензии, пока не подпишу ей чек. Мы оба понимаем, что это комедия, но ей так интереснее жить. В общем-то, я ее понимаю. До шестидесяти трех лет она была сиделкой при своей деспотичной и придирчивой матери, ко-

торой принадлежало две трети всех местных гостиниц, и та всячески ею помыкала. Они ездили по городу в старой "симке-аронде", мегера-мамаша позади, дочка впереди за шофера. Колесили на лысых покрышках от "Бристоля" к "Бо-Риважу", от "Гранд-отеля" к "Королеве Гортензии", проверяли, не растащили ли вилки, сколько заказано номеров, на месте ли персонал, урезáли расходы на ремонт сантехники.

Каждый раз, когда мадемуазель Туссен делала робкую попытку нарушить заведенный порядок, например заикнуться о том, что неплохо бы включить центральное отопление в трехкомнатной квартире, где они жили, или купить пару новых покрышек, мегера неизменно отвечала: "Вот умру – делай что хочешь". Сразу после кончины матери мадемуазель Туссен распродала все гостиницы, купила себе спортивный "ламборгини-дьябло", парк в три гектара в центре города, в котором отгрохала уродливую коробку с солнечными батареями, и теперь проматывает свое наследство, путешествуя по свету и покупая газонокосилки.

– Позвоните в "Массей-Фергюсон", Жак, и спросите напрямик насчет приводных ремней.

– Там занято, – слышу я свой ответ.

– Наберите еще раз. Я не тороплюсь.

Единственное, что у нее есть хорошего, так это ее собака. Старый, облезлый, глухой и кривой пудель, которого она всюду таскает с собой, а он, бедняга, еле дышит, сидит забившись в свою корзинку и цепляется за жизнь, чтобы никому не причинить лишних хлопот.

– А то ишь какие хитрые: делают ролики побольше, пропускают ремни потолще, а усовершенствовать саму систему подвода лезвий и не думают!

– Всего хорошего, мадемуазель Туссен.

Чтобы заставить себя произнести эти слова, я собрал все силы и предельно напрягся – едва я произнес их, как сцена оборвалась.

И вот я в каком-то желтоватом тумане и среди полной тишины. А ведь это уже прогресс. Коль скоро я способен бороться с пошлостью, которой были наполнены мои дни, и изыскивать в памяти средства проветривать свою избирательную память, то пытку – если меня пытают – еще можно вынести. Или это еще цветочки? Господи Боже, кто бы Ты ни был, Тот, во имя Которого меня крестили, или Другой, избавь меня от полного беспамятства, от потери личности и ее окружения, от пустоты. Теперь-то я знаю, что именно этого боюсь больше смерти.

Я не хочу совсем исчезнуть. Эта желтая дымка, поначалу показавшаяся мне такой уютной, теперь вдруг превратилась в удушливую клоаку, каменный мешок. Я согласен снова плыть против течения, снова ухватить нить своей жизни, согласен проштудировать все входящие в программу воспоминания, как будто готовлюсь к какому-то экзамену.

Ну вот – что-то вырисовывается, туман редеет и уступает место интерьеру магазина. Я снова в левой витрине, там же, где был, когда меня позвала Фабьена. Может, я совершил скачок во времени и эпизод с приводными ремнями, длившийся около часа, ужался? Как бы не так. Мадемуазель Туссен стоит на другой стороне улицы, повелительно потрясая сложенным зонтиком – пытается остановить поток едущих на зеленый свет машин. Я не только не сократил сцену и не обошел ее стороной, а наоборот, угодил к самому началу, к той точке, от которой еще недавно так отбрыкивался. Ничего, главное – все-таки вернулся. С тех пор как Фабьена отказалась от мысли приохотить меня к скобяному делу, она

требовала от меня только одного — физического присутствия, а то мало ли какие пойдут разговоры. Поэтому я демонстрируюсь. Раз в неделю переоформляю витрину. Прохожие видят меня за работой — я занят делом, соответствую своему положению, продолжаю семейные традиции; они здороваются, я отвечаю. К Рождеству я усыпаю витрину снегом, к Пасхе украшаю яйцами, к Сретенью — блинами, к 8 мая — игрушечными танками. И каждый год получаю первый приз от коммерческого общества нашего района. У меня бывает "египетская" неделя — с выложенными из банок с краской пирамидами и рекламными надписями на свитках самоклеящегося "папируса"; "каникулярная" декада — с пароходами, зонтиками и шашлычницами, расставленными на дюнах из настоящего песка. Но мне самому больше всего нравится экспозиция ко Дню отцов. Я раскладываю в витрине дисковые пилы, электрические ножи — хватит, чтобы вырезать всех любимых домочадцев; этот арсенал наводит несчастных отцов семейств на мысль о бойне под визг и рокот механических орудий убийства, о живописных кровавых оргиях среди праздничных гирлянд и транспарантов с надписями "Поздравляем папочку!".

Возвращаются из школы детишки и останавливаются поглазеть на мое творчество. Я строю им рожи — они гогочут. Выходит на минутку освободившаяся от клиентов Фабьена и гонит их тряпкой. Но, едва она скрывается в дверях, мои зрители прибегают опять. Я надеваю себе на шею деревянное сиденье от унитаза, показываю руками в садовых перчатках "Мультифлекс" разных чудищ, расстреливаю их электродрелью, они целятся в меня пальцами, я падаю, корчусь под рекламными плакатами на усыпанном бумажными цветами полу и умираю в страшных муках, на секунду останавливая взгляд случайного прохожего, — дети же покатываются со смеху. Я так люблю детский смех. Мой сын никогда не смеется. Он стесняется моего шутовства и всегда отворачивается, проходя мимо витрин. Если я захожу за ним в школу, он делает вид, что не замечает меня. И, щадя его чувства, я иду поотстав на десяток шагов.

Витрину отделяют от магазина зеленые шторы, которые я задергиваю, когда устраиваю свои представления. Фабьена примерно догадывается о том, что происходит за ними, и переносит испытание с восхищающим клиентов стоическим видом. "Бедная мадам Лормо", — сочувственно вздыхают они, искоса поглядывая в мою сторону, и Фабьена делает им скидку. Об этом знают все постоянные покупатели, так что в дни оформления витрин в лавке полно народу. В конечном счете еще и набегает прибыль, так что мое кривлянье нежданно-негаданно оборачивается рекламной кампанией.

Только один раз, первого апреля, мне удалось вывести Фабьену из себя: я повесил на витрине табличку "Закрыто на инвентаризацию". Все утро Фабьена проторчала за прилавком, не понимая, что происходит, — грызла ногти, шпыняла прохлаждавшихся без дела продавцов. Время от времени она выходила на улицу посмотреть, не идут ли покупатели, и тогда я снимал табличку, а сам продолжал как ни в чем не бывало украшать весеннюю витрину: размещал удочки под пластмассовой яблоней в цвету.

За обедом Фабьена не проронила ни слова, потом вдруг вскочила, схватила ключи от своего "мерседеса-300 D" (у нас есть "мерседес", чтобы показать, какие мы стали шикарные, и простой дизель-фургон, чтобы показать, какие мы остались скромные) и куда-то укатила на час. Потом я узнал, что она ездила к двум нашим главным конкурентам — к

Франсуа-Филиппу и в "Товары для дома — 2000", — чтобы их уличить: она решила, что они сбивают цену, делают скидку больше установленного префектурой лимита.

Шутка блестяще удалась, но реакция Фабьены, когда я во всем признался — просто поздравил с первым апреля, — меня ошеломила. Она оглядела по очереди всех служащих — они все были моими сообщниками и чуть не фыркали, дожидаясь, когда настанет минута всеобщего веселья, — и заплакала. Беззвучно и неудержимо, прямо на людях. Продавцы по одному улизнули в подсобку, чтобы там отсмеяться вволю. А я стоял и смотрел раскрыв рот: эта холодная красавица, совсем чужая мне, которую я сначала видел в платье с блестками и диадеме, с цветущей лучезарной улыбкой, с почетной лентой "мисс" через плечо, а потом сразу превратившейся в работящую, упорную, рачительную хозяйку, одинаково ответственно выполнявшую функции главы фирмы и примерной матери, — эта женщина вдруг предстала передо мной девчонкой с зеленного рынка, какой была до того, как мы встретились. Маленькой, неопытной, продрогшей на холодном ветру, которую тиранят родители и презирают другие торгаши.

Я обнял ее, попросил прощения, и мы в последний раз были близки. Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, а на другой день предложила мне отныне спать в гостевой комнате. Я возражал: подумаешь, неловкая шутка, у меня и в мыслях не было ее обижать. "Вот именно, — сказала Фабьена. — В том-то и дело, что ты даже не подозреваешь, когда и чем причиняешь мне боль". С тех пор мы только сохраняли видимость супружеских отношений перед сыном или когда шли на вечер в Лайонс-клуб, куда я изредка соглашался пойти для порядка. А из гостевой комнаты я вскоре перебрался в трейлер.

Прекрасно понимаю, почему возникло воспоминание об этом первом апреля и почему оно было таким ярким, таким болезненным. Иначе не могло и быть. Я знаю всю свою вину перед Фабьеной, знаю, что несправедливо пренебрег ею из-за своей инертности, неизжитого мальчишества, обиды на то, что ничего не сумел сделать в жизни. Легче всего было переложить вину за это на нее. Счесть, что мою свободу загубил ребенок, которого я не хотел. Ребенок, так похожий на мать, в котором нет ни чувства юмора, ни лени, который начисто лишен художественной жилки. Музыка, живопись, книги оставляют его совершенно равнодушным. Ему хочется только одного: приносить пользу, быть допущенным в мир взрослых. Он с удовольствием обслужит покупателя, наклеит ярлычок на инструмент, отмотает проволоку, измерит трубы. В восемь с половиной лет он умеет отсчитать и дать покупателям сдачу — когда-то меня учил этому мой отец. Я словно снова вижу себя маленьким, только я притворялся, делал вид, что мне это нравится, а он, по-моему, нет. Вполне искренне произносит: "Благодарю за покупку, до свиданья!" А когда покупатели, видя, что он еле-еле возвышается над прилавком, и то на цыпочках, спрашивают: "Что ты хочешь делать, когда вырастешь большой?" — отвечает: "То же самое". И с нетерпением поджидает из месяца в месяц, пока подрастет и дотянется до следующего ящика в стеллаже.

На первом году его жизни у нас с ним как-то выдалось несколько счастливых недель. Фабьена упала и сломала ногу, подвешивая на место какой-то инструмент, и я вставал рано утром покормить малыша из бутылочки. При тусклом свете ночника я рассказывал ему длинные ис-

тории про ковбоев. Ему, кажется, нравилось, он ждал продолжения, радовался, срыгивая молоко. Как только Фабьене сняли гипс, она снова взяла кормление в свои руки — я, по ее мнению, все делал не так. Плохо стерилизовал, мало скармливал, ребенок худел на глазах, и т. д. Я по-прежнему валялся по утрам сколько хотел, было обидно, но ничего не попишешь — наверное, она права, и я действительно "ни на что в жизни не годился".

Когда Люсьен заговорил, я хотел опять начать рассказывать ему истории, но одним из первых его слов было: "Почему?" Каждое утро, как только его мать уходила в магазин, я тихонько вылезал из постели, шел в его комнату, перешагивал через барьер манежа, садился на корточки посреди всяких кубиков и начинал: "Жил-был на Дальнем Западе шериф по имени Уильям". — " А почему?"... Очень быстро я бросил эту затею.

— Жак, мадемуазель Туссен хочет посмотреть последний каталог автокосилок от "Массей-Фергюсона".

Среди детских бутылочек, косилок и больных улиток я пытаюсь сосредоточиться на мысли о Наиле. Сейчас без пяти девять. Наила все еще спит, и будет полный кошмар, если Фабьена так и обнаружит нас: голых, в обнимку, ее — такую молоденькую и меня — мертвого. Никаких сведений и никаких предчувствий относительно будущего у меня нет. Только смутный страх и уверенность, что необходимо срочно что-то сделать. Я пытаюсь удержать кадр: мое тело в трейлере в данный момент. Умоляю Наилу проснуться, потрясти меня, пощупать пульс, понять, что случилось. И, главное, не суетиться. Ты ничем мне не поможешь. Я люблю тебя. Проверь, чтобы не осталось никаких следов того, что ты здесь была, никаких следов этой ночи, убедись, что никто тебя не увидит, и беги, прошу тебя! Сделай это для меня. Не хватало только, чтобы эта заваруха коснулась тебя.

Но она спит, в полной отключке, и, похоже, дышит еще ровнее.

Ну вот, все мутится, Наила становится прозрачной, предметы тают — я снова улетаю. Куда: к улитке или в магазин? Нет. Теперь я на озере, на паруснике Жана-Ми. Ветер крепчает, надо быстро маневрировать, а я путаюсь в фалах, спотыкаюсь о якорь и пытаюсь выполнять поток указаний, который обрушивает на меня мой шкипер.

— Спускай, спускай парус, дубина! Жуткий ветер — нас снесет! Берегись — байдарка по правому борту! Поворот! Жак! Вот тупица! Байдарка, говорят тебе, по правому борту! Слышишь меня? Поворачивай!

Ничего я не слышу. Капюшон сполз мне на глаза, лицо все мокрое, меня трижды огрело по голове реей, байдарка полированного красного дерева надвигается вплотную — и мы в нее врезаемся.

— ...температура в тени на рассвете: в Шамбери — минус четыре — ничего себе! — в Экс-ле-Бене чуть теплее — минус два, ну а в горах лучше не вылезать из-под одеяла...

Девять часов — включилось радио. Наила проснулась, вскакивает как встрепанная, наклоняется ко мне, целует в затылок и шепчет скороговоркой:

— Побежала, кофе пить уже некогда. Все было чудесно.

Ну, спасибо! Она вскакивает, влезает в трусики, джинсы, свитер.

— Хорошая новость для лыжников: снег в горах ожидается уже на высоте четырехсот метров. Давно пора. Верно же, Кристоф?

Наила выскользнула из прицепа и оставила меня наедине с "Радио

Савойя". "Побежала"... Вот так. Сам не знаю, рад я или огорчен. Кажется, всей душой желал, чтобы ее эта история со мной никак не коснулась, а теперь, когда мое желание исполнилось и я должен быть доволен, что волей случая у нее даже не испортилось настроение, мне жаль, что не она первая найдет меня мертвым. Мне бы хотелось услышать, как она заклинает меня вернуться, просит сказать, что я ее люблю... Утопить мою печаль в ее слезах... С Фабьеной я бы так легко не отделался. Получил бы по всей программе: и "скорую", и "реанимацию", и сердечный массаж, и электростимуляцию. И все это, разумеется, без толку. Удрать бы от этой скукотищи: медицинской возни, бумажных формальностей, дружной скорби... Уйти вместе с Наилой, увязаться за ней, тенью проскользнуть в ее комнатку под самой крышей на улице Верден. Посмотреть, как она принимает душ, как укладывает и закалывает свои непослушные курчавые волосы, надевает строгий костюм служащей турагентства и бежит на работу; сейчас усядется за стеклянной перегородкой, расцветет дежурной улыбкой, и пожалуйста — обворожительно-вежливая Наила готова со знанием дела распродать весь свет, это она-то, ничего, кроме Сарселя, Мюлуза да Экс-ле-Бена, в жизни своей не видавшая.

Но, похоже, оторваться от себя мне не дано. Три раза я приказывал себе: "Ухожу!" — но ничего не получалось. Значит, я обречен витать в трейлере, привязанный к своему телу, фигурально говоря, бродить из угла в угол и вытерпеть все: хладнокровную деловитость Фабьены, бурные переживания отца, серьезность Люсьена — представляю, как он встает со своего места посреди урока, после того как директор, этот надутый индюк, вдруг зашел в класс и торжественным тоном сообщил учительнице: "Лормо должен срочно идти домой — у него в семье случилось несчастье".

Я уж не говорю о двух завернутых в салфетку использованных презервативах и неоконченном, но, скажу не хвалясь, уже имеющем явное сходство с моделью портрете Наилы — то-то будут находки! Вот идиотизм! Умереть так нелепо! Было бы в тысячу раз лучше страдать, задыхаться, сколько угодно часов биться в агонии — но чтобы все было в ажуре, чтобы никому не дать повода вспоминать обо мне с обидой, горечью, издевкой. Вот он — мой ад. Наказание за грехи наступит, как только они начнут думать обо мне как о покойном. Я буду корчиться по их милости в муках совести и дожидаться, пока их мысли не займет что-нибудь другое. Пока они не забудут меня окончательно.

Мне так нужна твоя любовь, Наила. Устоит ли она в потоке грязи, которая на тебя польется?

— ... влейте в кипящую смесь взбитые белки, снимите ее с водяной бани и продолжайте помешивать. Подайте на стол с бутылочкой бургундского.

— Спасибо, Кристоф. А теперь послушаем "Люблю тебя до гроба" — прямо разрывается сердце! — в исполнении Франсиса Кабреля, эту песню Патрик просит нас послать своей Карине, которую он нежно целует и просит не сердиться за последнюю встречу в "Алькателе", а затем — "Ваш гороскоп", у микрофона Шанталь.

— Ты все перепутала, Ванесса, гороскоп сначала.

— О, прошу прощения — гороскоп так гороскоп.

— Вроде бы ты вчера не пила, а послушать — как с бодуна.

— Гопля, говорит "Радио Савойя", слушайте нас на частоте девяносто два и три десятых килогерца, ваше радио — "Радио Савойя"!

Не хочу жаловаться, но если бы как-нибудь вырубить это чертово радио... А то от дикой мешанины из рекламы, жизнерадостных голосов, причитаний мадемуазель Туссен и страстей вокруг улитки можно спятить. Пытаюсь отключиться от этого мельтешенья и сосредоточиться на каком-нибудь весомом эпизоде, вынырнуть в значительном моменте прошлого, обрести контроль над своей памятью, но все зря – так и продолжаю кружить на автопилоте.

– Овен: будьте осмотрительны в делах, возможны осложнения в личной жизни. Телец: у вас чешутся руки – вперед, ваш час настал...

И вдруг – я снова на паруснике, восемьдесят шестой год, мы с Жаном-Ми на озере Бурже.

– Ну давай же, обормот! Убирай кливер! Да ты совсем безрукий – не видишь, нас заносит в другую сторону?!

– *"Расстались мы, конец любви..."*

– Берегись – получишь реей по башке! Ну вот! Жак!!! Совсем, что ли, оборзел?!

– *"Но оглянись и позови. И спасены мы оба. Мы оба, мы оба. Люблю тебя до гроба..."*

Мы снова боднули байдарку. В конце концов Жан-Ми сам спускает парус и бросает якорь, а я перегибаюсь через борт, чтобы оказать помощь потерпевшей, девушке со светлыми, перехваченными обручем волосами. Она честит меня на все корки.

– Жак, ты что, не видишь, сколько времени?! Сегодня вторник. Сейчас привезут товар от Жотюля, займись мадемуазель Туссен – ты обещал ей разобраться с трактором! Ох, все та же музыка!

Фабьена рывком выключает радиобудильник и выскакивает из трейлера. Тишина – какое счастье! Может, возымела действие моя молитва, чтобы кто-нибудь выключил музыку, и поэтому ворвалась Фабьена? Как бы то ни было, мадемуазель Туссен не должна ждать, и если через пять минут я не выйду, жена придет меня трясти. Остается ждать развития событий. Умереть в день поставок – это вполне в моем духе.

Ладно, иду... Вот только побуду еще чуть-чуть на озере, все равно это ничего не изменит... Как настоящий спасатель прыгаю в волны, выуживаю наглотавшуюся воды Фабьену, подсаживаю ее на борт парусника. И только теперь оживает ощущение ее груди под моими ладонями. Нечего сказать – самое время загореться желанием к этой спортсменке, красавице из какого-нибудь фьорда, с бирюзово-синими, как у северной лайки, глазами. Никогда еще ни одна девушка так не поражала меня внешностью, а я даже не спросил, как ее зовут. Мы едва успели обменяться несколькими словами: "Вы что, совсем идиоты, где у вас глаза?!" – "А сами почему не свернули – при таком ветре веслами управлять легче". – "Как теперь догнать мою байдарку?" – "Подождите немножко, свернем наконец парус и пойдем на моторе". Да еще на прощанье она бросила: "Все-таки спасибо. В другой раз будьте осторожнее". А потом влезла в байдарку и поплыла, ритмично взмахивая веслами. Восхищенный Жан-Ми тут же набросился на меня: "Что ты за кретин! Такая классная девочка, а ты – ноль эмоций! Так никогда и не отлипнешь от Анжелики – уже две недели, может, хватит? Теперь моя очередь".

В тот же вечер я снова увидел нашу утопленницу на конкурсе "Мисс Савойя" в зале "Казино". Она была одной из претенденток и выступала под номером 21. Фабьена Понше из Альбервиля, изучает коммерцию, любит природу, оперу, водный спорт. Сплошное вранье: она была улич-

ной торговкой, не могла отличить тополь от ивы, Моцарта от Верди, а байдарка была ей нужна только затем, чтобы перед конкурсом подтянуть грудь и укрепить брюшной пресс. Мой отец, как уважаемый гражданин Экса, входил в жюри наряду с бароном Трибу из Общества спортивных игр, месье Понсом — директором регионального отделения Госэнерго, четой Амбер-Аллер с местного радио, Жаном-Ми, представлявшим кондитерскую фабрику Дюмонсель, доктором Нолларом из водолечебницы и генеральшей Добре, на чьи деньги был обновлен занавес. Председательствующий месье Рюмийо, инженер-гидравлик, заместитель мэра по культуре, время от времени озабоченно наклонялся, чтобы выслушать мнение Бороневски, генерального директора шинного завода "Бора-Пнэ".

Я уже приготовился выслушать объявление результатов, как вдруг кто-то постучал в дверь, которую Фабьена неплотно закрыла.

— Тук-тук! — пропел слащавый, но боевитый голосок. — Вы уже встали, можно войти?

И в трейлер заглянула мадемуазель Туссен. Ну, знаете ли... Мне и в страшном сне не могло присниться, что она и сюда явится меня доставать.

— Поппей, поздоровайся с нашим другом Жаком, — приказала она свернувшемуся на дне корзинки псу.

Дряхлый пудель жалобно поскулил, уткнув нос в клетчатую подстилку.

— Так как же, Жак, вы хотели уточнить насчет моего мини-трактора? Э-эй! Проснитесь!

Я думал, что она передумает входить, увидев, что я голый, но она в тридцать девятом была на фронте сестрой милосердия и принялась бесцеремонно меня трясти.

— Да вставайте же! Вот лежебока! Не то что супруга — она-то с раннего утра за работой!

Тут пальцы ее застывают на моем плече, быстро скользят по руке к запястью и щупают пульс.

— Жак?

С неожиданной для своей кукольной комплекции силой она переворачивает меня. При виде же застывшего лица, приоткрытого рта, остекленевших глаз отшатывается, прикусывает кулачок и восклицает:

— Невероятно!

А затем прибавляет вполголоса, обращаясь к точке на смежной с туалетом стенке сантиметров на сорок выше моей головы:

— Не бойтесь, я тут. Вы умерли. Но все будет хорошо, я вам помогу. Сохраняйте спокойствие, расслабьте свое ментальное тело, вы в переходном состоянии, и вам здесь ничего не грозит. Я скоро вернусь.

Мадемуазель Туссен уходит. А мой дух, по-прежнему наблюдающий за происходящим в трейлере с высоты холодильника, остается смущенным и озадаченным. Последней турпоездкой, которую мадемуазель Туссен предприняла этим летом, было путешествие по Тибету, и вернулась она какой-то странноватой, в ореоле тайны, с глубокомысленной улыбкой и загадочным видом посвященной. Когда в начале декабря она заказывала у нас мини-трактор "Боленс", то поведала мне, что стала буддисткой. И прибавила, перегнувшись через прилавок и озираясь на других покупателей, профанов: "Только тсс!" От неожиданности я сделал помарку в счете, который выписывал ей. Она, святоша каких мало,

исполнявшая во время каждой воскресной мессы почетную роль чтицы второго отрывка из Писания, обличавшая фарисеев, брызгая в священном раже слюной в микрофон; она, флагман прихода, способная сбить весь хор своим суматошным кудахтаньем, неуемная активистка движения "Аксьон католик" и благотворительного кружка по вязанью теплых вещей для солдат стран, ведущих военные действия, — в силу какого внезапного озарения или внезапного затмения могла она обратиться в буддизм? Я представил ее себе в буфете водолечебницы завернутой в простыню, с бритой головой, разъясняющей, позванивая колокольчиками, курортникам их карму. Тогда это показалось мне ужасно смешным. Сейчас — уже не очень.

С минуты на минуту она вернется вместе с Фабьеной, и события начнут ускоренно развиваться. Мне уже будет некогда углубляться в воспоминания, придется иметь дело с данностью, то есть со своей смертью. Со всем ее антуражем, со всеми последствиями, с горем или безразличием, которые она вызовет. Пока никто не констатировал моей кончины, было еще позволительно сомневаться. Теперь же, когда я вижу свое обесточенное лицо с пустыми глазами, мне ясно, что меня больше нет на свете, что конечная дата моей жизни уже написана и скобки закрыты. Разлучат ли меня с телом или уложат в гроб и похоронят с ним вместе, я — это посмертное "я", которое сейчас тут витает, мысль, лишенная отклика, оторванная от поступка, — уже не смогу действовать сам, а буду лишь испытывать на себе чужие действия. Ну, поехали... Пусть входят родственники, пусть начнется эта пытка: слушать их и быть не в состоянии с ними говорить.

Шум заезжающего во двор грузовика с товаром перекрывает возглас "Что?", трижды на разные лады повторенный пронзительно-надтреснутым, вороньим голосом. Это Альфонс. Лучший вариант.

Стук брошенной на плиточный пол лопаты, тяжелый топот до самого трейлера, и вот прицеп заходил ходуном — в него вламывается, едва не сорвав дверь, Альфонс. Рост — метр девяносто, возраст — восемьдесят лет, атлетическое сложение, лицо испанского гранда, на лоб надвинут берет, в сорок втором году он получил воинский орден Почетного легиона за то, что перебил голыми руками шестерых немецких солдат, охранявших какое-то укрепление в Тарантезе. "Это дело случая, — сказал Альфонс награждавшему его после Освобождения префекту. — Они были на своем месте, я — на своем, каждый выполнял свой долг, и все как-то само собой вышло. Я вполне мог очутиться на их месте. И ведь у них были семьи". Альфонс — лучший человек, какого мне довелось встретить на земле. Пятнадцать лет назад, когда его провожали на пенсию, он угостил аперитивом весь персонал скобяной лавки, веселились до полуночи, Альфонс развернул подарки, был страшно доволен, всех благодарил, а на следующее утро в шесть часов был на своем месте. Отослать его ни у кого не хватило духу. Он был и остался нашим самым первым — в смысле "самым старым" — продавцом, но главная его роль в нашей семье — бессменная нянька. Когда-то его нанял мой дед, которого он спас во время Сопротивления, и Альфонс вырастил нас всех: моего отца, мою сестру, моего сына и меня самого, — каждому в свой черед говоря одни и те же слова, читая те же книжки, с каждым играя в те же игры и путая нас всех в памяти, в которой только и есть, что клан Лормо да стихи его названного предка. В далеком 1915 году его младенцем подобрали на скамейке в мемориальном парке Ламартина ("Аль-

фонс де, член Французской академии, 1790–1869. От города Экса с благодарностью") на берегу исторического озера, где поэт, влюбленный в лечившуюся на местных водах чахоточную деву, умолял время остановить свой бег; найденыша приняли монахини и окрестили его Альфонсом Озерэ.

Альфонс упал около моего тела на колени и на мгновение застыл, прижав голову к груди – послушать, не бьется ли сердце, потом встал, перекрестился и, тихо повторяя мое имя, бережно опустил мне трясущимся заскорузлым пальцем правое и левое веко. Слезы наполнили его глаза и потекли по щекам вдоль глубоких зигзагов морщин. Он стал читать "Ave", сбиваясь от волнения на свои любимые александрийские стихи. Мне от его молитв становится очень хорошо, не столько от слов, сколько от мелодии, успокоительной, монотонной. Альфонс невольно впадает в ритм колыбельных, которые он мне когда-то пел. Без лишних причитаний он охватил всю мою жизнь одной мелодией, которой, как он думал, провожал меня на небо. В городе над ним смеются. Он местный дурачок, забавный и безобидный.

– Двадцать пятая страница, – вздыхает он, взглянув на книгу, над которой я заснул. – Надеюсь, тебе хоть было интересно...

Второй явилась вытянувшаяся в струну Фабьена; ее, без всякой к тому нужды, поддерживала мадемуазель Туссен.

– Осторожно, дорогая, тут ступенька.

– Да пустите меня.

Моя жена делает несколько шагов к кушетке. Она реагирует в точности так, как я ожидал. Не выпуская из руки накладную на обогреватели от Жотюля, секунду смотрит на меня, сверкая глазами и сжав губы, а потом, резко отстранив мадемуазель Туссен, которая мячиком отлетает к самому холодильнику, срывается с места – поднимает с пола перину, отталкивает Альфонса:

– Накройте его, и нужно побольше воздуху, окно, что ли, распахните! И быстро вызывайте "реанимацию" и доктора Мейлана – номер записан около кассы!

Альфонс выбегает, прихватив с собой мадемуазель Туссен. Он ничуть не обольщается, но, если Фабьене хочется еще хоть сколько-нибудь верить, что я жив, он готов поднять всех на ноги, чтобы суета на какое-то время отодвинула страшную правду.

Я остаюсь наедине со своей вдовой. И что же – она отворачивается и вцепляется обеими руками в раковину. Не обронив ни слезинки, трижды встряхивает головой, кусая побелевшие губы и не отрывая глаз от неоконченного холста на мольберте. Вдруг хватает флакон лимонной жидкости, которой я мыл посуду, если ужинал у себя, поворачивается и выплескивает на мое тело с выкриком:

– Кретин!

И я нахожу это надгробное слово вполне подходящим.

Врач поставил диагноз: кровоизлияние в мозг. И прибавил, в утешение родным, что я не страдал. Однако Фабьена, пристрастившаяся, с тех пор как Люсьен болел свинкой, часами читать медицинскую энциклопедию, тут же разъяснила ему, что разрыв мозгового сосуда означает, что у меня была гипертония. Молодой врач – в прошлом году он купил у меня одну картину для украшения своей приемной – пытается возразить, что у меня всегда было нормальное давление, но тщетно: Фабьена уже зацик-

лилась и запальчиво, будто это его вина, восклицает, что гипертония — наследственная болезнь. Бедный Люсьен. Мало того, что он губит свое детство, часами просиживая перед экраном за видеоиграми, так теперь еще мать будет по десять раз в день набрасываться на него с тонометром, обматывать руку манжетой, надувать манжету грушей и, насупясь, следить за стрелкой. Мысль о том, что ее сын с восьми с половиной лет обречен сидеть на бессолевой диете, удесятеряет ее ярость, которая еще не уступила место печали. Врач, не споря, выписывает справку о смерти и, слегка озадаченный, уходит.

Во дворе он сталкивается с моим отцом — тот бежит с безумным видом, выпучив глаза, в надетой поверх пижамы и застегнутой не на те пуговицы вязаной кофте со свежим кофейным потеком; рядом с ним поспешает Альфонс Озерэ, неся перед собой, как олимпийский факел, на вытянутой руке мобильный телефон... Позвольте, но я, выходит, очутился снаружи. И сам не заметил как. Мое сознание последовало за доктором Мейланом, и вот я под мелким дождиком на улице, на уровне вывески, между надписью "Лормо — прием поставок" на внешней стене дома и стареньким отцовским "ситроеном" с распахнутой дверцей, который медленно оседает на подвесках. Значит, я без всякого усилия воли отдалился от своего тела, устремившись навстречу отцу или желая, движимый остаточным инстинктом вежливости, проводить молодого доктора, который осматривал мои останки с явным волнением и сочувствием. Но задерживаться на этом феномене у меня не остается времени — отец и Альфонс врываются в трейлер, и мое поле зрения переносится вместе с ними назад.

— Жаки! — отчаянно вскрикивает папа. Он не звал меня этим именем добрых двадцать лет. И бросается на кушетку поперек моего тела.

— Ни к чему не прикасайтесь, месье Луи! — ужасается Альфонс. — Как же отпечатки! Сейчас приедет полиция — я им сообщил, как только Туссен мне сказала... о, какое горе, мадам Фабьена! Клянусь, я найду негодяя, который это сделал, и оторву ему голову.

Я понимаю Альфонса. Сначала он подыграл Фабьене, будто меня еще можно спасти, а теперь считает своим долгом подкинуть версию о том, что меня убил какой-то бродяга, хочет таким образом немного отвести удар, отвлечь несчастную женщину поисками преступника.

— У него кровоизлияние в мозг, — говорит Фабьена, но тон ее не соответствует смыслу слов.

— Это они так говорят, — многозначительно качает головой Альфонс.

Он лихорадочно озирается, ища какие-нибудь признаки взлома, улики. Взгляд его падает на бумажную салфетку с завернутыми в нее влажными чехольчиками, и, мгновенно сориентировавшись, он наступает на нее ногой.

— Жаки, ответь мне, скажи что-нибудь... — рыдает отец и трясет меня.

— Он не может, — с предельным тактом вступается за меня Альфонс, положив руку отцу на плечо. — Не может ничего сказать, но это была легкая смерть.

Ты прав, Альфонс. И это лучшая эпитафия, какую я мог бы пожелать. Мне не на что жаловаться, не о чем сожалеть, разве что об огорчении, которое я всем доставил, от того же, что более всего терзало меня и омрачало мою смерть, ты, Альфонс, меня избавил, накрыв своей широкой подошвой следы любовной ночи. Мне была нестерпима

мысль, что могут подумать, будто я умер в объятиях Наилы, и будут ее в этом обвинять.

Моя тревога растворилась, сменившись несказанным облегчением, в трейлере вдруг разлился покой, словно свершившееся наконец окончательно проявилось.

Не иначе как кто-то управляет иронией судьбы, совпадениями, странными повторами. Когда-то Альфонс давал мне первые бутылочки с молоком, учил делать первые шаги, подарил мне первую коробку красок. Он опекал меня, когда я только вступал в жизнь, потому что отец, так мечтавший иметь сына, считал себя убийцей моей матери и был занят тем, что прокручивал любительские фильмы, где она была снята. И сегодня именно Альфонс облегчает мое вступление в иной мир, проворно наклоняясь и подбирая бумажный комок, сделав вид, что он выпал у него из кармана, куда он его и засовывает. Тут он вспоминает о мобильном телефоне, который все еще держит в руке:

— Ох, извините! Это Брижит!

Фабьена берет трубку, загробным голосом говорит в нее "алло", подтверждает моей сестре, уехавшей давать концерт в Бар-ле-Дюк, что я действительно скончался, и прекращает разговор, сославшись на то, что пришла полиция.

Вежливый жест — "под козырек", соболезнования, блокнот, вопросы, ответы. Ничего интересного — я заранее знаю, о чем они будут спрашивать. Самого молодого, видимо солдата срочной службы, с веснушчатым и угреватым лицом, вырвало мне на колени — он слишком поздно попытался зажать ладонью рот. ("Простите его, мадам Лормо, это первый труп, который он видит".) Этот инцидент ускоряет дознание и заключение. Смерть от естественной причины — тело поступает в распоряжение родственников.

И вдруг я отключился. Словно ухнул в черную дыру. Мне показалось, что на секунду, но оказалось, что полицейских уже нет. Я прозевал их уход. Где же я был? Что произошло? Меня захлестнул страх. Только я начал привыкать, осваиваться в новом состоянии, как вдруг это леденящее выпадение сознания. Нематериальное существование, уже начавшее казаться естественным, неприятные ощущения, связанные с отрывом от жизни, сменились чувством вечности, и вот снова все поплыло. Две, три или пять минут пропали, для меня их просто не было, а я-то уж решил, что эти заносы в прошлое кончились и я опять участвую в действиях живых, в текущем времени. Если это первые неполадки, предвещающие капитальную аварию, я предпочел бы, чтобы мысль пресеклась раз и навсегда. Боже мой, мама, дедушка, если вы меня слышите, избавьте меня от постепенного угасания. Я хочу сохранить ясность. Это все, что у меня осталось.

У меня из рук вынули книгу, помыли мне колени, завернули меня в простыню и унесли. Я хотел бы остаться в трейлере, но, очевидно, должен следовать за своими останками, точно верный пес за хозяином. Может, через несколько дней я окончательно, включая душу и мысли, умру на мраморной плите в нашем семейном склепе, как мамин лабрадор, не пожелавший, вслед за отцом, принять меня, сдох на ее могиле?

— Осторожно, не заденьте! — суетится Альфонс, когда меня проносят через застекленную дверь с надписью "запасной выход", выходящую на задний двор магазина, к бассейну и складам.

Теперь, когда я спокоен за Наилу, мне хотелось бы очутиться рядом с ней, когда она узнает новость. Сухое раздражение Фабьены мне тягостно, ее мысли пачкают меня. Я слишком хорошо знаю, что означает моя смерть для моей жены. Засветило наследство.

— Он читал "Грациеллу", — сокрушается Альфонс, с виноватым видом потрясая моей книжкой, и, поскольку никто его не понял, уточняет: — Роман Ламартина!

— Ну и что? — нетерпеливо спрашивает Фабьена, делая знак продавцам, чтобы они не впускали клиентов.

— Это я ему подарил.

— Он умер не от этого, — обрывает его она, наклоняясь и подбирая водный фильтр, который сбили мои ноги.

— Так и не узнает, чем там кончилось, — вздыхает Альфонс и засовывает книгу в тот же карман, где лежат презервативы.

Подумай обо мне, Наила. Обо мне живом. Постарайся притянуть меня. Здесь мне сейчас больше нечего делать. Не хочу видеть, что будет дальше.

Но мне не удается довести до отчетливости ни одного образа, ни одного воспоминания. Я как будто выдуваю мыльные пузыри, которые лопаются, только хочешь к ним прикоснуться. Напрасно я напоминаю себе день за днем всю историю нашей любви. Такое впечатление, что она мне больше не принадлежит и я не имею на нее никакого права. Может, время счастливых воспоминаний еще не настало и я должен выдержать траур?

— Кто жизнь мою прервал? Кто я? Кем должен стать?

— вопрошает за меня Альфонс, сопровождая меня вверх по лестнице, понурив голову.

— Не сделан первый шаг — уж время умирать...

— Отвяжись от него, — бурчит кладовщик, который держит меня за щиколотки.

Старик послушно стихает, но продолжает декламировать, беззвучно шевеля губами. Если я не ошибаюсь, это "Бессмертие".

О дух, что оживить когда-то захотел
Меня, с каких, скажи, небес ты прилетел?

С удивлением обнаруживаю, что понимаю по губам или помню наизусть эти стихи, которые слышал в детстве, но был уверен, что они давно забылись, затерялись, стерлись. Правда, теперь они меня непосредственно касаются.

И для каких миров покинешь землю вновь?
Ты все забыл? И вновь воскреснуть ты готов?
И новой жизни плен, и снова забытье...

Их двое, оба немногословны, у обоих постные и соболезнующие рожи, профессиональные ухватки. Они деловито осматривают меня, перебрасываются какими-то цифрами, непонятными формулами, фармацевтическими терминами, соглашаются друг с другом или приходят к согласию после спора.

Открывается чемоданчик, в нем флаконы, шприцы, ампулы.

Фабьена выходит из комнаты, затворив за собой дверь.

Погребальных дел мастера из фирмы братьев Бюньяр с улицы Бен разминают пальцы, хрустят суставами и наконец приступают к работе.

Пробил их час.

Не хочу нагнетать мрачность, но туалет покойника — зрелище, смиряющее гордость. Пока представители "Бюньяр бразерс" изощрялись в своем искусстве — инъекции, макияж, — дабы привести меня в презентабельный вид, я, если можно так сказать, отвел глаза. Теперь я понял, чем было вызвано недавнее затмение. Когда около меня происходит нечто малосимпатичное, я способен вырубаться — неоценимое свойство, которым я, кажется, уже научился пользоваться. Достаточно как следует сосредоточиться на одном из доступных мне воспоминаний, чтобы перестать видеть то, чему подвергается мое тело. Когда юный полицейский во время дознания наблевал мне на колени, я не успел ни о чем подумать и потому провалился в черную дыру. На этот раз, наученный опытом и основательно искушенный в лечении улиток, я решаю переждать в этом убежище, пока меня не кончат прихорашивать. Улитка, косилки, байдарка — на настоящий момент мои спасательные ресурсы ограничиваются этим небогатым ассортиментом. Но я надеюсь со временем его расширить.

Не торопиться, постепенно набираться знаний, осваивать возможности, продвигаться потихоньку, отрабатывать гаммы.

Я приземлился в Пьеррэ, в нашем саду, но гортензии стоят голые, большая соседская ива исчезла — это другое время года, да и год не тот. Дедушка с бабушкой уже переехали на Юг, сестра вышла замуж, для двоих дом стал велик, и отец его продает. Новый владелец клянется, что оставит все как есть — никаких переделок! — что дом ему нравится и так, обшарпанный, заросший плющом, осевший, плохо отапливаемый. "Ей-богу!" — повторяет он через каждые три фразы. Папа пожимает ему руку. Я, обливаясь слезами, обхожу на прощание все комнаты, в последний раз зажигаю и гашу везде свет, закрываю все двери, перекрестив каждую, — благодарю эти стены и прошу у них прощения. Новый хозяин увидел, что я делаю, улыбнулся и снова обещал, что все останется в целости и сохранности. Через полгода дом будет снесен, а от сада останется только цифра на плане — номер земельного участка.

Мне навсегда запала в память влажная тишина большого жилища, все его уголки, все краски, запахи прошлогодних яблок и задутых свечей. И теперь все эти разрозненные ощущения собрались воедино, чтобы воссоздать дом и все, что у меня с ним связано. Мертвые обретаются в эмоциях; разумеется, я не имею оснований говорить во множественном числе, но это открытие, которое подтверждается каждым новым воспоминанием, для меня великое счастье, и я хотел бы разделить его с другими.

Вернувшись, я с трудом себя узнал. Расфуфыренный, при галстуке, свеженький, с нарумяненными щеками и чуть подведенными глазами, мой труп смахивал на нотариуса, явившегося в контору после веселой ночи в "голубом" кабаре. Художники, создавшие этот шедевр, довольные собой, с достоинством складывали инструменты.

За стеной слышен голос агента похоронной фирмы — он пришел утрясти программу увеселений. Шелестят страницы каталогов, обсуждается цвет атласной обивки, форма ручек и сорт дерева. Месье отли-

чался хорошим вкусом — ему подойдет полированный дуб. Наша последняя модель — "Версаль", медные или латунные ручки, внутри обивка из гофрированного шелка , цвет на выбор, свинцовая прослойка — пожизненная гарантия! Почему-то эта гарантия вдруг выводит из себя отца, он обрывает гроботорговца и вопит, что я прекрасно обойдусь сосновым гробом стандартного размера, который продается в магазине Леклерка, а червям и подавно все равно, гоните в шею этого гнусного обиралу с его "пожизненной гарантией" и оставьте моего сына в покое, все эти выкрутасы мне его не вернут. Фабьена пытается его унять, уводит на кухню, потом догоняет на лестнице агента, который вращает глазищами, как в немом кино, просит его понять и извинить убитого горем отца и заказывает по сходной цене модель "Трианон", без свинца, предусмотренную для жертв массовых катастроф: крушений кораблей и самолетов, пожаров и прочее.

Любопытная штука: отцовское горе меня обрадовало и сблизило нас с ним так, как не случалось уже лет десять. Мне хотелось сказать ему спасибо за это негодование, за Леклерка и "пожизненную гарантию", — сказать, что на его месте я заорал бы точно так же, что я его люблю таким, какой он есть, и что он заслужил пережить меня. Как ужасно, что я больше не могу ни с кем общаться. Я бы так хотел поговорить с папой, с Альфонсом, с сестрой, которая сейчас, наверное, мчится через Вогезы на мотоцикле, чтобы успеть к нашей последней встрече... В приливе оптимизма утешаю себя тем, что это вопрос времени: сейчас острая скорбь мешает им услышать меня, слишком свежа потеря, а горе — плохой проводник, и мои сигналы тонут в помехах разливанного моря слез. Когда же они свыкнутся с тем, что я мертв, то, наверное, смогут поймать мою волну. Когда у них уже не будет моего тела, застывшего в своем последнем земном облике, облике этого безмолвного нотариуса с кислой улыбкой, они будут вынуждены сделать усилие, чтобы воскресить меня в памяти и воображении, — вот тогда-то я смогу возобновить контакт. Как только надо мной сомкнется земля, я оживу в них. Так я надеюсь.

А пока не стоит тратить попусту силы, будем просто наблюдать за ними, ничего не упуская. Хватит того, что я проспал свою агонию, больше я ничего лишаться не хочу. У меня странное чувство, что в некое заранее назначенное место в потустороннем мире, куда теперь меня еще не пускают — держат в ожидании, — мне необходимо прибыть *полноценным.* Приведя в порядок всю жизнь, пересмотрев и разобрав все воспоминания. Взвесив все свои поступки и их следствия, все, что я после себя оставил. Вероятно, я нахожусь в неком преддверии, где положено разложить свои вещи, помыться, переодеться — приготовиться к решающему кону... Вот только неприятно, когда не знаешь, чего именно от тебя ждут. Или ничего не ждут? Просто позабыли в прихожей.

Как бы то ни было, но отныне, утратив физическое бытие, я присутствую в мире лишь постольку, поскольку обо мне думают живые люди. Их мысли и поступки имеют огромное влияние на мое настроение. Так, яростная вспышка отца доставила мне радость, а практичность Фабьены, сторговавшей для меня гроб по себестоимости, наоборот, огорчила — мне не пришлось насладиться ее растерянностью, на что я мог вполне законно рассчитывать. Пусть бы моя смерть хоть немного выбила ее из колеи. Застигла врасплох. Но Фабьена всегда мгновенно применялась к обстановке и успевала все сделать загодя. Наши новенькие визитки прислали из типографии за десять дней до свадьбы.

Пока на меня наводили марафет, Фабьена методично всех обзванивала. Поставила в известность мэтра Сонна, банк, страховое агентство, мэрию, ресторан, священника и главного редактора "Дофине либере". Она нашла верный тон – теперь ее печаль звучит вполне натурально. Наблюдая ее бурную деятельность, я как будто вместе с ней открываю одну за другой новые перспективы, вижу, как она осваивается, проникается уверенностью, с каждым шагом все прочнее утверждается в резко изменившемся положении, и у меня возникает мысль – та же, что и у нее, только она еще не решается ее сформулировать, – что, умерев, я наконец-то сделал что-то толковое. Говорю это без всякого сарказма: я искренне рад за Фабьену, и мне действительно хорошо там, где я пребываю. Мы оба нашли свои амплуа: мне всегда как нельзя более подходила роль новопреставленного, так же как Фабьене – правопреемницы.

Очень скоро она уже выправила доверенности, свидетельство о смерти и принялась разбирать мои бумаги. Ну и, разумеется, наткнулась на кассету. С надписью "папа". Нет, Фабьена, нет, это не то, что можно подумать! Положи ее обратно в ящик, или выбрось, или послушай – и поймешь... Только, ради бога, не давай ему...

Фабьена нахмурилась. Догадываюсь, что ей пришло в голову. Она быстро вышла из комнаты и пошла на кухню к отцу. Он сидит там перед стиральной машиной и смотрит в окошечко, как крутится белье. Идет полоскание, мелькают мои рубашки, носки, безнадежно заляпанные краской штаны.

Ни слова не говоря, Фабьена протягивает ему кассету. Папа отрывает взгляд от карусели моей последней стирки. Увидев надпись, он грузно оседает на стуле. Каким же надо быть ослом, чтобы хранить такую запись! Надо всегда иметь в виду неожиданности, не оставлять ничего валяться, а все не предназначенное для чужих глаз уничтожать, как будто готовишься умереть завтра. Фабьена стоит неподвижно, не нарушая зависшей паузы между полосканием и отжимом, она похожа на вестника, который знает, что выполнил что-то очень важное, но смысла своей миссии не понимает.

Отец берет кассету дрожащими пальцами. Что это: мои последние слова, исповедь, посмертная просьба о прощении, – в любом случае нечто, заставляющее усомниться в "естественности" моей смерти. Я читаю вопрос в их глазах. Фабьена делает движение в сторону шкафчика над морозилкой, где она держит отравленное зерно, чтобы морить крыс на чердаке. Но оба тут же отвергают подобное предположение. Это на меня не похоже. Да и с чего бы мне было обрывать свою жизнь, которая, как они полагают, состояла из одних удовольствий!

– Ведь он был счастлив, – с упреком в голосе говорит папа.

Ответом ему служит грохот начавшегося отжима. Я бы не возражал, если бы такого рода штучки, такую достойную домового иронию принимали за "знаки", за проявления моего "духа". Возможно, со временем так и будет. Фабьена, со своей неизменной логикой, произносит по видимости убеждающим, а по сути желчным тоном:

– Если бы он решил покончить с собой, то сначала дописал бы свою картину.

Отец кивает, до обидного легко соглашаясь с ее доводом – никто не считается с моим душевным состоянием, за мной даже не признают права на неадекватность, на долго подавляемое и внезапно прорвавше-

еся отчаяние. Все убеждены, что видят меня насквозь. Я и не думал, что настолько одинок.

Слова Фабьены заставили меня вспомнить о недописанном портрете Наилы на мольберте в трейлере. На холсте — в обрамлении оконного переплета — выходящая из воды на берег обнаженная Наила. Называться это должно было "Забытое окно". Что теперь станется с картиной? Я не уверен, что моя вдова захочет исполнить мою последнюю волю, которую узнает из завещания. И не уверен, что я сам по-прежнему этого хочу. Мне уже не кажется удачной идея вручить Наиле ее портрет в качестве прощального подарка. Расплывчатость, незавершенность изображения может отразиться и на памяти обо мне, и на ее ко мне отношении. Я, без конца твердивший, что хочу ее понять, не сумел даже закончить ее портрет...

Отец смотрит на кассету другими глазами. Раз это не крик отчаяния — для которого не было причин, — значит, запись как-то связана с установившимся между нами в последние годы молчанием. Палец его стирает пыль с этикетки. Ход его мысли прост: он решил, что я когда-то записал на пленку то, чего не осмеливался сказать ему, и эта запись завалялась в ящике. Бедный папа. Когда он узнает...

На пороге кухни появляются двое моих гримеров с удрученным выражением выполненного долга на физиономиях. Скорбно опущенные веки означают, что я готов.

Опираясь на стиральную машину, папа встает со стула, еще раз смотрит на кассету и прячет ее в карман — на потом.

Я покоюсь, вытянув ноги носками врозь, с восковым лицом, сложив руки на пупке, обряженный в темно-серый костюм, который был на мне в день свадьбы. Благопристойная полуулыбка на губах — фирменное изделие братьев Бюньяр, ритуальных визажистов с улицы Бен. Вокруг меня белые розы, язычки свечей, стоит приторный запах припудренной мертвечины. Я готов принимать визитеров.

Мой гроб установлен в гостевой комнате. Ради этого из нее вынесли лошадку-качалку, коляску, манеж и другие вещи, из которых вырос наш сын и которые Фабьена когда-то сложила здесь на случай появления второго ребенка — все равно гостей у нас не водилось.

Сквозь спущенные ярко-красные жалюзи комнату заливает дрожащий неоновый свет от вывески магазина "Топ-спорт", где я обычно покупал плавки, сапоги для верховой езды и лыжные ботинки. Еще в сентябре мы поссорились с владельцами из-за этой несносной дребедени: Фабьена утверждала, что вывеска создает помехи, которые заставляют мигать нашу собственную рекламу. Соседи из "Топ-спорта" наверняка не придут посидеть у моего смертного одра. А жаль. Нам есть что вспомнить.

Приближаются чьи-то шаги, открывается дверь. Первый посетитель, Альфонс, распахивает створку окна и бухается на колени у изголовья гроба.

— Я ей сказал, — быстро-быстро шепчет он мне прямо в ухо. — Она выплакала все слезы, я за тебя порадовался. Быть любимым — прекрасно, только этого не поймешь, пока не помрешь. Взять, например, Жюли и Ламартина. Если бы она осталась жива, они приходили бы к озеру да сидели бы себе на лавочке, как пара старичков, и не стал бы он о ней писать. А еще я ей сказал, пусть не волнуется — ну, ты знаешь насчет чего,— ничего не обнаружилось, это дело у меня в кармане. Прийти она

не может из уважения к семейству, но велела тебя поцеловать и открыть окно: по их вере считается, что так твоей душе будет легче улететь... Аминь, — закончил он громче, так как на пороге появляется Фабьена.

Прежде чем встать с колен, Альфонс запечатлевает на моем лбу поцелуй, от которого по всему кадру пробегает дрожь. Во мне поднимается волна чувств — комната сжимается, свечи опрокидываются...

— Вы с ума сошли! — кричит Фабьена. — Уже без трех минут! Закройте немедленно окно!

Я углядел ее, когда шел по тротуару мимо витрины агентства: вот программа кругосветки, вот вид Бразилии, а вот... С зажатой щекой телефонной трубкой, она, оттолкнувшись, скользила на стуле на колесиках сначала в одну сторону — взять какую-то брошюрку, потом в другую — дать ее сидящему перед ней клиенту, что-то говорила и указывала на фотографии, но слов я не слышал. Давно можно было перейти дорогу — машины на перекрестке, к которому я повернулся спиной, остановились на красный свет, — но я застыл перед витриной с батоном хлеба под мышкой. Проплывая от телефона к клиенту и обратно в этом залитом искусственным светом аквариуме, она казалась каким-то очень отчетливым, но в то же время нереальным, далеким, призрачным видением. Не знаю, из-за чего возникало такое впечатление. Возможно, из-за несоответствия безмятежного выражения ее лица и энергичных жестов; безотрадного взгляда и видимо оживленной речи, улыбки, сопровождающей каждую фразу. Я неотрывно смотрел на эту подвижную неподвижность, на выбившуюся из гладкого шиньона вьющуюся прядь, меня заворожили эти печальные, не видящие меня глаза. От волнения у меня перехватило горло, пальцы хватались за несуществующую кисть, чтобы запечатлеть эту каплю в зыбком море, неожиданный островок покоя, эту молоденькую девушку родом из дальних краев, продававшую сказочную экзотику с невыразимо скорбным видом.

В это время загорелся зеленый свет, и машины, сигналя, двинулись вперед — как мне показалось, прямо в витрину. Я отскочил, как будто стоял посреди дороги.

Я вернулся туда на другой день и через день. Разглядывал девушку, прилипнув к витрине и делая вид, будто интересуюсь Бразилией, а потом до самого вечера носил в себе ее образ, пытался перенести на полотно колыхание ее груди под белой блузкой, когда она порывисто поворачивалась на стуле, жест, которым она походя пыталась заправить непокорный локон. Все эти наброски никуда не годились, но ее дежурная улыбка вставала передо мной, как только я закрывал глаза. Я тоже улыбался, за столом, глядя в тарелку. "Что такое?" — спрашивала Фабьена. "Ничего", — отвечал я и снова утыкался в суп, где среди вермишелин скользил стул на колесиках.

Наконец настал день, когда я решился толкнуть дверь. Вошел — и натолкнулся на смешливую искорку в ее глазах: меня засекли.

— Добрый день. Вы хотели бы поехать в Бразилию? — спросила Наила, указывая на фото в витрине.

Голос у нее был мягкий и неожиданно лукавый. Последние слова она снабдила все той же казенно-лучезарной улыбкой, я ответил "да". Она понимающе кивнула, на миг сплела пальцы под подбородком, потом с бессильным вздохом развела руками и показала на красовавшийся слева от нее цветок в горшке:

— В таком случае вам придется обратиться к моей коллеге — заграничными путешествиями занимается она.

Бразилия исчезла с лица земли, и я увидел рыжую девицу, с плотоядным видом поджидавшую меня под сенью фикуса.

— Увы, — шепнула Наила, снова отпустив мне улыбку.

Огненная толстуха забросала меня вопросами, на которые я отвечал как придется, не вникая в их смысл. Когда же наконец я смог перевести дух, то увидел, что она, озабоченно нахмурив лоб, роется в каталоге.

— Боюсь, что на вечерний воскресный рейс в Рио льготный тариф не распространяется. На всякий случай сейчас уточню по каталогу "Греза-тур", но, по-моему, это исключено...

Я явно стал в ее глазах не столь заманчивой добычей. Тут уж я принялся ставить перед ней все мыслимые проблемы, отвергать все варианты решения, торговаться, обсуждать условия контракта, изобретать самые дурацкие места посещений, требовать луну с неба и оспаривать ее компетентность. Когда стало окончательно ясно, что мы не сходимся во взглядах на Бразилию, и несчастная была на волосок от того, чтобы запустить мне в голову свой каталог грез на осенне-зимний сезон, я посмотрел на часы и сказал, что, пожалуй, зайду завтра.

Я вышел, бросив взгляд на Наилу, а она проводила меня глазами с таким сочувствующим видом, что я не мог забыть его до следующего утра.

На другой день, переступив порог турагентства, я пошел прямиком к фикусу и уселся напротив рыжей толстухи. Она посмотрела на меня без улыбки и очень значительно дрогнувшим голосом сообщила, что туристическая фирма согласилась в виде исключения предоставить мне льготный тариф на воскресный рейс при условии, что я не буду требовать никаких изменений в маршруте. Я ответил, что все обдумал и решил вместо Бразилии съездить в Коррез. Она резко захлопнула каталог, сказала:

— Займись этим господином, Наила, — и стала сворачивать буклеты с картинками карнавала в Рио, проклиная сквозь зубы неотесанных пентюхов.

Вскоре я повадился приходить в агентство через день, в обеденное время, когда напарница Наилы уходила, а она оставалась дежурить и перекусывала бутербродом. Я заигрывал с Наилой во всех городах и весях метрополии, она увлекала меня в разные концы: из Брив-ла-Гайярда в Мон-де-Марсан, из Мен-и-Луары в Камарг, из окопов Вердена в ущелья Тарна. Мы обсуждали достоинства предложенных тем или иным туром ресторанов, перепархивали с экспресса на экспресс, выбирали по фотографиям домики в живописных уголках. На карте нашей Страны Нежности[1] были обозначены винные подвалы и летние трассы, памятники городской архитектуры и колоритные деревушки... Мы обговаривали часы отправления и прибытия, словно назначали свидания; произносили "входит в стоимость путевки", словно давали обещания; так подробно изучали маршруты экскурсий, что они заменяли нам общие воспоминания. Послушный ее голосу, я пересекал Ледяное море[2], купался в бухте Пор-Миу, плыл по каналу из Роны в Рейн; нарочно запу-

1. Имеется в виду знаменитый роман французского писателя XVII века Оноре д'Юрфе "Астрея", где существует такая карта. *(Здесь и далее – прим.перев.)*
2. Ледник во Французских Альпах, Верхняя Савойя, в массиве Монблан, длиной 12 км.

тывался в железнодорожной сети и в системе шлюзов, призывая ее на помощь, и мучительно желал, чтобы она расслышала то, чего я не осмеливался произнести, когда спрашивал, где больше комарья: в Пуату или в Сент-Мари-де-ла-Мер.

Я, до женитьбы менявший подружек каждые два-три месяца, отчаянно робел перед этой девчонкой, косившейся на мое обручальное кольцо. Для смелости я попытался взбодриться в молодежных клубах и толчее автовокзалов и стал уносить с собой килограммы брошюр, которые ночью, в трейлере, обнюхивал, надеясь уловить ее ванильный запах, пока не засыпал среди ларзакских овец и меркантурских серн.

Наила неутомимо подбирала мне вариант за вариантом, я же каждый раз отвергал их в последнюю минуту и задавал ей новые координаты. Я даже подписал страховку на случай возврата, идеальное транспортное средство для такого путешественника на месте, как я. Наила включилась в игру и исполняла свою роль со старанием и удовольствием. Поначалу это удовольствие лишь на одну треть объяснялось интересом ко мне, а на две остальные — затаенным ликованием, которое наполняло ее при появлении коллеги, фикусной барышни. Неделю за неделей каждый день, возвращаясь с обеда, она заставала нас в очередном воображаемом путешествии; мы преодолевали сотни километров, чтобы уменьшить разделявшее нас, сидящих рядом, расстояние, она же тихо бесилась.

Наконец как-то в понедельник я решился... Это было в Шалон-сюр-Сон, где надо было ждать три часа, прежде чем пересесть в автобус на Лон-ле-Сонье. Я шепотом спросил ее, свободна ли она вечером. Она с сожалением пожала плечами, ткнула в расписание и сказала, что нам не хватит времени. Я истолковал это как формальный отказ и ответил на него трехнедельным отсутствием. Застыв на полдороге, тоскуя и упиваясь своей тоской, я не знал, что сильнее: печаль от того, что я не вижу Наилу, или радость от того, что, не видя ее, тоскую и просиживаю ночами перед мольбертом, безуспешно пытаясь ее изобразить.

— Да трахни ты ее, — сказала мне Фабьена как-то в воскресенье, когда мы выходили из церкви. На улице шел дождь.

— Что-что?

— Трахни, говорю, ту бабу, которая застряла у тебя в голове. По крайней мере, перестанешь на меня огрызаться, натыкаться на фонари, извиняться перед ними да петь Брассанса во время мессы.

Первый раз в жизни я был на грани того, чтобы обмануть жену, но она ухитрилась и тут мне подгадить.

Спустя три дня я нашел в почтовом ящике открытку с видом на Мон-Сен-Мишель, отправленную из отделения у нас на углу. На ней бледно-синей ручкой, наклонным почерком было написано: “Открылась прямая линия Эпиналь—Шатору”. Назавтра, когда я толкнул дверь агентства, Наила обратила на меня уже готовую улыбку, которую надела для разговора с семейством, ехавшим по тарифу “киви”. Их заявка на билеты томилась в ожидании под мелодию из “Времен года” Вивальди, которую наигрывал коммутатор железнодорожной компании. “Добрый день, месье. Что бы вы хотели?” “Меня интересует Клермон-Ферран”, — ответил я. “Попробуем что-нибудь устроить”. И под недовольными взглядами киви-туристов мы снова пустились в наше сентиментальное путешествие по лабиринтам французских путей сообщения.

Перед этим я убеждал себя, что, вероятно, Наиле не позволяет всту-

пать в связь с женатым мужчиной ее религия, да и меня в каком-то смысле больше устроят платонические отношения. С Фабьеной мне не хватало не физического удовлетворения, а радостной гармонии, не омраченной никаким расчетом и никакими обязанностями. Мне так нужна была живительная духовная близость, когда тебя поймут, подхватят шутку; так хотелось замкнуться в скобки, выгородить себе островок и думать, что впереди еще целая жизнь, ушедшее же время не упущено, а, наоборот, выиграно, так как не потрачено на неизбежный для взрослого человека конформизм... В общем, желая Наилу, я желал обрести себя.

Но однажды в четверг я, как обычно, зашел в турагентство и вдруг увидел совсем другую Наилу: запавшие глаза, поджатые, побелевшие от гнева губы. Я спросил что-то про реки в Ардеше. В ответ она сообщила, что ей надоело выслушивать ругань отца, который обвиняет ее в том, что она уже не девушка. Она решила сделать его упреки обоснованными и наметила в помощники меня, если, конечно, меня не затруднит такая услуга. Эта прямота, не слишком лестная для моего самолюбия, странным образом нашла во мне отклик, напомнив о презрительном предложении Фабьены изменять ей не церемонясь. Мы с Наилой забрались на парусный склад водноспортивного клуба и довели дело до конца, полные самых лучших дружеских чувств, которые не исчезли и в дальнейшем, когда мы научились доставлять друг другу удовольствие.

— Простите, — прошептала Наила, не глядя на меня.

— Это вы меня простите, — учтиво ответил я.

И мы оба расхохотались, лежа на расстеленном парусе. Потом встали и отыскали в пустой ввиду зимнего времени раздевалке полотенца.

Это было в прошлом году.

Что ждало нас в будущем? Может, нашей любви очень скоро пришел бы конец? Или страсть и искренность притупились бы со временем и все свелось к нудной связи? Или все же у меня хватило бы мужества — и желания — бросить ради нее семью? На что я решился бы, если бы дошло до крайности: предпочесть Наилу или пожертвовать ею?

Не удивлюсь, если окажется, что я умер от нерешительности.

С горечью убеждаюсь, что эта черта характера не исчезла и за гробом.

Напутствие меня в мир иной прошло нормально. Я ничего не почувствовал. Пожилой священник честно пробубнил всю обойму положенных молитв, но держался как-то отчужденно, словно недоумевая, почему вдруг он тут очутился. Мы видели друг друга первый раз. Ни в нашей церкви, ни в Пьеррэ я его не встречал. Возможно, его прислали по вызову — какая-нибудь служба "Требы на дому", вроде "Срочной медицинской помощи".

Мне очень стыдно, но, пока мою душу препоручали Господу, я думал только о том, что теперь бы в самый раз глотнуть аперитива.

Часов в двенадцать пришел из школы Люсьен, ничуть не испуганный, с ранцем за спиной и электронной игрой на батарейках в руке — видно, не отрывался от нее всю дорогу. Вероятно, хотя Фабьена все объяснила по телефону, учительница с директором побоялись рассказать мальчику, что произошло. Мать ждала его в передней. Она взяла его за плечи поверх ремней от ранца и, подготовив почву какими-то туманными намеками, наконец сказала, что в дом пришла беда и он теперь стал мужчиной. Люсьен сразу просек.

— Папа умер? — выпалил он с округлившимися глазами.

Фабьена прервала на полуслове запутанные рассуждения о жизни, смерти, испытаниях и взрослении. Такая реакция выбила ее из колеи, почти... разочаровала — у нее было заготовлено еще столько красивых фраз.

— Нет-нет, — невольно вырвалось у нее в первую секунду. — То есть да... Видишь ли, он ушел, но не покинул нас навсегда — он сейчас на небе вместе с бабушкой. Понимаешь? И ты должен молиться за него, потому что...

— От чего он умер? — перебил Люсьен, всегда, как и его мать в нормальном состоянии, мысливший практически.

— Разрыв ао... Это было не больно, как укол. Папа не страдал, он ушел во сне. Крепись, малыш.

И Фабьена прижала его к себе вместе с ранцем. Наконец-то она заплакала. Хотя, как я подозреваю, не из-за меня, а из-за нависшей над сыночком угрозы гипертонии.

— Где он? — спросил Люсьен, высвободившись и стоя прямо, как деревянный солдатик.

Фабьена кивнула в сторону гостевой комнаты.

— Ты хочешь проститься?

Она погладила Люсьена по щеке и улыбнулась, как будто все понимала и хотела его пощадить:

— Это не обязательно. Ты можешь запомнить папу таким, каким он был в жизни. Например, когда приходил вчера поцеловать тебя на ночь. Вот так о нем и думай. Как будто он жив и всегда рядом. Погасишь свет — и он тут.

В это время открылась дверь с улицы и вошел Альфонс вместе с моей сестрой. Женщины обменялись взглядами. И сразу потянуло ледяным холодом.

— Ну иди же поцелуй папу! — скомандовала Фабьена внезапно изменившимся голосом.

И, даже не сняв болтающегося за спиной ранца, подтолкнула его в коридор.

— Нет, не так! — протестующе крикнул Люсьен. — Пусти меня!

Он вырвался, взбежал по лестнице и хлопнул дверью своей комнаты.

— Люсьен!

Не глядя на мою сестру, которая кладет шлем на столик и удрученно качает головой, Фабьена взбегает вверх вслед за Люсьеном и останавливается перед его дверью, украшенной наклейками с черепашками-ниндзя.

— Люсьен, малыш! Слышишь меня?

Она кусает ногти. Колеблется. Стучит в дверь. Наконец заглядывает. Люсьен стоит у раскрытого шкафа, раздетый до пояса, сжав зубы и вздернув подбородок. Джинсы и свитер валяются на полу рядом с портфелем, и он снимает с вешалки синий в полоску костюм в стиле Уолл-стрит, который он попросил у меня в подарок на Рождество. Встретив его гневный взгляд, Фабьена опускает глаза и тихо притворяет дверь.

Вторая половина дня посвящена утряске формальностей и улаживанию самых неотложных дел. Закрыть счет в банке, погасить налоги, выправить доверенности, составить сообщения и уведомления, тут завершить, там приступить... Позаботиться о моей душе можно будет потом, когда закроются конторы.

Я не заметил, как прошло время.

В какой-то момент мне показалось, что передо мной открылся светящийся туннель, который выводил на мерцающий изменчивой гаммой красок берег... То был не более чем замысел моей неоконченной картины, эхо последнего сна, настойчиво заполнявшее паузы, когда возникшие в связи с моей кончиной практические заботы отрывали моих близких от мыслей обо мне самом.

Вокруг меня пульсировали разные сочетания цветов и их оттенков, вырастали перспективы, открывались, смыкались или расплывались глубины, но я был навсегда лишен возможности закрепить хоть что-то материально. Фигура Наилы, точнее, ее карандашный набросок выглядел чем-то вроде геометрической конструкции непонятного предназначения. Что я хотел сказать этой картиной? И в каком виде она существовала: во всей своей потенциальной безграничности или сведенная к скудной данности моей работы?

Где-то между пространством синих стен гостевой комнаты и солнечных каскадов "Забытого окна" я явственно услышал повторенный несколько раз подряд ответ — повторенный *моим* голосом! "Цинковые белила, желтый кадмий, сиена натуральная..." — говорил этот голос. Я перечислял цвета палитры Винсента Ван Гога периода "Едоков картофеля", последовательность, которую с суеверным преклонением запомнил, перенял и теперь повторял как "Сезам, откройся", как заклинание, способное открыть двери рая: "...кобальт, жженая кость, киноварь..." — увы, под моей кистью эти магические слова отзывались только безжизненными пятнами.

Близ моего одра расселось в принесенных из секции садовой мебели складных креслах семейство в полном сборе — вся большая четверка плюс Альфонс, положивший на столик в изголовье мою вчерашнюю книгу с обнадеживающей закладкой, наша кассирша Одиль, ее муж Жан-Ми — знаменитый в городе кондитер с улицы Даниель-Ропс, и, наконец, мадемуазель Туссен, которая, видимо, сочла, что имеет на меня особые права, коль скоро первой обнаружила мое тело. Именно она рассадила собравшихся по степени скорби, приготовила кофе, зажгла свечи и поправила на мне галстук. Как настоящая хозяйка торжества. Тиканье ее спиц складно вплеталось в глухое уханье маятника настенных часов. Бдение над моим телом продолжается уже полтора часа, и если у кого-то на глазах еще и выступит слезинка, то только от зевоты.

— Как мирно он выглядит! — в пятый или шестой раз повторяет Одиль.

Как будто когда-нибудь я выглядел свирепо. Какая, право, у людей короткая память и как легко они наклеивают вам ярлык, пользуясь вашей безответностью. Правда, у Одили со мной свои счеты. Одиль, с ее унылым длинным лицом, сутулой спиной, торчащими, как недоразвитые крылышки, и дрожащими, когда она плачет, лопатками, тайно и безнадежно влюблена в меня еще с тех пор, как нам обоим было по четырнадцать лет. Она не выказывала ни капли злости или досады ни когда я гулял со всеми ее школьными подружками по очереди, а те сначала коварно использовали ее как прикрытие, а потом отшвыривали за ненадобностью, ни когда сам женился на коронованной красотке, а ей подсунул в мужья своего приятеля Жана-Ми, которому после аварии на водных лыжах нужна была преданная душа, ни когда, наконец, без тени

смущения и уверенный, что делаю ей приятное, я попросил ее быть крестной матерью моего сына. Словом, по моей милости ей двадцать лет приходилось корчить хорошую мину — но что же я мог поделать? Сегодня я угомонился, и, глядя на меня, она сама обретает мир.

Люсьен, очень серьезный, затянутый в чересчур солидный для его возраста полосатый костюм, подошел ко мне, заложив руки за спину. Медленно наклонился, запечалел на моем лбу ритуальный поцелуй и, выпрямившись, оглядел присутствующих, чтобы все видели, что он не плачет. Не знаю, что творится у него внутри, каков, так сказать, уровень подземных вод, но я был просто потрясен тем, как он собрал все силенки, чтобы сдержать слезы и показать себя достойным маленьким мужчиной, главой осиротевшего семейства. Прежде чем отойти, он, как другие, почтительно перекрестил меня, словно следуя инструкции по пользованию каким-то новым предметом, и уж затем сел на свое складное кресло между матерью и теткой, напыжившись и уставив на меня невидящий взгляд.

Как я теперь жалею, что уделял так мало внимания этому совсем не похожему на меня мальчугану. Помню, как-то раз я упрекнул Фабьену в том, что она поддерживает в Люсьене его дурацкую серьезность, она же ответила, что он такой из-за меня: я не даю ему возможности быть ребенком, потому что ребячусь сам и занимаю детскую нишу в семье. Если бы я добросовестно исполнял роль отца, а не дурачился почем зря, как младенец-переросток, то и Люсьен был бы нормальным восьмилетним ребенком, а не таким маленьким старичком, как сейчас, который каждый день прилежно ходит в школу и учится на отлично, по средам хозяйничает в магазине, а все свободное время проводит перед видаком с приставкой, не мешая мне резвиться и не покушаясь на мою территорию.

В прошлом году перед Рождеством он убрал свою комнату в предвидении "Макинтоша", который он попросил у Деда Мороза. Чтобы освободить место, он вытащил в коридор свои плюшевые игрушки и положил их на мешки со старой одеждой — Фабьена собиралась отдать ее бездомным, — а все мини-машинки, какие я подарил ему за восемь лет, расставил на моих книжных полках. Я чуть не прослезился, когда увидел рядом со своей коллекцией паровозиков эти "динки-тойз" и "солидо", говорившие мне о его детстве больше, чем фотографии. Фабьена была права. И вот сейчас Люсьен похоронит здоровенного придурка, которого из приличия звал папой. Протокольная скорбь скоро пройдет, и Люсьен сможет скроить в памяти мой образ по собственному вкусу. Мне вдруг отчетливо вспомнилось, как иногда за столом он ни с того ни с сего самым нейтральным тоном сообщал: "У Алена Нолара развелись родители" или "У Амели Ревийон умер отец". Не скажу, чтобы в глазах его была заметна зависть, но замечания и соображения, которые следовали за этой информацией ("Ален стал лучше учиться, с тех пор как у него появилось две комнаты", "Амели хоть освободили от физкультуры"), наводили на мысль, что эти примеры его прельщали.

Теперь я понимаю, что принимал за отцовские чувства чистейшей воды эгоизм. Сквозь сеть накладывающихся друг на друга монотонных импульсов: молитвы Одили, александрийские строчки Альфонса, вздохи Брижит, вязание мадемуазель Туссен — я кое-как прорвался в грохочущий Луна-парк, куда водил Люсьена в конце каждого семестра. В награду за отличные успехи. Это была наша, как я говорил, "мужская про-

гулка". Я совершенно искренне хотел разделить с ним, увидеть в его глазах и снова пережить восторг от катания на карусели — мне в его возрасте дарила это удовольствие сестра. Люсьен вяло тащился, держа свою длинную леденцовую палку в опущенной руке как поводок, с которого спустили собаку, равнодушно проходил мимо тира, зевал в "доме с привидениями"; раздраженно заводил глаза, когда на "авторалли" в его машинку врезались другие такие же с хохочущими ребятишками за рулем; уныло разглядывал с "американских горок" крыши домов, в то время как его соседи, упиваясь страхом, визжали на виражах.

Возвращались мы, когда уже темнело, я — сияющий, он — с чувством выполненного долга. Фабьена спрашивала Люсьена: "Ну что, *он* хорошо поразвлекся?" — и тот отвечал "да".

Эпизоды с аттракционами следуют друг за другом вполне упорядоченно, не то что первые обрывки воспоминаний, когда меня швыряло из сада с улиткой в море с байдаркой. Люсьен постоянно присутствует в каждом, и его присутствие ощущается сильнее моего — наши прогулки наедине, без Фабьены, видятся мне глазами сына. На колесо обозрения и мини-автомобильчики накладывается его лицо, такое, каким оно видится сейчас, в дрожащем пламени окружающих меня свечей; меня ведет нить его мыслей, и я чувствую себя не совсем мертвым, потому что не один. Какое счастье переживать эти часы так, как они представляются Люсьену, оказывается, они запали ему в душу глубже, чем я думал, и теперь он дарит мне их вместо молитвы. Это несколько изменило в лучшую сторону мое отношение к ритуальному бдению над телом. Все или почти все, кто собрался вокруг моего одра, принесли с собой память о самых лучших, самых трепетных минутах, которые мы пережили вместе, — принесли, чтобы как-то восполнить мое отсутствие.

Но вот карусель с лошадками подернулась рябью, вся картинка задергалась, затуманилась, сжалась, и в следующее мгновение я увидел себя сидящим в классе за партой Люсьена с зажатыми между низким столом и сиденьем коленками. Самого Люсьена нет. Это родительское собрание, на котором я заменял занятую инвентаризацией Фабьену. Дело происходит месяц, а может, год тому назад. Вокруг меня взбудораженные мамаши и примостившиеся на сыновних стульях отцы. Разбираются рисунки, и очередь дошла до меня. Произведения наших ребятишек развешаны на стенах. Тема — "Моя семья". Люсьен нарисовал замок без окон, с закрытой дверью, перед крыльцом — машина, и ни одного живого человека. Как выясняется, это страшно важно. Нормальные родители, с облегчением нашедшие себя на рисунках своих отпрысков, смотрят на меня с презрением или сочувствием.

— Почему ты не нарисовал папу и маму? — спрашивает учительница.

Это события предыдущего дня. Люсьен стоит у доски. Странно — отныне стоит мне задаться каким-нибудь вопросом, как я тут же получаю на него ответ, как будто внутри извлекаемой из памяти сцены раскрываются скобки.

— Они уехали в магазин.

Училку не проведешь — особа с соломенным перманентом поднимает брови домиком, хитро улыбается и показывает пальцем на рисунок:

— Да? А почему же машина на месте?

— Чтобы ездить по магазинам, у них есть другая, — объясняет мой сын привычно-снисходительным тоном — как еще прикажете относиться к идиотским вопросам взрослых!

– А почему рядом с домом нет тебя? – не унимается учительница.

– Потому что я рисую эту картинку.

Снова родительское собрание. Кто-то ерзает, разминая затекшие ноги, кто-то незаметно выдвигает ящики столов своих деток и изучает содержимое. В дверь просовывается голова директора:

– Ну как, они хорошо себя ведут?

– Очень, – отвечает учительница, и дверь закрывается.

Жанна-Мари Дюмонсель, возмущенная тем, что оказалась на задних рядах, около самой батареи (это географическое положение отражает школьные успехи ее внучки), яростно критикует систему оценок. Учительница методично, пункт за пунктом, разбивает ее аргументы. Нудные, вздорные пререкания, бесконечное пережевывание мелочей и топтание на месте, как будто заело пластинку, – все это затягивает меня в какой-то круговорот скуки и тревоги. Я хочу вернуться на прощальное бдение, но не могу прорваться, сил хватает только на дрейф в воспоминаниях. Да и улизнуть в другой пласт прошлого, как я вдруг понимаю, мне больше не удастся. Слишком осязаемы голоса, слишком весомы взгляды, я не могу взять и растаять. Реальность сомкнулась вокруг меня и "схватилась", как цемент. А страх навсегда застрять на этом школьном собрании только еще прочнее втискивает меня в классную комнату; стены и лица проступают все явственнее. Чувство замкнутости, удушья, которое мучительно нарастало во мне тогда под осуждающими взглядами более достойных своего звания отцов, словно было своеобразным предчувствием, интуитивным предостережением, которое оправдалось в полной мере только сейчас. Может быть, смерть – это такой отстойник, куда стекаются и где получают подтверждение забытые предчувствия?

Выручает меня Альфонс, возвращая в настоящее время громогласным восклицанием:

– Никто, никто и не подозревал!

Все вздрогнули и настороженно воззрились на него. Старикан побагровел, пробормотал извинения – руки его заходили, как "дворники" по лобовому стеклу, – и по-черепашьи втянул голову в воротник. Но через полминуты, только все успели вновь погрузиться в свои мысли, он, собрав всю смелость и преодолевая робость, выпалил:

– Какой он был замечательный человек!

Сестра и Фабьена поблагодарили его улыбкой, надеясь, что это конец его выступления. Но я-то знаю своего дядьку. Если уж он завелся, его не остановишь. Так и есть.

– Да что там, – продолжает Альфонс, – не далее как вчера – он заходил помочь мне навести порядок на складе, мы вытаскивали ледовые буры, то еще фуфло, в прошлом году еле-еле продали три штуки, – так вот вчера он мне вдруг и говорит: "Знаешь, Альфонс, лучшее, что может сделать человек, чтобы что-нибудь осталось после него на земле, – это трудиться. Кто ничего не сделал, тот все равно что не рождался". – Я ничего такого не говорил, но оценил благородные побуждения Альфонса: он хотел заменить память о лентяе образом труженика, вероятно в расчете повлиять на святого Петра, который, видимо, представляется ему этаким насупленным уполномоченным, собирающим отзывы живых об усопшем. – Он мог бы стать известным художником, выставляться в Шамбери, недаром же сам префект купил для музея его пейзаж – вид на озеро, – когда разыгрывалась лотерея в пользу собак-

поводырей, помните, показывали по местному каналу?.. Да что я говорю — Шамбери! Он бы и на Париж потянул, и на весь мир, если бы захотел, но семья, дело — то есть скобяная торговля, — для него это было свято. Я держал его на коленях, когда он был еще вот такусенький, и я скажу вам: этот человек никогда не бросил бы ближних ради блестящих бирюлек и всяких там фу-ты ну-ты. Никакая слава ему бы не вскружила голову. Он не из таких. Сызмальства был смышлен хоть куда, но всегда оставался простым.

— Спасибо, Альфонс, — с нажимом шепчет Фабьена, намекая старику, что его чересчур звучная речь мешает молитвам окружающих.

— Не за что, мадам Фабьена! — возражает Альфонс, прижимая руку к груди. — Я говорю от сердца — какая ж тут заслуга! Он был великим художником, но никакой работой не гнушался, хотя мог бы найти занятие получше, чем возиться с железяками да хозяйственным хламом, с его-то руками — ему ведь ничего не стоило за три минуты нарисовать какой угодно закат или там букет, все как настоящее, я-то знаю, он и меня написал. Изобразил таким как есть, просто я никому не говорил из скромности: что такое мой портрет по сравнению с шедеврами, которые рано или поздно будут висеть в картинных галереях!

Мадемуазель Туссен протягивает ему тарелку с печеньем — может, отвлечется и потеряет нить.

— Да-да! — настаивает Альфонс, как будто кто-то усомнился в его словах. — Честное слово! Мне тогда было семьдесят пять, и портрет все равно что зеркало. Теперь-то уж, конечно, не узнать, пять лет прошло, а старость есть старость...

На этот раз Фабьена ничего не сказала. Наоборот, выдержала паузу и веско кашлянула — это прозвучало так, как будто кто-то защелкнул кошелек во время мессы. Альфонс понял. Он заискивающе оглядел всех, словно прося поддержки, но никто не отозвался. Все смотрят на свои или на мои ноги, все ушли в себя. Тогда Альфонс сдвигает берет на другое ухо, опускает глаза и смущенно заключает:

— Аминь.

Дальнейшее он уже шепчет себе под нос, чтобы никого не беспокоить. Снова забренчали спицы мадемуазель Туссен. Люсьен сидит на кончике стула, отважно сопротивляясь сну. Одиль, прижав к лицу носовой платок, искоса поглядывает на мужа, мысленно упрекая его за то, что он меня пережил. Бедняга Жан-Ми! Нам с ним всегда было не о чем разговаривать, но мы отлично понимали друг друга. Он обожает спорт, в совершенстве владеет кондитерским искусством и мается, когда нечем занять руки — работать головой он не мастер. Сидеть над моим телом — для него сущее наказание, он чувствует себя неловко и сам на себя злится. За всю жизнь он ни разу не сказал мне "Здравствуй!", вместо этого с размаху залеплял кулаком в грудь и вопил: "Живем, старик!" А тут вдруг — на тебе!

В настроение сестры я предпочитаю не вникать, и так ясно. Она неотрывно, с тупым отчаянием смотрит на мое раскрашенное восковое лицо, стараясь навсегда его запомнить, отвоевать у небытия, в которое я, согласно ее убеждениям, канул. Сначала в глазах ее пылало возмущение несправедливостью судьбы, теперь оно потонуло в слезах. В ней нет ни капли сомнения или надежды, ни намека на молитву, устремленную ко мне или к потолку, только взвешенные в вакууме мысли обо мне. Брижит, вопреки всем прогнозам, уже десять лет живет с ра-

ком легкого, и мысль, что это она сидит у моего гроба, а не наоборот, по временам исторгает у нее горькую усмешку, которую моя жена истолковывает на свой лад.

Фабьена, конечно же, думает о завещании. Она знает, что я был очень привязан к Брижит и что эта привязанность только усиливалась от того, что мы редко виделись (у Брижит сумасшедшая жизнь: то гастрольные гонки, то долгие периоды простоя, которые она пережидает, забившись в свою нору), и имеет все основания опасаться, что я мог сделать основной наследницей сестру. Действительно, поскольку будущее Фабьены и Люсьена обеспечено — им достается дело, дом и акции, я назначил Брижит единственной наследницей моей страховки, то есть суммы в два миллиона триста тысяч франков. Для Фабьены это ощутимый удар. Возможно, иногда я думаю о Фабьене хуже, чем она заслуживает, потому что это облегчает угрызения совести, испытываемые мною по отношению к ней, но в данном случае ошибки быть не может, я слишком хорошо знаю свою вдову и уверен на сто процентов: она уже строит планы модернизации магазина, рассчитывая пустить на это доход от моей скоропостижной кончины. Так нет же! Прощай, плиточная облицовка взамен штукатурки, прощай, кондиционер, прощайте, лепные ростры из "Касторамы"[1] и система видеонаблюдения. В кабинете нотариуса предстоит душераздирающая сцена.

Пытаюсь настроиться на отца, но не чувствую его — связи нет. Он вообще внутренне отсутствует: сжимает в кармане кофты кассету, которую ему дала Фабьена, и весь в ожидании, в предчувствии момента, когда все разойдутся спать, а он останется на кухне наедине с моим голосом. Это он думает, что там мой голос. Какое же разочарование его ждет и как же я корю себя за мелочную жестокость, причину существования этой вещицы, в которую отец вцепился изо всех оставшихся сил.

В последнее время мы общались очень мало. Когда я приезжал на заброшенную ферму в Тревиньене, на развилке двух больших дорог, куда он прочно забился с тех пор, как оставил нам магазин, то судил о его состоянии по кротовым кучам перед домом. Если земля была тщательно выровнена и десяток колышков указывал, где расставлены ловушки, значит, все в порядке и я застану папу аккуратно одетым, выбритым и по обыкновению колдующим над тремя видеомагнитофонами, без конца просматривающим пленки, что-то заново переписывая и монтируя; на всех трех экранах — мама: идет, улыбается, смотрит; на трех экранах их свадебное путешествие через всю Америку, семейные праздники, четыре года счастья, оборвавшегося с моим рождением.

Если же, открыв ворота, я видел, что все перерыто, земля вспучена кротовьими ходами, значит, экраны выключены, а отец сидит небритый, в пижаме, перед бутылкой коньяка и тупо молчит. Кроты торжествовали. Судя по тому, что сегодня он не выходит из оцепенения, на щеках у него щетина недельной давности, из-под запачканной кофты торчит воротник пижамы, а от черного костюма, который Альфонс привез ему из Тревиньена, он отказался, пожав плечами, не исключено, что теперь победа останется за ними навсегда. А жаль. Еще год назад даже в подобных обстоятельствах, я уверен, папа оценил бы иронию судьбы, заметив, что мы с ним оба одеты в те же самые костюмы, какие были на нас в день моей свадьбы. Вопреки горю, времени и пространству, он смог бы в хорошие дни — дни заряженных кротоловок —

1. "Касторама" — сеть магазинов, где продаются дешевые товары.

сохранить ту внутреннюю связь, которая все-таки существовала между ним и маленьким сыном с видеопленок. Может, и для меня взрослого нашлось бы местечко в его видеотеке? Может, у него еще хватило бы сил подверстать меня в архив памяти?

Я умер слишком поздно.

Альфонс, по-прежнему прилежно перебиравший про себя эпизоды, которые, на его взгляд, наилучшим образом отражали мою суть, вдруг прыснул в кулак. Фабьена метнула в него строгий взгляд, вздохнула и досадливо поерзала на цветастом складном стуле.

— Да это мне пришел в голову тот случай в лицее Грези-сюр-Экс с учителем латыни и разбитым окном, которое все заклеивали бумагой, — объяснил Альфонс. — Помните, а?

Вопрос повис в полном молчании. У Альфонса горели глаза, щеки морщила широкая улыбка — он призывал всех в свидетели. Но, скорее всего, этой истории никто кроме отца не знал, а тот, вынырнув на мгновение из летаргии, что-то пробормотал себе под нос и снова обмяк, предпочитая вспоминать в одиночку.

— Ну и насмешил же он меня тогда, наш Жак! Этот их латинист, забыл, как его звали, фу-ты, глупость, ведь я еще на прошлое Рождество носил ему в хоспис каштаны... серьезный такой был мужчина... да вот, чтоб вы имели представление, он как две капли воды похож на бородатого ветерана первой мировой — знаете памятник в Кларафоне?

Он снова оглядел все лица, проверяя, дошло ли его сравнение. И на всякий случай уточнил:

— На 913-м шоссе, напротив Перимона. Раньше он стоял прямо на повороте в Летьер и был самым опасным памятником павшим во всей округе: там спуск от Ревара, и вот, чуть туман или гололед — так бац! — каждую зиму с десяток человек разбивалось насмерть, в конце концов его перенесли на другую сторону, поближе к колодцу, сейчас-то там вообще все застроили... о чем это мы говорили?

Ответа не последовало, только зашаркали ноги под садовыми стульями. Каждый надеялся, что Альфонс наконец истощится и можно будет продолжать чинное бдение. Между тем лица успели несколько измениться, на некоторых застыло недовольство, и по этому признаку я заключил, что память обо мне и забота о спасении моей души постепенно уступают место подсчетам расходов, доходов и налогов, планам на отпуск, привычной зависти и ссорам с соседями из-за смежной стены. Запах горячих свечей располагает к размышлениям, а посидеть часок в тишине и обмозговать набежавшие проблемы никогда не вредно. Однако Альфонс лишает людей этого удовольствия: он вспомнил, о чем говорил, и, хлопнув по колену беретом, продолжает:

— Ах да! Это я начал про латиниста! Серьезный такой мужчина, похож на ветерана, что всем тычет в глаза свою раненую ногу... Между нами говоря, я его видел раза три-четыре при исполнении служебных обязанностей, когда месье Луи был занят в лавке и посылал на родительское собрание меня... Как он всех чихвостил, сейчас уж не припомню за что, но видно было: этот свой хлеб ест не даром! Мину — вот как его звали! Я еще запоминал: как "минус", только без последней буквы. Да, точно — месье Мину, преподаватель французского, греческого и латинского, только греческому учить было некого. Зимой и летом в черном сюртуке и с тросточкой — чуть не забыл про тросточку! Сейчас-то он ездит в инвалидной коляске, но тросточка — это очень важно в той истории!

— Тише, вы! — шипит мадемуазель Туссен, указывая на мой утопающий в розах труп.

— Так ведь о нем же и речь, почему не вспомнить хорошее времечко! По-моему, уважать мертвого — значит говорить о нем как будто он живой. Верно, месье Луи?

Отец драматически поднял брови в знак своего бессилия, адресуясь к Фабьене, она же, приняв неизбежное, судорожно сглотнула слюну.

— Ну так вот, окно, значит, разбито мячом, и школьный завхоз велел заклеить его крафтом до прихода стекольщика. А стекольщиком был тогда Перинетто из Вивье, родом итальянец, его еще звали Равиоли, так, для смеху. Славный малый этот Равиоли, работящий, не ленивый и не скаред...

— Если уж вы не можете дать нам спокойно молиться, — не выдержав, обрывает его мадемуазель Туссен, — так хоть говорите о покойном!

— А я что делаю! — возмущается Альфонс и даже топает ногой. — Да вы послушайте!

— Вы толкуете про кларафонский памятник, учителя латыни и стекольщика, до которых нам нет никакого дела!

— Продолжай, Альфонс! — подбадривает его Брижит.

Фабьена бросает на невестку ледяной взгляд. Мадемуазель Туссен свирепо набрасывается на спицы и вывязывает петли с кровожадным выражением лица. Одиль пихает локтем Жана-Ми, у которого урчит в животе.

— Ну вот, значит, учитель Мину входит в класс, видит эту бумагу вместо стекла, вспыхивает и давай стучать тростью в пол и кричать: "Халтурщики! Паскуды!"

— Здесь ребенок, — напоминает Фабьена.

— Это по-латыни, — выворачивается Альфонс.

Люсьен смотрит, поджав губы, с тем досадливым раздражением, которое всегда вызывал у него Альфонс.

— Это, мол, издевательство, и — раз! — раздирает тростью бумагу! Не затем он стоял под снарядами, чтобы ему вместо порядочного стекла вставляли в окно паршивую бумагу. Тут-то и начинается самое главное.

Альфонс хитро ухмыляется и машинально тянется за стаканом, но натыкается на мою ногу и, вспомнив, где находится, сконфуженно теребит шнурок на моем левом ботинке.

— А Жаку в то время шел семнадцатый год, такой, понимаешь, был петушок, уже и в девушках знал толк. И всегда готов отколоть штучку, чтобы какая-нибудь Клодина или Анна-Шарлотта — та, что потом вышла за молочника, — на него лишний раз взглянула. Короче говоря, на другой день входит Мину и видит — на место бумаги, которую он вчера продырявил, приклеили новую. Тогда он недолго думая поднимает трость и снова — раз! — войдя в раж, Альфонс дергает за мой шнурок и развязывает его. Потом озадаченно смотрит на свою руку, нахлобучивает на голову берет, смущенно переводит взгляд на хозяйку и встает: — Извиняюсь, мадам Фабьена. Это я нечаянно, увлекся малость, не уследил за собой. Словом, так было три дня подряд, как урок латыни — так он: "Требую, чтобы вставили стекло!" — и раз тростью!

Альфонс наклонился проверить, как получился двойной узел, который он старательно завязал на моем левом ботинке, одобрительно кивнул и взялся за правый, чтобы и там сделать такой же, иначе длинные концы, можно оступиться.

— А на четвертый день ребята приходят в класс и видят — чудо! Вместо бумаги новенькое стекло — Равиоли из Вивье сподобился-таки вставить. И тогда Жак, известный хохмач, знаете, что делает? Он... он...

В горле у Альфонса заклокотало, забулькало, на губах проступила пена. Он побагровел, затрясся спиной и затряс мою ногу, которую все еще сжимал рукой.

— ... он берет...

Но каркающий смех вырывается наружу и переходит в приступ кашля. Альфонс задыхается. К нему подскакивают отец с сестрой, стучат по спине, отцепляют от моего ботинка и усаживают на стул. Мертвенно-бледная Фабьена поднимает канделябр и вазу с розами, которые он опрокинул, когда бил руками по воздуху, силясь продохнуть.

Наконец кашель отпускает Альфонса, и в восстановленной тишине мадемуазель Туссен, не переставая вязать, скучным голосом произносит:

— Он берет кусок крафта, приклеивает поверх стекла, а учитель, собираясь снова проткнуть бумагу, разбивает тростью новое стекло.

Альфонс, никогда не понимавший эгоистов, смотрит на старую деву растерянно и изумленно — она спутала ему все карты: финал, который должен был произвести фурор и послужить еще одним козырем для спасения моей души, прозвучал невыразительно и бесцветно. Он еще разок кашлянул и, вдруг застыдившись своего непрошеного выступления, опустил глаза и поспешно перекрестился, словно снова ныряя в себя.

В комнате повисла сомнамбулическая тишина, я вернулся в парк, в мысли Люсьена. В рождественский вечер он спросил меня, откуда "на самом деле" берутся дети. И вот, когда мы мчались с ухаба на ухаб и ледяной ветер швырял в лицо сладкие крошки от моей вафли, я решил объяснить ему кое-какие технические детали. Но оказалось, что он уже в курсе того, как работает его "штучка", и спрашивал не об этом. Он не хотел детей и боялся, что когда-нибудь женщина преподнесет ему такой сюрприз. Я привык мгновенно, не прибегая к логике, улавливать истинный смысл того, что он говорил, и понял: он как бы выражал мне сочувствие, но одновременно и упрекал — таким нежеланным ребенком был он сам. "Ты должен был соблюдать осторожность", — сказал мой сын. У меня перехватило дух — такое благородство и такая затаенная боль слышались в этих словах маленького человечка. Я не нашелся, как разуверить его, не сумел приласкать, сказать, что я его люблю, и попросить прощения столь же деликатно и целомудренно, как выразил свои чувства он. И я малодушно перевел разговор, показав ему падающую звезду. Мы застыли, глядя в небо, меж тем как наш вагончик, звеня смехом и визгом, несся по спирали.

И вот сегодня, сейчас, я пытаюсь что-то исправить, сказать тебе, что без тебя мне незачем было бы жить, что я благодарен маме за то, что она заставила меня согласиться. Чтобы ты не думал, что я к тебе безразличен, что твое рождение и слишком быстрое взросление стало для меня обузой — хотя, похоже, я действительно умел любить только тех, кто уже не меняется или кого больше нет. Просто я очень боялся отяготить тебя, согнуть, как когда-то согнул меня мой отец, желавший непременно сделать меня своим преемником... впрочем, я и на него не сержусь. Поэтому я тебе не навязывался, чтобы ты, если захочешь, мог любить меня без усилий, раздражения и обязательств или, если это тебе понадобится для самоутверждения, ненавидеть без угрызений совести.

Во мне не было ни страха одиночества, ни ревности, ни жажды властвовать, ни самолюбивого желания гордиться своим детищем. Единственный принцип, которым я мог руководствоваться в твоем воспитании, это тот, что я унаследовал от своего замечательного деда, которого ты не застал и чье имя носишь, хотя твоей маме оно не нравилось и казалось слишком "простецким". "Если любишь, оставь в покое", — говаривал он.

Я захлебываюсь словами, поток наконец хлынувших наружу чувств грозит затопить "американские горки", но вот наш вагончик срывается с креплений, слетает с рельсов и оказывается на экране компьютера. Люсьен засыпает. Какое действие оказывают на меня сны живых, я пока не знаю и на всякий случай соскакиваю с подножки и с ходу пытаюсь переключиться на сестру. Связь устанавливается мгновенно, качество изображения отличное. Не в обиду скорбящим обо мне будь сказано, но мне, ей-богу, начинает нравиться это посмертное существование. Возможно, люди не переживали бы так по поводу смерти, если бы им сказали, что она — ворота в Луна-парк, знай себе пересаживайся с одного аттракциона на другой.

В сознании сестры разворачивается вся моя жизнь в хронологическом порядке. Она так часто перебирала в уме события нашего детства, что они разворачиваются без сбоев и во всех подробностях. Я вижу свое рождение, горе и слезы в доме, понимаю, какой горечью и неприязнью встретил меня мир — я не представлял, насколько сильно было это чувство. Только Брижит и Альфонс отнеслись ко мне как к обычному, ни в чем не виновному младенцу. Вот я начал ходить, и с тех пор доминантой в воспоминаниях сестры стал ключ от маминой комнаты. Она располагалась на втором этаже, и нам было запрещено туда ходить. Папа же часто запирался там ночами, мы слышали над головой его шаги, и мое воображение, вскормленное волшебными сказками, которыми Альфонс старался отвлечь меня от невеселой реальности, рисовало жуткие картины. Я долго думал, что мой отец — Синяя Борода. Он говорил мне, что мама жива, что она после моего рождения уехала в Америку и там живет на ранчо, но я не верил ни единому слову и первые несколько лет сознательной жизни искал ключ от секретной комнаты, где должен был стоять зловещий шкаф, в котором были развешаны по росту на перекладине тела семи убитых жен и среди них моя мама.

Когда мне исполнилось четыре года, Брижит подарила мне этот ключ. Стащила у отца из тумбочки и заказала дубликат. И вот как-то в четверг вечером мы забрались в заветную комнату и стали искать хоть какие-нибудь мамины следы — поскольку, как я сразу с некоторым разочарованием убедился, ее тело не висело в шкафу среди платьев. Комната Синей Бороды оказалась музеем юной, стройной, жизнерадостной девушки со светлыми волосами. Она улыбалась с каждого черно-белого кадра. Мама в лодке, на лыжах, на лошади, на пляже, с собакой-лабрадором, привязанной к рулю "форда" с откидным верхом. Брижит знала маму целых три года, пока не родился я, и это давало ей право верховодить в наших экскурсиях по маминой жизни. Она будто бы помнила все до мелочей и комментировала каждый кадр с таким уверенным и сведущим видом, что мне хотелось ее стукнуть или дернуть за волосы и отнять эти три драгоценных года.

Мы заряжали пленки в нацеленный на пустую стенку проектор и часами разглядывали кадры свадебного путешествия родителей по

Америке, где, как уверяла моя сестра, мама встретилась с другим мужчиной, к которому потом и уехала. Лично мне больше всех приглянулся красавец шериф с пленки номер 19, со звездой на груди, в темных очках, на три головы выше отца — он стоял, небрежно опершись о капот новенького — не то что родительский "фордик" — "шевроле". Наверное, когда мама вернулась в Экс, он засыпал ее страстными письмами и наконец подарил ей ранчо — иначе она не согласилась бы нас бросить. Весь свой гардероб она, очевидно, оставила здесь, и мы разыгрывали костюмированные спектакли. Я изображал отца: ходил, набычившись, с английским ключом в руке. Брижит играла маму, жестокую попрыгунью: обзывала меня пентюхом и убегала, запахнувшись в длинную шаль. Однажды папа застукал нас как раз на сцене отъезда. Никогда не забуду его лица, побелевших пальцев на дверной ручке. Чтобы сдержать слезы, он раскричался, надавал нам оплеух, выгнал вон и наказал, но, что бы он ни делал, у нас уже было твердо решено: когда-нибудь и мы сбежим от него в Америку.

У нас с Брижит был загашник, куда мы складывали гостинцы, которые получали на Рождество. Взрослые, сами того не подозревая, помогали нам готовиться к побегу. Брижит вычерчивала маршрут на карте в энциклопедии: мы будем обходить все ранчо в Техасе, Колорадо и Оклахоме — трех штатах, где женщин берут в ковбои. В один прекрасный день найдем маму где-нибудь в салуне в Эбилене, на родео в Уичито-Фолс или преследующей скотокрадов на границе с Нью-Мексико. И весело поскачем вместе по прерии среди кактусов, а о скучном лавочнике, у которого она оставила нас до поры до времени в Экс-ле-Бене, Савойя, будем только вспоминать. Чтобы подготовить меня к путешествию, Брижит давала мне уроки верховой езды и водила в тир стрелять из пистолета. По выходным мы уходили за город и там на лугу упражнялись в бросании лассо: гонялись за телятами, связывали им ноги бельевой веревкой, а потом улепетывали в лес от разъяренного фермера, который, заглянув в загон, находил все стадо стреноженным.

Брижит включила в программу даже такие, казалось бы, вполне факультативные предметы, как сольфеджио, арифметику, рисование и парусный спорт. Уметь музицировать надо было на случай, если придется просить милостыню; владеть счетом — чтобы сосчитать пули в револьвере и оставить последнюю себе; а кто не способен нарисовать портрет-робот гангстера и определить по ветру расположение индейского лагеря, тому вообще лучше до конца своих дней сидеть в курортном городишке и заниматься скобяной торговлей. Надо сказать, все, к чему я таким образом приобщился в шесть лет, за исключением цифири, позднее стало для меня главным в жизни.

Но однажды отец взял меня за плечи и открыл правду: мама умерла, рожая меня. Теперь, сказал он, я уже большой. Что ж, я действительно как раз дорос до того возраста, когда уже мог страдать. Лучше бы у меня не отнимали мою сказку про Синюю Бороду, пока я сам не перестал бы в нее верить. Потому что "по правде" выходило, что маму убил я. Хоть отец и говорил — судьба.

Потом у Брижит наметилась грудь. Она часами болтала с мальчишками и уже не поверяла мне всех своих секретов. Может, ей просто стало неинтересно — ведь делать вид, что мама жива, больше не имело смысла, и она принялась морочить голову другим. Нередко она убегала из дому по ночам, отец запирал ее в спальне, а я искал ключ.

Главной моей заботой было следить за своим весом, я не слезал с весов, считая, что терять килограммы — такое же похвальное дело, как получать хорошие отметки. Маму погубило то, что я был слишком крупным, и я каждое воскресенье клялся в церкви Богу худеть ради спасения ее души. Если же иногда мне случалось поддаться дьявольскому искушению витрин кондитерской Дюмонселя, я тут же бежал исповедоваться и среди прочих грехов, к удивлению кюре, называл свой вес.

Вскоре Брижит снова подобрела ко мне, а все потому, что я стал обеспечивать ей алиби: в выходные она возила меня в Этрие и, пока я в одиночестве катался на лошади, развлекалась в конюшне. Как-то раз в воскресенье, отъездив свой час на Звезде и подогнав ее к стойлу, я увидел, что оно занято: там лежала моя сестрица под конюхом. Пришлось нам со Звездой поворачивать и снова кружить по манежу, пока не освободится место. Брижит дала мне пятьдесят франков за то, чтобы я забыл про это добавочное время.

Я продолжал складывать сбережения в ту же розовую фаянсовую свинью, в которой мы копили деньги на побег, но теперь она превратилась в подобие церковной кружки — я жертвовал в память о маме. Ведь спешки больше не было — Америка могла подождать. Чем дольше мы вытерпим, тем больше накопим и тем дальше уедем, говорила Брижит. Вот только цены на билеты все росли и росли, я видел, как меняются цифры в витрине турагентства. В конце концов Брижит нашла более простой выход — вышла замуж. А я в пятнадцать лет остался один на один с дурашливо ухмыляющейся розовой свиньей. Разбивать вещи не в моем характере. Так я никуда и не поехал.

Картинки из детства, которые оживают в уме сидящей у моего бесчувственного тела сестры, казалось бы, должны доставлять мне удовольствие. Но мне как-то неуютно в ее мыслях. Брижит уверена, что от моего "я" ничего не осталось, и эта уверенность заражает меня. Атеизм ее так непоколебим, ощущение пустоты так явственно, что, окунувшись в них, я тоже перестаю верить в духов, а значит, и в самого себя. Поэтому, как ни мила мне сестра, лучше не задерживаться в ее сознании — чего доброго, растворюсь. А мне так хотелось помочь ей, избавить ее от болезненного чувства вины... Да нет же, нет, Брижит, вовсе ты не должна была лежать на моем месте. Тебе дана такая стойкая ремиссия, потому что у тебя на земле еще много дел. А с меня взятки гладки. Я отправился первым согреть тебе местечко на том свете, который, сдается мне, существует даже для тех, кто в него не верит. Иначе причина моего затянувшегося одиночества была бы слишком страшной. Не может быть, чтобы мама и дедушка с бабушкой лишились вечной жизни из-за своего скептицизма. Нет, они, наверное, заняты где-то в другом месте или дают мне время проститься со всеми вами. Как бы то ни было, но, когда нотариус вскроет завещание — завтра или послезавтра — и огласит мою последнюю волю, ты будешь смеяться до слез и, несмотря на все свои предубеждения, будешь вынуждена признать, что я по-прежнему с тобой и жду тебя, хотя и без нетерпения.

Альфонс замер на стуле, вытянув шею и упершись локтями в колени, точно застыл на часах. После неудачного опыта с разбитым стеклом он отчаялся передать другим свое восхищение моей особой, но продолжает старательно и прилежно, как все, за что берется, предаваться умилительным воспоминаниям.

Его мысленными очами я вижу себя в коляске. Он вывез меня подышать свежим воздухом в парк водолечебницы. Весна, на деревьях возле открытой эстрады распустились почки. Альфонс при боевых орденах, в парадном берете и клетчатой ковбойке, украшенной галстуком-бабочкой. Глядя по сторонам с мечтательной улыбкой и покачивая коляску в ритме скрипичных переливов Штрауса, которыми оркестр наполняет курортную истому парка, он бороздит аллею за аллеей в поисках навек запечатленного в его сердце идеального образа — это образ Жюли Шарль, чахоточной красавицы, вдохновившей Ламартина на лучшие из его савойских стихов.

Вот ему приглянулось личико под кедрами. Он резко тормозит, закладывает лихой поворот, чуть не сбивая другую коляску, объезжает вокруг фонтана, чтобы встреча сошла за случайную, оставляет меня в тенечке и направляется к сидящей на скамейке девушке с книгой. Подойдя, снимает берет и, держа его на отлете, как шляпу с пером, отвешивает незнакомке поклон по всем правилам придворного этикета.

Вдруг парковую сцену прорезает телефонный звонок. Альфонс вскакивает и бросается в кабинет. Звонок включен только на одной линии — для самых близких. Остальных просят оставлять соболезнования автоответчику — запись прослушают завтра.

Трубку радиотелефона вернувшийся в гостиную Альфонс протягивает Фабьене, с почтительным страхом в голосе поясняя:

— Нотариус.

Фабьена здоровается, пару раз благодарит, трижды вздыхает и спрашивает нотариуса, не присоединится ли он к собравшимся у гроба:

— Жак придавал большое значение такой совместной молитве. Вообще в последнее время он стал очень религиозен, как будто предчувствовал...

Вот так фальсифицируется история. Нет, Фабьена, я ничего не "предчувствовал" и если ходил с тобой на воскресные мессы, то только для того, чтобы полакомиться потом пирожным. Но пусть себе моя вдова наводит глянец на мой портрет, предназначенный для клиентов — для нее они равнозначны потомству. Благочестивый трудяга почуял близкий конец и все аккуратненько привел в порядок: позаботился и о делах, и о душе. Так и слышу разговор в магазине: да-да, он как раз накануне исповедался и успел заказать трубу-двадцатку для вашей плиты, месье Рюмийо. Царствие ему небесное, всегда к вашим услугам.

— Скажите Марии, чтобы принесла еще один прибор, — говорит Фабьена Альфонсу, который уносит телефон, складывая на ходу антенну.

Бдение продолжается. Я понимаю, что злость делает меня несправедливым, и я не столько улавливаю меркантильные соображения Фабьены, сколько приписываю их ей. Но предпочитаю не вникать в ее душу. Мы два года спим отдельно, и я не стану злоупотреблять своим положением теперь. Хотя, пока волны Наилы до меня еще не доходят, именно глядя на Фабьену, я снова начинаю жалеть о том, что со мной случилось, и невольно примериваюсь к ее еще не тронутой увяданием женской прелести, к угадывающейся под черной блузкой груди. А она, думает ли она так же обо мне, представляется ли ей, как мы тесно прижимаемся друг к другу, не забыла ли, как нам было хорошо в первый год семейной жизни? Вспоминает ли наш "форд-ферлейн", отель "Омбремон", свадебное путешествие в Рим — мы собирались посмотреть на Папу, а вышло так, что получили его благословение в номере "Альбер-

то Сальватори", в постели, по телевизору? Мои губы, язык, прикосновение моей тугой плоти к ее бедрам, когда она приникала ко мне сверху?

Не знаю, дошло ли до Фабьены посмертное желание, которым я загорелся к ней, этот бередящий пустоту морок, или ее собственные мысли сбились с молитв на что-то более мирское, но она покраснела. В наши счастливые времена я так любил смотреть на эту заливающую ее щеки краску... Подойду сзади к стоящей за прилавком жене, как бы ненароком прижмусь к ней и шепну на ухо: "Там у нас в отделе болтов надо кое с чем разобраться". Если она была настроена так же, как я, то отвечала: "Минутку, я позову Одиль", — и Одиль заступала на ее место, а мы забирались в подсобку, где была навалена куча пакли из упаковочных коробок, и давали себе волю. С годами скобяная торговля поглощала ее все больше, потом появился Люсьен, и секс свелся к урочным сеансам перед сном, а Одиль приходилось звать не чаще, чем пару раз в месяц...

— Пора укладывать ребенка, — напомнила мадемуазель Туссен. — А вам самим надо бы перекусить. Идите, а я побуду здесь, я не голодна.

Фабьена с сомнением посмотрела на Люсьена, малыш выпрямился как на пружине, злясь на себя за то, что заснул на стуле. Отец, с трудом разогнув затекшие ноги, встал, задул оплывшую восковыми сталактитами свечку, кивнул Фабьене и вышел. Брижит взяла за руку и повела за собой сопротивляющегося для виду Люсьена.

На пороге Люсьен обернулся и незаметно послал моим останкам воздушный поцелуй кончиками пальцев — так же я прощался с ним каждый вечер, когда выходил из его спальни и оставлял его лежащим в кровати. Кажется, он уже начал любить меня задним числом, начал строить на опустевшем месте образ идеального отца, каким я никогда для него не был. Что ж, я все больше убеждаюсь, что умер не зря.

Жан-Ми, у которого уже добрых полчаса бурчало в животе, вскочил первым, открыл дверь, чтобы пропустить мое семейство, и теперь ждет, не выпуская дверной ручки, пока его жена наглядится на меня.

— Мы еще вернемся, Одиль! — умоляюще, с плохо скрытым нетерпением говорит он.

В комнату просачивается запах баранины с травами. Надо же, как хорошо я стал различать запахи, скорее, *идеи* запахов. Я точно знаю, что Фабьена распорядилась приготовить на вечер баранье жаркое, что сейчас она достает его из духовки и поливает соком, и мое сознание по прописям памяти воскрешает запах, каким он бывал из воскресенья в воскресенье. По крайней мере, так мне представляется этот механизм.

— Почему? Почему ты? — вдруг всхлипывает Одиль, и лицо ее кривится.

Жан-Ми надувает щеки, возможно не без основания сочтя этот риторический вопрос обидным для себя.

Одиль рыдает, склонясь над моей осклабившейся оболочкой, стискивает мои окоченевшие пальцы.

Теперь, когда нет моей жены, она может не таясь излить свое горе.

Но мадемуазель Туссен твердо отстраняет ее:

— Не надо, прошу вас. Не плачьте так сильно. Это ему повредит.

Я не очень понимаю смысл ее слов. Правда, Одиль накапала слезами на лацкан моего пиджака и там осталось пятно, но, учитывая, куда отправится мой костюм, это не так уж важно.

— Слышишь, что говорит мадемуазель Туссен? — решается заметить Жан-Ми.

Одиль вскидывается, обрывает плач, точно останавливает лошадь на полном скаку, и идет в столовую, резко сбросив с плеча утешающую длань Жана-Ми.

Мадемуазель Туссен выжидающе смотрит из-под круглых очков. Когда же дверь наконец захлопывается, она откладывает в сторону вязанье, потирает руки и, живо подвинув свой стул к моему изголовью, возбужденно шепчет:

— Ну-с, приступим!

В глазах старой девы пляшут свечные огоньки, ноздри ее трепещут. Мне как-то неуютно оставаться с ней наедине. Она же явно желала этого с самого начала вечера.

— Не тревожься, о высокородный Жак Лормо из Экс-ле-Бена, — зашептала она, уставив взор в выключенную люстру. — Ты пребываешь в Промежуточном Состоянии, деяния твоей последней жизни смешиваются с кармическими видениями, и ты не понимаешь, что с тобой. Тебя терзает страх, смятение и так далее — это нормально. Я тут. Я Тереза Туссен, которую ты отлично знаешь — еще сегодня утром ты должен был доставить мне газонокосилку "Боленс", — ныне я твой духовный проводник, *бодхисатва*, и больше тебе нечего страшиться неизведанного — положись во всем на меня. Вот *"Бардо Тхёдол"* [1], — она достала из кошелки рыжую книжонку, — "Тибетская Книга мертвых", с помощью которой я произведу перенос твоего сознания.

Нет, какова нахалка! Ее ведь, кажется, ни о чем не просили. Молилась бы себе о спасении моей души, если уж оно ее так заботит, но пусть оставит меня в покое — мне надо провести инвентаризацию всей своей жизни, подвести итог, во всем разобраться, установить связь с теми, кого я люблю, а не ударяться ни с того ни с сего в экзотические религии.

— О Всеблагой Амитабха, к тебе взываю, тебе доверяюсь. Да снизойдут на высокородного сына твоего Жака Лормо Три Драгоценных Прибежища, и да помогут они ему на пути познания Высшей Реальности.

Да заткнись ты! Я католик! Прочти надо мной "Отче наш" и вали отсюда, не то тебе не достанется баранины. Но мадемуазель Туссен игнорирует гневные флюиды, которыми исходит моя душа, и продолжает лопотать свою галиматью, неуемная, как лесной ручеек. Меня охватывает ужас. Мадемуазель Туссен повторяет свое заклинание четырежды, на все четыре стороны света — я обложен, затравлен и жду, что будет с моим бедным телом: начнет ли оно светиться, летать, превращаться...

— Слушай, о высокородный, слушай и запоминай. Смерть — это переходное состояние, находясь в котором ты можешь, если сумеешь, управлять своей кармой, чтобы положить конец воплощениям и достичь совершенного состояния Будды. Вот эта "Книга мертвых" будет твоим путеводителем. Я же — твой наставник и пока что держу руль вместо тебя, но будь внимателен — скоро, когда ты будешь достаточно подготовлен, я передам его тебе, а сама пожелаю счастливого пути и устранюсь, ибо такова миссия Терезы Туссен в нынешней ее жизни!

Ну, у старушки совсем крыша съехала! Я никогда не держал ее за

1. "Бардо Тхёдол" — книга наставлений, которую в буддийской религии положено читать над телом умершего, чтобы облегчить ему новое рождение или прервать цепь рождения и смерти и достичь Великого Освобождения, нирваны. Использованная переводчиком лексика почерпнута из издания "Тибетская Книга мертвых", М., 1998, перевод О. Тумановой.

важную клиентку, но отделаться от нее из-за ее маниакальной дотошности и дикого упорства было невозможно. Если она вцепляется в души такой же мертвой хваткой, как в косилки, то вечный покой я обрету еще не скоро.

— Слушай же, о высокородный Жак, слушай и повторяй за мной, — продолжала мадемуазель Туссен, глядя в рыжую книжонку и воздев палец. — "Когда из-за необузданного гнева мы будем блуждать в сансаре, пусть Бхагаван Ваджрасаттва поведет нас по лучезарному пути Зеркальной Мудрости, и пусть Мать Мамаки будет охранять нас на этом пути". Повтори.

Обратив ободряющую улыбку к люстре, она выждала несколько секунд и продолжала:

— Хорошо! Тебе уже должно стать лучше. Цель моих наставлений в том, чтобы ты понял, что предстающие тебе призрачные видения, какими бы ужасными они ни были, — всего лишь отражение твоего сознания.

Что она там лопочет? Нет у меня никаких призрачных видений. Не считая истории с ее приводным ремнем и родительского собрания, мои воспоминания ничего ужасного не содержат. Я постепенно постигаю их пользу и смысл, а из чувств живых по отношению ко мне извлекаю фрагменты и одни, как кусочки мозаики, складываю в целостную картину, другие до поры откладываю в сторону. По существу, вся моя психическая реальность определяется тем, что творится вокруг моего мертвого тела в реальном мире. И мне вполне комфортно. Или она собирается наслать на меня кошмары, накликать чудищ, рызыграть Апокалипсис, ради того чтобы потом испробовать, под силу ли ей развеять свои же собственные бредовые измышления?

— "Из-за твоей плохой кармы ты испугаешься чарующего синего цвета — мудрости, исходящей из сферы всепознания. Зато тебя влечет тусклый белый свет второстепенных божеств дэв..."

Вовсе нет. Ничего меня не влечет, я верую в Господа, владыку Царства Небесного, посылающего по великой благости своей мир и покой людям Своим, я крещен, причащен, венчан и буду погребен как христианин, так что пошла вон! Отцепись от меня! Твоя рыжая книжка ко мне не относится — я не тибетский мертвый, и никто не имеет права обращать меня в буддизм против моей воли и насильно отлучать от доброго католического чистилища, где я прилежно сортирую свои деяния и подбираю аргументы в свою защиту.

В эту секунду в дверь просовывается голова Альфонса.

— Вашу машину увозят на штрафную стоянку, — флегматично сообщает он.

— Как?! — Мадемуазель Туссен поспешно захлопывает "Книгу мертвых" и, подхватив кошелку, бросается вон из комнаты, топая своими слоновьими кроссовками. Спасибо, Альфонс, дружище!

Мой старый дядька подходит к одру, задувает догорающую свечу и, послюнив пальцы, тушит фитиль, чтобы едкий дым не тревожил меня. А потом жалобно смотрит мне в лицо, на котором легкий сквознячок шевелит тени, и шепчет:

— Жаль, что тебя там нет. Такое удачное жаркое!

Как, они уже покончили с закусками? Сколько же времени я потерял, отбиваясь от кармической чуши? Хоть бы эту Туссен отволокли подальше вместе с ее "дьябло", чтобы духу ее не было в моей загробной жизни!

— Невозможная женщина! — эхом отзывается Альфонс.

Эхом... Было бы здорово, если бы моя мысль отзывалась в его словах. Но это, разумеется, просто случайное совпадение, и я тут ни при чем.

— Тратить такую прорву денег на спортивную машину, чтобы ездить на ней за хлебом, когда все знают, что у города не хватает средств на расширение водолечебницы... Эх, Жак, Жак... Не все люди живут по-людски...

Уморительная история с этим "дьяболо": не успела мадемуазель Туссен выехать на своем приобретении из автомагазина и проехать сто метров, как ее задержали за превышение скорости. А поскольку ехать медленно ее "дьяболо" просто не может, в городе же на каждом шагу полицейские засады, она обречена кататься по замкнутому маршруту: от почты до крытого рынка и обратно, иначе машину тут же подцепляют и оттаскивают на штрафную стоянку.

— Ты тут не скучаешь? — спросил Альфонс и заботливо расправил складочки на моем пиджаке. — Давай я побуду с тобой и заодно прочту тебе молитву. Какую ты хочешь? Мне так тяжело, малыш. Еле смог проглотить кусочек баранины — и то стыдно было. *Прости меня, Боже, ибо я оскорбил Тебя...* А чеснока твоя супруга не положила. В кои-то веки проявила внимание к твоему вкусу... Прости, это, конечно, дурно, но я не со зла. Хотя тебе, по твоим достоинствам, подошла бы жена вроде Жюли Шарль, которая не мешала бы полету твоего воображения и ушла первой. Теперь, когда тебя нет, могу тебе сказать: все эти годы я не переставал искать тебе такую, но где там — я и себе-то за всю жизнь не нашел... *Ты бесконечно благ, и Тебе не угоден грех...* Тут ведь вот что: при Ламартине у нас в Эксе лечили чахотку, а теперь погляди — одни ревматики да тонзиллитики. *Прошу Твоего благословения и принимаю твердое решение...* Надо, конечно, на чем-то остановиться, я понимаю, но иметь жену, которая хромает или сморкается без передышки... это как-то не по мне... *Принести покаяние и впредь не оскорблять Тебя. Аминь.* Вот если бы она кашляла — это подогревало бы мое вдохновение... *Прости меня, Боже, ибо я оскорбил Тебя...* Но туберкулеза больше нет — медицина шагнула вперед. Да и мне уже не двадцать лет. *Ты бесконечно благ, и Тебе не угоден грех...* Возраст дает себя знать. Доживешь до моих лет — поймешь. — Он осекся, виновато взглянул на меня и, горько усмехнувшись, прибавил: — Ох, прости.

Закончив молитву, Альфонс стал гладить меня по головке (как в детстве, когда гремел гром и он убаюкивал меня) и читать вслух "Озеро" Ламартина. Повлияло ли на меня ровное, похожее на ласковый ветерок дыхание его любви, или так сильно было притяжение столовой, где решалась моя будущность, так или иначе, поднявшись на крыльях поэзии, я в середине строфы перенесся сквозь стену.

> Ты помнишь, может быть, тот вечер тихий, ясный?
> Молчали оба мы, и мир дышал везде.
> И в сладкой тишине слышнее был согласный
> Плеск весел по воде...[1]

Все сидят вокруг большого стола орехового дерева под настоящим деревенским хомутом со свисающими матовыми лампами — в знак траура зажгли только половину.

— С глубокой печалью, — предлагает Брижит.

1. Перевод И. Кутика.

— С безутешной скорбью, — возражает Фабьена и что-то исправляет в лежащем слева от ее тарелки черновике.

— Стоит мне что-нибудь сказать... — вскипает Брижит.

— Если все, что я делаю, вам не нравится, — перебивает Фабьена, — напишите и поместите свой собственный текст и не будем терять время.

— Что ж, я так и сделаю. Вычеркивайте мое имя, не стесняйтесь.

Фабьена, не потрудившись ответить, заканчивает правку и перекатывает тележку с бараниной к другому концу стола.

— Возьмите хоть ломтик, папа.

Первый раз она назвала моего отца папой. Он поднимает пустые глаза на Брижит, а та ждет его заступничества.

— Нет, спасибо, — говорит он и прикрывает тарелку рукой.

Брижит опускает глаза. Она и на этот раз пробудет у нас не дольше нескольких дней. Фабьена выиграла. Здесь хозяйка она.

Луи, Фабьена и Люсьен Лормо
с безутешной скорбью сообщают
о внезапной кончине, постигшей по воле Божьей
их сына, мужа и отца

Жака Лормо
16 января 1996 г. в возрасте 34 лет.

Отпевание состоится 18 января в 15 часов
в церкви Пресвятой Девы в Эксе.
Желательны живые цветы.

Сначала Фабьена написала после моего имени "генеральный директор торговой фирмы "Лормо и сын", но вместе со следующим объявлением от нашего персонала это слишком смахивало бы на рекламный листок.

Работники скобяного магазина Лормо
с прискорбием сообщают
о кончине генерального директора фирмы

Жака Лормо.

По случаю траура 18 января магазин будет закрыт.

В результате стычки между Фабьеной и Брижит, в которой папа отказался быть арбитром, моя сестра в самом деле дала отдельное объявление. Между бараниной и сыром она тайком от всех продиктовала по телефону несколько строчек, которые стали мне лучшим прощальным подарком:

Брижит Лормо, она же Бриджи Уэст,
потеряла любимого брата

Жака Лормо,
свободного художника,

о чем и сообщает с глубокой печалью.
Похороны состоятся в сугубо семейной обстановке.
Цветов и венков не приносить.

С победным злорадством повесив трубку, она вернулась к сыру. Представляю реакцию наших поставщиков и клиентов завтра утром, когда они развернут "Дофине либере" и будут вынуждены выбирать между двумя противоречащими одно другому сообщениями или же допустить, что у меня был тезка и однофамилец, умерший со мной в один день. Красота! Похороны будут под стать всей моей жизни. С самой женитьбы я, как говорят о доме, нарушающем общую линию улицы, выламывался из ряда, и все попытки Фабьены вправить меня заканчивались сокрушительной неудачей. Скандальная шуточка с некрологами должна, по мнению моей супруги, повергнуть общество Экса в шок, на самом же деле ее расценят как очередную и последнюю мою шутовскую выходку, этакий розыгрыш, вроде посмертного извещения о дешевой распродаже, и к нам хлынет народ. В разгар стилистических разногласий между Брижит и Фабьеной над тарелками остывающей баранины на лестнице появился Люсьен. Вышел из своей комнаты и неподвижно стоял наверху в своей кургузой красной пижамке — сжав зубы, слушал, как накаляется разговор. Мне вдруг представилось, как в прошлые зимы, перед Пасхой, за тем самым ореховым столом, где сегодня меня осыпали высокопарно-скорбными словесами, сидел я сам и расписывал сваренные вкрутую яйца, превращая их в смешные головки. А Люсьен вот так же, как сейчас, стоял на лестничной площадке и пытался разглядеть мои потайные художества. Бедный мой малыш! Я никогда уже не буду прятать от тебя крашеные яйца. И тебе не придется наблюдать, как, повторяя из года в год неизменный ритуал, твой отец все больше меняется сам и делается стариком; не придется ради него разыгрывать из себя доверчивого дурачка, как когда-то приходилось мне ради моего отца. За этим же столом, который стоял у нас еще в Пьеррэ, он рисовал ночью на скорлупках круглые глазищи и здоровенные носы, а рано утром звонил в саду в колокольчик и кричал: "Пасхальная курочка снеслась!" Я же вскакивал с постели, хватал корзинку и бежал вниз по лестнице, а за мной Брижит: она незаметно подкладывала крашеные яйца в кусты, где я должен был их находить.

Эх, Люсьен... Кто же распишет тебе через три месяца пасхальные яйца? Вряд ли дед, с которым у тебя холодно-почтительные отношения, тряхнет стариной и возьмет мою кисточку. Неужели на этом столе больше никогда не будет акварельных пятен? Глупо, но именно эта немудрящая картинка заляпанного стола, которая никого не заставила бы и слезинку уронить, меня внезапно пронзила и протрезвила. Я, кажется, в первый раз до конца понял, что больше не оставлю никаких следов на земле. И задумался, для чего продолжаю это свое бестелесное существование. Для чего и для кого.

На улице пошел снег. Белые искорки не сразу тают в рыжей шевелюре мэтра Сонна. Он здоровается, выражает соболезнования, ему предлагают баранину — еще немного осталось. Прежде чем приступить к исполнению того, зачем пришел, он желает поклониться моему праху. Мы знакомы еще по лицею в Грези-сюр-Экс, вместе учились все четыре года. Он собирался податься во "Врачи без границ", а мне прочили блестящее будущее в абстрактной живописи. А вышло так, что ему, как и мне, пришлось пойти по отцовским стопам. Он стал нотариусом, я — скобянщиком, и вот уже пятнадцать лет мы оба старательно избегали встреч.

— Он выглядит так мирно, правда? — произносит Одиль. Она игра-

ет роль почетного эскорта при госте, пока Фабьена разогревает мясо.

Альфонс притопывает на месте, еле сдерживая из учтивости нетерпение и выразительно поглядывая на дверь — пожалуйте туда, к столу! Когда они вошли, он стоял наклонившись ко мне и быстро отпрянул, прижав палец к губам. По тому, как раскраснелись его щеки и сузились в щелочки глаза, я догадался, что он рассказывал мне об одном из своих последних амурных подвигов. В восемьдесят с лишком он все еще каждый раз, когда хорошенькая клиентка говорит ему, что на вид он мужчина хоть куда, отвечает: "В этом смысле у меня все в порядке. Вот память подводит — это да". Начало его любовных похождений приходится еще на время жизни в женском монастыре. Боготворя несравненную Жюли Шарль, чья чахотка вдохновила его приемного праотца Ламартина на гениальные строки, он решил пойти по его стопам. И когда одна из сестер подхватила зловредный кашель, он пробрался к ней в келью и грубо покусился на коленопреклоненную праведницу. Альфонсу было тогда четырнадцать лет. Из монастыря его выставили в два счета, и он стал кочевать с толстенным томом стихов под мышкой с фермы на ферму, нанимаясь в работники. Как правило, к осени, когда начинался сезон бронхитов, его каждый раз прогоняли вон. На какое-то время его поиски возлюбленной прервала война. Но вот его демобилизовали, наградили орденом, он поступил в скобяной магазин и, обретя таким образом солидное положение в обществе, с новой силой ощутил потребность в музе. Чуть не угробив своим бурным натиском пять-шесть хворых курортниц и едва не угодив под суд после жалобы городского управления по туризму, он в пятидесятые годы решил утишать томление плоти при помощи проституток крепкого телосложения, а пациенток водолечебницы беречь для идеальных устремлений.

— Нам все кажется, что мы бессмертны, — произносит нотариус в приливе жалости к себе. — А ведь я его ровесник...

— Я тоже, — говорит Одиль.

— Я даже на пару месяцев старше...

— Так вот, — продолжал свое повествование Альфонс, как только посетители вышли, — это новенькая, она работает около перехода внизу Женевской улицы. Звать Амалией. Бразильянка из Сан-Пауло, настоящая женщина, не то что эти перевертыши из ночных клубов — пыжатся быть и тем и сем сразу, а на деле ни то ни се, хуже, чем ты сейчас, жалкие куклы. Интересно, может, ты уже в раю? — перебивает он сам себя и смотрит на часы. — И я распинаюсь перед пустым местом? Но это ничего, я привык. Это ведь такая редкость, чтобы тебя слушали, чаще всего даже и вида не делают.

Я бы рад послушать тебя еще, Альфонс, но не могу быть везде одновременно. Меня притягивает столовая, и я устремляюсь туда, причем с охотой — ведь там с минуты на минуту зачитают мои последние распоряжения, и мне любопытно посмотреть, кто как их примет. Однако же, когда в поле моего зрения снова проступает ореховый стол, часть моего сознания, кажется, остается в гостевой комнате. Что-то вроде зуда отвлекает внимание, я слышу, не различая слов, горячий шепот Альфонса, он словно приглушенная мелодия, на фоне которой звякают вилки и ложки. Возможно, моя мысль — это поток частичек мозга, облачко атомов, все еще связанных друг с другом, но обреченных в дальнейшем распыляться и оседать всюду, куда меня будут призывать? Надо будет продумать эту гипотезу на досуге. Пока же сконцентрируемся на мэтре

Сонна, нотариусе из конторы на бульваре Президента Вильсона, смущенно сидящем перед своей тарелкой, – он более или менее представляет себе, что содержится в конверте, который оттопыривает внутренний карман его пиджака.

– Кто бы мог предположить? – вздыхает он и протирает запотевшие роговые очки.

– Никто, – тоном, отсекающим дальнейшие рассусоливания, изрекает Фабьена. – Вы упоминали по телефону о каких-то... особых распоряжениях. Подлить вам соуса?

– Нет, спасибо.

– О чем же идет речь?

– Лучше всего прямо сейчас вскрыть завещание, – мэтр Сонна откидывается на стуле, достает конверт и вскрывает его столовым ножом. А затем в сгустившейся тишине, трижды прокашлявшись, оглашает полный текст моего последнего волеизъявления: – "Я, нижеподписавшийся Лормо Жак, приветствую всех вас и посылаю вам свои соображения с того света. Это – мое завещание, которое я пишу, будучи, как говорится, в трезвом уме и ясной памяти. Сейчас прекрасный летний вечер, и жизнь кажется такой отрадной, что хочется продлить ее за земные пределы..." – Нотариус восхищенно вздыхает, покачивает головой и повторяет последнюю фразу, смакуя ее звучание в нынешних обстоятельствах. Однако его слушатели мало чувствительны к литературной форме, их больше волнует содержание. Поэтому он с сожалением читает дальше: – "Прежде всего, я настоятельно прошу, чтобы меня отпевали в нашей часовне в Пьеррэ-дю-Лак..."

– Но почему? – не выдерживает Фабьена, уже договорившаяся насчет отпевания в Нотр-Дам.

И тут же жалеет об этом вопросе, почувствовав на себе осуждающие взгляды остальных, словно напоминающие, что она вошла в мою жизнь позже их всех. Там, в Пьеррэ, напротив нашего дома, на месте которого ныне раскинулась гигантская автостоянка, похоронили мою мать, пока я лежал в роддомовском инкубаторе. Сегодня поселок, где прошло мое детство, на склоне холма над озером, превратился в стройплощадку, в центре которой осталась часовенка с маленьким кладбищем, которые стыдливо закрывают от глаз огромные рекламные щиты, расхваливающие новейшие товары.

– "Далее, я желаю быть похороненным, – с возрастающей неловкостью читает нотариус, – в расписном деревянном гробу в виде рыбы, работы племени га из Ганы, описание прилагается".

Остолбенелое молчание прервал заливистый хохот Брижит. Спасибо, сестричка! Я в деталях видел сейчас сцену, которую предвкушал еще прошлой весной, когда как-то в воскресенье вечером сидел у себя в трейлере и сочинял это завещание под доносившийся из окон Фабьены шум трансляции теннисного турнира.

– Простите, – простонала Брижит под перекрестным огнем гневных взглядов. Она согнулась на своем стуле а-ля Людовик XIV, обхватив себя руками и пытаясь унять смех, но ничего не могла сделать – ее трясло, как отбойный молоток.

– Что это значит? – набросилась Фабьена на бедного мэтра Сонна, он же, красный от смущения, протянул ей бумажную гармошку – то самое описание.

Гроб-фантазия!
Шедевр традиционной ганской резьбы по дереву – скульптура из полого древесного ствола может служить в чисто декоративных целях, использоваться как шкаф или бар, наиболее же эффектно его применение по исконному назначению – в качестве гроба. Вы можете уже сейчас подготовить себе похороны в фольклорном стиле с гробом в форме льва, рыбы, носорога, антилопы... Заказ будет выполнен по вашему выбору и по вашим меркам!
Цена – от 15 000 франков.
Нейман Маркус.
Заказы по адресу: а/я 650 589, Даллас, Техас.

Брижит отворачивается вместе со стулом, чтобы не оскорблять своим весельем всеобщего возмущения. В восемьдесят шестом году, после ее развода и операции, я навестил ее в санатории в Ламот-Бёвроне, куда ее засунули врачи. Она, вернее ее тень, сидела посреди огромной столовой с выцветшими обоями, под яркими неоновыми лампами, вместе с десятком других пациентов, у которых еще хватало сил добредать сюда из своих комнат в часы приема пищи. Среди них был старик с торчащими наружу трубочками, после каждой второй ложки супа терявший вставную челюсть; путевой обходчик из Крёза, который то и дело ронял голову на покрытый клеенкой столик и разражался рыданиями; и даже заключенный, нажимавший на прикрепленный к горлу микрофон, чтобы попросить соли, по обе стороны от него сидели двое полицейских и беседовали о велогонке "Тур-де-Франс". Я привез Брижит ее гитару, несколько петард от ее приятелей-музыкантов, фотографию коронованной блондинки, на которой собирался жениться, если она согласится, и проспект подарка-хохмы, который я заказал для нее в Америке.

В этом унылом доме доходяг я разными дурацкими шуточками и неуместными воплями помог Брижит взглянуть в лицо фатальному исходу, который врачи прочили ей в скорейшем будущем, — так она в далекие годы учила меня бросать лассо и рисовать в предвидении путешествия на Дальний Запад. И если сейчас я более или менее спокойно принимаю происшедшее и даже продолжаю существовать в виде какой-то легчайшей, легче воздуха, мысленной субстанции, то в немалой мере обязан этим нашим тогдашним прогулкам в детство — под руку по грязным дорожкам парка под нескончаемым дождем; судорожным смешкам в зале со столиками под клеенкой и неоновыми лампами; победе жизни над страхом; уверенности, с которой я убеждал Брижит, что если ее и приговорили, то она имеет право на кассацию, помилование свыше и, наконец, в крайнем случае, побег. Тогда-то я и сообщил ей, что заказал по ее меркам малиновую рыбину с плотоядной улыбкой, обитую циновкой из лиан и открывающуюся сбоку, аванс уже уплачен, но, если ей больше нравится антилопа или носорог, еще не поздно изменить заказ.

И раз я счел себя вправе воспользоваться гробом, который был приготовлен для нее, значит, верил в ее окончательное выздоровление. Смех Брижит перешел в слезы, плечи ее сотрясались теперь от рыданий, но, поскольку она сидела спиной к столу, никто не заметил разницы.

— И вы полагаете, я должна допустить, чтобы мой муж был погребен в какой-то... рыбе? — выдавила Фабьена, почти не разжимая зубов.

— Видите ли... — подал голос мэтр Сонна. — Конечно, это последняя

воля покойного, но... мы ведь знали его, так сказать, причудливый характер. Когда в прошлом году он рассказал мне по телефону о своем... э-э... несколько странном пожелании — теперь я могу об этом говорить, не нарушая профессиональной тайны, — то прибавил буквально следующее: "Это так, для смеху". Так что я как юрист, право же, в затруднении. Следует ли считать, что это распоряжение подлежит буквальному исполнению, или оно имеет некоторым образом аллегорический смысл? Боюсь, что в данном случае я некомпетентен. Решение за вами, мадам Лормо.

Ампирные каминные часы пробили половину одиннадцатого. Получив от нотариуса право решающего слова, Фабьена несколько пришла в себя. Она обвела взглядом сидящих за столом: Брижит, еле сдерживающую то ли слезы, то ли смех; отца, тупо уставившегося в глянцевый проспект; Одиль, пихающую под столом мужа, чтобы помешать ему подкладывать себе сыру.

— Отстань, Одиль, в конце концов, это был мой друг, я сам разберусь! — огрызается Жан-Ми, отрезая ломоть грюйера. — И эта его рыба — не просто прикол, это чертовски важно и имеет прямое отношение к смерти. Это символ, уж африканцы знают, что делают, они такие вещи давно просекли! И нечего пожимать плечами! Мы все живем на одной планете и скоро ее доконаем, известное дело: животные, природа, озоновый слой, миллиарды коптилок и помоек — наши дети не будут знать, что такое питьевая вода, подумаешь — жуть берет, так что оставь меня в покое, Одиль, хочу и ем, не твое дело! Прости, Фабьена, но ты ведь меня понимаешь!

Фабьена кивает и сочувственно накрывает ладонью руку Жана-Ми, которого не выносила на дух и близко не подпускала бы к нашему столу, не будь он таким искусным кондитером. К немалому моему удивлению, она вдруг уступает:

— Что ж, ладно. Пусть будет как он хочет. Какая жизнь, такие и похороны — людям на смех, если у кого-то будет веселое настроение. Правда, мы окажемся в дурацком положении, но нам не привыкать. Сколько времени понадобится на доставку этой... штуковины? — Она передает гармошку Брижит. — Отменить заказ у Бюньяра проще простого, но если надо ждать десять дней и в городе вообразят, что мне не дают разрешения на погребение, это не пойдет...

— Сутки "Федеральным экспрессом", — коротко отвечает сестра.

— Вы отлично осведомлены, — сухо замечает Фабьена.

— Сначала этот саркофаг предназначался мне, — спокойно поясняет Брижит, обезоруживая Фабьену.

— В любом случае гроб не поместится в склеп, — веско вставляет свое слово папа.

Какое-то время все осмысливают его замечание. Об этой стороне дела я как-то не подумал.

— Спилим плавники и хвост, — предлагает Фабьена, вновь отвоевывая главенство у Брижит притворным смирением.

Отец важно качает головой:

— Там только одно место, поверх гроба его матери, и оно для меня.

Брижит хочет остановить его, взять за руку, но он уклоняется. Ей-богу, он, кажется, обиделся! Мой отец обиделся на меня за то, что я отнимаю у него место в могиле! Как же мало мы все стоим!

Фабьена поднимает голову и, забывшись, кладет вилку на вышитую скатерть. Брижит резко встает.

— Отлично! — говорит она. — Хватит об этом, забудем! Раз Жак вас стесняет, остается его сжечь!

— Брижит! — возмущается папа.

— Что? Ты же сам этого хочешь, разве нет? Так он займет куда меньше места. Маленькая урна, а спустя некоторое время — еще одна, моя, да и то необязательно: мой прах можешь выкинуть в сортир, спустить воду, и аминь! Зато ты будешь лежать вдвоем с мамой, правильно, ведь мы с Жаком никогда для тебя ничего не значили!

— Не смейте говорить в таком тоне с отцом! — Фабьена ударяет ладонью по столу.

— А ты, мисс Франция, заткнись. Получила наследство — и радуйся. Жака убила эта ваша убогая жизнь, вы сделали из него куклу, комнатную собачку для ваших мещанских посиделок. Кто из вас, кроме Альфонса, пытался понять его картины? А это было не просто хобби, блажь от нечего делать, это был крик души, мольба о помощи, но вас не прошибешь, по-вашему ведь как: спросишь человека "Как дела?", услышишь "Нормально", — значит, все в порядке. Главное — чтоб был порядок! Ну так успокойтесь, не будет никакой рыбы, я оставлю ее для себя, Жак просто хотел пошутить, правда? Напугать нас! Все так и подумают, не беда. Похороните его по-людски, как положено, в ящике с ручками, чтобы не было никаких разговоров, и дело с концом! Испортили человеку жизнь, так чего же со смертью церемониться! Никогда, никогда не прощу вам того, что вы сделали с моим братом!

Фабьена сжимает вилку так, что побелели суставы, она бы ответила, но тут с лестницы раздается громкий плач Люсьена, и она оборачивается. Бросается к нему, обнимает, утешает:

— Что ты, что ты, малыш, ничего страшного! Мы просто немножко поспорили.

— Не хочу, чтобы папу сожгли! — кричит Люсьен сквозь рыдания.

— Никто не собирается его сжигать. Тетя Брижит просто пошутила. Пойдем-ка...

Фабьена уводит Люсьена в его комнату и закрывает дверь. Остальные сидят молча, не поднимая глаз от стола и прислушиваясь к шагам наверху. Жан-Ми, как раз отправивший в рот еще кусок сыра, когда понесло Брижит, не успел его прожевать и застыл с раздутой щекой.

Я пытаюсь собраться с мыслями, обдумать слова Брижит. Она сбила меня с толку. Я совсем не считал себя таким уж несчастным. Мне, конечно, не хочется, чтобы меня сожгли, хоть это и суеверие, но Брижит явно передергивает, она сама заговорила о кремации, ни у кого этого и в мыслях не было. Я могу догадаться о ее внутренних побуждениях: испытав на себе, что такое отмирание плоти, она хочет избавить мое тело от медленного разложения, этого безобразия, которое остающиеся наверху прячут в землю для собственного спокойствия... но можно было выразить все это в более приемлемой форме. Поразительно, до чего ожесточает человека уверенность в том, что смерть есть конец всего. Или я плохо знаю свою сестру? Я всю жизнь восхищался ею: потому что видел в ней бунтарский дух, потому что, не в пример мне, у нее хватило смелости посвятить себя искусству, хватило сил развестись с кретином-мужем, научиться жить с одним легким. Но, может быть, ей всегда не хватало доброты, и ее талант, твердость духа, решительность развились как оправдание внутренней холодности?

Мне было больно так думать о сестре, хотя безмерное презрение, с

которым она изобразила мое существование, должно было бы меня ожесточить. Впрочем, в моем положении чувствовать, что сохраняешь уязвимость, пожалуй, даже утешительно.

— Прости меня, папа, — шепчет Брижит.

Папа широко разводит руками, беспомощно роняет их на стол и смущенно улыбается. Это несколько разряжает атмосферу. Жан-Ми с облегчением глотает кусок. Мэтр Сонна, ни разу не напомнивший о себе, пока бушевали страсти, со скромностью истинного миротворца молчком разделывается с бараниной. И тут папа в порыве оскорбленной любви хватает Брижит за руку и произносит бесподобную тираду:

— Пусть покоится вместе с матерью! А мы с тобой еще поскрипим... Ладно? В будущем году истекает срок аренды соседнего участка — прошло тридцать лет, а я стою на очереди. Вот и хватит места для всех.

Браво! Семейное пристанище расширяется. Но самое потрясающее — это способность живых еще и теперь удивлять меня. Я думал, что выпад Брижит страшно оскорбит отца, и его неожиданное великодушие меня расшевелило. Что могло бы быть скучнее, чем наблюдать из потустороннего мира привычную житейскую канитель?

— Хочешь, я переночую у тебя? — шепчет сестра, и по щеке ее стекает слеза.

— Не надо, — говорит отец, прочно окопавшийся в одиночестве с тех пор, как я женился. — Не беспокойся. Теперь все будет хорошо.

Еще немного — и он сказал бы: "У меня есть цель", — имея в виду перекупку тридцатилетней концессии для воссоединения семьи. Я же, в силу понятной солидарности, не мог не подумать о соседях-мертвецах, которых выкопают и вышвырнут вон. Каков вообще этикет на кладбище? Общаются ли временные, тридцатилетние обитатели с постоянными, бессрочными? А какова участь выдворенных, забытых, бомжей из общих могил? Бывают ли общие собрания со ссорами из-за пограничного цветка или затеняющего чужую территорию креста? Мне не терпится узнать. И вступить, если получится, в контакт с себе подобными.

Спускается Фабьена, на лице ее спокойствие и решимость. Видимо, она овладела собой, сидя с Люсьеном. Наверху у малыша отчаянно застрекотала видеоигра — он словно хотел заглушить голоса злых поджигателей праха взрывами и мелодичными трелями умирающих и воскресающих для очередной жизни виртуальных героев.

Фабьена садится на свое место и как ни в чем не бывало обращается к нотариусу:

— Продолжим?

Тьерри Сонна некоторое время собирается с духом, опершись локтями на стол и потирая пальцами переносицу, затем разворачивает сам собой сложившийся лист бумаги и с усилием читает:

— "Согласно брачному контракту, все имущество, переданное мне при жизни моим отцом, переходит к моей супруге Фабьене до совершеннолетия нашего сына, в дальнейшем же они вольны распорядиться им по своему усмотрению. Зато..."

— Пожалуйста, погромче, — просит Фабьена.

Мэтр Сонна трижды судорожно сглатывает, словно у него пересохло во рту, и продолжает, не только не повысив голос, но еще и втянув голову в плечи:

— "Зато сумму, предусмотренную договором о страховании жизни,

который я подписал в агентстве Петреля, наследует моя сестра Брижит Лормо, она же Бриджи Уэст".

Электронный наигрыш в честь выигравшего кон героя несколько смазывает ошеломительный эффект прочитанного. Однако Люсьен успевает дойти до середины следующего уровня игры, прежде чем заинтересованные лица обретают дар слова.

— Простите меня, Фабьена, — медленно выговаривает моя сестра.

— За что? За деньги, которые вы получили от моего мужа, или за гадости, которые вы наговорили о нем? Или теперь он уже не представляется вам таким уж ничтожеством?

Браво! Фабьена взяла за меня реванш.

— Может, нам лучше уйти? — предлагает Одиль. — Альфонс остался там один с Жаком...

— У нас нет никаких секретов,— возражает Брижит. — Я могу пожертвовать эту сумму на медицинские исследования или...

— Это ваше личное дело, — перебивает ее Фабьена и жестом приглашает нотариуса возобновить чтение. — Что там дальше?

Сонна, все это время не отрывавший глаз от последнего прочитанного слова, осторожно продолжает:

— "Что касается моего художественного наследия — спасибо, что никто не рассмеялся, — пусть каждый из родственников и друзей выберет в трейлере кому что придется по вкусу и возьмет себе. Мне хотелось бы также, чтобы картины, на которые не найдется охотников, были переданы..."

Мэтр Сонна сделал многозначительную паузу и потянулся к стакану с водой.

— Кому? — спрашивает Жан-Ми.

— Здесь смазано, — извиняющимся голосом отвечает нотариус и взглядом призывает на помощь Фабьену.

Она, даже не взглянув в завещание, отзывается:

— Я поняла. Что еще?

Мой несчастный душеприказчик вкладывает в конверт первый листок, разворачивает второй и, вскинув брови, принимается отчетливо и предельно выразительно читать:

— "И наконец, весьма важная для меня просьба, за которую искренне прошу извинения у тех, кого она шокирует..."

Тьерри Сонна придвигается к столу и допивает до дна свой стакан воды.

— Ну-ну? — стоически ободряет его Фабьена, готовая к самому худшему.

— Весьма сожалею... Я ехал из Бур-Сен-Мориса... тут этот гололед... я вышел надеть на колеса цепи и упал.

Листок передают из рук в руки. Три последние строчки действительно расплылись, так что их невозможно прочитать. С трудом различимы слова "в дар" и "кому понадобится". Да и то — различимы для меня, а мне этот текст как-никак знаком. Хорошо хоть подпись невредима. Как понимать этот инцидент? Что это: случай или перст судьбы? Может быть, моему последнему желанию не следовало исполняться? Теперь, за чертой, я все более и более критически отношусь к чувствам, под влиянием которых писалось завещание.

— Может, он хочет, чтобы его одежду раздали бедным? — предполагает Одиль.

— Нет-нет, — Жан-Ми водит пальцем по чернильным разводам. — По-моему, он хочет подарочную упаковку — ну, гроб с бантиком... Шутки ради... Это вполне в его духе.

Версия Жана-Ми не находит поддержки, и он передает завещание Брижит. Та пробегает глазами по спорным строчкам и уверенно говорит:

— Он просто хочет, чтобы его трейлер отдали бездомным!

Этого еще не хватало! Я ничего не имею против бездомных и с удовольствием отдал бы им всю недвижимость, три этажа скобяной торговли и жилую квартиру в том же доме, но только не трейлер! Пусть он достанется Люсьену, или Альфонсу, или Наиле — какого дурака я свалял, что не оговорил этого в завещании!

— Или просит, чтобы на отпевании над ним прочитали какое-то определенное место из Евангелия, — вносит свою гипотезу отец.

Все хороши! Да я хотел безвозмездно отдать свои органы для нужд медицины, чтобы они пригодились для спасения других людей, только и всего! Разве это так не вяжется с моим характером, что никому не пришло в голову?! Или я уж такой закоренелый эгоист, что и после смерти должен думать только о себе? Если все так считают, лучше пусть и правда сожгут!

— Ну и скотство! — В столовую врывается разгневанная мадемуазель Туссен. Она вся в снегу, ее кроссовки прямо-таки обледенели. — На улице минус пять, снегу по колено, а я должна была сесть на их мотоцикл и оттащить свою же собственную машину на штрафную стоянку. Видите ли, раз ее зацепили, то отцепить можно только там и только когда я уплачу штраф. Ну, попляшет у меня мэр на следующих выборах!

Она хватает последний кусок грюйера, который не успел доесть Жан-Ми, и, яросто жуя, объясняет, что поставила свою машину в гараж, накормила собаку и вернулась пешком, чтобы проститься со мной. Хоть бы кто-нибудь ее пожалел, пригласил к столу: присядьте, мадемуазель Туссен, дорогая, вы продрогли, съешьте баранины... — так нет же, всем плевать, и мадемуазель Туссен чеканным шагом, разбрасывая на ходу ледышки, прошествовала в гостевую комнату и скрылась за дверью. Через минуту оттуда вышел Альфонс. Я изо всех сил стараюсь удержаться в столовой — не хочу снова угодить в силки тибетских заклинаний.

Но трапеза окончена, торта не будет — на этот раз, ввиду обстоятельств, Жан-Ми пришел с пустыми руками. Завещание с так и не разгаданной последней прихотью вложено в конверт и заняло почетное место на буфете, между нашей свадебной фотографией и школьным дневником Люсьена, который я уже не смогу подписать.

Мои плакальщики дружно поднимаются и возвращаются ко мне пить кофе. Мадемуазель Туссен мирно вяжет. Ни молитв, ни воспоминаний до меня ни от кого не доходит. Для проформы они досиживают еще четверть часа до полуночи, когда же компьютерное курлыканье перекрывается боем часов, расходятся спать.

Альфонс без особых церемоний выпроваживает мадемуазель Туссен, предложившую посидеть со мной до утра.

— Ему надо отдохнуть, — бормочет он и вручает старой деве ее кошелку и гигантский зонтик.

Дверь закрывается. Люсьен выключает компьютер. Лифт скользит по шахте вниз.

Что ждет меня дальше?

Я остался ненужным часовым при ставшем мне чужим теле. Теперь,

когда все стихло, я словно вернулся в сегодняшнее утро, в первые минуты после смерти. Вместо прыгающих на экране электронных цифр глухо постукивает маятник, но время словно сделало петлю, и я очутился в исходной точке. Изменился ли я? Сказать по правде, не уверен, что я бы сильно обрадовался, если бы все оказалось просто сном и я бы открыл глаза в трейлере, рядом с прижавшейся к моему боку Наилой и услышал шум въезжающих в ворота фургонов с товаром.

По-настоящему мне хотелось бы другого: чтобы кто-нибудь гулял с моим сердцем в груди или чтобы мои глаза вернули кому-нибудь зрение. Это неосуществленное желание — единственное, о чем я жалею отсюда, из предположительной вечности. Целехонькое, исправное тело пропадает даром — вот вопиющая неблагодарность, глубоко противная моему существу. Сколько я ни говорил себе, что это не моя вина, что главное — само намерение, тягостное ощущение невыполненного долга не отпускало. Как будто, раздав свое тело по кусочкам, я мог бы хоть как-то отплатить за сохранность сознания.

Теперь, когда по милости какого-то нотариуса, не умеющего надеть цепи на колеса, моя телесная оболочка обречена гнить целиком, мне почти стыдно за избыток жизненных сил, наполняющих меня в присутствии близких. Стыдно, что я еще здесь — волнуюсь, переживаю, сержусь, даже улыбаюсь.

Да, несмотря на все, что они скажут или сделают, несмотря на разочарования, измены, на неудобную бесплотность и предстоящее забвение, я люблю жизнь, все еще люблю, и хочу оставаться на земле — потому, наверное, и остаюсь.

Мне бы еще средство помочь тем, кто зовет меня, перелить им свои мысли — последнее, что у меня есть, — и я был бы счастливейшим из мертвых.

Из-за неоновых вспышек "Топ-Спорта" мое зрение стало мигающим, завитки серого дыма от задутых свечей скачут на полосатом фоне опущенных ставней. Без бодрого аккомпанемента вязальных спиц мадемуазель Туссен вздохи маятника кажутся мрачными и тонут в гнетущей пустоте. Я что, должен продолжать бдение у гроба в одиночестве? Видеть не могу эту гримасу от Бюньяров. Чертовы гримеры — из-за них на сетчатке и в памяти близких вместо моего настоящего лица останется насквозь фальшивая физиономия самодовольного болвана с загадочной ухмылкой. От всего этого становится неуютно, одиноко и хочется поскорее от себя уйти.

Что мне стоит в моем нематериальном и, как я имел возможность убедиться, летучем состоянии, вместо того чтобы торчать у собственного изголовья, удрать — нанести ответный визит тем, кто почтил меня своим присутствием?

Пытаюсь максимально расслабиться, приготовиться к отбытию в неизвестном пока направлении, отдаться притяжению того или той, в чьих мыслях обо мне содержится больше всего печали, любви или сочувствия...

И почти тотчас оказываюсь в неоновом же, но сплошном, немигающем свете. Красном — от вывески бара "Уэлш-паб". Местечко, знакомое с юности, — тут, по соседству, школа парусного спорта. Отец оставил машину на стоянке у гавани и спустился вниз к озеру, к дороге вдоль берега, проходящей между рядом платанов и шеренгой поскрипываю-

щих снастями яхт. Снег уже не падает, на земле лежит рыхлый белый слой, в который вминаются ботинки. Отец прохаживается взад-вперед под голыми заиндевевшими деревьями в лунном свете, смотрит на проступающую сквозь облака скалу Кошачий Зуб; прожекторы высвечивают там силуэт аббатства Откомб, покинутого монахами, — их выкурили оттуда озорницы, повадившиеся загорать голышом под окнами обители. Так что грегорианских песнопений здесь больше не услышишь, осталась только сувенирная лавка.

Одинокая прогулка продолжается, отец бредет вдоль берега, останавливается, прислоняется к балюстраде, спускается к воде. Медлит, колеблется, боится, надеется, гадает... В общем, оттягивает момент, когда вернется домой и прослушает мою кассету. Я изо всех сил пытаюсь внушить ему не делать этого, но контакта по-прежнему нет, остается только кружить снаружи. Он ежится от холода, плотнее кутается в куртку. Может быть, он воспринимает меня как сквозной ветер? Наконец, подняв воротник, он возвращается к машине и садится за руль. Автомобиль проседает на гидравлических рессорах, а когда отец включает зажигание, снова поднимается, словно бы с колен. На полу у заднего сиденья валяется забытый мешок с картошкой, из него сочится и впитывается в коврик коричневая жижа.

Мы едем к центру. Мне довольно трудно удерживаться здесь — притягивает явно ощутимый поток любви, волны добрых слов достигают слуха сквозь шум мотора и увлекают за собой. Но я не поддаюсь. Это голос Альфонса — он расхваливает меня, сидя с Брижит в своем домике у вокзала. Ублажать себя сейчас не время. Мое место рядом с отцом, я должен разделить его терзания, надежду, тревогу и уверенность в том, что он вот-вот услышит меня и я скажу ему что-то важное, прежде чем окончательно превращусь в единицу хранения, видеофильм, смонтированный из отдельных кадров и диапозитивов, — интересно, на сколько времени я потяну? Моим пристанищем, более долговечным, чем гроб, станет коробочка с этикеткой "Жак", содержащая пленку на 240, 180 или 120 минут. Пустяк по сравнению с тридцатью коробками маминой экспозиции, разложенной по месяцам и занимающей целую полку. Меня отец снимал мало. И сейчас это его, я чувствую, мучит.

Поворот на Сен-Жозеф, огни стройплощадки. В ослепительном свете прожекторов патетически воздели обнаженные ветки яблони, а рядом краны, экскаваторы, дорожные катки, со всех сторон обступившие запущенную ферму. Когда я был маленьким, здесь было образцовое хозяйство на швейцарский лад: чистенькие племенные коровы, фруктовые деревья с ленточками для отпугивания птиц. Жанна-Мари Дюмонсель держала марку и настаивала на том, чтобы муж и сыновья пользовались для изготовления сластей только "домашними" продуктами — свое молоко, свои сиропы и т.д. Но после смерти главы семейства и кризиса, поразившего в середине семидесятых годов кондитерский цех в связи с модой на похудание, ее рвение иссякло и отец купил у нее ферму, чтобы поселиться там на старости лет, но при этом не поинтересовался автодорожными проектами. Он задумал устроить там маленький рай, развести кучу живности для внуков, но этой мечте не суждено было осуществиться. Когда началась стройка, разбежались даже куры. И теперь, после пятнадцати лет затишья, снова загрохотали бетономешалки — возводится антишумовое заграждение, которое заодно навсегда отгородит нас от солнца.

Я нарочно говорю "нас".

Папа въехал в ворота — он оставил их открытыми, когда утром рванул в магазин. Альфонс придерживался тактики выдавать информацию постепенно и для начала сказал ему, что мне стало плохо. Машина остановилась у пересохшего колодца. Разбухшая дверь дома, как всегда, с трудом поддастся и безбожно скрипит. Отец зажег свет в просторной кухне, которая служит ему жилой комнатой, кинолабораторией и ванной, подошел к столу и застыл, глядя на свой брошенный впопыхах завтрак. Недопитое молоко, надкушенный ломтик хлеба с растаявшим маслом. Значит, когда он прожевывал первый кусок, я еще был для него жив — дикая мысль!

Не снимая куртки, он вынул из кармана кассету с надписью зеленым фломастером "папа" и вставил ее в стереокомбайн, который я подарил ему в прошлом году. Один из немногих подарков, которыми он пользуется. Обычно же только приоткрывает уголок коробки, благодарит, снова запаковывает и засовывает подаренную вещь в большущий шкаф. Там скопился целый склад: каждый день рождения, праздник отцов, каждое Рождество представлены мобильным телефоном, грилем, прочей бытовой техникой, художественными альбомами, двумя сервизами — для коктейля и кофейным, халатами... Все рассортировано по секциям с аккуратными бирками "от Брижит", "от Фабьены и Жака", чтобы, когда придет время раздела, между наследниками не было никаких недоразумений и каждый мог забрать свое добро. А я вот оказался не столь предусмотрительным...

Папа сел и, волнуясь до дрожи, стал ждать, пока прокрутится конец и начнется запись. Чего именно он ждет сейчас, в эти секунды? Теплых слов, признаний, просьб, упреков? Его сокровенное желание мне известно: он надеется, что я попрошу его перебраться в наш дом, поручу заботиться вместо меня о Фабьене, и тогда он сможет освятить родственным долгом ту тайную страсть, которую питает к ней с самого первого дня, когда мы оба увидели ее на конкурсе красоты. Он ждет, что я облегчу муки его совести — скажу, что давно понял причину его отдаления от нас. И его твердокаменной верности маминой видеопамяти, и затвора почище тюрьмы. Теперь ему больше не надо устраняться ради меня. Теперь между ними стоит только разница в возрасте. Знаю, знаю я, что он мечтает услышать: лучшее, что я мог бы подарить ему на прощание, это надежду, что все еще возможно.

Запись началась тремя сигналами "бип-бип-бип", после чего зазвучал папин голос:

— Жак, это папа. Сними трубку, если ты дома. Вторник, 11 часов. Если пойдешь в магазин, захвати для меня хлебцев, ананасового йогурта и три банки кассуле[1]. Целуй Фабьену.

Снова три коротких сигнала. У отца буквально отвисает челюсть. Он вглядывается в крутящуюся кассету через узкое окошко и не верит своим ушам:

— Алло, это папа. Ты дома? Сейчас суббота, половина десятого. Передай Фабьене, что ее рыба — просто объедение. Я завезу ей блюдо завтра в магазин. Какая погода в Эксе? Наверно, дождь... у нас тут пошел снег, но не лежит, а сразу тает. Перезвони мне. Целую, пока.

Отец рухнул локтями на стол, закрыл лицо ладонями и трясет головой. Прости, папа, я не хотел...

1. Рагу по-лангедокски.

"Бип!"

— Жак, перезвони мне. Я получил документы из налогового управления, эти кретины снова оформили все на мое имя. У меня лопнуло терпение, я сочиняю им письмо, вот послушай: "Месье, позвольте напомнить вам, что, согласно акту, составленному 15 апреля 1981 года в нотариальной конторе мэтра Сонна, расположенной по адресу: Париж, ул. Президента Вильсона, 45, скобяной магазин Лормо был..." Постой, тут у меня на стройке опять что-то взрывают. Перезвони мне. Сейчас четверть одиннадцатого. Только поскорее — я хочу отправить письмо сегодня до обеда.

И так еще двадцать минут. В последнее время отец быстро сдавал, и я предчувствовал, что он долго не протянет... Поэтому я не стирал его сообщения на автоответчике, а переписывал их на эту кассету... Суеверно боялся накликать беду. И вообще уничтожать голос, который мне, возможно, уже не так долго осталось слышать, представлялось мне кощунством.

— Ты дома? Это папа. Ты не забыл про генератор для "форда"? Привет Фабьене.

Отец успокоился, он ровно дышал и обреченно слушал свой голос с обозначенными тройным "бипом" интервалами — голос, перебирающий житейские мелочи, фрагменты текста и подтекста, сплетающиеся в живую ткань повседневности. Нетерпеливые звонки-напоминания; звонки с замаскированным призывом на помощь; звонки в минуты одиночества, когда он даже не притворялся, что хочет сказать что-то конкретное. Обычно это бывало часов в пять вечера — он набирал мой номер, просто чтобы услышать мой голос, благодарящий за оставленное сообщение. В таких случаях он говорил: "Это был папа", — и прошедшее время заставляло меня немедленно хватать трубку и заводить с ним разговор о погоде, ни о чем и о чем угодно, лишь бы забить чем-нибудь шесть отделяющих нас друг от друга километров, которые зияли в каждой паузе.

"Бип!"

— Это папа. Понедельник, утро. Умер Миттеран.

Это было последнее сообщение. Дальше — вхолостую шелестит пустая пленка. Отец обмяк, свесив руки, уставившись в одну точку. Жгучий стыд тисками сжимает мое сознание — наверно, так плачут мертвые.

Папа перематывает пленку назад. И, к моему удивлению, запускает ее снова, выборочно прослушивает некоторые места, и лицо его медленно расцветает улыбкой. На нем отражается облегчение, радость, чуть ли не благодарность и гордость. Ничего не понимаю... Или... вот оно что! Он смотрит на полку маминых кассет. И, должно быть, думает, что я пошел по его стопам. То есть тоже складывал день за днем в архив. В таком случае пленка содержит не свидетельство его ничтожности, а законсервированную в словесном сиропе отеческую любовь. Такой поворот — для меня полная неожиданность. Сам того не желая, я умиротворил папину душу, примирил его с самим собой. Он растроганно улыбается и глотает сбегающие из глаз в уголки рта слезы. Подозреваю, что он сейчас вытащит кассету и положит ее на полку, в дополнение к пятидесятичасовому обозрению его супружеского счастья.

Не останавливая записи, он встает и идет в другую комнату — ледяной чулан, ведущий в гараж, где под синим холщовым чехлом одиноко стоит мамин "форд-ферлейн-скайлайнер" 1957 года выпуска. Отец ши-

роким жестом, словно откидывая покрывало с постели, сдергивает чехол. На свет божий показывается громоздкая бело-розовая колымага. Старая американка блестит всеми своими протираемыми каждое воскресенье хромированными ручками и зеркалами. Под открытое небо она последний раз выезжала в день моей свадьбы. Что-то в ее механике тогда в очередной раз не сработало и откидной верх застыл под проливным дождем в вертикальном положении.

Папа бережно и нежно открывает дверцу, садится за руль, устраивается поудобнее и кладет руку ладонью вверх на переключатель скоростей... точно так же, как в то далекое лето, когда я успешно сдал экзамены на бакалавра и мы с ним отправлялись покататься вдоль озера и поохотиться на девушек. Заметив парочку "голосующих" подружек, я хлопал отца по ладони. Девчонки "клевали" на роскошный автомобиль, где все, от сидений до крыши, включая ветровики, радиоантенну, дверцу бардачка и вмонтированный в подлокотник охладитель для кока-колы, было электрифицировано (все, кроме "дворников" — эти были устроены каким-то допотопным образом и работали только на малом ходу или на месте и только когда не шел дождь), и охотно садились к нам. Ввиду упомянутых технических особенностей машины, наши донжуанские успехи впрямую зависели от метеорологических условий.

В те времена папа походил на Джона Уэйна, я же был заурядным прыщавым подростком, и ему стоило немалого труда сделать так, чтобы мне досталась курочка посимпатичнее.

Так он и заснул — раскрытая рука ждет моего прикосновения, доносящийся из кухни голос диктует покупки. Мой отец...

Когда-то в этом кирпично-бревенчатом домике был пост диспетчера ныне не существующей сортировочной станции. В шестидесятые годы папа купил его на торгах для Альфонса, всегда питавшего слабость к железной дороге. Два окна этого "шале на стрелке", как старый чудак именовал свое жилище, были круглый год украшены цветами. Поздней осенью Альфонс заменял горшки с живой геранью точно такими же с искусственной, чтобы обеспечить постоянство декораций проезжающим пассажирам.

Все свободное от скобяной торговли время Альфонс проводит у этих своих окошек: притормаживающим курьерским поездам машет рукой, проносящимся не замедляя хода сверхскоростным смотрит вслед. Вид уходящих в обе стороны до самого горизонта рельсов и ржавых заброшенных запасных путей будит в нем поэтические переживания, которые он силится облечь в должную форму. Но каждый раз эти усилия идут прахом, когда грохот вагонов возвращает его к грубой реальности.

Порой в воскресенье он застывает над мойкой среди кухонных испарений, напоминающих о стародавних паровозах, и, устремив взор на рельсы, часами ждет вдохновения, чтобы отлить в рифмованные строчки "Железнодорожную оду" — гимн глади полотна и лабиринту поворотов, что трепещет в нем, как готовое родиться на свет дитя. Первая строчка уже готова, она сложена 18 июля 1964 года, и Альфонс повторяет ее, словно приманивая на нее другие александрийские стихи, которые должны слететься, подобно стае птиц: "О рельсы без конца, что в Эксе сведены..." Но что сказать вслед за этим обращением, он никак не придумает, а напрашивающиеся сами собой варианты (например:

"Как нити макарон в тарелке всей страны") отметает и потому вхолостую жует макароны под молчание упрямой музы. Не так просто заменить любовь к прекрасной чахоточной деве созерцанием участка сети национальных железных дорог.

— У тебя тут ничего не изменилось, — сказала Брижит.

— А зачем мне что-нибудь менять? — подхватил Альфонс, внося на ночь в дом горшки с фальшивой геранью. — Они хотели поставить мне телефон, но я сказал — спасибо, не надо. У меня и так забот хватает — все стены растрескались из-за этих сверхскоростных, будь они неладны. Тебе подушку или валик? Маленькой ты любила валик, но девичьи вкусы — дело такое... Вот уж что все время меняется!

Брижит оглядела крохотную кухоньку — кирпичный кубик. Альфонс уже раскладывал на крашеном цементном полу походную кровать, уступая гостье комнату. Но Брижит взяла кожанку и всунула руки в рукава:

— Послушай, Альфонс... Я, пожалуй, все-таки поеду...

— Не выдумывай. Я тебе малость задал перцу за то, что ты наговорила гадостей о моем Жаке, но все уже забыто. Мне будет приятно, если ты останешься и будешь спать вот тут, у меня над головой, да-да, ужасно приятно. Не скажу почему — секрет, но это связано с Жаком. Представь себе, твой братец был парень не промах — вот, кстати говоря, еще одно очко в его пользу. У него была своя жизнь. А больше ничего не скажу — и не проси.

Воюя со скрипучими пружинами старой складной кровати, Альфонс краешком глаза посматривает на Брижит — только и ждет, что она начнет его расспрашивать. Но Брижит не слушает. Она думает о своем и вот-вот уйдет. И тогда Альфонс подзадоривает себя сам.

— Что бы ты сказала, — хитро говорит он, — если бы я тебе сообщил — понимаешь, если бы! — что у Жака была любовница?

— Сказала бы "браво", но к чему фантазировать!

Альфонс нерешительно морщит лоб, несколько раз открывает рот. Его так и подмывает рассказать Брижит о моей весенней вылазке. В тот раз я сказал дома, что еду на сверхскоростном в Париж на ярмарку посмотреть новинки и переговорить с поставщиками, а сам провел три дня с Наилой в постели Альфонса. Три дня и три ночи, наполненные исступленными ласками. Я вышел шатаясь, но не насытясь и вложил весь оставшийся пыл в рассказ о последних моделях американских косилок с дистанционным управлением — такого энтузиазма от меня не ждали. Альфонс же то и дело говорил Фабьене с притворным вздохом: "Эти суперэкспрессы жутко утомляют!" — оправдывая мои синяки под глазами.

— Нет, лучше я поеду сейчас. На дороге свободно, снег кончился. А вечером у меня концерт в Труа.

Альфонс увял, опустил голову. Брижит обняла его за плечи.

— Мое место там, понимаешь, — объясняет она, — там, с группой. Ты же знаешь — я уношу Жака в сердце. Я и так всегда буду думать о нем, а от того, что я останусь и брошу горсть земли в яму, ничего не прибавится.

— Но и не убудет, — ворчливо замечает Альфонс. — Жаку было бы приятно видеть тебя на похоронах.

— Он жив только в нашей памяти, — убежденно говорит моя сестра. — Другого не дано.

Альфонс пожимает плечами. Поди втолкуй ей... Для него я был бы жив сегодня ночью, если бы он слышал скрип кровати над головой.

Когда в первое утро мы с Наилой спустились в кухню, он встретил нас, стоя перед накрытым столом и заложив руки за спину. Его распирала гордость, и, улыбаясь во весь рот, он сказал: "Я слышал, как вы там кувыркались, и решил, что вам не помешает выпить кофейку".

– Ну, я пошла.

– Поступай как знаешь, – сдался Альфонс.

Он круто развернулся и тут же задел плечом развешанные на стене кастрюли и споткнулся о разложенную кровать. Брижит снова обняла старика и горячо расцеловала в обе щеки, чтобы приободрить его:

– Ну же, Альфонс! Не распускай нюни! Жаку было бы неприятно видеть тебя в таком состоянии.

– Что ты в этом понимаешь! – несколько высокомерно возразил Альфонс, демонстрируя превосходство верующего человека над безбожником.

Брижит не стала спорить. Альфонс вышел на порог помахать ей на прощанье рукой. Вот она перешла пути, вот нашла на привокзальной стоянке свой мотоцикл, села на него и рванула с места по прямому как стрела бульвару Президента Вильсона. На перекрестке она остановилась на красный свет, спустила одну ногу на землю и только тогда обернулась, прижала руку к шлему и послала воздушный поцелуй.

Еще минута – и мотоцикл, заложив вираж на площади Аннеси, скрылся за поворотом. Повторилась давняя сцена. Только на этот раз мы с Брижит расстались навсегда. Если когда-нибудь она изменит взгляды и позовет меня, я постараюсь откликнуться, пока же мне хватает дел с теми, кто в меня верит или, по крайней мере, хранит в себе такой образ Жака Лормо, за который можно зацепиться.

До свидания, Брижит.

Альфонс закрыл дверь, влез по лестнице, похожей на мельничную, наверх, понарошку уложил мою сестру, подоткнул ей, как в детстве, одеяло, поцеловал в лобик и пожелал хороших снов. Потом спустился, оставив у девочки свет.

На кухне он достал тщательно вымытую баночку из-под варенья "Бабушкин сад" – обычно он кладет в такую червей, когда идет на рыбалку, – проверил на свет ее чистоту, а потом вынул из кармана платок с презервативами моей последней ночи. Уложил их в банку, открыл старенький холодильник и поставил ее на самую нижнюю полку, рядом со вскрытым смородиновым желе и приманкой для форели. Потом перекрестился, закрыл холодильник, символически преклонил колени и улегся на походную кровать впритык к мойке, вслушиваясь в тишину над головой.

Интересно, как это другие духи ухитряются, что называется, "являться" в доме? Как им удаются все эти классические штучки? Лично я добрых десять минут земного времени безуспешно пытался заставить скрипеть пустую кровать, чтобы подать знак Альфонсу. Чего только не перепробовал: и просто нажимать, и сообщать ей колебательное движение, и даже деформировать пружины, внедрившись в них на молекулярном уровне, – но только выбился из сил. Правда, начала трястись и сдвинулась на несколько сантиметров тумбочка, но причиной тому был пронесшийся по рельсам марсельский экспресс.

У меня словно перегорела батарейка, энергии не осталось даже на новые желания. А поскольку ни передать свои мысли, ни проявить себя

материальным образом я оказался неспособен, то, похоже, мне грозило застрять навсегда в этом домишке у железной дороги. Буду делить кров с дедом, который меня вынянчил, и никак не смогу его об этом уведомить.

Правда, я ощущаю что-то вроде свежего ветерка, но мое сознание слишком тяжело, чтобы он мог подхватить меня, — я лишь раскачиваюсь на месте. С тех пор как умер, я совсем не спал, если не считать сном двух-, трехминутного выпадения во время полицейского дознания, не следует ли из этого, что в моем новом состоянии я не нуждаюсь в сне? Всю жизнь было так: если я не досыпал свои восемь часов ночью и два среди дня, то ходил вареный. Засыпал моментально: стоило голове коснуться подушки, как я растворялся во сне, точно сахар в стакане чая. Вот было блаженство, причем доступное всегда, вне зависимости от настроения...

Я бы и сейчас с радостью поддался дреме, но не уверен, что проснусь, и потому упорно бодрствую, балансирую на краю бездны. Мой долг, даже если он заключается в чистом созерцании, еще не выполнен, я это ясно чувствую. Импульс, который я получил от отцовской улыбки, сменившей долгое уныние, еще увеличили щедрые излияния Альфонса. Вне всякого сомнения, я *подпитываюсь* за счет живых. Но эта сила тут же исчезает, если я пытаюсь с ее помощью наладить общение с кем-нибудь из них.

Потому что для общения нужно как минимум две стороны, между тем Альфонсу вполне достаточно говорить с самим собой, отец держит меня в прошлом, сестра принципиально отрицает, а любовница не желает знать. Воспоминания Альфонса о моем тайном романе направили и мои мысли в то же русло, так что я ненадолго перенесся в комнату Наилы и вынес из этого визита самые смешанные эмоции. Наила крепко спала при свете. Рядом с ее постелью догорала в блюдце палочка ладана — привлекала или отгоняла мой дух? Я здесь никогда не был — боясь соседей, Наила не пускала меня в свою клетушку под крышей, и теперь я невольно почувствовал себя незваным гостем. Все вокруг было не то чтобы враждебным, но совершенно посторонним — тут мной и не пахло. Наила лежала свернувшись калачиком, в мужской пижаме, прижимая к себе плюшевую обезьянку, о которой никогда мне не говорила. В этой очень домашней, интимной обстановке ничто не напоминало о нашей близости, и мое вторжение явно было нескромным и нежеланным. На полу валялась початая упаковка снотворного — может быть, поэтому Наиле не снились сны и мне некуда было приземлиться. Лицо ее, обычно такое открытое, было непроницаемым. Она пребывала в вакууме, в герметическом забытье, и я не смог удержаться подле нее.

Я думал, что снова вернусь в мысли Альфонса — вот кто всегда легко впускал и выпускал меня, — но вместо этого очутился на какой-то неведомой мне лестничной клетке. Голые, скупо освещенные ночной лампочкой стены, забранное решеткой окно, плиточный пол. На ступеньках, спиной ко мне, сидел человек в спортивном костюме и от нечего делать постукивал пальцами по тетради со спиралью. Где это я? Смахивает на школу, летний лагерь или какую-нибудь контору. Впервые я попал в незнакомое, не связанное ни с моими воспоминаниями, ни с окружением моих близких место. Или меня наконец пригласили в зал ожидания? И я скоро предстану перед судиями и встречусь с пращурами? Но тогда, значит, мне тоже, как тому ожидающему в синем тренировочном, вернули земную внешность, чтобы облегчить опознание?

Потому что он выглядел вполне материальным. Вот зажег сигарету и пускает дым между прутьями перил.

Я хотел сдвинуться с места, но не вышло. Незнакомец словно удерживал меня за спиной. Не он ли меня призвал? Ну, если так... если уж невесть кто, любой клиент, заглянувший в лавку купить шурупов или наждачной бумаги и услыхавший о моей смерти, — и тот в силах потревожить меня случайно залетевшей ему в голову мыслью, то что же начнется через несколько часов, когда выйдет газета с траурным объявлением?

Пришпиленный к лестнице, я терпеливо ждал, когда молодой человек соизволит подумать о чем-нибудь другом, как вдруг перенесся в родной трейлер и увидел себя лежащим навзничь, свежескончавшимся, в естественном виде, еще без этого уродливого макияжа, но с липкими желто-зелеными потеками на коленках... да это полицейский! Молоденький новобранец, так своеобразно почтивший мои останки, — это он сидит на лестнице, а находимся мы с ним в полицейской казарме на улице Марлио. Выходит, я так запал в душу этому худющему, как жердь, белобрысому парню с простоватой физиономией! Правда, я его первый покойник. Он симпатяга и так же мается в армии, как когда-то я. Но завязать с ним разговор я никак не мог. Ведь я для него только воспоминание о постыдной слабости, мой дух для него — пустое место.

Вскоре какая-то чернявая девица вытеснила меня из его мыслей, и я наконец вернулся в Альфонсу, где и старался сейчас, безуспешно, поскрипеть кроватью.

Единственным человеком, который относился ко мне как к реальной сущности, кому я был интересен в нынешнем моем состоянии и кто жаждал помочь мне, как ни грустно, оказалась мадемуазель Туссен. До крайности изнуренный попытками установить контакт с мебелью и боясь снова распылиться, я из чувства самосохранения послал старой буддистке сигнал бедствия. Лишь бы не оставаться одному в полной неизвестности относительно своей дальнейшей участи. Если слабый ток, влекущий меня, пробивающийся сквозь мое одеревенение, исходит от нее, отдамся ему и усилю этой своей податливостью.

Так я и сделал — и тут же об этом пожалел. Вот она, мадемуазель Туссен, сидит за столиком из тонированного стекла перед зажженной черной свечой и, воздев палец, читает. В конце каждой фразы она подымает глаза куда-то влево от меня — проверяет, тут я или нет.

— "О вы, гуру и дэвы, и вы, преданные дакини, преисполненные великой любви и сострадания, даруйте мне освобождение от Промежуточного Состояния, направьте ветер моей кармы к тому воплощению, которое позволит мне продвинуть его на пути постижения Истины"; это молитва о даровании ясного зрения. Повтори!

Не знаю, что и делать. Звучит довольно внушительно, но что будет, если я войду в игру и вирямь во все это поверю? Ее попытки обратить меня (во всех смыслах слова), вернуть меня обратно на землю в другом теле не вызывают во мне ни малейшего сочувствия — мне это ни к чему. Не соблазняет и перспектива достичь сущности высшего порядка, мне и так неплохо, а запасов утраченного счастья хватит на целую вечность. Я хочу остаться дома. Так и кружить на месте, теша себя иллюзией, будто навожу порядок. С другой стороны, я бы не возражал, если бы она пристегнула к другой жизни мой домик-трейлер. Если моя память и мои вещички останутся при мне, почему бы не отправиться в новую экскурсию по этому миру?

— Ясное зрение откроет тебе доступ в область белого света. На нынешнем этапе ты должен полностью расслабиться, о высокородный сын. Пребывать в бездействии, ни на чем не задерживаться мыслью. Иначе снова окажешься в клетке, из которой я с таким трудом тебя вызволила. Теперь, когда ты освободился от оков твоей бывшей семьи, ты должен принять решение. Кем ты желаешь стать: духом преисподней, голодным претом или дэвом?

Я пытаюсь мысленно ощупать себя. Она же, бормоча себе под нос, листает "Книгу мертвых" назад, что-то подчеркивает, загибает страницу.

— Судя по тому, что я вычитала в соответствующей главе о твоем ментальном теле, при любом из вариантов, которые я тебе предложила, ты родишься не из яйца и не из лона. Просто представь себя тем, что ты выбрал, и тут же им станешь. Но помни: обман не дозволен. Твой дух, изведав страшные видения, точно знает, каким путем ему должно идти... Иду-иду, Поппей!

Мадемуазель Туссен со вздохом встает, вкладывает в книгу моей судьбы закладку и, шаркая шлепанцами, подходит к корзинке, где лежит и скулит дряхлый пудель. Он с осени парализован.

Псу без малого девятнадцать лет, он еле видит, но никак не умрет — боится, что заругает хозяйка.

Мадемуазель Туссен, ворча, меняет ему подгузник и снова переключается на меня.

— Итак, высокородный сын, теперь, когда ты оставил прошлую жизнь, оставил попытки установить связь с окружавшими твое бывшее тело людьми, пред тобой появятся знаки места твоего следующего рождения. Рассмотри их и выбери, что предписывает тебе твоя карма, но будь внимателен, не то останешься вечно томиться в Промежуточном Состоянии, и тогда уж я ничем не смогу тебе помочь. Если рождение должно произойти на Восточном материке Виратдеха, будет видно озеро с плавающей на нем парой лебедей. Туда не иди. Помни о своем нежелании идти туда. Если рождение должно произойти на Западном материке Годхана, будет видно озеро, на берегу которого пасутся конь и кобыла. И туда не иди, возвращайся назад! Там много богатства, но нет Дхармы, а богатство не продвинет тебя вперед. Если рождение должно произойти на Северном материке Уттаракуру, будет видно озеро, на берегу которого пасутся коровы и быки...

Это монотонное чтение как-то странно действует на меня: успокаивает и одновременно придает сил. Слова завораживают все больше и больше. Не знаю, что лучше: поддаваться или противиться этим чарам, и потому стараюсь вообще не вникать и ни о чем не думать. В моем положении это непросто, а может, и нежелательно: умственная активность — единственная доступная мне форма деятельности, и я боюсь, что, перестав мыслить, перестану и существовать. Или, наоборот, — как знать! — провалы в пустоту — единственное средство защиты, которым я располагаю, единственный способ отдохнуть в пути и не заблудиться. Вижу озеро, пару лебедей, успеваю подумать: "Как красиво!" — и поворачиваю назад.

— Так. — Мадемуазель Туссен закрывает книгу и смотрит вправо, где я, по ее расчетам, должен находиться. — Мы просмотрели все материки, куда могло бы проникнуть твое ментальное тело. Ты все еще здесь, значит, мне остается либо перенести твое сознание в Чистые Сферы Будды, но для лавочника это, прямо скажем... либо помочь тебе выбрать

лоно для нового рождения среди нас и нового цикла существования в сансаре. Расслабься же и смотри. Опиши мне, как видятся тебе будущие родители, и я помогу тебе отыскать их.

Если я правильно понял, она рассчитывает, выполнив роль посредницы, улучшить собственную карму, перескочить через ступеньку и получить за мой счет погоны ламы.

— Я буду твоей воспреемницей в новом рождении, — предвкушает старая дева, сияя детской радостью, — и ты не пожалеешь! — Затем она взволнованным шепотом прибавляет: — Ты у меня будешь первенцем.

Она закрывает глаза и вся напрягается.

— Да ну же! Передавай мне, что видят твои глаза! Покажи своих будущих родителей.

Мадемуазель Туссен закрывает глаза, набирает полную грудь воздуха и старается не дышать. Воздух просачивается у нее изо рта маленькими порциями и гасит свечку. Не открывая глаз, она нетерпеливо жалуется:

— Ничего не вижу!

Еще несколько минут она сидит напыжившись, нахмурив лоб, втянув голову в муслиновый ворот, потом открывает глаза и видит дымящийся фитиль. Тогда, кипя обидой, пожимает плечами, отпихивает стул и встает из-за стола.

— Ну конечно, — вздыхает она, выходя и закрывая за собой дверь, — я, как всегда, никому не нужна.

Я остаюсь в комнате один с поскуливающей собакой. И вдруг меня обдает приятным теплом. По-моему, это зовет Поппей. Он задрал нос до самого края корзинки — чует меня в темной пустоте и подает мне знак. Как это непохоже на общение с людьми: те затягивают меня в свои воспоминания, заставляют волноваться. Пес же просто дает знать, что он здесь, что он меня узнал и мы сейчас чем-то похожи друг на друга: оба растеряны, одиноки, зависимы от чужой воли, оба тоскуем по теплу. Он смотрит прямо на меня, а я отвечаю ему взглядом — да-да, я не оговорился. И до чего же приятно, когда ты видишь и тебя видят, когда можешь погрузиться в сознание существа, которому ты нужен, оправдать его ожидания, предстать перед ним благодетелем.

Старый пудель вытянул морду и попытался повилять задом, но тело его уже не слушалось. По мере того как мое сознание проникало в его собственное, он скулил все выразительнее. А проникновение было необычайно глубоким, никакого сравнения со всем, что мне пришлось испытывать прежде. Мне открылась вся его жизнь, его скудные воспоминания; я увидел, где он бывал, чего желал, от чего страдал. И понял: ему страшно умирать, он просит подержать его за лапу, подбодрить и помочь одолеть этот последний путь. И я остаюсь с дрожащим пуделем, теперь моя очередь быть провожатым, вместилищем памяти, которую его мозг уже не может удержать. Хозяйка меж тем спит в соседней комнате.

Как короток собачий век... И как насыщен болью и страхом. Страх, что хозяин тебя бросит, что ты ему не угодишь, уронишь палку, страх не ответить на пахучий призыв, запечатленный на дереве, не найти утром косточку, которую грыз во сне. Ко всему этому примешивается неодолимая потребность быть всегда рядом с хозяином, предупреждать его об опасностях, которых он не видит. Успокойся, Поппей, успокойся, я здесь, я все понимаю, догадываюсь даже о том, чего не вижу. Это общее усилие спаяло и утомило нас. Я уже не знал: то ли я увлекаю его,

то ли он удерживает меня. Всю нескладную любовь, которую я так и унес из мира людей, я теперь излил на него, чтобы помочь ему перейти рубеж. Я говорил ему, что там будет хорошо, что он сможет переноситься, как я, куда угодно: захочет — будет сидеть около своей ненаглядной Терезы Туссен; захочет — будет бегать задрав хвост и вынюхивать все новые и новые запахи, которые наполнят его долгий сон хорошенькими сучками, любовными играми и вкусными, не исчезающими с наступлением утра косточками... Не будет больше унижений, страха перед побоями, бесполезных страданий, запертых дверей, антиблошиных ошейников, запретных кресел, тряски в корзинке. Ты будешь свободным, Поппей, тебя будут любить, ласкать и понимать... Иди же, иди сюда...

Наконец крепко вцепившаяся в меня собачья память стала ослаблять хватку, и я ощутил невыразимое блаженство. Я выполнил назначенную мне миссию. И даже если мое посмертное существование только для того и было нужно, чтобы помочь старому пуделю безболезненно перекочевать в мир иной, оно уже вполне оправдано.

Пудель уже не дышит — маленькое тельце застыло на дне корзинки. "Какой у него мирный вид", — сказала бы Одиль. То, как безоглядно доверился мне Поппей и поручил мне свою память — от которой сейчас остались только какие-то обрывки, — странным образом многое изменило во мне самом. Может быть, если бы меня кто-нибудь провел по этому пути, как я провел пса, мне было бы легче, я был бы более чутким и понятливым. Я явственно ощутил способность что-то давать другим, чего при жизни от меня никто не ждал. Не знаю, почему так, в чем именно заключается эта способность и к чему я ее применю, бесспорно одно: покидая свое тело, Поппей оставил мне то, в чем я больше всего нуждался, — веру в себя.

Надеюсь, с моей помощью он отправился прямо в собачий рай, который, наверно, легче заслужить, чем наш, человеческий, — наглядное доказательство тому — моя неприкаянная душа. Или я опять ошибаюсь. Ведь если не считать хозяйки, которая тиранила Поппея, он был один на свете. А я — нет.

Может быть, рай — нечто вроде хосписа, куда принимают тех, кого на земле уже некому приютить?

Это новое чувство увлекает меня к Фабьене. Она неподвижно лежит в постели с открытыми глазами и ждет, когда наступит утро. Люсьен спит, прижавшись к ней, на месте, которое когда-то было моим. Два стойких солдатика, плечом к плечу против целого враждебного мира.

Я слышу, как нарастает шум пробуждающегося города, шелестят страницы утренних газет и люди отпускают комментарии относительно красотки скобянщицы, которая наконец получила что хотела: фирму и деньжата. "И знаете, что самое пикантное? Он умер очень кстати для нее — ведь он собирался разводиться". — "Да что вы?!" — "Я вам говорю! Они уже давно не живут, он гулял на стороне, а уж она — известное дело, бывшая Мисс! Строит из себя важную барыню, но всем известно, откуда ее вытащили. И сынок туда же — яблочко от яблоньки недалеко падает, вечно задирает нос, а было бы чем гордиться! Говорят, ребенок не от него". — "Правда?" — "Точно". — "Тогда понятно... Мальчишка-то вроде ненормальный". — "Она прижила его с одним заезжим актером из труппы, что гастролировала у нас в казино. Играли бульвар-

ную пьеску. Вы же понимаете, что за птица! Хотя... муж-то у нее пил по-черному, от этого и умер. И хорошо еще, если она ему не помогла... а что? подлить в рюмку яду — и дело с концом, таким, как она, это раз плюнуть, особенно когда пахнет наследством. Впрочем, тут еще придется повоевать, и глядите, драчка уже началась — они даже объявления дали каждая свое, не могут поделить состояние, и, помяните мое слово, дело кончится плохо". — "Но он, кажется, ничем, кроме художества, не занимался, откуда же состояние?" — "Э-э, это только видимость, чтобы не платить налогов. Все думают: на скобяной торговле не сильно разбогатеешь, а на самом деле — там огромные деньжищи!" — "Да-а?.." — "Все вроде бы скромненько: мини-фургончик и все такое, но это пустяки, главное-то — счет в швейцарском банке. Несколько поколений обделывали темные делишки с производителями и поставщиками — и куда только смотрит полиция! А папаша-то, папаша каков — совсем опустился, просто срам, вот они его и прячут! Вот увидите теперь, когда она стала хозяйкой, как подскочат цены. Такие особы ни перед чем не остановятся: сначала она торговала собой, лишь бы выбиться в люди, потом разбогатела на гайках да шурупах, а порядочные люди вечно в убытке. Нет в мире справедливости... Моя очередь? Добрый день, мадам Лормо, примите мои соболезнования, мы прочли в газете, боже мой, какое горе, и как внезапно это случилось, кто бы мог подумать, еще вчера был бодрый и веселый, что делать — уходят всегда лучшие, жаль тех, кто остался, мне, пожалуйста, шесть штук серных фитилей и две дюжины пластмассовых крышек, о, я вижу, сухой спирт опять подорожал!.."

Предчувствуя, сколько ей придется выслушать за день, Фабьена осторожно встает, поправляет на Люсьене одеяло и долго смотрит на него спящего — он лежит точь-в-точь как я, обняв подушку. Сама она за всю ночь не сомкнула глаз. Перебирала в уме, что еще нужно сделать, уладить, чего еще ждать... вспоминала всю свою жизнь. Десять лет замужества. Люсьен. Магазин. Ей двадцать восемь. У глаз наметились морщинки. Любила ли она меня когда-нибудь? Стоя в ванной перед зеркалом, Фабьена смотрит в него, словно ища в нем следы былых чувств. Свадебное путешествие. Рим. Колокола. Дождь. Мы четверо суток не выходим из номера "Альберто Сальватори". В окно видны три сосны и полкупола. Лежим, прильнув друг к другу. И после всего этого — другой мужчина?.. Я жил в ней. В ней зачал новую жизнь. А умер в объятиях другой. Фабьена знает, чувствует и казнит себя за это. Она прикасается к себе, как прикасался к ней я: гладит по голове, приподнимая волосы со лба, потом по затылку, по ноге от колена и выше. Я так тоскую о тебе, Фабьена, о тебе прежней. Если бы ты не навязала мне ребенка... Если бы не этот брак, которым вы меня связали, как бы я любил тебя! Ты навсегда осталась бы моей тайной возлюбленной...

Фабьена открыла краны, плеснула в ванну розовой пены. Пока наливается вода, она сидит на краю, обхватив колени руками. И думает, как сложилась бы ее жизнь без меня. Сызмальства она торговала овощами вразнос в любую погоду, терпела ругань продрогших на ветру родителей. Корзинки с пореем, пирамиды из яблок и помидоров, которые все время нужно выкладывать заново, окоченевшие руки, извилистые улочки и опостылевшая тележка — знай ее нагружай, разгружай да перегружай... Но вдруг — чудо! В один прекрасный день под арками рынка Монмельян к ней подходит фотограф. Вы позволите, мадемуазель? Улыбнитесь! Локон вот так... Нет-нет, передник не снимайте. Если

ваши родители не возражают, я хотел бы сделать с вами целую серию снимков. Вам пятнадцать лет, отлично. Вот моя визитка, пресс-карточка, это для журнала "Фото", знаете?

В студии на нее со всех сторон нацелили жаркие лучи софитов, чтобы выгоднее оттенить и высветить. Делать ничего не надо, только пройтись, подвигаться. Показаться. Повернуться, улыбнуться – чтобы получилось красиво. Соблазнительно изогнуться, выставить грудь – возбудить желание в невидимых зрителях, которые никогда к ней не прикоснутся. Не надо даже говорить, и, главное, в тепле! Она провела в студии пять часов, и за это время ей открылась новая жизнь. Другой она больше не хотела. Позировать, быть желанной, но недоступной – вне досягаемости. И всегда в тепле.

Первые фотографии имели успех, зародили в ней надежду. Ее стали продвигать. Она выиграла конкурс "Мисс Бюст–83" в ночном клубе в Эгбелете, на следующий год стала "Мисс Вен-д'Арбуа–84", затем – "Мисс Альбервиль–85", впереди был областной конкурс в Эксе, последняя ступенька на пути к титулу "Мисс Франция". Она не сомневалась, что будет первой. Но стала второй и встретила меня.

Фабьена закручивает краны, влезает в пенную ванну. Шесть часов утра. До открытия магазина полтора часа.

Я с самого начала понимал, чем прельстил Фабьену, почему она, неотразимая красавица, выбрала меня – даже не по расчету, а спасаясь от худшего. От скольжения вниз: от вице-мисс к девушке в национальном костюме на захолустной сельхозвыставке и дальше – к модели для порножурналов, из года в год обнажаясь все больше и получая за это все меньше, чтобы в конце концов вернуться к родителям, к тому же лотку на колесах, под дождь и ветер. Она предпочла магазин, то есть меня. Такой выбор сулил жизнь *под кровом*, возможность спокойно состариться, не рискуя сорваться и все проиграть. И раз она так решила, то готова была полюбить меня. Стать для меня всем на свете. Довериться мне, как еще никому и никогда, отдать мне свое тело, на которое другие лишь глазели с вожделением; родить мне сына, расширить дело, которое он когда-нибудь унаследует. Жизнь представлялась ей полной до краев, вроде горячей ванны, что восстанавливает силы после рабочего дня, как две капли воды похожего на предыдущий и ничем не отличающегося от следующего.

Остаток воды шумно засосало в сливное отверстие. Душ смыл пену со стенок. Фабьена вытерла полотенцем свое безупречное тело, от которого я был отлучен – теперь этот запрет потерял всякий смысл. Я принял ее решение, не разобравшись, чем оно вызвано. Понял только сейчас и корю себя за то, что тогда не стал возражать. Она боялась, что однажды ночью я перестану ее хотеть, начну себя принуждать, отчего моя неприязнь еще усилится; вот и задумала избавить нас обоих от такого эпилога и упредить мое охлаждение. Теперь мне совсем в ином свете представилась ее реакция на мою кончину и прощальное "кретин!" в трейлере перед приходом врача. Я легко обходился без нее, и у меня и мысли не возникало, что Фабьена может страдать от нашей физической разлуки, коль скоро сама этого пожелала. Сколько же ночей она ждала, чтобы я нарушил запрет, открыл дверь и ее решение рухнуло, отмененное единством наших тел.

Фабьена застегнула молнию на платье, которого я на ней раньше не видел. Впрочем, я давно уже не разглядывал ее... Предусмотрительно

подкрасила ресницы водостойкой тушью, чтобы не потекла от слез. Я люблю тебя, Фабьена. Если бы мог, я написал бы это на запотевшем зеркале ванной, словно вернулись времена нашего свадебного путешествия. Возможно, тогда это было не совсем правдой, зато правда теперь, когда мы окончательно потеряли друг друга.

Фабьена смотрит на часы. До утреннего ритуала поднятия железных штор осталось пять минут. Однажды я спросил ее, почему она неукоснительно открывает лавку в такую рань. Она ответила, что как-то утром открыла в половине седьмого и *заставила электрика ждать на холоде.* Тогда я услышал в этих словах только алчность — как бы не упустить хоть одного клиента, теперь же до меня дошел их простой и пронзительный смысл, и они хлестнули меня, как пощечина. Никакие кашемировые пальто и замшевые перчатки не могли усыпить в Фабьене замерзшую на ледяном ветру девчонку. Сострадание к каждому, у кого нет теплого крова, было единственной слабостью, которую она себе позволяла (потому что видела на месте этих людей себя). Она постоянно жертвовала пять процентов от прибыли на бездомных, а я, чурбан, видел в этом только способ снизить налоги. Фабьена первой в городе зажигала свои витрины, и это было не просто свидетельство ее возросшего общественного престижа, но и символом счастья, которым она не могла не поделиться с теми, кому не так повезло.

Почему мы стараемся понять близких, только когда они перестают обременять нас? В Фабьене было все, чтобы наполнить любовью мою жизнь и дать пищу вдохновению. Но я искал на стороне, чтобы считать себя свободным. Ее же вынужденно терпел и соблюдал видимость хороших отношений ради сына и из уважения к соседям. И ставил ей в вину собственные угрызения, малодушие, иллюзорное бегство... Начать бы все сначала... Да нет, что я мог бы предложить Фабьене, кроме своих эгоистических мечтаний! Загнать магазин и пуститься куда глаза глядят, вести жизнь бродячего художника, рисовать и продавать на улицах, на рынках мгновенные портреты прохожих... Словом, я мечтал о том, от чего она бежала. Нет уж, все к лучшему. Но все равно грустно.

Фабьена возвращается в спальню, на цыпочках подходит к кровати и накрывает Люсьена, потом, довольствуясь светом бра из ванной, открывает ящичек своего комода, где держит украшения. Приподнимает один футляр, вынимает из-под фетровой обивки ящика какую-то фотографию и, наконец, задвигает ящик и выходит из спальни.

Эта карточка мне знакома. Я думал, что потерял ее еще пять-шесть лет тому назад, а ее, значит, утащила Фабьена. Не хотела, чтобы у меня осталась частица ее прошлого, воспоминание о жизни до меня — ликующая красавица в купальнике с блестками, — боялась, что когда-нибудь я буду сравнивать ее с этим эталоном. Фабьена на фото улыбается, одной рукой упершись в бедро, другой поправляя волосы, на стройном теле лента с надписью "Мисс Альбервиль". Она подарила мне этот снимок в тот вечер, когда от нее уплыл следующий титул, и написала на нем: "Жаку Лормо, в день нашего знакомства, на добрую память. Фабьена Понше".

Фабьена меж тем идет в гостевую комнату, вкладывает фотографию во внутренний карман моего пиджака и, не взглянув на меня, выходит.

Снег на крышах заискрился под нежданным солнышком, а на земле превратился в стылую коричневую кашу; прохожие месят ее ногами, машины разбрызгивают колесами. Самое обычное утро. У меня никогда не

хватало времени оценить красоту этого повседневного пейзажа, и вот впервые нашлось. Ничего не скажешь, хорошо было в нашем мире!

Я нахожусь на высоте пятого этажа, метрах в пятнадцати от земли, и витаю вдоль фасада, выкрашенного густо-зеленой краской, размытой возле окон в фисташковые пятна, — по мнению местных урбанистов-новаторов, это самые что ни на есть савойские цвета. Банк напротив размалеван под двухцветную мармеладку "клубника с бананом" — тоже неслабо. За ночь мой угол зрения заметно расширился, хочу думать, что это благоприятный признак. По-прежнему никаких указующих дорогу потусторонних ориентиров: не реет архангел, не клубится адский дым. Зато все ощутимее мир земной, которому я больше не принадлежу. Хотя, похоже, прирос к нему намертво.

В открытое окошко мансарды прямо над спальней Люсьена высунулся сосед — стоя на стуле и изогнувшись, он соскабливает снег со ската крыши. В прошлом веке его предки владели всем строением и сдавали первый этаж под скобяную лавку, скобянщики расширялись, снимали и покупали все большую часть помещения, пока не вытеснили хозяев в одну-единственную комнатушку под крышей. Люсьен уже выпрашивал у нас и ее к своему совершеннолетию. Доживающий последние годы в родовом гнезде отпрыск домовладельцев громко поздоровался в мою сторону, и я едва не ответил, поддаваясь не успевшей отсохнуть с позавчерашнего дня привычке, однако приветствие относилось к соседке из дома напротив — она ответила, и у них завязался разговор из окна в окно, я же был для них прозрачен.

Возвращаюсь в спальню Фабьены. Не могу сказать, что я прохожу сквозь стены в полном смысле слова. Все несколько иначе: я представляю себе место, мысленно проецирую себя туда и там оказываюсь.

С той минуты как открылся магазин, Фабьена вся в заботах, от которых ее не стоит отвлекать. Я же остаюсь со спящим Люсьеном и подкарауливаю зазор между его снами, чтобы проникнуть в них, беспрестанно говорю с ним, продолжаю ковбойские истории, которые рассказывал давным-давно, когда его мама лежала в гипсе, а я кормил его из соски. Стоит Люсьену заворочаться или вздохнуть — я спешу ускользнуть на улицу, боюсь невольно все испортить и прервать связующую нас нить, которой так дорожу. Может, это и смешно, но я слишком хорошо помню, как дедушка регулярно посещал меня после своей смерти. Мне снились сны совершенно в его духе, в них настолько точно отражался его юмор, его веселое бесстыдство, что я не мог усомниться — это он посылал мне привет. Например, я бежал на звонок открывать дверь у нас в Пьеррэ и видел на пороге его, деда. Разъятого на части. Отдельно ноги, отдельно руки, правая держит на кончике пальца голову, левая сжимает английский ключ. "Здорово, Жако. Я, видишь, развинтился, а как собрать все снова — забыл. Помоги, а?"

Сегодня о помощи прошу я сам. Привет, Люсьен. Эй, послушай! Посмотри! Пасхальное утро. Ты с корзинкой в руках выходишь во двор, где стоит мой прицепчик, искать яйца. Вот нашел одно. Стоймя на автопогрузчике. Ты его хватаешь, разглядываешь мою физиономию, нарисованную на скорлупке, и тут же разбиваешь. Я падаю в тарелку, смешиваюсь с белком и желтком, а ты меня слизываешь и бежишь дальше, к каруселям, искать еще. И подбираешь следующее, и это опять я — мальчик с пальчик; без тебя я бы так и потерялся, но пока ты находишь дорогу от яичка к яичку...

— ...в субботу и воскресенье Весы окажутся между Марсом и Венерой, это сулит успех в сердечных делах!

Ага, никто и не подумал выключить радиобудильник у меня в трейлере, ровно в девять он запустил "Радио Савойя". И, хотя в спальню звук доносится едва-едва, Люсьен проснулся и резко сел в постели.

— Папа?!

В голосе тревога, он позвал меня. Ура, значит, он наконец почувствовал мое присутствие! Он принял сон, который я ему навеял, пошел по следам, разбил яйцо... Как хорошо, что я остался рядом с ним...

— Папа... — повторяет он шепотом.

Он уже не зовет. Он вспомнил, что меня нет, и мысль о моей смерти забила брешь, через которую я посылал ему известия о своей иной жизни. А обрывки сна, если он вообще был, растаяли в жестокой яви. Что ж, я понял: быть услышанным — дело не безнадежное, но долгое.

Взглянув на часы, Люсьен в панике соскочил с кровати, в два прыжка оказался у двери, распахнул ее и чуть не сбил с ног Фабьену — оторвавшись на минуту от соболезнующих покупателей, она принесла ему на подносе завтрак.

— Куда ты, Люсьен?

— Как куда — в школу! Ты меня не разбудила!

— Малыш...

Как бы помягче напомнить сыну, что он осиротел и учительница разрешила ему сегодня не приходить на уроки?.. Фабьена ставит поднос на кровать.

— А ты не хочешь остаться со мной?

— Нет.

Фабьена отвернулась. Слезы, которые она сдерживала с той минуты, как встала за прилавок, горькие слезы одиночества хлынули у нее из глаз. Но она стояла молча, вздернув подбородок. Люсьен надул щеки, усадил ее, протянул ломтик хлеба с медом и внушительно сказал:

— Ешь.

Держа хлеб в руке, Фабьена говорит, что все понимает и просит извинения, сейчас Альфонс отвезет его в школу на грузовике, и все будет в порядке. Мед капает на простыню — Люсьен поправляет хлеб в руке матери. Но все равно она его не ест и явно есть не будет — и он кладет кусок обратно на поднос. Фабьена же все держит руку на весу так, как ее согнул Люсьен. Малыш не любит целоваться, но тут он набирает полные легкие воздуха и чмокает мать в мокрую щеку, со стороны похоже, что он ее боднул.

— Мне снился папа, — говорит он ободряющим тоном, как тренер приунывшим футболистам. — Он был на небе с ангелами, и у него самого тоже крылья. Он сказал, что ему хорошо, что он будет нас оберегать и что Бог на него не гневается.

Очень мило, хотя и сплошное вранье. Фабьена кивает и что-то невнятно мычит.

— Но только, — продолжает Люсьен, — если мы его сожжем, он попадет в ад, это сказал сам Господь.

— Никто не собирается сжигать твоего отца, — с досадой обрывает его Фабьена.

Тогда, со спокойной душой, малыш бросает:

— Ну я пошел одеваться, — и выбегает из спальни.

Фабьена же падает на постель и судорожно рыдает. Я знаю, что до-

вело ее до такого состояния. Газета с объявлением моей сестрицы. Злорадно-жалостливые приставания добреньких покупателей. Вопросики с подковыркой: "Так венков не присылать или все же можно?" Издевательские замечания: "В объявление вашей золовки, по всей вероятности, вкрались опечатки". И совсем доконало известие о бегстве Брижит, которое принес Альфонс, по возможности смягчив неловкость ("Она неважно себя чувствовала и решила поскорее ехать назад.") Мне непереносимо тяжело видеть плачущую Фабьену. Столько лет я поддерживал и защищал сестру, всегда был за нее против жены, и вот теперь я на стороне Фабьены, а она не знает и не узнает об этом.

Но минутная слабость прошла, Фабьена встала, одернула платье, поправила кремовый халат — такие по ее распоряжению носит весь персонал, и она сама подает пример. Затем заново причесалась перед зеркалом и, изобразив на лице ангельскую улыбку, медоточивым голоском отчеканила:

— Хрен тебе в глотку, стерва, иди ты на фиг со своим гребаным венком.

Она решительно расстегнула верхнюю пуговицу на халате и приколола к блузке рубиновую брошь, которую я, на зависть всему городу, подарил ей когда-то по случаю пятилетия свадьбы. Все так же сладко улыбаясь в пику притворно-скорбным рожам, вызывающе проговорила в зеркало:

— Благодарю вас, мадам Рюмийо, всего хорошего, — последний раз всхлипнула и пошла на свой пост за прилавком.

Жаль, ты не слышишь меня, Фабьена. Клянусь, теперь, когда ты овдовела, я был бы рад снова просить твоей руки.

Из своей комнаты выходит Люсьен в наглухо застегнутой куртке и вязаной шапочке, с ножницами в руках. На цыпочках крадется по коридору и решительно открывает дверь в мою гардеробную. Там он, держа наготове ножницы, оглядывает содержимое шкафов, что-то выбирая.

Но я не могу дольше тут оставаться. Кто-то думает обо мне или где-то происходит нечто, призывающее меня в другое место, и как бы я ни хотел отдать сыну все свое внимание, этот зов донимает меня как щекотка. Сколько могу, упираюсь, пытаюсь задержаться в гардеробной. Люсьен выдвигает ящик, вытаскивает из стопки моих свитеров старый джемпер в черно-белую полоску, примеривается к рукаву и с гримасой досады бросает обратно. Другое изображение накладывается на стенные шкафы — это витрина турагентства. Ага, это Наила. Минутку! До сих пор я был ей не очень нужен, так что теперь может и подождать.

Люсьен, вздохнув, выдвигает другой ящик, с носками, долго роется, наконец извлекает из кучи пару черных и одним махом отстригает резинку. Не понимаю — зачем? Турагентство затягивает все сильнее, я еще противлюсь, но только из гордости. Мой сын старательно отрезает от моего носка полоску шириной сантиметров в пять, становится перед зеркалом и нацепляет ее на рукав куртки. Сосредоточенно нахмурившись, поправляет повязку и резко подается вперед, словно пихая в зеркале невидимого соперника:

— Вот так, Марко! Небось не будешь больше приставать ко мне на переменках! У меня умер отец, ясно?

И мой печальный рыцарь, неся мои цвета, с геройским видом отправляется в школу. Что это за Марко? Будь спокоен, я разберусь в этой

истории с приставаниями на переменках. Так вот куда девалась твоя кожаная куртка, которую ты будто бы отдал бомжу на улице? Если кто-то тебя терроризирует, положись на меня — мой дух ему спуску не даст! Правда, пока я не очень-то страшен, раскачать кровать и то не умею, но это вопрос времени. Потренируюсь и все освою: и являться привидением научусь, и стучать в стену, и сбрасывать камни на головы сопливых рэкетиров. Главное — задаться целью, как следует разозлиться и поверить. Уверенность в себе у меня уже есть, остальное, полагаю, приложится.

Но ты все-таки мог бы сказать мне про этого Марко пораньше, а? Я бы всыпал ему еще при жизни — это было бы куда проще.

Я остался в гардеробной один, между тем притяжение Наилы ослабло. Мысль о том, что сына рэкетируют в школе, закрепила меня на том месте, где во мне взыграл гнев. Видимо, чем больше эмоций я испытываю, тем прочнее занимаю пространство. Недурно задумано.

Я отвлекся от образа Люсьена и перенесся на Женевскую улицу, к витрине турагентства. И сразу понял, почему я здесь. Наила вешает в витрине рекламные объявления о чартерных маршрутах на февраль, а снаружи, у платана, утопая в снежной каше, стоит и неотрывно смотрит на нее тот самый молодой полицейский, который этой ночью мучился из-за меня бессонницей. Неужели он ее узнал? Это было бы странно — я не заметил, чтобы он особенно приглядывался там, в трейлере, к моей незаконченной картине. Если только в тот короткий промежуток, когда я, так сказать, потерял сознание. Может быть, это была своего рода защитная реакция? Бегство от опасности, которую я почуял, но которой не захотел посмотреть в лицо?

Полицейский бросает окурок в водосток и затаптывает — под ногой хрустит ледок. Затем одергивает на себе тесноватую форму и толкает дверь.

Рыжая девица у фикуса поднимает на него глаза. Наила продолжает возиться со своими "заманчивыми поездками по сниженным ценам". Молодой человек представляется: Пейроль Гийом, помощник полицейского, и подходит к Наиле:

— Можно вас на пару слов, мадемуазель?

Наила оборачивается с Мартиникой в зубах, кивает, прикрепляет афишку скотчем и показывает ему на кресло напротив своего места.

— Деловая поездка или отпуск?

Она старается говорить любезно-оживленным тоном, но голос звучит глуховато.

— Я пришел по поводу Жака Лормо, — в лоб огорошивает ее Пейроль Гийом, решительно не умеющий долго держать в себе то, что не дает ему покоя. — Вы были близко знакомы с ним?

Наила бледнеет. Это не очень заметно — она и так плохо выглядит. Но я вижу: на виске у нее забилась маленькая жилка, как всегда в минуты страха или гнева.

— А в чем дело?

— Он умер.

— Да, я знаю. Прочитала утром в газете...

— Вы ведь, кажется, ему позировали?

Опасный тип. Наила с каменным видом отпирается: она знала меня только в лицо, слышала, что я занимаюсь живописью... и вдруг она взвивается, увидев, что рыжая толстуха застыла с прижатой к уху телефон-

ной трубкой и, якобы дожидаясь, пока ее соединят, буквально впивает каждое слово:

— Но с какой стати вы меня расспрашиваете?

— Просто из любопытства, мадемуазель. Я пришел неофициально. Причина смерти месье Лормо установлена — разрыв аневризма аорты, — и следствие закрыто. Просто мне понравился ваш портрет, который он писал. Я проходил мимо и узнал вас. Вот и все. Извините за беспокойство.

Он встает, надевает кепи и выходит на улицу под приятный перезвон колокольчика. Наила провожает его глазами, пока он переходит через улицу, и утыкается в какой-то каталог, не глядя на толстуху. Та положила трубку и смотрит на нее с безмолвным сочувствием.

Конечно, я понимаю и не сержусь на Наилу за то, что она отрицала наши отношения. Но все же можно было соблюсти хоть какое-то правдоподобие. Любопытство юного сыщика еще больше распалилось, и в глазах его, когда он уходил, появилось что-то такое, что внушает мне опасение.

Пока я отсутствовал, меня уложили в гроб. Ничего неожиданного, но все же я был поражен. Бюньяры последний раз подштукатуривают меня. Тело со всех сторон окружают волны шелковых складок — похоже на коробку с праздничным набором цукатов, Жан-Ми торгует такими под Рождество.

— При таких барышах вполне могли бы взять для него "Версаль".

— "Трианон" полегче.

Низенький, подумав, делает мне пробор на другую сторону. Длинный, поправляя мою улыбочку, продолжает:

— Бабник был еще тот.

— Да-а?

— Знаешь девчонку из турагентства "Хавас", ну, эту черномазую герлу? Вот он с ней развлекался.

— Да ты что?!

— Спроси у Жасенты, она с ней вместе в бассейн ходит.

— Ах ты сукин сын! — возмущается низенький и напрочь убирает пробор. — И это называется — она ни с кем не гуляла! А ты уверен, что твоя Жасента не заливает?

— Не веришь, спроси у Каро. Да все ее подружки в курсе. У них ведь так — все друг дружке выкладывают.

Хорошенькое дело. Думаешь, что никто на свете ничего не знает, а оказывается, ты на самом виду. Мне в общем-то плевать на злые языки этих гробовщиков, но как-то не хочется присутствовать, когда будут привинчивать крышку.

— Ха! Погляди-ка, что у него в кармане.

— Оставь, родственники иногда нарочно вкладывают.

— Телка что надо, а? Все при ней... Это когда же было?.. Фу-ты ну-ты, Мисс Альбервиль!

— Думаешь, она подложила карточку, чтоб он ее на том свете только такой и вспоминал?

И так далее... Похоже, они завелись надолго, так что лучше отключиться. Пока они крутят фотографию Фабьены, нырну-ка я в нее. И попробую погрузиться так глубоко, как не осмеливался раньше. Страшно хочется узнать, как она жила до того, как мы встретились; увидеть ее совсем маленькой, потом подростком на рынке с тележкой, потом

начинающей фотомоделью, разделить с ней одинокие годы, которые она прожила без меня, — однако я выныриваю в театральном зале казино, среди смокингов и вечерних платьев.

— О наши богини, гордые, нежные, блистательные, загадочные, неизменно прелестные и грациозные, чья красота не уступает уму, сегодня в моем лице город Экс-ле-Бен рад приветствовать вас в Савойском дворце, который был сооружен Шарлем Гарнье в 1849 году и превратился на один день в храм красоты, в котором воссияет, подобно пеннорожденной Венере, избранная нами верховная жрица-весталка, иначе говоря, "Мисс Савойя–86" (аплодисменты), будущая посланница нашего благодатного солнечного края на национальном конкурсе, где она несомненно затмит всех! Да здравствует Мисс Франция! Да здравствует Франция! — выкрикивает, стоя на сцене перед опущенным занавесом, месье Рюмийо, помощник мэра по культуре, председатель Зрелищного комитета. Под крики "браво" он приветствует парижского представителя, присланного наблюдать за ходом отборочного тура, и, воздев руки, пятится за кулисы, затем выскакивает оттуда на цыпочках и уносит микрофон на ножке. Занавес поднимается, и начинается парад претенденток.

Фабьена выступает под номером 21. Размеренным шагом, сияя улыбкой и глядя куда-то вдаль, она проходит в ряду других первый круг и предстает перед жюри, изящно помахивая картонкой с нарисованными цифрами. Жан-Ми, сидящий во втором ряду судей, узнает ее и принимается отчаянно жестикулировать, повернувшись ко мне. Рюмийо негодующе вращает глазами, я же, не понимая, что хочет сказать мой приятель, продолжаю рассматривать красавиц одну за другой, мысленно оценивая их шансы, а заодно и свои — которую удастся подцепить? Три часа назад мне дала отставку хорошенькая Анжелика Бораневски, наследница шинного завода "Бора-Пнэ", и в казино я пришел с Одилью — неизменной спутницей в переходные периоды. Наряженная как на свадьбу, она сидела в красном кресле, держа на сжатых коленях коробочку пастилок для горла. Никто из молодых людей никогда не звал ее после вечеринки зайти в кафе и выпить на дорожку, поэтому она из самолюбия говорила всем, что у нее начинается ларингит, и уходила самой первой и одна. Вот и теперь, меж тем как претендентки с безупречной улыбкой прогуливались по сцене, она уже начала поглядывать на часы. Мое внимание и надежды сконцентрировались на номере 39, брюнетке с вулканической грудью, кошачьей повадкой и короткой стрижкой каре. Она заняла пятнадцатое место. В претендентке номер 21 я поначалу ничего примечательного не заметил.

Однако, когда кортеж под гладиаторский марш уходил со сцены, меня привлекло что-то необычное в ее походке. Фабьена нервничала и держалась изо всех сил. В столкновении с парусником она повредила себе лодыжку и, когда сходила со сцены, начинала прихрамывать. Ее родители сидели в зале, разодетые в нафталиновые костюмы, и успели сообщить ближайшим двум рядам:

— Это наша дочь.

Фабьена глотала стыд, старалась думать только о короне, которую она получит вечером из рук респектабельных судей. Может, она и не самая красивая, но в ней есть некая тайная сила, которую она уже испробовала на председателе Рюмийо, когда он, показывая девушкам на репетиции, где чье место, заодно заигрывал с ними.

Переодеваясь в битком набитой раздевалке, где все чуть не дрались из-за зеркал, она улыбалась. Только что, во время испытания на общее развитие, она неожиданно серьезно заявила в микрофон, что хочет посвятить свой титул "Мисс Савойя", если получит его, афганскому народу, притесняемому советскими оккупантами и "в эту минуту" ведущему с ними героическую борьбу. Это выражение солидарности, наверное, помогло ей наверстать пол-очка, упущенных в туре "длинное платье — высокие каблуки".

Раздаются первые звуки мелодии из "Кармен", пестрая стая участниц устремляется на сцену, и на минуту я заражаюсь от Фабьены радостной энергией, уверенностью в себе, в том, что сейчас, через сорок пять минут, когда ей на голову возложат венок, в руку дадут скипетр, через плечо наденут ленту и завалят подарками от местных коммерсантов (бесплатная реклама перед телекамерами), начнется новая жизнь. Сейчас она, на зависть более богатым, красивым и образованным соперницам, поднимется выше всех — на верхнюю ступеньку подиума, откликаясь на призыв: "Мисс Савойя—86 — Фабьена Понше!"

Но увы, номер 14 голосом Мирей Матье выразительно выкрикнул пожелание, чтобы прекратилось кровопролитие на оккупированных территориях, потому что "в мире нет ничего ужаснее, чем забитый камнями ребенок, особенно если эти камни швыряли другие дети". Неистовые аплодисменты разбили мечту Фабьены вдребезги. Ее заткнули за пояс. Номер 17, поднапрягшись, сымпровизировала экологическую речь об опасности эксплуатации АЭС в Крей-Мальвиле. Учитывая, что в жюри входили два инженера из Госэнерго, это была не самая удачная идея. В конечном счете Афганистан потянул на второе место. Корона победительницы досталась пухленькой милашке, такое решение снимало с женатых членов жюри подозрение в предвзятости и избавляло от ночных упреков жен.

Я нашел отца около фонтана перед казино, на автостоянке. Он стоял в сизом облаке от выхлопа множества отъезжающих машин, руки в карманах, и громко возмущался выбором своих коллег по жюри. Хорошо же будет выглядеть Савойя на зимних олимпийских играх с этой своей Мисс, у которой такой плоский зад и южный акцент! Когда можно было выбрать восхитительную блондинку, и к тому же уроженку Альбервиля! Никогда раньше я не видел его таким разгоряченным. Едва в дверях артистического выхода показалась Фабьена в габардиновом пальто, как он устремился прямо к ней:

— Луи Лормо — я был в жюри и голосовал за вас, это просто возмутительно! Вы в сто раз лучше!

— Вы очень любезны, — бесцветным голосом отвечала Фабьена.

— Позвольте представить — мой сын Жак.

Глаза ее были полны тоски, ей хотелось одного: чтобы все это скорее кончилось. Родительская машина стояла черт знает как далеко, она должна была плестись туда, потом ехать с ними в отель "Бо-Риваж", где опять надо будет выступать, фотографы попросят всех, кроме победительницы, выйти из кадра, супрефект произнесет хвалебную речь в честь благородных порывов Мисс, которой предстоит защищать честь департамента. Надо будет всем представлять родителей, чтобы они не обиделись. И наконец вечер, который обещал быть самым счастливым в ее жизни, закончится в зеленном фургоне; подол сшитого вручную атласного платья будет подметать грязный пол, где валяются морков-

ная ботва и листки салата. Золушка возвратится к своим тыквам, и всю дорогу, не превышая сорока километров в час, отец будет ее пилить: "Видишь, чем кончаются эти дурацкие игры в принцесс!"

И вдруг наши взгляды встретились. Я узнал давешнюю байдарочницу. А она — типа, который опрокинул ее лодку. С этой минуты мы неотрывно смотрели друг на друга.

— Это вы, — протянула она, и в голосе ее было больше печали, чем обиды.

— Странная штука случай, — изрек я, впадая в идиотизм — первый признак того, что я влюбился.

Папа восторженно глядел то на нее, то на меня. Потом живо обернулся к стоявшей у самого фонтана и выжидательно покашливавшей Одили.

— Одиль, моя кассирша, — пояснил он, сразу устанавливая дистанцию во избежание недоразумений. — Я держу скобяной магазин на авеню Терм. Ты ведь можешь дойти пешком, Одиль, тебе тут недалеко?

Одиль от неожиданности уронила коробку с пастилками. Но тут же подобрала ее, пожелала всем спокойной ночи и запоздало объявила о своем ларингите и о том, что ей нужно поскорее лечь. Едва простившись с ней, мы начисто забыли о ее существовании.

— Если позволите, мой сын подвезет вас, его автомобиль тут рядом, — предложил отец.

Вид огромной американской машины, поблескивающей в свете фонарей под мелким дождиком всеми своими хромированными деталями, несколько изменил к лучшему первоначальное впечатление Фабьены о моей особе.

— Это "форд-ферлейн-скайлайнер 1957", — объясняет папа, открывая Фабьене дверцу. — Верх, как видите, металлический, но посмотрите, что будет, когда кончится дождь.

Он помогает ей сесть, поправляет складки платья, чтобы их не прищемило, и осторожно закрывает дверцу. Потом обходит вокруг машины и передает мне ключ, шепча:

— Невероятно! Фантастика, да и только! Ты видел? Глаза, походка — живой портрет твоей матери, просто копия! Я еле высидел в жюри — думал, инфаркт хватит... Смотри не упусти ее, понял?

Странно! Насколько я представлял себе маму — по черно-белым любительским фильмам, — ни малейшего сходства нет. Разве что в фигуре что-то общее... Но отцу, разумеется, виднее.

Сам он забирается на заднее сиденье. Итак, решается моя судьба. На другой стороне площади, под аркой из зелени, Анжелика Бораневски весело болтает с братьями Дюмонсель. Меня же насмешливо подбадривает — машет зонтиком. Жан-Ми ей в тон показывает поднятый палец.

— Что ты там замечтался — поехали! — торопит отец.

Я сажусь за руль, захлопываю дверцу и окунаюсь в жасминовый запах. Через полгода, сразу после свадьбы, Фабьена сменит эти духи — ей казалось, что "Герлен" больше подходит ее новому положению.

На минутку отодвигаю события, чтобы подольше удержать аромат жасмина, прочно вошедший в мою жизнь. Ни прежде, ни потом не испытывал я такого радостного желания, какое поднималось во мне, стоило Фабьене очутиться в шести метрах от меня. И сколько я ни нюхал разных флаконов в парфюмерных лавках и отделах, такого запаха найти не мог. Схожая цветочная нотка, кажется, встречается в "О жен", но у Фа-

бьены жасмин был послаще. Видимо, она сама делала какую-то смесь. Точно я так и не узнал. Все, что касалось ее прошлой жизни, всегда было для меня запретной темой. Пришлось перестраиваться на "Герлен".

— Я заново родилась в твоих объятиях, — сказала она мне три дня спустя, когда мы впервые лежали в постели, в номере четырехзвездочной гостиницы "Омбремон".

Сказано высокопарно, но совершенно искренне. Наверное, никогда я не любил Фабьену так сильно, как в тот первый вечер. В ресторане она съела жесткие белые концы спаржи и оставила нежную зелень. На лотке у родителей она видела только фасоль, морковку, помидоры, салат да артишоки. И по смущенному взгляду убиравшего тарелки официанта поняла, что сделала что-то не то. Тогда она спросила у меня. Она хотела все знать немедленно. Через полгода она чистила грушу ножом и вилкой в два раза быстрее прочих дам из Лайонс-клуба, могла бы, пусть у нее и не было случая применить это умение, должным образом разместить за столом посла, епископа и министра и заканчивала заочно бизнес-курсы.

— Ага, дождь наконец кончился, — обрадовался папа. — Сейчас вы что-то увидите. Ну-ка, Жак!

Я останавливаюсь перед светофором на площади Ревар и вопросительно смотрю на него в зеркальце. Он энергично кивает. Это такой тест. Я нажимаю на перламутровую кнопку слева от руля. Сколько раз мы проделывали эту штучку, с тех пор как восстановили мамину машину и превратили ее в безотказное средство охмурения!.. Фабьена вскрикивает. Под оглушительный рев электромотора крышка багажника вдруг открывается спереди назад, крыша кузова поднимается на полметра вверх, застывает на три секунды в горизонтальном положении, чтобы затем, описав полукруг, скользнуть в багажник, который тут же закроется, и машина неожиданно превращается в изящное открытое авто.

Момент нашего коронного теста после дождя наступает сразу после этого трехсекундного зависания. Прежде чем убраться в багажник, крыша складывается, причем ее задняя часть опускается вертикально вниз, прямо над передним сиденьем, обдавая занимающую его пассажирку ледяным душем — это и есть эффективное испытание на чувство юмора. Один-единственный раз я из упрямства продолжал встречаться с девушкой, которая его не выдержала — обругала на чем свет стоит конструктора и возвела в страшное преступление ущерб, нанесенный ее туалету, — и что же? я провел с ней две невыносимо скучные недели, пока наконец как-то в ресторане она не воткнула мне вилку в руку за то, что я улыбнулся соседке по столику. С тех пор я целиком полагался на результат водяного тестирования.

Мокрый шиньон Фабьены съехал набекрень, промокшее платье потемнело. Она оторопело смотрела на меня. Я тоже словно бы потерял дар речи — сидел в мокром смокинге и ждал. Она подняла руку, отвела налипшие на лоб пряди, шмыгнула носом, отжала свою ковровую сумочку и судорожно расхохоталась. А отсмеявшись, покачала головой:

— Видно, такой у меня сегодня невезучий день.

Папа сзади сжал мое плечо. Испытание пройдено с честью.

На следующем светофоре у нас глохнет мотор. Аккумулятор сел, перенапрягшись на перемещении крыши. Я вышел на дорогу, чтобы остановить какую-нибудь машину и попросить у водителя "прикурить". Тем временем папа, вольготно раскинувшись на заднем сиденье, расхва-

ливал меня перед Фабьеной. Я получил диплом бакалавра с отметкой "хорошо", я очень милый, очень веселый, я веду передачу о культуре на радио "Волна Шамбери", я люблю природу, увлекаюсь оперой и парусным спортом — так же, как и она, если судить по тому, что она рассказала о себе со сцены, — а скобяная торговля, управление которой он вскоре передаст мне, дает три миллиона чистого дохода.

Нас выручил Жан-Ми со своей "альфой-ромео". Пока мы возились с мотором, на тротуаре неподалеку от нас стояла Анжелика Бораневски: тряслась от смеха и демонстративно целовалась с Жаном-До. Наконец здоровенный восьмицилиндровик снова зафырчал, и я вернул Жану-Ми его "крокодильчики". Он хмуро пробурчал:

— Эта ваша идиотская крыша... сколько можно! Над тобой все смеются.

— Ничего, я переживу.

— Благодарю за Анжелику. Ты уверял, что я ей нравлюсь, а она прилипла к моему братцу.

Сматывая провод, он желчно оглядел блондинку на переднем сиденье, которая с улыбкой слушала отцовские разглагольствования, пожал плечами, сев в свою "альфу", и рванул с места, направляясь к кварталу ночных клубов.

— Мадемуазель Понше никогда не была в Америке, — значительным тоном сообщил мне папа.

Я посмотрел на Фабьену с сочувственной миной. Ее волосы просыхали и снова укладывались в легкие волны.

— Мне надо поторапливаться, — проговорила она виноватым голосом.

Она попросила высадить ее около роскошного "ягуара" в ста метрах от вокзала, где ее ждал родительский фургончик, и сказала, что ее жених вот-вот подойдет. Я попробовал уговорить ее подождать жениха в нашей машине, не можем же мы оставить ее промокшую посреди улицы, но она стояла на своем. Самое большее, на что ее удалось уговорить, это взять с собой полотенце, которое мы всегда держим в бардачке на случай тестирования. Фабьена подписала нам на память по фотокарточке — у нее в сумке была припасена целая пачка, она ведь готовилась к победе — и вышла. В машине осталась лужа — следствие холодного душа — и жасминное облачко.

— Осечка, — сказал я отъезжая.

— Черта с два, — возразил папа, хитро подмигивая фотографии с автографом. — Это "ягуар" доктора Ноллара, ты что, не узнаешь его кадуцей? Ну-ка, поезжай кругом.

Я свернул направо, на бульвар, в сторону водолечебницы, поехал по улице Мари-де-Соль, потом вниз мимо страхового офиса и, подкатив к вокзалу, застал семейную сцену. Краснолицый мужчина, которого пыталась удержать женщина в довоенных мехах, закатил Фабьене оплеуху и заорал:

— Что за наглость! Мы уже полчаса торчим тут и ждем тебя! Где тебя носило?

— Не трогай ее, Реймон! Ей же еще на банкет!

— В таком виде? Куда ты девала свой новый зонтик?

— Отлично, — воскликнул папа. — Разворачивайся по Шарля де Голля. Она тебя не видела. Можешь считать, что я спятил, но я уверен, эту девочку нам сам Бог послал. Клянусь, это неспроста. Ей сколько лет, восемнадцать? А твоя мать умерла в шестьдесят первом — как раз...

— Ну, знаешь... По-твоему, это реинкарнация, что ли? И ты серьезно?

— Какая разница, откуда она явилась и что мне чудится! Главное — не упустить ее. Я записал номер фургона, если за три дня она не принесет полотенце нам в магазин, я узнаю в автосправочной адрес владельца, и ты ее снова подцепишь.

Помолодевший, оживший, влюбленный папа — просто чудо! Первый раз он искренне восхищался девушкой, а не притворялся и не подыгрывал мне, чтобы поддержать дружеские отношения, которые сложились у нас с ним, когда я дорос до любовных шашней. Я готов был сделать что угодно, лишь бы сохранить эту искру в его глазах.

И сделал.

Через три дня после конкурса на звание "Мисс Савойя" Фабьена пришла в магазин и принесла выстиранное, выглаженное и упакованное в шелковую бумагу полотенце. В тот же вечер мы с ней пошли в кафе водного клуба. Она сказала, что поссорилась с женихом. Синяк на щеке — это след ссоры. Между ними все кончено. Потом был первый поцелуй у озера. "У вас такой милый папа".

На другой день после нашей первой ночи в отеле "Омбремон" Фабьена обедала у нас дома. Об этом знал весь город, потому что она купила у Жана-Ми пирог на троих. Отец откупорил бутылку жевре-шамбертена. Одиль приготовила цыпленка по-таитянски — рецепт из "Теленедели". Я подозревал, что она из мести перестарается с чесноком и перцем, и потому включил в меню еще холодную баранину. Альфонс суетился, достал мамин сервиз, хрусталь, медную посуду и серебряные приборы, которые в радостном возбуждении начистил до блеска. У нас не хватило жестокости удержать его, и столовая стала похожа на антикварную лавку.

В назначенный час Фабьена позвонила в дверь, в руках у нее был папин любимый ромовый пирог — подсказка Жана-Ми. Я пошел открывать, и тут отец на секунду задержал меня — вложил мне в руку мамино обручальное кольцо:

— Оно достанется ей или никому. Ладно?

Я кивнул.

Вино отдавало пробкой, цыпленок оказался несъедобным, а баранину Одиль забрала себе.

Фабьена приготовила нам яичницу.

Я покидаю нашу первую семейную трапезу — пора вернуться и взглянуть, что там со мной творится. Но тут происходит нечто любопытное. На конкурс красоты я проник через карточку, которую рассматривали над моим гробом молодчики из похоронного бюро, а возвращаюсь через другую, точно такую же, — и попадаю к отцу на кухню.

Папа разложил на большом деревенском столе все мои фотографии: я маленький, подросток, я в молодежном лагере, на соревнованиях по конному спорту, в армии, наша свадьба, рождение Люсьена... Вот где для меня богатый выбор. Пьянящий соблазн перенестись в любой день прошлого, очутиться в нашем старом доме, которого больше нет, увидеть улыбку бабушки, полюбоваться на кавардак, который устраивал до жути рассеянный дедушка, обменяться понимающим взглядом с Брижит, ощутить, с какой гордостью отец держал под уздцы мою лошадь, когда мне присудили разряд...

А он-то, как он себя чувствует после ночи в гараже, на сиденье "фор-

да"? Папа выбрит, с подстриженными и гладко зачесанными волосами. На нем серый с красной искрой костюм. Я не видел его таким с того дня, как он удалился от дел. Пожелал, чтобы я занял его место, а сам предпочел опуститься, растолстеть, зарасти грязью, лишь бы Фабьена не заметила любви в его взгляде. Ему было очень тяжело, но он думал, что делает счастливым меня, давая мне эту женщину, и искренне верил, что только для меня ее желает...

Сегодня утром он сбросил десять лет. И я за него рад. Кассета с записями сообщений из автоответчика, кажется, избавила его от угрызений совести по отношению ко мне и даже от ревности, в которой он себе не признавался. Мы наконец помирились, хотя никогда и не ссорились, просто молча отдалялись.

Отец берет со стола ту самую фотографию, на ней надпись: "Луи Лормо на память о холодном душе". Он улыбается красавице с блестками и кладет ее во внутренний карман — точно таким же движением, как Фабьена, когда засовывала карточку в мой погребальный костюм.

Кондитерская Дюмонселей, вся в мраморе, зеркалах и позолоченных лепных гирляндах, похожа на старинную карусель, только без деревянных лошадок. Понятия не имею, с чего меня сюда занесло. Что ж, посмотрим, теперь я не противясь, с полным доверием переношусь туда, куда меня влечет. Может, теперь причина этой тяги — самый обыкновенный голод? Вернее, ностальгия по голоду, которого я больше не испытываю. Мне очень не хватает упорядочивающего течение дня графика аппетита, трапез и пищеварения. Конечно, умом я с этим свыкся, но жаль, что исчезло предвкушение запрограммированного удовольствия, исчезла сама потребность в этом удовольствии. В буквальном смысле *не текут слюнки.*

Или причина в моем одиночестве: мне не с кем разделить свои переживания, и это выражается в тоске по общему застолью.

— Мама, в малиновый именинный пирог для Бофоров — спирт или ликер?

— Ничего! Сколько тебе говорить, Жан-Гю: если я ничего не указываю в рецепте, значит, ничего не надо добавлять сверх обычного!

— Но в малиновый пирог, как я понимаю, обычно добавляют малиновый ликер. Иначе какой же он малиновый, спроси у Жана-Ми.

— Не спорь с матерью! Валери, подберите космы! Здесь вам не свинарник! Мари-Па, покажи руки!

Мне всегда нравилось у Дюмонселей: здесь так вкусно пахнет горячими круассанами, миндальным кремом и флердоранжем и все всегда бранятся между собой. Жанна-Мари, мать семейства, старательно подчеркивающая свое легкое сходство с английской королевой, восседает за кассой, величавая и воинственная, и шпыняет молоденьких продавщиц. Девушки держатся недолго — хозяйка рассчитывает каждую новую, едва заподозрит, что она побывала в постели Жана-До, шоколадника. Для поддержания сексуального тонуса он колется экстази. Жанна-Мари за всеми должна уследить: Жан-До не упускает случая запустить руку в кассу; Жан-Гю, спец по кремам, накачавшись сухим савойским, частенько начиняет слоеные трубочки взбитыми белками для ромовых корзиночек; Жан-Ми норовит щедро напечь сладостей сверх заказанного, а Мари-Па, страдающая булимией, после того как ее трижды спасли в последний момент от брака с проходимцами, тайком пожирает эклеры, наполеоны

и безе — психоаналитик, с которым она, обжегшись на знакомствах по объявлениям, общается только заочно, по почте, говорит, что это своеобразная форма матереубийства. Я всегда хорошо относился к Мари-Па. Еще в лицее, когда мы с ней очутились в одном классе — она, тогда склонная, наоборот, к анорексии, пропустила год, — я часто писал за нее сочинения. Так и повелось. И последние четыре года каждые две недели не кто иной, как я, перелагал на правильный французский ее влечение к смерти, которое она, рыдая, обнажала передо мной в трейлере. И это было потруднее, чем составлять брачные объявления, а они, естественно, тоже были моим произведением. Но психоаналитик из "Мод и услуг" оказался толковым малым. Он определил у Жанны-Мари кастрационный комплекс по тому, как заковыристо она назвала своих детей (Жан-Донадье, Жан-Микеланджело, Жан-Гюстален, Мари-Палатин), с тем чтобы утвердить свою власть над ними через усечение этих имен. После этого открытия состояние Мари-Па улучшилось. Но через два месяца ей исполнится сорок, а выразить ее душевные муки будет некому, поэтому уже сегодня утром ряды пирожных на подносах поредели.

— Мари-Па, это что?! Ты ковыряла пальцем юбилейный торт?

Заплаканная Мари-Па прячет руки за спиной. Мне сдается, что ее мать злится не из-за попорченного торта, а из-за того, что знает причину ее слез. Кондитерская Дюмонселей — самая старая фирма в нашем городе после скобяной лавки Лормо: мы основаны в 1799 году, а они при Наполеоне III, и для Жанны-Мари это настоящая трагедия. Она пытается переспорить муниципальные архивы с помощью цифр из миндального теста на выпеченном в честь фальшивого двухсотлетия меренговом торте.

— Что-то сегодня особого наплыва нет, — вступает в беседу уже тепленький Жан-Гю, не сообразив, что невинная реплика, которой он хотел рассеять гнев матери, только распалит его.

— Ну да, не все же могут похвастаться свежим покойником, — отвечает Жанна-Мари, и слова ее повисают в гнетущей пустоте торгового зала.

— Мама, — укоряюще говорит Жан-Ми, единственный из детей, вышедший из-под материнских юбок сравнительно неповрежденным — благодаря спорту.

— Если и дальше так пойдет, очередь к Лормо перекроет нам вход. Ей-богу! А если ты собираешься реветь все утро, Мари-Па, встань на витрину, может, и к нам кого-нибудь приманишь.

Колкости королевы-матери прерывает звонок в дверь.

— Добрый день, месье, — тоном соболезнующей соседки встречает она посетителя и властно призывает: — Валери!

Удостоенная высокой чести продавщица спешит обслужить... ну конечно, все того же юного полицейского... Я только затем и выбираюсь в город, чтобы встретить его. На этот раз он в штатском: джинсы, кроссовки, серая куртка.

— Что желаете? — приступает к делу девица с растрепанным шиньоном — эту уволят до конца недели.

— Спасибо, я просто смотрю.

Мадам Дюмонсель протяжно вздыхает, так что эхо отдается под расписанными в духе Сикстинской капеллы сводами. Невостребованная продавщица возвращается на прежнее место — подпирать центральную колонну.

Начинающий сыщик, заложив руки в карманы, медленно продвигается вдоль стеклянного прилавка, разглядывая кондитерские изделия,

как рыбок в аквариуме. Наконец он останавливается перед Жаном-Ми, который принес лоток с партией только что украшенных кремом пирожных под названием "париж-брест".

– Это "сент-оноре"? – вежливо спрашивает Гийом Пейроль.

– Вроде, – отвечает не расположенный спорить Жан-Ми.

– Вы ведь были лучшим другом Жака Лормо?

Да что ему надо в конце-то концов?! Ясно сказано: естественная смерть! Заключение по всей форме. Жан-Ми поднимает глаза от лотка и внимательно смотрит на коротко стриженного вихрастого молодого человека, который понимающе ему улыбается.

– Да, а что? Вы его знали?

– К сожалению, нет. Я очень ценю его живопись.

– Да?

В этом удивленном восклицании смешались недоверие и насмешка. Уж я-то знаю Жана-Ми.

– Умереть таким молодым и оставить недописанное произведение, это ужасно. Ведь правда? Это все равно как если бы вы умерли и оставили недопеченный торт.

Жан-Ми, никогда не думавший о такой возможности, недоверчиво глядит на него и скромно возражает:

– Торт – это всего лишь торт.

– Понимаете, я писатель. То есть я пишу, но... пока не нашел издателя. А тем временем меня призвали в армию.

– В какие войска? – расцветает Жан-Ми, довольный, что разговор перешел на знакомый предмет. – Я служил в альпийских стрелках.

– В полицию.

– Что ж, тоже неплохо. Но с альпийскими стрелками не сравнить. Добрый день, мадемуазель Туссен.

– Не очень-то он добрый, – ворчливо возражает одетая в черное старая дева.

– Вы, конечно, были у Лормо, – слащаво причитает Жанна-Мари. – Такое горе!

– Я только что похоронила свою собаку, и у меня отнимается рука, оттого что пришлось копать мерзлую землю в саду, но я не кричу об этом направо-налево! – отчеканивает Туссен, прекращая разговоры о чужом трауре.

– О, я в отчаянии, – почти неподдельно сокрушается королева-мать. Животные не так застят ей свет, как Лормо.

– В отчаянии? Вы? Из-за моей собаки, которую и в магазин-то не пускали? Не смешите меня.

– Это распоряжение префекта, – оправдывается кондитерша.

– Вам же хуже – накликаете беду, – с горьким злорадством облеченной тайным знанием предрекает мадемуазель Туссен. – Дайте мне одну булочку с изюмом.

– В себя не могу прийти, – картаво объявляет с порога мадам Рюмийо, в платиновых с голубым отливом химических кудрях, по-пижонски увешанная значками. – Бедный месье Лормо. Мой муж был его последним клиентом.

– Чушь все это, – обрывает ее мадемуазель Туссен.

Она расплачивается за булочку и выходит под снисходительное молчание, которым всегда встречают причуды богачей. Кажется, она оставит меня на некоторое время в покое. С полицейским такой надеж-

ды нет. Он снова атаковал выкладывающего венские слойки Жана-Ми:

— Вы ведь знали его много лет, да?

— Еще бы — мы ходили в один детский сад.

— Он уже в детстве рисовал?

— Ты что, кроме шуток, разбираешься и тащишься от его художеств? — Жан-Ми перегибается к собеседнику над клубничными тортами. В это время в магазин заходит новая порция посетителей в трауре. — А мы-то над ним издевались. Так, без всякого зла, конечно. Но издевались. А картинки-то, выходит, чего-нибудь стоят?

— Конечно.

Лично я другого мнения. Мне всегда нравился замысел и сам процесс, а не результат.

— Во всяком случае, мне они кажутся интересными. Особенно портрет, который он не успел закончить, тот, где окно и девушка...

— Тсс! — мой друг поспешно обрывает полицейского и бросает испуганный взгляд на клиентов, уверенный, что все внимательно слушают. — Что вы берете, мадам Рюмийо?

— Право, сама не знаю... Ко мне сегодня приезжают из Лиона сын с невесткой, он там преподает историю...

— Советую вам взять саварен.

— ... в университете. Придет еще мэр. У него, бедняжки, столько забот с новой водолечебницей. Пожалуй, я возьму наполеон и саварен с ликером из трав.

— Лучше вот этот, мадам Рюмийо, это у меня новинка — с цитрусовым ликером.

— Нет-нет, в другой раз. Я люблю с травами.

— Другого раза может не быть, если никто не захочет брать, — Жан-Ми начинает злиться. Его место не за прилавком, а у печи, дипломат из альпийского стрелка никакой. — Могли бы хоть попробовать!

Свирепый взгляд матери, которая ненавидит его эксперименты, кладет конец беседе. Жан-Ми с оскорбленным видом передает мадам Рюмийо заботам сестры, а сам принимается накладывать в картонку сырные палочки, якобы для моего обожателя, чтобы их разговор не показался подозрительным.

— Ни слова об этой картине, понял? — шепчет он сквозь зубы.

— Да-да, ни слова. Обещаю.

— Как ты мог ее видеть? Или ты был в трейлере во время полицейского дознания?

— Да.

— Видишь ли, эта девушка — моя подружка, — благородно подставляется Жан-Ми. — Я хотел сделать ей подарок и попросил Жака, чтобы он написал ее по фотографии, понимаешь?

— Понимаю, — улыбается Гийом, заметно тронутый этим столь же непосредственным, сколь и неловким дружеским жестом.

Звонит телефон. Королева-мать солидным тоном отвечает:

— Кондитерская "Дюмонсель", алло? — И сейчас же нетерпеливо рявкает: — Да, Одиль, да, подожди минутку! Он придет, как только сможет! У нас, представьте себе, много посетителей.

— Сейчас будет вынос тела, — догадывается Жан-Ми и снимает фартук.

— Как вы думаете, мне можно пойти?

Лучший друг покойного долго обдумывает просьбу и не находит, что

возразить. Поэтому, вытряхнув сырные палочки к сосискам в тесте и миникишам, дает свое позволение.

— Подменишь меня, Мари-Па? Пока, мама, я ненадолго.

Мадам Дюмонсель, не отвечая, кладет трубку и приказывает дочери:

— Цитрусовый саварен пойдет подешевле. Надо, чтобы он разошелся до обеда. Поставь 73 франка вместо 105.

Жан-Ми надувает щеки, хватает висящий под витриной с апельсиновыми пирожными галстук и, гордо вздернув подбородок, идет к выходу. По пути он сталкивается с раввином из талмудической школы, который заходит в кондитерскую с десятком мальчиков в темно-синих картузах, озаряемый экуменической улыбкой мадам Дюмонсель.

— Добро пожаловать, месье Майер, добро пожаловать, дети! Какой чудесный день! — радостно сменив регистр, щебечет она о благоприятном прогнозе на шабат.

— Мари-Па, бредзелей[1], поживее! — на три тона ниже командует она, не замечая расширенных от ужаса глаз дочери — первый ее набег был сегодня на эльзасский отдел.

— Мы молимся за месье Лормо, — поучительно-строго одергивает хозяйку раввин. — Дети очень любили его. Я принес вам назад вчерашний яблочный штрудель — он пахнет спиртом.

— Жан-Гю! — громоподобно вопит Жанна-Мари.

Мари-Па облегченно вздыхает и, повинуясь рефлексу, не глядя, но безошибочно попадает рукой в ряды разложенных у нее за спиной ромовых баб.

— Если бы я слушал мать, то делал бы одни шарлотки с яблоками да мраморные бисквиты с шоколадом, — брюзжит, выскочив на улицу, Жан-Ми.

Гийом сочувственно кивает, как будто давным-давно привык выслушивать его излияния. Я смотрю, как они слаженным шагом сворачивают за угол, направляясь туда, где еще с полчаса будет находиться мое тело, и испытываю странное чувство, как будто у меня что-то отняли.

Перед тем как закрыть крышку гроба, меня снарядили в дорогу. Люсьен принес мне свой рисунок, отец сунул в карман, где уже лежала вложенная Фабьеной фотография, ручку с золотым пером, которую приготовил мне на день рождения, Одиль положила мне на грудь засушенный цветок, Жан-Ми подарил единственный кубок, который мы с ним выиграли в регате, а Альфонс примостил под рукой "Грациеллу" с закладкой в соответствующем месте.

Всем спасибо.

Счастье, что теперь я избавлюсь от лицезрения гнусной физиономии, не имеющей со мной ничего общего.

Полицейский держался поодаль, у самого порога, и с отрешенным видом пожирал глазами Фабьену; мне здорово доставалось, когда я вот так же пялился на незнакомых людей — старался уловить и запомнить позу, выражение, сочетание красок, которые могли бы дать импульс для картины. Он как будто тоже пытался что-то запечатлеть в памяти. Возможно, сегодня вечером на лестнице казармы в тетради со спиралью появится изображение Фабьены, такой, как сейчас, когда противоречивые мысли заострили черты ее лица и затуманили взгляд.

Ну вот, наконец ящик задраили. Альфонс оглядел всех с детской улыбкой, желая поделиться с каждым своим горячим упованием на луч-

1. Бредзели — эльзасские соленые крендели с тмином.

шее. У меня же такое, не слишком приятное, чувство, что я присутствую при спуске на воду и крещении корабля.

Могли бы все же благолепия ради обойтись без электродрели.

В пять минут шестого Наила выключила компьютер, пожелала приятного аппетита оставшейся на вечернее дежурство коллеге и подошла к своему мопеду. Не уверен, заметила ли она мой фургон-катафалк, который проехал мимо нее по Женевской улице к заведению Бюньяров, в своего рода транзитный зал для ожидающих погребения. Наила отстегнула цепь и обернула ее вокруг седла, перекинула через плечо спортивную сумку и, как всегда по средам, отправилась в бассейн.

Я не долго колебался между этими двумя маршрутами.

В раздевалке Наилу окружили подружки. Сразу заговорили обо мне. Было на что посмотреть: стайка обнаженных девушек, которые утешают, расспрашивают о подробностях и клянутся никому ни слова. Я чувствовал себя как в чудесном сне, и это яркое переживание оборвало последние нити, привязывавшие меня к содержимому гроба.

То-то повезло: покуда поставщики и клиенты проходят по одному через мою отгороженную малиновыми шторами кабинку и важно уверяют друг друга: "Он еще с нами!" -- я нахожусь здесь, в женской раздевалке. На дверцах шкафчиков висят лифчики, их обладательницы сравнивают, кто больше загорел, дают советы, как лучше кварцеваться, отработанными движениями надевают купальники, откровенничают, заливаются смехом.

Наилу мучила мысль, что аневризм мог развиться у меня из-за перенапряжения во время секса. Ее утешила Каро Перрино, студентка-медичка третьего курса:

— При оргазме сосуды, наоборот, сужаются.

— Я даже не заметила, что он мертвый, Каро! Это не дает мне покоя!

— Нашла о чем жалеть! Мы сегодня вскрывали одного типа, которого хватил инфаркт за рулем — так его спутница при смерти в реанимации. Дайте кто-нибудь шампунь!

— Ты что, собираешься мыть голову перед бассейном?

— Учти, если не надевать шапочку, хлорка съест краску.

— Ничего он был в постели, твой скобянщик?

— Жасента, прекрати!

— А что такого? Дело-то прошлое.

Неизвестная мне вислогрудая девица, намазываясь кремом, стала рассказывать небылицы о том, что у нее была со мной связь, и приписывать мне такие причуды, что я, ей-богу, пожалел, что это вранье. Сладко вздыхая, она вспоминала, как я часами ласкал ее моей кистью или очень натурально рисовал у нее на спине груди и потом брал ее сзади. Наила слушала все это безучастно. Наконец на настойчивые вопросы ответила, несколько приукрашивая истину, что обычно за ночь у меня выходило по четыре-пять раз. И этот кортеж наяд, расхваливающих мои гениталии, а не моральные достоинства, был мне приятнее, чем хор плакальщиц. Шлепая сандалиями, они сбежали по лестнице из раздевалки к закрытому бассейну, нырнули в воду и поплыли наперегонки.

Выиграла, к моей гордости, Наила. Ее глаза, без грима и красные от хлорки, трогали меня больше, чем слезы. После сеанса она задержалась на ступеньках, рассеянно глядя сквозь стеклянную стену на раска-

чивающиеся под ветром голые тополя. Направлявшийся к трамплину парень оценил ее фигуру восторженным возгласом. Наила улыбнулась. Отлично. Жизнь продолжается.

Я устранялся с легким сердцем. Хорошо бы еще раз услышать из ее уст "люблю тебя", пусть даже сказанное другому. И я даже был готов принизить значимость того, что было между нами, чтобы она без угрызений могла завязать новый роман. Возможно, и правда, то, что мы принимали за гармонию, было всего лишь взаимным опасением. Я боялся, как бы она не вторглась в мою повседневную жизнь, не потребовала от меня жертв, не ущемила свободы, которой при всем желании я не мог бы пожертвовать. Она же подозревала, что я только слежу за ней, наблюдаю ее в самые острые любовные моменты, чтобы закрепить эфемерное в материальном, в чем, на ее взгляд, заключается сущность художника. Эта постоянная настороженность неизбежно порождала в нас обоих чуткость к ощущениям, настроениям, нуждам другого и часто позволяла добираться до высшей точки одновременно.

Девушки переодевались, в бассейне вместо них под свистки тренера плавали школьницы, а Наила, завернутая в полотенце, вышла на холодное солнце, пошла по уставленной урнами ивовой аллее к озеру и, остановившись на краю слякотной волейбольной площадки, прошептала:

— Я на тебя не сержусь.

Не знаю, что именно она мне прощала: мой уход, настырность юнца полицейского или сексуальные выверты, которые мне приписывали ее подружки, но я в ответ поблагодарил ее всей душой, без всякой надежды на возвращение, но и без тоски. С той минуты, как ее мопед увлек меня в сторону, противоположную той, куда тащился катафалк, смерть перестала быть чем-то таким уж капитальным. На песчаном берегу стояли в ряд педальные катамараны, в воде тихо покачивались заиндевевшие стебли тростника, над верхушками ив с криком проносились чайки, голые мачты яхт теснились у причала, тут же громоздились разобранные на зиму детские горки — все это складывалось в светлый пейзаж, говорящий о том, что все замерло лишь на время, до новой весны. Вот и я был лишь на пороге нового, а передо мной — вся жизнь живых.

— Если хочешь, можешь и дальше любить меня, — тихо сказала Наила, глядя на кромку желтой пены. — Когда понадоблюсь, я всегда буду твоя.

И зашагала назад, переодеваться. Пошла торговать путешествиями. Я же, бродячий дух, болтающийся в голубой прогалине над озером и глядящий вслед чинно плывущей линеечке уток, остался недоумевать: как подступиться к женщине, не имея тела?

Уважаемая госпожа Лормо!

Я весьма опечален кончиной Вашего супруга, который всегда отличался веселым нравом и, наверное, не пожелал бы, чтобы его оплакивали. Он был человеком в расцвете сил и оказал нашему водному клубу честь состоять его членом — увы, недолго! Из моей памяти не изгладилось, что вы встретились друг с другом благодаря нашему Зрелищному комитету во время конкурса красоты. Теперь я отошел от дел, но до сих пор с нежностью вспоминаю тот вечер.

С искренним соболезнованием
Андре Рюмийо.

P.S. Прилагаю чек на Аграрный банк в уплату за газовые горелки.

Фабьена вынула приколотый скрепкой чек, а письмо положила в папку с надписью: "Жак – для ответа". А потом, прихватив бутерброд с холодной бараниной, пошла в подсобку, где лежат распакованные коробки. Теперь в них не кладут паклю, как раньше, когда мы только поженились. Ее заменили кусками пенопласта, которые, должно быть, с треском ломаются, если на них заниматься любовью. К моей радости, Фабьена улыбнулась – видно, вспомнила. Но то была краткая вспышка.

Странно, что она печально бродит вот так без дела. Она попросила, чтобы сегодня после обеда ее заменили в магазине и освободили от обязанности принимать соболезнования, чем осчастливила бедняжку Одиль. Ибо именно верная Одиль стоит за центральным прилавком со скорбно склоненной головой – Pietà, да и только,– и проливает слезы перед каждым новым посетителем, уверенно войдя в роль и.о. вдовы. Если бы вы видели, какой у него был мирный вид. Точно таким я знала его в юности. Когда мы вместе учились. Таким же счастливым. Это было для него избавлением. Если она будет продолжать в том же духе, все решат, что я собираюсь защищать диссертацию на степень доктора филологии, а умерла Фабьена.

В подсобку, предупреждающе покашляв из деликатности, входит Альфонс. Он успел в обеденный перерыв сходить на заседание Комитета друзей Ламартина и добиться, чтобы там одобрили его идею прислать мне венок. Это имеющее статус общественно-полезной инициативы содружество местных эрудитов, которые собираются два раза в неделю ради увековечивания памяти поэта: читают его стихи, сочиняют петиции в соответствующие инстанции с просьбой о переизданиях, о наименовании улиц в его честь и о субсидиях. Альфонс расходует всю свою пенсию на членские взносы и пожертвования в фонд развития, числится в активистах-благотворителях и шумно гордится этим. Остальные члены комитета не в восторге от такой рекламы, но Альфонс незаменим как носитель транспаранта во время юбилейных торжеств.

– Это я... я уже вернулся, – сообщает он, как будто Фабьена могла не услышать его кашля. – Я был в Комитете. Они всем сердцем с нами. И сразу сказали: мы закажем венок. Я не хотел, чтоб они тратились, у них и так-то денег нет, стал скромничать, не надо, мол, говорю, но они – ни за что! Наш дорогой Лормо, наш друг Жак... я ничего не смог поделать. С другой стороны, прямо за душу берет, до чего тепло к нему относились в поэтических кругах.

Фабьена сидит как каменная на площадке автокара, руки на коленях, с надкушенного бутерброда свисает мясо.

– Что сидеть в заперти, мадам Фабьена? Вы не хотите пойти прогуляться?

– Я хочу побыть одна.

– О, такие желания жизнь выполняет легко. Когда-то, помню, мне этого тоже хотелось. Это было в Руре во время войны. В армии ты всегда на людях, и вот я каждый день думал... но я вам надоедаю... Смотрите – упадет мясо. Вы совсем ничего не едите!

Фабьена глядит на этого, как обычно, подтянутого старика. Она всегда старалась не пускать его в наш семейный круг. Его деревенский выговор слишком напоминал ей мир, из которого она вырвалась; ей казалось жизненно необходимым оградить от его влияния Люсьена, а тут... Люсьен в школе, я в гробу, Одиль заменяет ее в магазине, клиенты опостылели, время остановилось.

— Альфонс... я часто пренебрегала вами...

— Что вы, я привык...

— Вас не затруднит, если я попрошу вас теперь побольше заниматься Люсьеном?

— Наоборот! — бурно радуется Альфонс. — Он заменит мне Жака. — И, спохватившись, извиняющимся тоном: — То есть я хочу сказать...

— Я поняла.

Альфонс мотнул головой в сторону двери — мол, я пошел — и уже повернулся, забыв сделать вид, что он приходил что-то взять.

— Альфонс...

— Да, мадам Фабьена. Если хотите, я заеду за ним в половине пятого. Возьму машину Одиль, а то малыш стесняется, когда около школы стоит наш фургон.

— Альфонс, когда в коробки начали класть пенопласт?

Альфонс покраснел. Он не знал, что хотела услышать Фабьена, и не смел заговорить с ней о добрых старых временах, когда в коробки клали паклю, а он, Альфонс, по собственной инициативе стоял на страже перед подсобкой, чтобы нас никто не потревожил. Поэтому он ответил, что постарается узнать, и быстренько выскользнул. Фабьена подняла голову и посмотрела на окошко под потолком — в него уже не попадало солнце, и в помещении сгустился обычный в это время дня полумрак. Она машинально поправила выпадающий кусок мяса в разрезанной булке и вышла, оставив бутерброд на автокаре.

Час с лишним она вытаскивала из всех шкафов и ящиков мои вещи, аккуратно складывала их, засовывала по карманам заменяющие нафталин цитрусовые шарики. Очень мило — такая заботливость. Как будто я еще вернусь.

Запаковав всю одежду в чемоданы, она села на пол посреди гардеробной, растерянно глядя на этикетки из аэропортов — отметины наших путешествий: Рим, Канары, Зальцбург, Париж—Диснейленд... Скорее всего, Фабьена раздаст мои вещи благотворительным обществам: "Помощь бездомным", "Эммаус", "Католический фонд милосердия". Не вижу тут ничего обидного. Наоборот — прекрасно, что мои любимые штаны и куртки будут кому-то служить и видеть божий свет, вместо того чтобы уныло висеть на вешалках. Если какие-то бытовые предметы вызывают во мне острое сожаление, то только те, что лежат в шкафах кухонных. Обеденный прибор, который больше не положат на стол.

Вдруг Фабьена вскакивает, видимо осененная новой идеей. Чемоданы засовывает в мою часть гардеробной, закрывает и запирает на ключ дверь. Мой отъезд откладывается. Не заходя в магазин, Фабьена выходит на задний двор. Там, в нише оборудования для бассейнов, ее поджидает Альфонс и тотчас устремляется следом. Фабьена нехотя останавливается. Он же протягивает ей свою визитку:

АЛЬФОНС ОЗЕРЭ

Комитет друзей Ламартина
Общественно полезная инициатива

Он деликатно вычеркнул свое имя и приписал сверху дату появления во Франции пенопластовых упаковок, которую ему назвали на картонажной фабрике.

— Спасибо, Альфонс. — Фабьена смотрит на него новым, добрым взглядом, и это меня очень радует. — Это было совсем не срочно.

— Потом забудется, — скромно отвечает Альфонс и отходит.

Дождавшись, пока он скроется в недрах магазина, Фабьена забирается в трейлер. Там все "как было". Она подходит к "Забытому окну" и разглядывает неоконченный портрет Наилы так же беспощадно и придирчиво, как собственное лицо в зеркале, когда делает макияж. Так проходит несколько долгих минут. Не могу понять, о чем она думает. Я слегка размяк в женской раздевалке и никак не могу встряхнуться и вновь обрести способность читать мысли, которую вроде бы успел неплохо натренировать. Впредь надо остерегаться долго нежиться в созерцании. Как я догадываюсь, удовольствие и познание не всегда совместимы, а еще вернее — приходится выбирать либо одно, либо другое.

Теперь Фабьена переходит к моим художественным принадлежностям. Вот замоченные в скипидаре кисти. Чистенькие, готовые — для кого? Люсьен рисует фломастерами, говорит, что краски очень пачкают. Жаль, никому не пришло в голову положить мне в гроб кисть. Каждый положил что-то дорогое и символическое для него самого, о нем самом говорящее. Что ж, значит, не один я эгоист. Просто я, хоть никто бы не сказал, может, больше от этого страдал.

Фабьена берет лист крафта и заворачивает "Забытое окно", закрепляя по бокам скотчем. Затем ставит картину на пол, около дверцы в туалет. Мне все еще неясны ее намерения. Похоже, она и сама в нерешительности. Осматривается, несколько раз обходит мастерскую: то ли осваивает территорию, то ли представляет себя на моем месте. Она прекрасно смотрится в пронизывающем трейлер солнечном луче: когда проходит между круглыми окнами, на ее черном платье вспыхивают искры — опилки, приставшие к ткани на складе. Кажется, она просто убивает время — не видал такого за все годы, пока мы жили вместе. Ходит и ходит по кругу, и мало-помалу походка ее делается отточенной, бедра начинают покачиваться, лицо расслабляется, словно к ней вернулись усвоенные до меня навыки. Трейлер превращается в сцену, где она позирует, в подиум, где она демонстрирует себя. Но вот пол домика на колесах пошатнулся под ней, она задевает локтем флакон с фиксативом и опрокидывает его. Вместе со стеклянным флаконом разбивается вдребезги мираж, Фабьена застывает, глядя на осколки и растекающуюся по наклонному полу коричневую лужицу.

Она тяжело вздыхает, а затем проделывает нечто совершенно невообразимое. Снимает туфли, укладывается на кушетку, принимая позу, в которой нашла меня вчера утром, закрывает глаза. И все — лежит не шевелясь в полной тишине. Чувствует ли она мое присутствие? Меня снова одолевает желание скрипнуть дверцей или пружиной, чтобы как-то ответить на ее ожидание, на этот восхитительный порыв. Ведь она потянулась ко мне, забыв обо всем, что было у меня тут не с ней... но дыхание ее становится громче и ровнее — она уснула.

Что ж, я остаюсь оберегать ее сон. И с тоской думаю, что при жизни никогда не обнимал ее на этой кушетке. Теперь же... знать бы, как подступиться... Фабьена сейчас так же привлекательна, так же желанна, как Наила, когда она обращалась ко мне на берегу, у шеренги катамаранов.

Кварцевые цифры будильника отсчитывали минуты, Фабьена спала, а я пребывал над холодильником, точно так же, как вчера утром,

когда начался мой новый опыт. Пользуясь досугом, я вспомнил все, что произошло за это время. И, надо сказать, проанализировав всю цепочку своих посмертных эмоций, пришел к неожиданному и не слишком лестному для себя выводу, что за два дня небытия продвинулся значительно дальше, чем за тридцать четыре года реальной жизни.

Когда Фабьена проснулась, уже стемнело. Она недоверчиво посмотрела на часы и вскочила с растрогавшим меня виноватым видом. Рванулась к двери, но передумала. В кухонном уголке отыскала чашку, ложку, вскипятила воду и приготовила себе кофе, прикончив мой пакет. Она сидела задумчивая, и чувствовалось, что ей опять стало не по себе в этой гарсоньерке на колесах. Вдруг она подхватила завернутый портрет и, зажав его под мышкой, без пальто, не отвечая на приветствия попадавшихся навстречу знакомых, побежала куда-то по городу.

Авеню Флёр, улица Шарля Дюлена... Налево до почты и на другую сторону к кинотеатру "Нуво-казино". Как она узнала адрес Наилы? В справочнике ее имени нет, а комната, где она живет, записана на имя арендующей помещение подруги. Неужели выследила? Или они знакомы? Это последнее предположение довольно неприятно, но после всего, что я открыл в своей жене со вчерашнего утра, меня бы ничего не удивило. Может, она сама наняла Наилу и подстроила нашу связь, чтобы я не изменял ей невесть с кем, без ее санкции? Пока она шла по Верденской улице, я чувствовал, как становлюсь жалким паяцем и жизнь моя сужается в щелочку. Не желаю верить, что самые лучшие, самые сокровенные минуты нашей любви — всего лишь притворство. Это не вяжется с Наилой, с теми словами, которые она только что произносила вслух там, на озере. Гоню от себя гнусные мысли о двойной игре моей жены, о том, что если все обман, то рассыпается прахом лучшее, что хранит моя память... но Фабьена уверенно поднимается по стертой деревянной лестнице на шестой этаж и звонит в дверь. Никто не открывает. Тишина. Тогда она садится на пол под дверью, прислоняет картину к перилам и остается ждать.

Сейчас семь часов. Наила кончает в шесть, и от дома до работы на мопеде ей минут пять езды. Пытаюсь вызвать в воображении ее образ, чтобы очутиться с нею рядом, но тревога не дает сосредоточиться: черты лица стираются, воспоминания о наших встречах, начиная с самой первой на парусном складе, накладываются друг на друга и спутываются в клубок. Чтобы остановить эту чехарду и успокоиться, представляю во всех деталях ее мопед: синий, с красной сумкой, старой наклейкой "Олимпиада — Савойя" и скособоченным щитком от грязи. И обнаруживаю его прицепленным к столбику с "кирпичом" перед кафе неподалеку от крытого рынка. Через стекло вижу Наилу — она сидит за столиком около игрального автомата, перед ней бокал с лимонадом, рядом мужчина моего возраста, преуспевающего вида, удрученно качает головой. Я проникаю внутрь.

— Я на тебя не сержусь, — говорит Наила.

Те же слова, что днем у озера, и тот же тон.

— Пойми, — причитает ее приятель, — не будь она в таком состоянии, меня бы ничто не удержало, даже дети. Но сейчас, когда у нее депрессия, она так слаба и так во мне нуждается, я просто не имею права... пойми меня.

— Если хочешь, можешь и дальше любить меня, — тихо говорит

Наила, разглядывая картонный кружочек под своим бокалом. — Когда понадоблюсь, я всегда буду твоя. Больше мне ничего не нужно.

Приятель смущен и обескуражен. Он ждал другой реакции: упреков, взрыва ярости, презрения — в общем, форменной сцены. А такое смирение и такое ошеломляющее предложение застали его врасплох. Что тут ответишь, кроме "спасибо"? Бедняга обезоружен, сбит с толку. Браво, Наила, блестяще сыграно. Да и немудрено: старалась, репетировала.

— Ты возвращаешься в Лион?

— Я должен ехать.

Как давно они знакомы? Может, встречались по четвергам? Наила всегда была занята в четверг.

— Но в мэрии все прошло удачно: я почти уверен, что выиграю торги. И тогда в будущем году, если захочешь, мы сможем видеться чаще. Я стану бывать в Эксе как минимум три раза в неделю.

— Конечно, — отзывается Наила, не требуя никаких обязательств.

Больше мне тут нечего делать. Был у них с Фабьеной сговор или нет, теперь не имеет значения. Теперь, когда я уже явно не разведусь, она делает долгосрочную ставку на другого — это нормально. И он ничего — симпатяга. Гладит руку, к которой мне больше не прикоснуться, и вырисовывает на ней пальцем сложные вензеля, должно быть выражающие его душевный разброд.

Я же возвращаюсь к своей законной жене, и мы с ней терпеливо ждем Наилу на лестнице.

Мне вспоминается другое кафе — это было ранней весной, в порту. Жан-Ми попросил меня испытать с ним вместе его новую яхту. Мы опробовали ее у Кошачьего Зуба, и в результате меня отрядили звонить продавцу, чтобы он срочно прибыл и на месте установил неисправность штурвала. Выйдя из телефонной будки, я прошел несколько шагов и застыл перед витриной "Уэлш-паба". В зале сидела Фабьена с крупным бородатым мужчиной — врачом, который наблюдал ее во время беременности. Обычно весьма флегматичный, он что-то оживленно говорил, разводя руками. Моя жена зачарованно, упоенно слушала, по временам восторженно ловила его руку или заливалась смехом, закрыв лицо ладонями, заказывала еще и еще анисового ликера с водой. Пока я стоял и глядел через стекло на эту пару, которую объединял развивающийся во чреве плод, одежда на мне почти высохла. Не знаю, сколько продлилось это созерцание, эта оторопь перед явлением новой, неведомой мне Фабьены, такой светящейся, безоглядно счастливой. В конце концов за мной пришел Жан-Ми и позвал помочь отбуксировать яхту, а когда маневр был окончен, Фабьены с доктором уже не было.

Я никогда не обмолвился о том, что видел их вместе. Но до шестого месяца беременности Фабьена бредила бегемотами, игуанами и китами. Время от времени по вечерам, купаясь в ванне, она сообщала мне, например, что кашалот может на одном вдохе нырять на глубину трех тысяч метров — это установлено с помощью гидролокатора. Я был очень рад за кашалота. Бегемот же, оказывается, мог пять минут бежать не дыша со скоростью двадцать километров в час по илистому дну реки благодаря обтекаемой, как корпус гоночной машины из "Формулы-1", морде. Она подписалась на какие-то специальные журналы. И твердо решила рожать под водой: статистика однозначно свидетельствовала, что это благоприятно отражается на ребенке и значительно уменьшает степень родового стресса.

Но за три месяца до срока доктор утонул в озере: нырнул и задохнулся. И увлечение кончилось. Не знаю, кто из нас — Фабьена или я — вспомнил об этом ее акушере-подводнике, сидя на пахнущей супом лестнице. Я уже не могу отличить, где ее мысли, а где мои собственные. Так или иначе, хоть она никогда ничего мне об этом не говорила, но первой потерей в ее жизни был именно он.

Наила вернулась одна, держа в одной руке шлем, в другой газеты. Фабьена встала ей навстречу. Вот уже час она вскакивала каждый раз, как на лестнице загорался свет. Наила посмотрела на нее без малейшего удивления.

— Они переехали, — вежливо сказала она, указывая на дверь напротив. — Могу вам дать их новый адрес.

— Я Фабьена Лормо, — ответила моя жена.

Наила замерла. Недоверчиво оглядела гостью, заметила прислоненную к перилам картину. И резко повернулась. Фабьена поймала ее уже на второй ступеньке.

— Да нет же, я не для того пришла, чтобы упрекать вас и выяснять отношения. Ревность — пустое чувство, на котором я не собираюсь зацикливаться. Мы с вами потеряли одного и того же человека... то есть, скорее всего, не одного и того же... Но кто еще сегодня может рассказать мне о нем? И с кем я могу о нем поговорить, кроме как... Я прошу у вас всего пять минут.

Наила возвращается, открывает дверь, пропускает Фабьену. Зажигает свет, уменьшает яркость и снимает куртку.

— Это он сказал вам про нас?

— Нет, — улыбается Фабьена, распаковывая картину. — Люди. Фотография, анонимное письмо... "Твой муж спит с арабкой". В таком духе...

— Я француженка, — твердо, со спокойным достоинством возразила Наила. — И никогда не сталкивалась в этом городе с расизмом.

— Потому что вы хороши собой. — Фабьена поставила незаконченный портрет на комод с выдвинутыми ящиками, из которых свисали рукава каких-то одежек. — Я подумала, что вам будет приятно иметь этот холст. Тем более что Жак в завещании оставил вам все картины, которые не заберут родственники.

Наила кусала губы и отворачивалась от портрета, как будто отстраняясь от своего изображения.

— Я очень сожалею, — сказала она.

— О чем?

— О том, что он упомянул меня в завещании. Это нехорошо по отношению к вам... Некрасиво...

— А я сталкивалась с расизмом, — оборвала Наилу Фабьена, пристально глядя на нее. — Вас это удивляет? Мои родители были тупые хамы, они видели, что я на них не похожа, но старались, как могли, заставить меня стать такой же. Свободой, достоинством, самоуважением я обязана Жаку. Так что никакого права в чем-либо упрекать его не имею — ни его, ни вас, Наила. Вы вели себя очень тактично, и не ваша вина, что Жаку в городе завидовали, а меня были рады-радешеньки унизить. Но я не намерена играть в эту гнусную игру. Жаку было с вами хорошо, а я его любила — вот и все, что я вижу. Более того, он даже лучше относился ко мне, как бы искупая свою любовь к вам. Он был порядочным человеком.

— Я знаю.

— Я хотела бы, чтобы вы пришли на похороны.

— Почему?

— Из-за людей. Из-за анонимных писем. Я сейчас прошла через весь город с этой картиной под мышкой, чтобы все видели, что я иду к вам. Для нас обеих единственный способ защититься и отомстить — это быть вместе. Подружиться или, во всяком случае, сплотиться. Вы согласны?

Наила проглотила комок. Ее слегка оглушило. Меня тоже. Она предложила Фабьене присесть. Выпить. Угостила печеньем. Сообщила, чтобы моей жене не было неловко, что она находится на нейтральной территории: я никогда здесь не был.

— Вы его любили? Можете не отвечать.

Наила не ответила. Она зажгла палочку благовоний, налила по бокалу мартини, и обе стали пить, уставившись в электрокамин.

— Вы верующая, мадам Лормо?

— Честно говоря, не знаю. Я практикующая католичка: молюсь, грешу, исповедуюсь и причащаюсь. А еще я занимаюсь шведской гимнастикой. Когда молюсь, я верю. А когда смотрю на людей, сомневаюсь. Но ведь главное, кажется, раз в неделю посещать Бога в церкви?

— Не знаю. В моей религии очень трудно быть женщиной и сохранять веру. Похоже на такую игру, из которой выбываешь, как только сделаешь хоть одно движение. Я не выполняю никаких правил, но верю. Извините, у меня нет льда для мартини. Можете не пить. Что вы сделали для Жака?

— В каком смысле?

— Надо постирать его одежду в проточной воде. Все, что он носил... Это поможет его душе освободиться.

— Я постирала в машине, — извиняющимся тоном сказала Фабьена.

Наила развела руками, но ободряюще улыбнулась — обойдется и так.

— Надо дать ему время, — продолжала Наила. — Знаете, как начинается рамадан: на заре, когда глаз уже может отличать черную нить от белой. Примерно так же со смертью. Нужно сорок дней, чтобы во всем разобраться. И подготовиться к окончательному уходу. Можете отдать его вещи бедным, это хорошо, но оставьте две-три, которые он особенно любил. Не делайте больших перестановок, не меняйте то, к чему он привык... Чтобы у него остались ориентиры. Оставляйте свет и открытое окно там, где он спал... На случай, если он заблудится. И не плачьте о нем по ночам. Это ему повредит.

— Постараюсь, — пообещала Фабьена и встала, — вообще-то со мной это бывает чаще всего ближе к вечеру. — Как-то вдруг стало видно, до чего она устала. Одернув рукава, она прибавила: — Ну, я пойду. Если вам что-нибудь нужно...

Взгляд по сторонам пояснил, что она имела в виду все, о чем я мог позаботиться, от платы за жилье до мебели.

— Благодарю вас, я зарабатываю достаточно.

Они попрощались за руку и немного помедлили.

— Можно я скажу вам одну вещь о Жаке, мадам Лормо?

— Да?

— Со мной в постели он всегда закрывал глаза.

Это неправда, но сказана она из самых добрых побуждений (хотя лично для меня любить Фабьену в теле Наилы значило бы обманывать дважды).

— И напрасно, — с ненаигранным восхищением ответила Фабьена.

С тем мы и ушли.

Не знаю и знать не хочу, что сделает Наила со своим неоконченным портретом. Почти наверняка он угодит в чулан или в подвал, а она так и будет спать с открытым окном. Мне до этого больше нет дела. Но то, что произошло между двумя моими возлюбленными, неоценимо важно. Впервые я горжусь этими своими параллельными связями, которые внезапно объединились. И сейчас для меня важнее всего, чтобы каждая из женщин чувствовала, что я остался ей верен.

За обедом они сидят вдвоем. Моего прибора нет, но перед моим местом машинально положили плетеную подставку. Люсьен молча ест суп, глядя в тарелку. Он недоволен, что Альфонс заехал за ним в школу на зеленом "ситроене" Одили: ее леопардовые чехлы, плюшевая собачка с болтающейся головой на заднем стекле и идиотские наклейки — это еще хуже, чем бедный фургончик Лормо. За два дня малыш как будто постарел, как может постареть мальчишка: уголки губ опустились, голова вжалась в плечи. Да, траурная повязка защитила его сегодня на переменках от насмешников и рэкетиров, его как сироту отпустили с физкультуры, но все равно — я чувствую — он обижен на меня за то, что меня нет. Обижен, потому что ему кажется, что все слишком быстро научились без меня обходиться. Фабьена после разговора с Наилой как-то успокоилась, ходит с мечтательной улыбкой и затуманенным взглядом. Еще позавчера она каждую минуту делала сыну замечания по поводу того, как он сидит, как держит вилку с ножом и насколько бесшумно ест, теперь же Люсьен взгромоздил на стол локти и хлюпает с каждой ложкой, а матери хоть бы что! Да еще Альфонс: сначала самозванно втерся в толпу ожидающих у школы родителей, потом, неизвестно по какому праву, взял его ранец, пригладил волосы, стал расспрашивать, как прошел день, что сказала учительница, какой столбик таблицы умножения и какое стихотворение задали на дом. И дошел до того, что предложил прийти почитать ему перед сном. Люсьен ледяным тоном, как разговаривают со слугами герои исторических фильмов, ответил спасибо, он не нуждается в том, чтобы кто-нибудь заменял ему отца.

Фабьена оставляет ложку в супе и рассматривает ноготь большого пальца правой руки, на котором откололась эмаль. Люсьен, испытующе глядя на нее, рыгает открытым ртом. Фабьена и ухом не ведет. Она во всех деталях представляет себе меня в объятиях Наилы, эта картина смущает ее, но заставляет томно улыбаться. И даже вгоняет в краску.

— Я рыгнул, — взывает Люсьен.

— Да-да, молодец, — шепчет она в забытьи.

Обиженно выпятив губу, Люсьен хватает всей пятерней кусок хлеба и принимается крошить его в суп. Брызги летят во все стороны. Мария вносит второе и обалдело смотрит на это свинство.

— Можете идти спать, — сомнамбулически произносит Фабьена. Мария уносит супницу.

Люсьен молча встает из-за стола и идет следом за домашней работницей (мы приучили его не называть Марию прислугой). Фабьена удивлена, но не замечает, чем вызвана такая выходка. Мальчик расстроен, это нормально, надо бы подняться к нему поговорить. Но из комнаты Люсьена уже слышатся электронные трели и взрывы — разговор можно отложить. И Фабьена снова дает волю воображению. Уставясь на жаркое, видит нас с Наилой.

Надо проведать, как там Люсьен. Он сидит на полу перед экраном и управляет спускающейся в глубокий колодец гориллой Донки Конгом. Горилла высоко подпрыгивает и сверху наскакивает на чудищ. Раздавленные враги превращаются в безобидные коровьи лепешки, которыми отмечен путь героя. У него есть помощник — бабуин. Он возникает неожиданно, его надо сначала каким-то непостижимым образом вызволить из ящика, потом разогреть оплеухами, и тогда очки бабуина и гориллы складываются. Иногда вдруг появляются бананы, и если успеть ухватить их при помощи выпархивающих из дупла летучих мышей, то получаешь лишнюю жизнь — в бою с чудовищами полезно иметь парочку про запас. В игре участвуют еще гигантские шершни; на голубых можно не обращать внимания, а укус красных смертелен. Цель игры, насколько я понял, достичь дна, истратив минимальное количество жизней.

В редких случаях, когда я напрашивался поиграть с Люсьеном, он объяснял мне правила на такой технической тарабарщине, что я только робко поддакивал и сидел дурак дураком, а он нажимал кнопки за двоих и время от времени приговаривал: "Теперь играешь ты". Я покорялся.

Вот и сейчас он орудовал двумя пультами, и, судя по его гримасам, я выигрывал. Помнится, в газетах любят писать, как кто-то увидел покойного родственника в телевизоре, на фоне помех после конца передач. Звучали эти свидетельства вполне правдоподобно. Интересно, а у меня выйдет проникнуть в видеоигру? Появиться в видеокоридоре среди чудищ, летучих мышей и шершней? По-моему, Люсьен в самом деле играет за меня и, глядя на экран, сосредоточенно обо мне думает, так, может, я смогу помочь ему вывести мой образ в виртуальную реальность? Но как это делается? Чертов сноб, я признавал только свои холсты и кисти и презирал информатику. А теперь кусаю локти — ясно же, что любой нормальный дух, при минимальной грамотности, может, благодаря энергии, из которой состоит, транслировать себя в запрограммированном виде в эту подвижную систему, смешаться с частицами, слиться с потоком свободных электронов, проявиться в строчках и точках. Кабы знать заранее...

— Стой и не двигайся, — говорит Люсьен горилле. — Сейчас я наберу тебе жизней.

На экране появился рой летучих бананов, и малыш посылает на перехват эскадрилью летучих мышей, чтобы обеспечить меня запасными существованиями. Синтетические трели отмечают количество будущих инкарнаций. Хорошо бы настоящая смерть была похожа на эту игру... Впрочем, так ли они далеки друг от друга?

В самый разгар этих моих размышлений и попыток проникнуть в колодец я вдруг ощущаю, что меня настойчиво влечет чья-то воля, как будто подхватывает отлив, — такое мне уже знакомо. Не иначе как затягивает в игру, в компании Донки Конга! И, впитав силу сорока шести бананов, я тотчас поддаюсь этой волне, предвкушая, как вот сейчас выскочу из ящика вместо бабуина и Люсьен заведет меня оплеухами...

Однако вместо этого я оказался около чужой кровати полированного дерева. На ней лежит навзничь и храпит Жан-Ми, свесив руку и уронив на коврик номер "Экип". Засосало меня намертво. То есть никакой возможности вернуться обратно, к Люсьену и его обезьянам, сколько ни тужься. Меня удерживает энергия более мощная, чем мой собственный потенциал. В комнату проникает с улицы свет фонаря, и я

вижу торчащие под одеялом согнутые коленки тощей Одили. Она ласкает себя и шепчет мое имя. Так. Значит, придется дождаться конца. Скуки ради изучаю зеркальный шкаф, шторы, красивый рисунок на обоях — увитый глицинией каменный колодец, — повторенный пять или шесть сотен раз повсюду, от потолка до плинтусов, и изящно подхваченный узором на постельном белье. Кто выиграл хоккейный матч в Монреале, каковы шансы Франции в соревнованиях по тройному прыжку среди мужчин? С трудом расшифровываю строчки на складках газеты.

Наконец коленки судорожно сжимаются, слышен шумный и страстный всхлип, на секунду заглушивший храп Жана-Ми, потом коленки расслабленно опускаются, а сверху опадает одеяло. Все.

Одиль поворачивается на бок и засыпает. Я свободен.

К Люсьену пришла Фабьена и выключила игру. Люсьен закапризничал — еще рано — и припомнил матери все обиды: хлюпанье и рыганье за столом, Альфонс, грузовик... Фабьена ничего не поняла и хотела померить ему температуру и давление. Он раскричался, она расплакалась, он вытолкал ее за дверь и заперся.

Вернусь, когда все успокоится.

Я хотел бы ночью побыть с Фабьеной, но ей нужно от всего отключиться, было бы бессовестно навязываться, когда она так устала. Впрочем, это зависит не от меня. Последнее, что я с удовольствием отмечаю: она натянула лыжный свитер и шапочку, открыла в спальне окно и оставила свет.

Дома удержаться было не за что, и меня понесло в ночные сны к чужим.

Во сне он так же точен, добросовестен и дотошен, как в работе. Когда я был маленьким, он раз сто рассказывал мне об этой встрече, ни на йоту не изменяя рассказа. Она сидела закинув ногу на ногу на скамье Ламартина под сенью цветущего каштана и что-то писала в лежащем на колене блокноте. Альфонс имел обыкновение пару раз в неделю наведываться туда, где начался его жизненный путь, увидел ее и сразу решил, что эта восхитительная светлокудрая дева была подарком небес. Как будто добрая фея своим счастливым произволением вдруг превратила сгорбленную старуху, которая обычно присаживалась на цементную скамью под мемориальной доской передохнуть по пути с поля домой, в юную принцессу.

Альфонс растерянно стоял и щурился на солнце. Потом прикоснулся к плечу незнакомки кончиками пальцев, чтобы проверить, не мерещится ли ему. Девушка вздрогнула и резко обернулась. Он радушно поздоровался и дал историческую справку:

— Тот, кого вы видите перед собой, родился здесь, на этом самом месте. Как раз где вы сидите. Точнее говоря, здесь меня нашли. Тома Петрель и вдова Бофор — один копал тут неподалеку картошку, другая шла за грибами. Взяли и отнесли в Трессерв, к тамошнему кюре, тогда это был аббат Домà. Что ж еще делать с подкидышем, тем более дождь собирался.

— I don't speak french[1],— ответила девушка. На самом деле она была из Воклюза и приехала сюда в связи с научным интересом, но таким способом отваживала савойских ухажеров.

1. Я не говорю по-французски (*англ.*).

— О, вы оттуда?! — восхитился Альфонс. — Вот оно, провидение! Ведь после смерти Жюли Ламартин нашел утешение с одной из ваших соотечественниц. Ее звали Энн Берч. В жены она годилась, но источником вдохновения осталась Жюли.

— Sorry, but what do you say about Lamortagne[1]?

— Не понял?

— Что вы сказать о Ламортане?

Тут Альфонс понял, что "Ламортань" было американским произношением имени Ламартина, и остолбенел. Выходит, белокурая красавица проплыла тысячи километров, пересекла океан, ради того чтобы посидеть на скамье, на которой было написано "Озеро"! Она же, все еще продолжая из осторожности симулировать акцент, призналась, что изучает литературу в университете и пишет диплом по зарождению французского романтизма.

Альфонс немедленно повез ее в наш магазин. Это судьба! С сияющим и гордым видом он восседал в огромном бело-розовом экипаже, кивал прохожим и демонстрировал их молодой исследовательнице как дидактический материал:

— Вот мадам Дрюметта, колбасница с улицы Бен, делает лучшие в городе "дио" — это наши местные колбаски, я непременно угощу вас. Вот парк водолечебницы, где он повстречал Жюли, которая, как вам известно, страдала чахоткой.

Служить посредником между двумя ламартинистами был призван мой отец, который тотчас сам прельстился новой знакомой Альфонса. Как и она — им. Перед этим неотразимым Джоном Уэйном в сером рабочем халате девушка не стала больше притворяться и призналась: она действительно проучилась три года в Массачусетском университете, но родом была из Кавайона. Через неделю они обнимались в "форд-ферлейне". А Альфонс только-только записался на курсы английского. Но он был не в обиде. Наоборот — радовался за них. Глядишь — посчастливится нянчить их детишек.

Держась одной рукой за поясницу и кряхтя, Альфонс вылез из своей походной кровати, доплелся на негнущихся ногах до холодильника и, прежде чем вынуть масло, перекрестился.

— Еще немножко — и ты будешь рядом с ней на кладбище,— печально сказал он содержимому банки из-под варенья. — Я как раз подумал перед сном: у вас есть кое-что общее. Ты не успел дописать портрет, она — работу по Ламартину.

Действительно. К огорчению Альфонса, мамина диссертация осталась незаконченной. Это единственное, в чем он когда-либо упрекал отца. Любовь оттеснила занятия. В свадебное путешествие молодые предпочли отправиться не в Италию, как хотел бы Альфонс, памятуя о Поэте, а в Америку, на Дальний Запад. Альфонс следовал за ними от Канзас-Сити до Санта-Фе по путеводителю. По возвращении они обменялись впечатлениями. Молодожены преодолели триста километров, Альфонс — двести двадцать страниц.

Старик неловко стаскивает с себя майку, ругая на все корки свой ревматизм и себя самого. Корявый старый пень! Чуть не опрокинув электрокамин, он наконец добирается до туалета, со стоном мочится, снова лезет в холодильник — отхлебывает из горлышка глоток вина, чтобы освежить мозги. Куда девались его трогательные пастельные

1. Простите, что вы сказали о Ламортане? (*англ.*)

сны? Пока он растирается жесткой мочалкой, я проделываю эксперимент. Может быть, его сновидения отпечатались на покрывале походной кровати, внутри спальника, в хлопьях пыли на полу, кирпичных и дощатых стенах, пропитали их, скопились в них и сохраняются здесь даже с большей отчетливостью, чем в сознании, которое все больше заполняется рутиной реальности: ломота в суставах, утренний душ, хлопоты по хозяйству. Сохраняют ли сны автономное существование, когда владелец их забывает? Вот бы встретиться через посредство Альфонса с мамой. Инициативу, наверное, должен проявить я — она, видимо, не может или не хочет использовать свое право на посещение и обратиться ко мне впрямую. Что ж, я пытаюсь представить себе, что это я лежу на месте Альфонса, свернувшись в клубок на дряхлой раскладушке. Замираю, жду. И... ничего. Ни скамьи, ни свадьбы, ни фирменных колбасок мадам Дрюметта, ни заброшенной диссертации, ни Америки. Как будто все бывшее до моего рождения никогда не существовало. Видения вернулись в Альфонсово подсознание, я же ни на что не имею права.

Впрочем, имею — на "форд-ферлейн". Уж его-то я знаю как свои пять пальцев, не я ли его холил и лелеял, чинил и чистил, пинал и проклинал, когда он ломался! Сидя в нем, я повторял те же движения, что и мама, как бы продлевая ее жизнь. На ее хорошее и плохое настроение, ее крутые виражи, лихие прогулки и поездки под градусом накладывались мои.

Следующие несколько часов я торчу в пропахшем пылью гараже рядом с механиком, который напевает бодрые песенки Шарля Трене, похожие в его исполнении на сыр с дырками. С самого рассвета он со знанием дела колдует над шикарной американкой. Для него это просто порядком изношенная колымага. Он разбирает детали под мерный свинг, отбивает такт инструментами и ловко закручивает гайки — каждая умещается в три ноты.

— Все в порядке, — говорит он, заходя на кухню. — Я заменил переключатель скоростей, глушитель и размонтировал крышу.

Папа стоит перед дымящейся кастрюлькой, в которой разогревается кофе, и, глядя в зеркало над раковиной, поправляет галстук. Слышно, как в пристройке негромко ворчит мотор.

— Значит, я могу ехать?

— Ну... в общем да, — с заминкой отвечает механик. — А тюлевые ленты оставить?

Поразмыслив и сняв с огня кастрюльку, папа отвечает: оставьте. Для храбрости он выпивает весь кофе до последней капельки, садится в "форд", ни разу не выезжавший со дня моей свадьбы, и едет к часовне. Белый тюль развевается на ветру.

Первыми явились Дюмонсели. Жанна-Мари, мать-настоятельница сладкой обители, в длинном каракулевом манто и берете из того же меха, стоит на замшелом пороге часовни. За ней — весь выводок по старшинству.

— Какая прекрасная смерть! — искренне вздыхает она, прижимаясь к щеке Фабьены и целуя воздух. — Хоть какое-то утешение в вашем горе.

Ее собственного мужа убил коровий пук. Он пошел подоить корову для успокоения нервов, кончил дойку и хотел зажечь сигарету, но тут гремучая смесь кислорода с исторгшимся из коровьей утробы метаном

взорвалась, и обоих, хозяина и скотину, разорвало в куски. Сообщение об этом событии появилось на первой полосе "Дофине либере", на похоронах весь Экс с трудом удерживался от смеха, а Жанна-Мари навсегда осталась травмированной. Как бы ни отыгрывалась она на детях, но глубоко въевшиеся горечь и унижение отравили ее почтенное вдовство.

Фабьена благодарит. Она украдкой поглядывает на кучку людей около автостоянки напротив часовни, еще не успевших перейти через дорогу. Поджидает Наилу. Но Наила не придет. Рано утром она собрала чемоданы и отбыла на остров Маврикий. Там открылся отреставрированный отель и для пользы дела разослал приглашения турагентствам. Собственно, пригласили фикусную барышню, но она не пожелала ехать туда в сезон циклонов и послала вместо себя помощницу.

Как я мечтал поехать вдвоем с Наилой в настоящее путешествие, куда-нибудь на край света, где нет ни одного европейца. Мы собирались осуществить этот план на будущее лето. Я рад, что она улетает именно сегодня, отрывается от земли в то самое время, когда меня погребают. Допускаю, что в моих силах в один миг переноситься в любую точку планеты без всяких посредников, но эта независимость мне не нужна. Я предпочитаю лишь отвечать, когда меня зовут.

Перед отъездом Наила написала мне письмо и оставила его в шкафу, засунув между рамой и холстом "Забытого окна".

> Жак! В нынешнем своем положении ты, вероятно, уже знаешь, что, кроме тебя, у меня был другой мужчина. Мне это было нужно, чтобы не попрекать тебя твоей женой. И я этому рада теперь, когда познакомилась с ней. Честно говоря, я не очень понимаю, зачем я тебе понадобилась. Фабьена куда красивее меня. Когда мы с ней разговаривали, мне казалось, что твоя любовница не я, а она. А уж на твоей картине я и вовсе уродина. Но мне было с тобой хорошо. И ты не сразу со мной расстанешься. Я всегда доверяла тебе. И доверяю. Вот это я хотела тебе сказать.
> У тайванцев есть очень неглупая традиция. На похороны семья усопшего приглашает стриптизершу. Она идет на кладбище в толпе провожающих и по дороге раздевается. Так она помогает покойному освободиться, вырваться из пут, в которых держат его скорбящие родственники, и он легко воспаряет на небо в приятном возбуждении. Правда, здорово? Так вот, имей в виду: сегодня днем, в три часа, когда тебя начнут отпевать, я буду в аэропорту, найду там укромное местечко и устрою для тебя стриптиз. Захочешь — приходи. Если же тебе что-то помешает, знай — на Маврикии я одна, и каждый раз, когда буду раздеваться, это для тебя.

Я очень тронут таким предложением, тем более что благодаря Одили успел убедиться — этот трюк действует. Само письмо, в котором сконцентрирован мысленный импульс идеального турагента — Наилы, уже послужило мне неоценимым подспорьем, сделав меня совершенно безучастным к приближавшемуся событию. Я горел желанием тут же ответить, похороны же воспринимал как какую-то рутинную процедуру.

— Бедный сиротка, — вздыхает Жанна-Мари, ероша волосы моего сына. — Жизнь, она такая, малыш.

— У него осталась мама, — всхлипывает Мари-Па.

Люсьен сжимает зубы и поправляет расческой пробор. К стоянке подкатывает отцовский "форд" в свадебном убранстве. Кондитерша,

возмущенная до глубины души, уводит свою свиту в часовню. Фабьена прячет улыбку в траурную вуаль. Ей самой странно, до чего приятно оказалось шокировать тех самых добропорядочных обывателей, в чей круг она так упорно старалась войти. Удовольствие непослушного ребенка, ломающего игрушку... уж не от меня ли она заразилась. Она дожидается отца на ступенях, кивком выражает полное одобрение белому тюлю и переступает порог, опираясь на его руку. Люсьен идти за руку отказался, пропустил их на несколько шагов и вошел следом, похожий в своем черном костюме на маленького банкира, сцепив пальцы, опустив голову, полный сознания своей важности, но машинально старающийся не наступать на швы между каменными плитами.

Кладбище вокруг часовни состоит из старинных, по большей части заброшенных, могил. В прежние времена почтенные граждане нашего города считали за честь быть похороненными тут, под сенью замка королевы Виктории, сожженного солдатами вермахта. Ныне они приезжают в супермаркет напротив запасаться провизией.

Я задерживаюсь еще на минутку посмотреть на фамильный обелиск Лормо, высокое остроконечное, похожее на душевую кабину сооружение из черного мрамора. Вокруг решетка, запертая на три висячих замка, — не убежишь! Слева могильщики долбят мерзлую землю и проклинают меня на чем свет стоит.

Пришедшие на церемонию спешно подтягиваются по гравийной дорожке, скользя на попадающихся под ноги корочках льда. Часовня быстро — тем более что на улице пошел дождь — наполняется людьми. Грустно смотреть, как все тут обветшало. На деревянных панелях — белые пятна плесени, витражи потрескались, пол усеян осколками черепицы, холод внутри хуже, чем на улице, но священник прежний — тот же, который меня крестил, причащал и венчал. Аббат Кутан из Пюньи-Шатно. Теперь он, при своем паркинсонизме, остался один на шесть приходов южной части города и ездит на требы и службы на видавшей виды малолитражке, прихватив чемоданчик с облачением и реквизитом. Роль певчего при тщедушном седеньком священнике выполнял детина-акселерат, лучший регбист в сборной Кларафона. Кочевой пастырь раскладывал на осквернённом каракулями местных подростков алтаре колокольчик, флаконы с вином и святой водой и портативный магнитофон с записью органа. Сегодня он успел совершить мессу в молодежном лагере и венчание в Сент-Оффанже, а отпев меня, отправится крестить младенца в Мукси. У него, как у бродячего циркача, походный чемоданчик всегда наготове, он является по первому зову, поддерживая видимость религиозной жизни в отмирающих приходах. По воскресеньям наматывает километров тридцать пять и служит пять литургий. Когда его не станет, епископ урежет мессы до одной-единственной в месяц, совершаемой в разных храмах поочередно, придется верующим курсировать из одного в другой.

Народу, однако, набралось изрядно. Барон Трибу из Общества спортивных игр, директор водолечебницы доктор Ноллар, Анжелика Бораневски, которую теперь, с тех пор как она стала генеральным директором шинного завода "Бора-Пнэ", распирают не только силиконовые протезы, но и заботы, пятеро нотариусов из конторы Сонна, трое аптекарей, чета рыбных торговцев, фининспектор, "Дом прессы", отель "Бо-Риваж", поставщики и клиенты, представитель фирмы "Боленс", делегация от моего отделения Лайонс-клуба, фотограф из "До-

фине либере", директор нового супермаркета (отныне мой сосед) и генеральша Добрэ — эта отдает дань вежливости моему отцу, поскольку тот присутствовал на похоронах ее мужа в 1968 году. Мэрия отрядила Андре Рюмийо, уполномоченного по похоронам; из Зрелищного комитета его выперли, и теперь он цепляется за эту последнюю должность. Торговая палата прислала венок. Явились, по собственному почину, даже месье и мадам Понше; мы не встречались с ними с самой свадьбы — такова была воля Фабьены; разобижены они и на этот раз — дочь никому их не представляет. Так что они заняли позицию у входа перед кропильницей и накидываются на каждого входящего с рукопожатием: "Родители жены". Первыми срывая соболезнования, они сияют от удовольствия и угодливо улыбаются, как трактирщик богатому посетителю.

Фабьена простудилась ночью под открытым окном и без конца сморкается. Люсьена это шокирует. Он самолично сочинил надпись для своего венка, вон он на почетном месте у скамьи, на которую сейчас водрузят гроб: "Лучшему из отцов". Это, пожалуй, перебор. Но Люсьен страшно горд.

Рядом с Дюмонселями, сидящими на два ряда дальше семейства покойного, примостилась Тереза Туссен. Она переступила порог церкви первый раз после обращения в иную веру. Из кармана у нее демонстративно торчит "Вестник Тибета", на груди приколот медальон с улыбающимся Далай-ламой — все говорит о том, что она присутствует здесь как вольный слушатель и только ради меня.

Одиль из деликатности села по другую сторону прохода, отдельно от Жана-Ми с братьями. Это она, с разрешения Фабьены, которая петь не умеет, выбрала песнопения. Самые трудные. Накануне сутки отрабатывала их перед зеркалом — ее одну будет слышно в общем хоре.

Часовня наполнилась чуть ли не до отказа, пришло человек сто. Я и не подозревал, что у меня столько знакомых. Будь моя воля — я бы из них всех позвал десятка полтора, не больше. И прибавил трех-четырех, кого здесь нет, а было бы так приятно увидеть. Лица из прошлого: потерянные из виду друзья, мимолетные подруги... Может быть, они тут, но слишком изменились и я не узнаю их. Вообще средний возраст собравшихся великоват для моего поколения. Должно быть, у тех, кто помоложе, хватает других дел. Или они послушались мою сестру и не стали нарушать "сугубо семейную обстановку".

Певчий ломающимся голосом объявил, что церемония начинается, и призвал всех к тишине. Под стихарем у него надет синий спортивный костюм — вечером тренировка по регби. Аббат Кутан прокашливается и произносит несколько слов в сломанный микрофон: когда священник говорит, он не работает, а когда замолкает — пронзительно свистит.

— Эймерик, меня слышно? — осведомляется кюре, возясь с выключателем.

— Черт бы драл эту хрень! — отзывается певчий и стучит микрофоном по алтарю — усиленный звук громом отдается под сводами.

Рабочие от Бюньяров нечаянно оказались донельзя точны: покачивая гроб, как лодку, они переступили порог часовни ровно в три, с последним ударом колокола. За ними шел сын Жана-Гю, маленький очкарик, вызвавшийся нести на подушечке мои награды. Это была идея Фабьены. Поначалу меня эта затея раздражала, теперь же я получше узнал свою жену и оценил ее тонкость — она хотела тайно почтить мое чувство юмора. На малиновом бархате поблескивали герб города — мне

присудили его как победителю конкурса на лучшее оформление витрины к Олимпиаде — и почетная медаль 120-го транспортного полка, которую я получил во время армейской службы за декорации и постановку рождественского спектакля для детей офицеров.

Сынок Жана-Гю медленно вышагивает за гробом, успевая поворачивать голову направо и налево, чтобы кивнуть или подмигнуть всем своим приятелям. У левого переднего носильщика развязался шнурок — я жадно жду, что будет, но все обходится. Когда лакированный сундук проплывает мимо Одили, она краснеет и отворачивается — увы, причина мне известна.

"Трианон" плавно приземляется на козлы. Бюньяровские работники раскладывают сверху несколько венков для красоты и удаляются в боковой придел.

В часовне появляется Альфонс. А то я уж начал беспокоиться. Запыхавшись, он катит перед собой инвалидную коляску. Вот не знал, что кроме нас у него есть кто-то из близких. Он пристраивает своего инвалида около кропильницы — мои теща с тестем освободили место, переместившись в первый ряд, — и заботливо вытирает своим носовым платком стекающую у него изо рта слюну.

Кюре вздевает на нос очки, наклоняется над магнитофоном и включает Баха. Левая половина крыши начала протекать, люди жмутся и уворачиваются от капель, раскачиваясь совсем не в такт органным переливам. Кюре, видя это, указывает им на сухие места в правой стороне, однако там все занято — многие сообразили заранее. Заорал чей-то ребенок. Генеральша Добрэ клюет носом. Месье Рюмийо роняет приличествующую случаю слезу, стараясь попасть в объектив фотокорреспондента. Директор водолечебницы, человек занятой, прикрываясь молитвенником, заглядывает в электронный блокнот.

— Что мне тут делать? — дряблым голоском спрашивает гость в коляске.

Альфонс наклоняется к нему и шепчет на ухо:

— Разве вы не узнаете? Это же Жак Лормо, выпуск семьдесят седьмого года, семнадцать с половиной баллов по французскому и четырнадцать по латыни!

Боже мой! Это месье Мину! Гроза всей школы... Монтерлановская осанка, негнущаяся нога и грохочущая по каменному полу подкованная железом палка. Во что он превратился! Право, иногда стоит умереть пораньше из простого человеколюбия...

— Четырнадцать по латыни, — механически повторяет старый учитель.

Насколько я понимаю, Альфонс нарочно вытащил его из богадельни и привез сюда, чтобы у меня на похоронах, кроме собратьев по торговому цеху Экса, присутствовал свидетель моих блестящих успехов в науках, которые, пойди я по материнским стопам, открыли бы мне дорогу в университет. Не могу передать, до чего меня тронуло такое отношение. Для Альфонса мои возможности не исчерпывались витринами и картинами. Он принимал в расчет потенциальные пути, на которые я не осмелился ступить. Сегодня все шоры спали: робость, лень, страх потерять свободу, — и неосуществленное будущее уравнивается в правах с настоящим. Вряд ли кто-нибудь понял порыв Альфонса, но мне он от этого еще дороже.

— Это надолго? — забеспокоился месье Мину.

— Ему так приятно, что вы пришли. Он так часто вас вспоминал.

— Тише вы! — шипит на Альфонса соседка.

— Я близкий родственник, — возражает он.

Из того, что он шепчет на ухо месье Мину, я понимаю, что он регулярно навещает инвалида и держит его в курсе поэтической жизни города. Когда-то именно Мину, с которым Альфонс познакомился в школе, на родительских собраниях, ввел его в Комитет друзей Ламартина. Благодаря ему он может, предъявляя визитку, гордо представляться пациенткам и служащим водолечебницы: "От меня отказались родители, зато я признан общественно полезным".

Постепенно в часовне установилась тишина, только нет-нет да поскрипывали сиденья и щелкали замочки дамских сумочек. Люсьен обернулся и считает, сколько народу пришло почтить память его отца. На руке у него мои часы, которые я оставил в трейлере, в ящике ночного столика. Затвердевший от долгой носки ремешок не мог держаться на тоненьком запястье, и Люсьен проделал новые дырочки.

— Господи всемогущий! — дребезжащим голосом заговорил кюре. Микрофон усиливал примерно один слог из пяти. — Мы собрались сегодня в Твоем храме, чтобы помолиться об упокоении души рабы Твоей Маргерит Шевийя, принявшей христианскую кончину, причастившись Святых Даров. Мне приятно видеть, что так много людей провожает в последний путь эту женщину, которая, насколько мне известно, была одинокой и умерла в больнице.

Аудитория изумленно замерла, потом по рядам пополз ропот. Певчий, заподозрив неладное, заглянул в записи кюре и с перекошенной физиономией возбужденно зашептал ему в ухо:

— Мадам Шевийя — это в Вилларше в пять часов!

— Хорошо, я буду говорить громче, — смиренно вздохнув, ответил аббат Кутан и продолжал. — Она всю жизнь была труженицей, сначала работала в деревне, затем перебралась в Экс-ле-Бен и от простой прачки дослужилась до технической сотрудницы мэрии. У Маргерит Шевийя было трое детей и шестеро внуков, и, казалось бы, она заслужила спокойную старость в кругу заботливых близких. Однако же ей пришлось доживать последние годы в монастырском приюте Мон-Репо вплоть до того несчастного дня, когда она упала и сломала шейку бедра. Господу помолимся!

Фабьена и отец переглянулись, не зная, как реагировать. Певчий повернулся к ним и бессильно развел руками, далеко вылезавшими из рукавов слишком короткого ему стихаря.

— Благодать Господа нашего да пребудет с вами! — возгласил кюре, трепеща всем своим щуплым тельцем.

— И со духом твоим! — пропела в ответ одна только Жанна-Мари Дюмонсель, страшно обрадованная тем, что память одного из рода Лормо омрачит событие не менее курьезное, чем коровий пук.

— Каждый, кто хочет сказать несколько слов о покойной...

— Да это не она! — закричали со всех сторон сразу и замахали руками.

— ...может выйти и сделать это по окончании службы.

Кюре снова нажимает клавишу магнитофона. Одиль с ничуть не пострадавшим пылом выводит "Господи, помилуй". Из третьего ряда слышен сдавленный хохот — братья Дюмонсель сидят с багровыми лицами, судорожно сцепив руки, стиснув зубы и глядя в пол. Я сам еле сдерживаюсь, чтобы не изойти волнами заразительного смеха. Ошибка ста-

рого кюре сбила с моих приятелей благопристойную печаль и воскресила память о наших школьных шкодах. Жан-Ми про себя вспоминает самые дурацкие шуточки, а кое-что шепчет вслух братьям, те добавляют что могут. Вот это самое подходящее настроение для данного момента. Я погружаюсь в стародавнее веселье, как в мягкую пуховую перину; мне тепло, уютно и спокойно, как в детстве, когда по утрам в Пьеррэ я нежился в постельке и сквозь сон ощущал знакомые звуки и запахи — на кухне для меня готовился завтрак. Чего только мы не откалывали: взять хоть хлопушечный концерт в церкви или переполох среди курортниц, когда мы вылили в целебный источник флакон текилы...

— *Пиф-паф-паф и пуф-пуф-пуф!* — шепотом запевает Жан-Ми под "Господи, помилуй", наклонившись к братьям.

— *Тара-тара-тарарах!* — подхватывают Жан-Гю и Жан-До. — *Бравый генерал Бабах!*

Это из оперетты Оффенбаха "Герцогиня Герольштейнская", которую мы поставили в школьном театре, с Одилью в главной роли, вместо "Затворников Альтоны" Жан-Поля Сартра, на которые начальство предлагало субсидию.

— Вы сами не понимаете, какие губите в себе задатки, — печально сказал мне месье Мину, возвращая тетрадь с сочинением, которое оценил восемнадцатью баллами из двадцати возможных, через несколько дней после спектакля, где я высмеял его в образе генерала Бабаха.

Зато сейчас я все понимаю. Понимаю, что внес свою лепту в многолетнюю травлю бедняги учителя, которую безжалостно вели поколение за поколением балбесов-учеников. Развалина в инвалидной коляске — наш поверженный враг. Я вдруг отчетливо увидел, как Жорж Мину стоит перед своими развешанными на стенке дипломами, приставив к подбородку дуло пистолета. Сколько раз одиночество, издевательства учеников, разочарование в жизни доводили его до грани самоубийства? И не случайно Альфонс, хотя и совсем из других соображений, выставил его передо мной. Учитель-словесник да еще Одиль — это, пожалуй, единственные два человека, мучить которых доставляло мне удовольствие. И вот сегодня они тут, в полусотне метров друг от друга, одна поет ради спасения моей души со всем жаром незамутненной любви, другой меня не помнит. Ты была права, Одиль: я стал мирным. Но гордиться мне особенно нечем.

— Помяни, Господи, преставившуюся рабу Твою Маргерит...

Братья Дюмонсель заразили смехом еще шесть рядов. Благочестивые католики трясутся, зажимая рты, и слезы катятся у них из глаз. Они не хотят смущать аббата Кутана, он же, видя такую бурную скорбь, считает ее показной и невозмутимо продолжает отпевать чужую покойницу. Между тем даже отец с Фабьеной пыжатся и кусают губы, чтобы удержаться в рамках приличия. Фабьена прелесть: как она махнула рукой шокированному дикой накладкой певчему — пусть все идет как идет! Зато Люсьен в бешенстве вертит головой направо и налево, шикает на соседей и возмущенно толкает в бок мать и деда.

— ...в Тебя верила, на Тебя уповала, избави ее, Боже, от адских мук...

— Извините, это можно компенсировать.

Кто-то заговорил со мной. Кто-то появился в моем измерении. Это открытие мгновенно оторвало меня от наблюдения за происходящим в часовне. Глуховатый скрипучий голосок проникал мне в самую душу и наполнял восторгом. Наконец-то я не один!

— Приходите в пять часов в Вилларше. Там он будет вместо меня отпевать вас.

Не может быть! Наверное, мне просто почудилось, оттого что я слишком хотел встретить себе подобных. Или это желание в конце концов кого-то из них привлекло? Слова, которые я слышу, рождаются внутри моего сознания, и я не решаюсь ответить, боясь оборвать контакт.

— Мне было девяносто девять лет, а эти олухи все ждали, когда исполнится сто, чтоб я задувала их дурацкие свечки! Очень мне нужны эти церемонии! Двадцать лет никто не являлся, все откладывали до юбилея! Ну и ладно. Я им ничего не оставила. Никто никогда не узнает, где спрятаны мои золотые. Отлично!

Меня вернул к реальности звонок. Две трети мужчин спешно полезли во внутренние карманы пиджаков.

— Благодать Господа нашего да пребудет с вами...

— Я на совещании, перезвоню позднее, — пробормотал директор водолечебницы и отключил мобильный телефон.

Сколько минут я отсутствовал? Кюре отошел от микрофона и жестом пригласил желающих произнести надгробное слово. Люсьен с решительным видом встает, подходит к кюре, тащит его за руку к самому гробу и указывает на свой венок с надписью "Лучшему из отцов". У аббата Кутана отвисает челюсть, он смотрит на певчего, а тот в подтверждение сокрушенно разводит руками. Страшно сконфуженный, кюре рассыпается в извинениях, трясущимися руками перебирает листочки с записями на сегодня и роняет их на пол. Не пытаясь подобрать их и не утирая хлынувших слез, он в полном отчаянии, сгорбившись, возвращается к алтарю.

— Ничего не понимаю, — шепчет он, весь дрожа.

— Да вот, — ободряет его Эймерик и дает мой листочек.

— Что же, начинать отпевание сначала...

— Нет времени, через полчаса у вас крещение в Мукси...

— Мой отец... — срывающимся голосом выкрикнул Люсьен в окончательно издохший микрофон, — мой отец, конечно, не хотел бы, чтобы о нем плакали, но это не значит, что можно смеяться! Вам-то что, это не вы потеряли отца, иначе вы бы знали... а я так любил его и... и...

У него перехватило горло.

— Помолимся о его душе, — мягко подсказал ему кюре, тронутый глубоким чувством мальчугана, сквозившим в сумбурных словах.

Люсьен вернулся на место, заливаясь слезами. Его жгло унижение, которое причинили мне, тяготил груз приготовленной со вчерашнего вечера и оставшейся невысказанной речи. Фабьена хотела обнять и утешить его, но он резко отвернулся. У микрофона его сменил папа. Он выразил надежду, что я встречусь в раю со своей матерью, и попросил всех, кто меня любит, молиться об этом. Я никакого эффекта не ощутил, однако им это, кажется, дало облегчение.

Я попытался восстановить связь со старухой покойницей, невольно узурпировавшей мое отпевание, обменяться с ней впечатлениями, опытом, советами, но ее уже нет. Все вошло в нормальную колею, никто больше не прыскает, на лицах приличествующее случаю выражение, а я по-прежнему томлюсь в одиночестве. Только внешний сбой, путаница в бумажках позволили мне соприкоснуться с другой душой. Если эта встреча в самом деле имела место, она оставила у меня странное

впечатление. Маргерит Шевийе никого на земле больше не любила, и вот она свободна. Так, может быть, и я должен отлепиться от живых, чтобы меня приняли в ином мире, но хочу ли я этого? Меня удерживает не только страх перед темной бездной. Я бы не цеплялся так за этот свет, если бы не был убежден, что еще нужен моим близким.

А теперь, ну-ка, одним броском, как гимнаст, проверяющий на турнике свою гибкость, я перенесся в аэропорт. Наила ждет посадки на Маврикий. Наверно, ее стриптиз я прозевал. Она читает женский журнал, статью про керамиды и фруктовые кислоты. Сейчас ей не до меня. Стюардесса объявляет через динамик о задержке рейса по непредвиденным обстоятельствам.

Я собираюсь исчезнуть, но вдруг обращаю внимание на молодого спортивного блондина, похожего на любителя виндсерфинга. Он сидит прямо за Наилой, спиной к ней, и тихонько тянет к себе ее сумку, которую она поставила на пол. Я пытаюсь вмешаться, хотя, наученный горьким опытом, не слишком надеюсь на успех. Изо всех сил мысленно внушаю Наиле: "Обернись и посмотри на свою сумку!" Рука блондина скользит вдоль молнии и замирает на замке. И тут Наила отрывается от журнала, оборачивается, озадаченно смотрит на выруливающий за окном самолет. Молодой человек отдергивает руку, достает из кармана какой-то проспект и делает вид, что изучает его. Наила берет сумку и подходит к стойке. Скорее всего, это совпадение или сработала ее собственная интуиция, не думаю, чтобы сказались мои усилия, но меня они утомили.

Когда я возвращаюсь в Пьеррэ, месса уже закончена и часовня опустела. Кюре упаковал весь реквизит в свой чемоданчик, и на голый алтарь капает с потолка. Козлы, на которых стоял мой гроб, оставили след на вытертом ковре. На одной скамейке висит забытый промокший платок.

Мой гроб поставили прямо поверх маминого. Сейчас полетят розы и гулко застучат комья мерзлой земли. Отец втихаря снимает церемонию на видео. Люди смотрят на камеру осуждающе. Меня же красный кружок, отпечатавшийся вокруг папиного глаза, умиляет больше, чем его слезы.

Аббат Кутан освящает могилу и произносит небольшую речь, на этот раз обращенную к кому надо. Но места на его листке немного, и мой земной путь сжат до предела. Я родился, вырос, вошел в дело, женился, родил сына и умер, аминь. Еще капля бальзама на душу Жанны-Мари Дюмонсель: кюре назвал меня москательщиком.

Мадемуазель Туссен, надвинув капюшон, искоса всех разглядывает и что-то царапает на бумажке. Записывает имена. Одни, поколебавшись, вычеркивает, другие помечает стрелочками. Должно быть, выискивает среди поверхностных христиан кандидатов в рекруты Будды. Вот ее взгляд задержался на Мари-Па, стоящей у края могилы с капризной гримаской на пухлой физиономии и с лопаткой земли в руке, как маленькая девочка, обиженная на океан, который разрушил ее песочный замок. Она задерживает других, и Жанна-Мари своей рукой высыпает землю, подталкивает дочь и передает лопатку следующему. Мадемуазель Туссен обводит имя Мари-Па кружком и прячет листок в кошелку.

Фабьена подает могильщикам знак, что можно заканчивать. Люсьен вцепляется в ее руку, как будто у него хотят отнять мать. Альфонс, держа раскрытый черный зонтик над месье Мину, поднимает глаза к

небу, как бы перенося мой образ туда из ямы, которую вот-вот закопают.

Наконец завершающий этап: рукопожатия, формулы сочувствия, ободрения, сожаления. Надо пережить это испытание, время лечит, жизнь продолжается... Фабьена кивает, Люсьен благодарит, отец пожимает плечами. Одиль, вдова-дублер, стоит в сторонке, готовая, если что, в любую минуту подменить Фабьену. Альфонс, согревая в ладонях замерзшие в тонких черных перчатках пальцы моей жены, высказался с необычным для него лаконизмом:

— Знаете, мадам Фабьена, достоинств Жака это ничуть не умаляет, но увидите сами: к одиночеству привыкаешь.

Затем представил учителя Мину, еще раз напомнил о моих четырнадцати баллах по латыни и покатил инвалидную коляску по кладбищенской аллее.

Десяток безразличных рук, десяток шаблонных фраз, и вдруг перед Фабьеной возник незнакомый молодой человек, которому она тоже машинально протянула руку. Но вместо выражения скорби он хвалит мой талант. Удивленная Фабьена благодарит.

— Я понимаю, что сейчас не время, мадам, но... какова цена?

— Простите?

— Я хотел бы, если позволят средства, купить одну из картин вашего мужа.

Фабьена внимательно смотрит в лицо молодого человека, продолжающего сжимать ее руку.

— Зайдите в мастерскую завтра в одиннадцать часов, — говорит она наконец и высвобождает руку.

— То есть в трейлер?

— В трейлер.

Гийом Пейроль наклоняет голову и уступает место следующему соболезнующему.

— Уже назначает свидания, — едко усмехается Жанна-Мари Дюмонсель.

— И выбирает молоденьких, — не разжимая губ, цедит мадам Рюмийо.

Сердиться на них не стоит. Надо же им чем-то заполнять свою жизнь. Фабьену их уколы и пересуды никак не досягают, я чувствую, как она отстранилась, возвысилась, отделилась от всего этого, как будто унаследовала мою отрешенность. Люсьен подталкивает ее локтем, чтобы она обратила внимание на Анжелику Бораневски, которая уже несколько секунд держит перед ней протянутую руку. Фабьена спускается на землю и изображает признательную улыбку.

— Очень мило, что вы пришли.

— Это такая малость, — вздыхает бедная Анжелика. В свое время она щедро дарила себя всем моим ровесникам, а теперь, с тех пор как заняла видное место в "Бора-Пнэ", притворяется, будто ни с кем не знакома.

Откуда ни возьмись у могилы появляются супруги Амбер-Аллер, и злость, которой не смогли разбудить желчные кумушки, мгновенно закипает во мне. Вот кому незачем было являться. Тем более с опозданием, чтобы привлечь побольше внимания. Важные, вальяжные, они торжественно шествуют, слегка кивая направо и налево шалеющим от такого счастья особо избранным именитым согражданам. Он — жирный самодовольный боров с усиками в ниточку и маленькими холодными глазками за очками в красной оправе. Она — бледная томная красавица

с великосветскими повадками. Двадцать лет, пользуясь своим родством с одним влиятельным депутатом, они распоряжаются местными СМИ. У них в руках все рычаги: газеты, радио, телевидение, взятки, блат, компромат, — влияние их беспредельно. Когда, закончив лицей, я хотел избежать скобяной карьеры и составил проект цикла передач на радио, то представил его им. Они пришли в восторг. Можно было подумать, что меня прочат в короли эфира, на самом же деле я был для них просто лакомой свежатинкой. Они играли мной, как кошка мышью: то поощряли, то тормозили, забавляясь моей наивностью и горячностью, вынужденными уступками и разочарованиями. Порой дразнили и обходились со мной подчеркнуто холодно, чтобы заставить меня домогаться их милости. Вечер в Шамбери, когда я попался на их удочку, — самое постыдное мое воспоминание, и я благодарю Бога, если это Он программировал мою жизнь, за то, что мне не пришлось еще раз пережить ничего подобного.

Зачем Амбер-Аллеры приперлись сюда? Чтобы попросить у меня прощения? Не дождутся! Я всегда ненавидел их и не собираюсь менять отношение: так же, как меня, они ломали и ломают других людей, у которых нет ни возможности, ни сил склеить обломки. Меня спасла служба в армии, иначе я бы, наверное, убил их. Как-то раз я уже налил им вместо кофе жидкость для прочистки труб и отнес в кабинет. К несчастью, щелочь разъела пластмассу, прежде чем они успели отпить. До сих пор жалею об этой неудаче. Я ничего не забыл, и если бы в моей власти было являться вам, уж я бы поизводил вас всласть, подонки! Вон отсюда! Не смейте заговаривать с Фабьеной, пачкать ее своими скользкими лапами и гнусными речами. Сама она может не остеречься — я ведь ей про вас не рассказывал. А если прикоснетесь к моему сыну, клянусь, вы у меня попляшете. Душу погублю, но сумею призвать на вашу голову все злые силы этого мира, чтоб они вас стерли в порошок...

Однако я напрасно беспокоился. Амбер-Аллеры пришли по делам: договорились с директором водолечебницы об интервью, перемолвились словечком с заместителем мэра и парочкой рекламодателей, завербовали мадемуазель Туссен в спонсоры передачи о животных и попросили торгового представителя BMW взглянуть на их машину. Мои похороны оказались чрезвычайно практически полезным мероприятием: они застали всех сразу и сэкономили массу времени. Все обстряпали и уже уходят, элегантная пара в бежевых кашемировых пальто, и уводят с собой автоспеца. От Фабьены им никакого проку, они и не взглянули в ее сторону. Мой гнев рассеялся так же быстро, как разгорелся. Я никогда не умел долго злиться. Что ж, пожалуй, приятно еще раз убедиться, что я ничуть не изменился после смерти.

Очередь сочувствующих рассосалась, церемония подошла к концу. Чета Понше переминается с ноги на ногу, гадая, как поведет себя их дочь. Перемигнувшись, они решают подступиться к ней через Люсьена.

— Ты отлично держался, Люлю, дружочек.

Но Фабьена, завидев этот маневр, обрывает рассказ торговки рыбой о том, как умирала ее тетушка, и свирепо идет прямо на родителей.

— Ну здравствуй, — скрипит мадам Понше. — Ты еще не забыла, что мы есть на свете?

— Сейчас не время, — отрезает Фабьена.

— Мы отмахали сорок километров по такой погоде, причем за рулем была твоя мать — у меня опять разыгралась подагра.

— Он уже сдал анализы, скоро ложится в больницу.

— Пришлите мне счет — я оплачу, — говорит Фабьена и притягивает к себе сына.

— Ну можем мы хоть внучка поцеловать?

— Он все знает, — холодно отчеканивает Фабьена.

Окаменевшие Понше остаются стоять между двумя могилами. Люсьен старается шагать как можно шире и еле поспевает за матерью.

— Что это я знаю? — спрашивает он.

— Потом объясню, малыш.

Надеюсь, она не станет этого делать. Всю нашу брачную ночь я прижимал ее, плачущую, к своей груди и не мог успокоить. Захлебываясь, она рассказала все-все: как в четырнадцать лет ее изнасиловал лучший друг родителей, их сосед по рыночному прилавку, как они заставляли ее молчать, угрожали, избивали, оскорбляли — "ты, мерзавка, сама к нему приставала", — как пришлось тайком делать аборт и как потом долгие годы она была вынуждена делать вид, что все это забыто, мучиться и ждать, когда наконец она станет по-настоящему свободной и сможет вычеркнуть их из своей жизни.

— Скажи сейчас, — Люсьен во всем добивался определенности. — Они не любили папу, да?

— Да, — отвечает Фабьена.

Спасибо, милая. Обнявшись под дождем, они идут к стоянке. Две родные фигурки. Мне нестерпимо больно видеть, как они удаляются. Но сейчас мне лучше их оставить, я слишком переживаю потерю самого себя. Как ни странно, никакой легкости после погребения я не ощущаю, наоборот, стало намного хуже. Я убеждаю себя, что все это мне только кажется, но все равно слышу, как мое закопанное в землю тело зовет меня на помощь и укоряет, что я его бросил. Мысли о том, что ему предстоит разложение, а я не могу ничего сделать и не хочу разделить с ним эту участь, страшно тяготят меня, и нести эту тяжесть домой ни к чему.

Фабьена с Люсьеном уезжают на "мерседесе", отец садится в свой "форд". Поедут ли они вместе к нам, не знаю. Альфонс в грузовичке рулит к дальнему концу озера, на болота, где находится хоспис месье Мину. Наила летит над морем и беседует с соседкой, пышной маврикийкой. Та без аппетита ковыряет вилкой в пластмассовых посудинках от компании "Эр Франс" и рассказывает, как у них на острове готовят местные блюда. Одиль дежурит в магазине за прилавком и грустно разглядывает мою последнюю композицию в витрине.

В конце концов я осел в Старом порту, в "Уэлш-пабе", рядом с Жаном-Ми и его братьями. Они устроили здесь этакий поминальный мальчишник с неизменным vin d'abymes — "ваше хроническое винцо", как говорит хозяин заведения. (Мы с ним тоже давние знакомые: когда мне было шестнадцать лет, он нашел меня в постели своей дочери и знатно всыпал.) Вспоминали и, как водится в подобных случаях, превозносили до небес мои подвиги. Компания сгрудилась у стойки, со стаканами в руках, тут же дымятся косяки, вскипает пеной разливное пиво, хохочут праздные девицы, коротающие время до ночной охоты на курортников. Поминки затянулись, проходил час за часом, все новые бутылки опорожнялись в мою честь, и я постепенно забылся в винных парах. Чувство потери притупилось в этом мужском товариществе, грубом, плоском и плотском, которому не только не мешали, но придавали осо-

бый смак шлюхи — ведь с ними можно говорить как со своим братом. Красноватое марево бара, грохочущая, завывающая музыка — и нет больше ничего серьезного, важного, бесповоротного. На смену вечерним любителям опрокинуть стаканчик является ночная публика, а мы не трогаемся с места, мы — островок сплоченной дружбы, шумно-терпкой грусти, беспричинного веселья, сплетенье одиноких душ, мы, выбившиеся из колеи, вопящие, чтоб заглушить отчаянье и боль. Вот кто-нибудь выходит на минутку, вот возвращается с опорожненным мочевым пузырем и облегченным сердцем и продолжает ту же песню. К полуночи, совсем как в доброе старое время, доходит до хорошей драчки. Так отмечались все торжественные события: получение аттестата, первая передача на радио, уход в армию, возвращение, свадьба, рождение ребенка... Вся жизнь укладывается в десяток удалых попоек.

— За тебя, Жак! — ревет Жан-Ми, воздевая стакан и возводя глаза к потолку, и все собравшиеся в баре следуют его примеру.

Не ищите меня так высоко, друзья.

Вернулся я на рассвете, вдрызг пьяный общим хмелем, с трудом соображая. Снова падали хлопья снега. Я пробирался по аллеям, вот уж воистину затаив дух, чтобы не потревожить соседей. Здравствуйте, генерал Добрэ, мое почтение, доктор, каноник, мадам Дриве — надеюсь, вы были рады соединиться в прошлом году с вашим мужем? Здравствуй, крошка Эжен (1937—1938), шагнувший в вечность прямо из пеленок. Привет тебе, депутат Амбер, вот кто остался верен себе и после смерти — что на предвыборных плакатах, что на портрете-медальоне, вмонтированном в гранитную, похожую на аэродинамическую трубу глыбищу, та же пошлая улыбочка. Добрый день, чета Бофоров (шестьдесят восемь лет супружества), поздравляю вас с дубовой свадьбой. Привет вам от сыновей, Пьер Дюмонсель, с них вполне хватает родительской опеки вдовствующей мамаши. А вас, месье Андрие, я не поблагодарил за игрушечный "ролле-ройс", который вы мне подарили на Рождество 1968 года. Здравствуйте, семейство Леон под слоем грязи и мха, — ваши дети живут своей жизнью; здравствуй, Сара, чуть тебя не забыл, а ты была самой талантливой из нас, дожила примерно до моих лет и успела стать доктором биологии; здравствуй, Софи де Шалансе, при жизни я никак не мог приударить за тобой, мне было всего три года, но теперь я подрос, позвольте пригласить вас на танец, мадемуазель!

Мама, это я. Да, прошлялся до утра. Но погоди ругать меня, давай познакомимся. Пожалуйста, скажи мне что-нибудь... Явись мне, скажи, что ты оберегала меня все эти годы, что я не слишком огорчил тебя тем, как жил, и может быть, все-таки ты родила меня не зря. Скажи, что любишь меня, как я любил тебя, какой ты мне мечталась. Скажи, что ты по мне скучала и что теперь, на том свете, мы будем вместе.

Мамочка! Скажи же хоть что-нибудь. Хотя бы просто "да". Ну скажи, что ты здесь и слышишь меня. Может, ты перевоплотилась? И теперь живешь на ранчо в Техасе, или катаешься на лошадях в Сомюре, или преподаешь литературу в Иль-де-Франс? Может, мой голос не проникает туда, где ты замурована?

Кладбище пусто, здесь нет никого. Ни моей матери, ни шести лежащих ниже слоев Лормо, ни соседей. Сколько я ни взываю, ни прошу, ни умоляю — никто не отвечает. Кроме меня, ни одной живой души в этом скопище костей. Теперь я почти уверен, что старушка в часовне мне

просто померещилась. Видно, разыгралась фантазия, и я поддался минутной иллюзии, заслоняясь от реальности.

Куда попадают все мертвые?

И почему я, только я один, застрял на земле? Никто меня не встретил и никто не зовет. Я молюсь, смеюсь, плачу, размышляю, послушно пересматриваю все посылаемые мне воспоминания, сочувствую, прошу прощения, упиваюсь вместе с приятелями, которые благодаря мне провели приятную ночку с веселыми девицами, я маюсь, прислушиваюсь, клянчу, признаюсь в любви, а никто и не почешется.

Никто не сказал мне ни словечка, если не считать Альфонса, но он разговаривает со всем что ни попадя: с деревьями, с инструментами в магазине, с поездами... Никого не волнует, что я испытываю, — никого, кроме одной начинающей буддистки, да и для той я учебное пособие. Меня украсили цветами, оплакали, окурили свечами и почтили мраморной стелой, на мраморе высекли имя, даты рождения и смерти, пожелания вечного покоя — и привет!.. жизнь продолжается.

Никто не дал мне знать, что я для него еще существую, разве что псина, которую я проводил в рай, да и та не предложила мне разделить с ней там конуру.

Если это расплата, то за что? Я слишком любил одиночество, и теперь мне показывают, что значит настоящее одиночество? Ну хоть покажитесь, эй! Или хоть покажите дорогу. Ведь смертных-то грехов я не совершал!

Или...

На могильной плите у фонтана, на пятнадцатой аллее второго участка —семейство Трибу де Монтескуров — выгравирована цитата из притчи о талантах. Правда ли, что я не употребил в дело то, что было мне дано при рождении? Да нет. Я заснул последним сном посреди картинок, которые малевал по воскресеньям, и ни в чем не раскаиваюсь. Предел моих возможностей был мне ясен. Неудачник — совсем необязательно гений. Если бы пришлось начать все сначала, я не хотел бы ничего менять в своей жизни, на какую бы смерть она меня ни обрекала. А значит, бесполезно томить меня под колпаком и выжимать угрызения совести, которых нет и не будет. Уничтожьте меня, пересадите в другое тело или оставьте гнить в земле, но только перестаньте со мной играть. Я сам себя не узнаю. Меня не веселит вино, тяготит одиночество, я уже не хочу ни во что верить.

Встает солнце, свежий снег искрится на могилах. Новый день. В комнате Фабьены по-прежнему открыто окно и горит свет. Без толку.

"ГРЯДЕТ ИИСУС" — оранжевыми буквами написано на синем борту несущейся по лагуне лодки. Негр-рыбак на корме, проплывая мимо девушек, многозначительно помахал им рукой.

— Ты думаешь, ему привиделся этот пляж? — спросила Наила.

Прежде чем ответить, ее подруга потягивается, лежа на песке, застегивает лифчик и переворачивается на спину:

— Да, а может быть даже, он и привел тебя сюда.

Наила подвигается, чтобы голова была в тени соломенной хижины. Обе лежат на маленьком серпообразном пляже с наклонными пальмами, прижатом к крутому склону, на котором разбросаны увитые бугенвиллеями бунгало. В отеле Наила встретила старую подругу по школе туристического бизнеса — та работает в туристической фирме "Куони".

Девушки быстро распаковали вещи и побежали на лагуну купаться, пока сотня других приглашенных на остров коллег сидели в гостиной с кондиционером и слушали доклад о введенных в отеле новых удобствах.

Выходя из воды, Наила наступила на морского ежа. Она поскакала дальше на одной ножке, упала на песок и стала вытаскивать колючки — тут-то и произошло озарение, которое вызвало сюда меня. Воды лагуны, бирюзовые и темно-зеленые над грядами морской травы, три соломенные хижины на берегу, прислоненный к кокосовой пальме плот вдруг напомнили ей пейзаж, изображенный в "Забытом окне". Я-то помню, что вдохновлялся цветной картинкой, вложенной в пачку печенья, и особого сходства не углядел, но Доминик, подружка Наилы, была склонна к мистике.

— Понимаешь, в тот момент он искал твой образ, настроился на твою волну и ему предстал этот пляж, где ты сейчас о нем думаешь. Потому что для мертвых время и пространство меняются качествами. Пространство течет, а по времени можно перемещаться.

— Так, по-твоему, он знал, что скоро умрет?

— Не совсем. Это было подсознательное знание. Оно его и подстегнуло. Ведь медиумические способности есть у всех людей, только их надо развивать с детства, как учатся играть в теннис или на пианино, если же нет, они могут проявляться только в исключительных обстоятельствах. Перед смертью все становятся ясновидящими, это давно известно. Намажь меня, пожалуйста.

Доминик переворачивается на живот и спускает с плеч бретельки. Наила с отрешенным видом натирает кремом ее загоревшую в предыдущих командировках спину.

— На картине я выхожу из воды, и все это в обрамлении открытого окна — взгляд из окна без стен. Это какой-то знак?

Скорее подражание Магритту, но любопытно, что ответит Доминик. Это стройная брюнетка с пышной грудью, длинными бархатными ресницами и очень уверенным голосом.

— Тебе надо почитать литературу, например Реймонда Муди, Хелен Вамбах. На сегодня накопились уже горы свидетельств, исходящих от тех, кто пережил клиническую смерть. Все рассказывают одно и то же: они видели свое тело сверху, слышали, как паниковали врачи — на энцефалограмме прямая линия! — а сами чувствовали себя как огурчик. И только посмеивались. Вот это и есть твое открытое окно без стен. Такой символ.

— В нашей религии есть обычай: оставлять открытым окно в комнате умершего. Это помогает ему скорее оторваться от земли и освободить нас, живых. Но Жак... я все время чувствую, что он здесь...

— Наверно, он прозевал свою очередь. Намажь, пожалуйста, повыше, там, между лопатками, где я не могу достать.

— Не знаю... Может, это оттого, что он не успел закончить мой портрет... И это его удерживает.

— Да нет, не бери в голову... Все задохлики, которые вернулись с того света, попадали в длинный, освещенный с дальнего конца туннель, а потом все они видели "существо из света", кто Иисуса, кто Аллаха, кто кого-нибудь из умерших родных, и оно говорило: "Твое время еще не пришло, возвращайся назад". В раю все было так прекрасно — цветы, облака и все такое, — что всем нашим хмырикам хотелось там зависнуть насовсем, но небесные вышибалы давали им пинка под зад. И они очу-

хивались в своем теле, а у врачей челюсти отваливались. А потом все говорили, что у них поменялось отношение к жизни: перестали суетиться и стали жутко правильными, потому что знают, в какое прекрасное место попадут потом. Тебя намазать?

— Значит, ему там хорошо, — шепчет Наила, подставляя спину.

— Как сказать, — остерегает ее специалистка. — Ведь те, кто описывал рай во всех этих книжках, — они вернулись назад. Может, им потому его так и показали, что они *должны были вернуться.* Чтобы их разохотить.

— Не понимаю.

— Ну, например, когда тебе продают загородный дом, то показывают эскиз. На бумаге не домик, а мечта: деревья, цветы и всего один сосед где-то за просторной лужайкой. Ты полагаешься на эту картинку и покупаешь, а на деле оказывается совсем другое: кругом грязища, сам дом — типовая халупа, и еще сотня таких же впритык друг к другу, соседи — сплошь шпана, со всех сторон орут магнитофоны, и все это на шумной автотрассе. Перепродать это сокровище невозможно, а выплачивать кредит придется чуть не всю жизнь.

Наила замирает под равномерно втирающей крем рукой приятельницы. Слова Доминик растревожили ее, так что она почти забыла про меня и про свой портрет. Она встает и снова бредет к воде. По навесному деревянному переходу над пляжем, соединяющему две группы бунгало, снуют турагенты с нагрудными табличками и с ворохом проспектов в руках. Невыспавшиеся после ночи в самолете, они чихают, выйдя на солнце из своих холодильников с кондиционерами, и мечтают поскорее запереться в номере. Наила плывет ровным кролем, не задевая морских ежей на дне. Доминик разбивающиеся о коралловый риф волны напоминают гул бульвара Клиши, где она живет. Чтобы отвлечься, она включает плейер, надевает наушники и погружается в "Дождь по крыше" Нугаро. Я остаюсь один в этой дикой жарище — судя по выступившим на теле Доминик капелькам пота. Может, мне повезет с чужим человеком? Вдруг эта девушка, с ее интуицией и сверхчувственными прозрениями, услышит меня? Ее познания в потусторонних сферах и притягивают, и отпугивают меня. Она, кажется, так же как и я, догадывается о неприятной истине, но пытается от нее отвернуться. А уверенный тон, которым она рассказывает живым о мертвых, скорее всего, служит для того, чтобы отгонять людей. Мы с ней похожи, она такая же одиночка по натуре и нашла отличное средство, чтобы ее оставили в покое. Или она просто хочет сначала взбудоражить, а потом успокоить Наилу. Это было бы неплохо. Мне так хорошо смотреть на этих двух мирно загорающих девушек — эротика тут ни при чем. Благодаря им жестокой ночи на кладбище как не бывало, она стала чем-то далеким, нелепым и нереальным. И дело не только в перемене климата или часового пояса, да я этих вещей и не ощущаю. Я думаю, теперь мне надо слиться с кем-нибудь в его настоящем, впрячься в его будущее, влезть в чужую судьбу, о которой я ничего не знаю, и поехать в ней зайцем — чтобы стряхнуть груз безысходных воспоминаний. Я собрал по крупицам и разжевал все свое прошлое, и это ни к чему не привело. А может, я потому никак не могу установить контакт ни с одним умершим, что все они облюбовали себе по живому человеку и вросли в своих избранников, как я собираюсь врасти в Доминик. И все мои мытарства с семи часов утра минувшего вторника — обычная, нормальная вещь, как у всех. Взлеты, падения, примирения, разлуки были лишь уроками, из которых

я должен уяснить, что пора поставить крест на себе и своих близких и начать новое существование... В таком случае резко меняются представления о рае и аде: проклятые обречены сидеть в каком-нибудь злодее, мерзавце или дуре, а спасенные устраиваются в хороших людях.

Наверно, прежде чем окончательно выбрать Доминик, следует немножко подождать. Учесть ее предостережение — историю с купленным по эскизу домом. Но сама по себе тяга к кому-то постороннему — несомненно шаг вперед. Всплывают и некие полузабытые признаки, подтверждающие, что я на верной дороге. Как только отошла Наила, к Доминик бочком-бочком, делая вид, что клюет какие-то несуществующие крошки, стала подбираться желто-зеленая птица. При каждом скачке на голове ее смешно трепыхался лихой хохолок. Уморительно серьезная, она похожа на неудавшийся рисунок, на некую помесь дрозда с попугаем. Доминик, подложив руку под голову, следит за ней глазами, вполголоса зовет. Птица сложным маневром — вбок и назад — приблизилась еще. Очень медленно Доминик протянула к ней раскрытую ладонь, и этот жест и последующие слова сразили меня.

— Привет, как дела? — тихонько сказала она. — Скучаешь?

Я вспомнил зимнюю ночь 78 года, которую провел в Кавайоне, родном городе деда и бабушки. Они вернулись туда, когда моя сестра вышла замуж, а я настолько подрос, что мог жить один у нас дома в Савойе, которую они никогда не любили. Они привыкли к солнцу и тосковали без него. Вскоре после переезда, зимой 78 года они умерли. Сгорели вместе с домом, тесно прижавшись друг к дружке, так же, как прожили всю жизнь. Как ни странно, я не очень горевал, хотя был очень привязан к этим вечным влюбленным, неизменно приветливым, улыбающимся, спокойным. Я старался быть похожим на них и чуждался мрачной вспыльчивости и лихорадочной восторженности отца. Смерть мамы они приняли с кротким смирением, возможно, потому, что остальные шестеро детей давно покинули их ради большого мира. Но главное, они так любили друг друга, составляли такое самодостаточное целое, что их сердца были обоюдно заполнены и места для других просто не оставалось. Вот почему смерть в один день представлялась мне не трагическим, а скорее закономерным концом. Кроме того, мне было всего семнадцать лет. Только когда родился Люсьен, я стал понимать, насколько мне их не хватает.

Ночью после похорон я пошел побродить по улицам, чтобы остаться одному и подумать о них спокойно, так, как они заслуживали. И вот тогда на углу пустынной улицы мне встретилась собака. Хромой пес без ошейника, помесь овчарки с кем-то еще, изможденный, старый и абсолютно мирный. Я не сказал ему ни слова, но он увязался за мной, впрочем не заискивая и сохраняя достойную дистанцию. Из гордости, стыдливости или хитрости он делал вид, что не нарочно идет за мной по спящим улицам, а вынюхивает какой-то след, который случайно совпадает с моим маршрутом. Я включился в игру и стал резко менять направление, сворачивать назад, описывать круги. Каждый раз пес, перебегая от фонаря к фонарю, от урны к урне, довольно быстро снова нагонял меня. И вдруг с ничуть меня не удивившей ясностью я подумал о деде. Та же ненавязчивая внимательность, притворное равнодушие, настойчивость без нажима. Обернувшись на ближайшем углу, я попробовал негромко позвать: "Деда!" Пес никак не отреагировал. Но у меня бешено стучало в висках, чувство уверенности распирало грудь. Я *явственно*

ощущал, что дед здесь, рядом, в этой псине. Чудесное, необъяснимое ощущение. В то время в свете только что пройденных школьных курсов естественных наук смерть представлялась мне рассеянием отдельных клеток и химических элементов, душе же в этом процессе отводилась роль своеобразной пыльцы. Эту "пыльцу" вдыхали оказавшиеся поблизости люди, собирали пчелы, клевали птицы, щипали коровы, и умерший, внедряясь таким образом в другие существа, обогащался их опытом. Каково было процентное содержание субстанции моего деда в теле бродячей собаки? Пусть всего лишь полпроцента — этого достаточно, чтобы я чувствовал его приветливую улыбку, значащую куда больше ненужных бурных излияний.

Я находился на холме Сен-Жак, белые прожекторные лучи выхватывали из тьмы силуэты безжалостно подстриженных олив. Этот призрачный пейзаж будил во мне радость, вкус к жизни, а тут еще влюбленные парочки в кустах фыркали, слыша, как я благодарю драного хромого пса за все, чем ему обязан: за то, что умею ценить хорошее вино, полуденный отдых, тонкую иронию... Это он научил меня видеть разные фигуры из облаков, обращать внимание на хорошеньких девушек, строить шалаш, разжигать костер, следить за пчелами... Мелким вещам, в которых можно найти утешение едва ли не от всех бед.

В гостиницу я вернулся на рассвете. Центральный вход был еще закрыт, но у меня был ключ от бокового. Пес по-прежнему бежал за мной. Я остановился перед дверью — он тоже. И выжидающе застыл, отвернув морду в сторону. И тут малодушие — или здравый смысл — взяло верх. Я сказал ему, что животных в гостиницу не пускают и что я все равно завтра уезжаю. И бросил платановую ветку, чтобы он за ней побежал. Пес не двинулся с места. Тогда я приоткрыл дверь, быстро вошел и захлопнул ее за собой. Стоя с другой стороны, прислонившись к створке лбом, я в первый раз услышал его голос — протяжный, тоскливый, на одной ноте вой, который три ночи не давал мне уснуть. И еще долго я корил себя за то, что тогда не впустил его.

— Как его звали, этого твоего лавочника?

— Жак Лормо.

Наила искупалась и легла на песок обсыхать, спугнув желто-зеленую птицу. Разговор надолго прервался. Разомлевшая на солнце Доминик лежала с закрытыми глазами. Наконец она лениво спросила:

— Ваше агентство имеет дело с гостиницами "Куони"?

— Смотря где. На Маврикии, например, у вас не лучшие цены.

— Просто мы не халтурим.

Поднялся ветерок, зазвонил колокольчик, и турагенты в бермудах или парео озабоченно потянулись на лекции.

— Может, и нам с ними поскучать? — томно потягиваясь, спросила Наила.

— Зачем? Успеем наскучаться на том свете.

Наила, припоминая свою картину, рисует на песке три хижины и плот, а Доминик погружается в сон. Я оставляю ее.

Куда подамся теперь, не знаю, но, расставаясь с Доминик, я испытываю знакомое по прошлому сладостное чувство, которое всегда любил продлить, — предвкушение давно обещанного свидания.

Разобрали не так уж много картин. Альфонс взял один натюрморт, папа — склеенную улитку в нашем саду в Пьеррэ, Одиль — бурю на озере, где

я изобразил нас с Жаном-Ми на яхте. Люсьен перед уходом в школу попросил, чтобы оставшиеся картины поместили в его комнату, и сейчас Альфонс, страшно довольный, развешивает их по стенам, с пола до потолка, чтобы порадовать мальчика этим вернисажем. Фабьена объясняет все это Гийому Пейролю, тот пришел в трейлер с опозданием, запыхавшись, весь в снегу.

— Я никак не мог раньше — у нас была учебная тревога в горах...

— Не важно. Можете посмотреть вместе с моим сыном. Он вернется в двенадцать часов. Пройдете через магазин, — сказала Фабьена и захлопнула дверцу трейлера.

Фабьена меня беспокоит. Она осунулась, пожелтела, под глазами круги, которые даже не умещаются под темные очки. Скорее всего, она все утро просидела перед моим пустым мольбертом, уничтожая мой запас мятных конфет — на полу валяется куча фантиков. Картины унесли, и замоченные в скипидаре кисти выглядят душераздирающе.

Кажется, я понимаю, что с моей женой. Узнаю симптомы. Когда родился Люсьен, врачи признали у нее послеродовую депрессию. Но у нее был стимул — вырастить ребенка. Теперь же, когда я похоронен, формальности завершены, с наследством все улажено, ей больше нечего делать, осталось только отдыхать и восстанавливать силы. Фабьена не умеет ничего не делать. И вдруг забросила свою скобяную торговлю... Значит, дело обстоит серьезнее, чем я сначала подумал. С четырнадцати лет она постоянно была напряжена, как пружина, и устремлена к ясной цели. Со мной цель была достигнута и превзойдена, но ответственность, которую она несла вместо меня, все время давила на нее и не позволяла расслабиться. И вдруг пружина лопнула. Жить как раньше не имело смысла. Теперь уже не было опасности, что я потребую развод, попытаюсь отнять у нее Люсьена, буду настраивать его против матери... Без меня им обоим обеспечено спокойное будущее. И она опустила руки. Ума не приложу, как ей помочь, хуже того: не вижу никого, кто мог бы понять ее так, как я. Тем более что жаловаться она никогда не станет, а скрывать свои чувства умеет в совершенстве — мне ли не знать.

Меня одолевает искушение вернуться на Маврикий. Не сочти меня трусом, Фабьена, но бессилие, на которое ты меня обрекаешь, для меня невыносимо. Страдала бы, по крайней мере, где-нибудь в другом месте. Здесь, в трейлере, я не могу отделаться от чувства, что это я причиняю тебе боль.

— Готово! Все развесил! — кричит со двора Альфонс.

Фабьена тяжко вздыхает, снова надевает темные очки, обводит напоследок взглядом мою тесную обитель. Будь я жив, я бы много отдал за такой понимающий взгляд, но теперь он приводит меня в отчаяние. Нехотя выходит она из трейлера тянуть опостылевшую лямку.

— Может быть, мне лучше взять "мерседес", я постараюсь быть очень осторожным, а, мадам Фабьена? А то машина Одили ему тоже не по нраву.

Не споря, Фабьена протягивает Альфонсу ключи и поднимается к Люсьену посмотреть экспозицию. В эту самую минуту в школе прозвенел звонок на обеденный перерыв. Альфонс, насвистывая, гордо выводит из гаража "мерседес" — то-то обрадуется мальчуган! Надо будет обратиться к нему почтительно — "месье!", пусть приятели знают, с кем имеют дело. Наследник Лормо — это вам не шутка! Альфонс вошел в

роль телохранителя: руки бережно сжимают руль в кожаном чехле, прямая спина, вздернутый подбородок, бдительный взор поверх фирменной звезды на капоте.

Люсьен остался в классе один. Он закрывает тетрадь, надевает на ручку колпачок и медленно-медленно складывает все в портфель. Остальных после звонка как ветром сдуло. Только несколько человек ждут его в коридоре, пихая друг дружку в бок и поглядывая на дверь класса. Учительница с папкой под мышкой и сумкой через плечо обернулась почти с порога и подошла к Люсьену. Принужденно улыбаясь, погладила его по голове. Люсьен резко откинулся назад.

— Тебе плохо, малыш?

— Нет, мадемуазель, все нормально.

— Ты мог бы подольше побыть дома. Я понимаю, каково тебе сейчас. Потерять отца в твоем возрасте — это самое страшное горе. Ты сразу стал взрослым.

— Спасибо.

— Я могу тебе чем-нибудь помочь?

— Нет, мадемуазель.

— Ты уверен? Иногда бывает нужно выговориться. А твоя мама сейчас в таком состоянии, что, наверно...

— Но вы мне не мама! — взрывается Люсьен. — Оставьте меня в покое!

Бедная учительница замолкает, бормочет извинения и, поникшая, отходит прочь, делая вид, будто ищет ключи. Люсьен застегивает портфель, встает, оттолкнув стул ногой, и вылетает в коридор, точь-в-точь шериф, выходящий из салуна с твердым намерением навести в городе порядок.

— Ты даешь! — похвалил Люсьена стриженный под ежик коротышка.

— Не твое дело, — буркнул Люсьен.

— Ловко ты ее отбрил, — хохотнул Самба, сын тренера по водному спорту.

— Фигня! — вмешался белобрысый подросток с прядью на лбу. — У него, видите ли, папочка умер, вот он и кочевряжится. Давай-давай, Лормо, пользуйся...

Люсьен оборачивается к белобрысому и тычет ему пальцем в физиономию:

— А ну отдавай мою куртку, Марко! Живо!

— Ой, испугал! — кривляется Марко.

— Отдавай, говорю, куртку, она моя, ясно?

— Чего-чего?! Давно не получал? Ишь ты, сиротка, какой крутой стал!

Люсьен, яростно сжав зубы, толкает Марко к вешалке.

— Брось, Лормо, не то он взбеленится! — вопит сынишка Жана-Гю в очках с толстыми стеклами.

— Ставлю три наклейки за Лормо! — объявляет Самба.

— Заткнись, черномазый! Придержи свои наклейки!

Марко со зловещей улыбочкой поднимает воротник куртки и делает три шага вперед. Люсьен, сдерживая слезы и глядя ему в лицо, медленно отходит. Остальные расступаются в круг. Марко размахивается, но тут Люсьен наскакивает на него, валит на пол и принимается лупить своими маленькими кулачками с небывалой силой — возможно, мне все же удалось передать ему часть моей. Давай-давай, молодец, так его, так! Марко на полу извивается под его ударами.

— Ой, не могу, Лормо, ты меня защекотал!

Он вдруг взбрыкнул ногами, и мы полетели к стенке. Боль и ненависть, которые я разделяю с сыном, увы, не прибавили мне могущества. Эх, как бы стать для него настоящим добрым духом, ангелом-хранителем, джинном из лампы Аладдина... Люсьен остался лежать. У него из носа пошла кровь и запачкала рубашку. Марко холодно смотрит на него сверху вниз и равномерно причмокивает — наслаждается муками обреченной жертвы. Неожиданно он разжимает кулак и протягивает Люсьену руку:

— А ты не слабак. Будешь теперь со мной.

Люсьен, оглушенный, недоверчиво берется за протянутую руку. Марко поднимает его на ноги. Самба хлопает по плечу и поздравляет.

— Он теперь правда с нами? — переспрашивает осторожный Самба, прежде чем принять меня в круг вассалов.

— Дюмонсель, дай Самбе три наклейки, — распоряжается Марко в подтверждение своих слов. И стаскивает с себя куртку.

Люсьен расплывается в улыбке, весь так и сияет, но, дабы не уронить мужскую честь, старается не выказывать свою радость. Он благородно отстраняет руку Марко с курткой:

— Можешь оставить себе, она тебе больше идет.

— Спасибо, — говорит главарь шайки. — А насчет твоего отца — паршиво, конечно. Мне легче — у меня его вообще никогда не было.

— Повезло, — соглашается Люсьен.

Не знаю, как отнестись к этой реплике. Звенит звонок в столовой.

— Иду-иду! — кривляется Марко.

Шайка льстиво смеется остроумию вождя. И Люсьен с ними. Они шагают по коридору сплоченной группкой, в ногу, барабаня в каждую дверь. Люсьен на седьмом небе. Отныне потеря отца свяжется у него в памяти с тем, что его как по волшебству приняли в компанию, с сентября отравлявшую ему в школе жизнь.

— Огонь! — хором вопит вся ватага, пробегая мимо бюста несчастной Марии Кюри, чье имя носит школа. Бюст превращен в мишень и весь покрыт комочками жевательной резинки и плевками.

— Почему бы тебе тоже не обедать в столовке? — приглашает сын Жана-Гю.

Все гогочут.

— В самом деле, — спокойно говорит Люсьен. — Надо будет записаться.

На пороге школы он останавливается. За решеткой внутреннего двора стоит "мерседес" с торжественно распахнутой задней дверцей. Альфонс, держа в руке свой берет, не спускает глаз с дверей, откуда выбегают школьники. Минуту Люсьен колеблется, не зная, что предпочесть: роскошную машину, к которой его никогда не подпускали, или только что завоеванное положение среди сверстников. В конце концов он властно кладет руку на плечо Жана-Мари Дюмонселя, которому в шайке отведена роль "шестерки":

— Скажи моему шоферу, что я пойду пешком.

Сын Жана-Гю поворачивает свою очкастую физиономию к главарю, молчаливо спрашивая его санкции, а затем подбегает к "мерседесу" и с важным видом выполняет поручение. Альфонс опечаленно захлопывает дверцу, надевает берет, и роскошная колымага за ненадобностью уезжает прочь.

— Тортоцца хочет тебя спросить, — говорит Марко, указывая пальцем на толстяка со стрижкой-ежиком.

— А ты можешь говорить со своим отцом вот сейчас, когда он на том свете? — спрашивает тот.

Люсьен, не ожидавший такого, быстро находится и небрежно отвечает:

— Ясно, могу.

— Врешь небось, — поддевает его Тортоцца.

— А вот и нет! — заводится Люсьен. Он победил самого Марко, а тут какой-то жирдяй будет к нему цепляться — еще чего! — И он, если хочешь знать, меня слышит.

— Да-а? Может, еще и отвечает?

Ребята остановились посреди двора, ветер треплет им волосы. Все выжидательно уставились на Люсьена, он же, засунув руки в карманы, с самым скромным видом отвечает:

— Бывает и так...

— Стакан, что ли, двигает? — Тортоцца насмешливо подмигивает приятелям. Но Люсьен ухватывается за эту подсказку:

— Конечно, а ты как думал?!

Тортоцца почтительно присвистывает:

— Здорово! А давай попробуем сегодня в шесть часов у меня дома. Тащи все что надо. И вы все приходите, парни, ладно?

Парни кивают.

— Учти, у меня флюиды что надо! — продолжает Тортоцца. — Сестра говорит, еще лучше, чем у нее.

— Твоя сестрица уродина, — замечает Марко.

— Зато у нее флюиды что надо. У нас это семейное. Моя сицилийская тетка умеет гадать по куриной печенке. Пусть только Лормо не удивляется, если стол вдруг сорвется с места и взлетит.

Люсьен пожимает плечами с бывалым видом.

— Пошли жрать! — командует Марко и направляется в столовую. Компания идет за ним, приотстав на три шага.

— До скорого, парни! — кричит Люсьен. — Приятного аппетита!

Он вышел из ворот и шагает, счастливый, держа ранец за ремни. Но радость омрачается тревогой: он вляпался сгоряча в дело, о котором не имеет понятия. Толстенные подошвы его ботинок месят ледяную грязь на тротуаре, и в ритме шагов ему представляются диковинные картинки — с говорящими блюдечками, летающими столами и куриными печенками, — которые могут иметь отношение к загадочным словам "флюиды" и "медиум". Он напевает для храбрости "Побоище" — песенку Брассанса, которой я научил его, когда ему исполнилось семь лет, там некая мегера истребляет полицейских — лупит их своим огромным выменем. Встречные прохожие глядят на него с неодобрением, они не знают, что эти куплеты объединяют нас с сыном больше, чем "Отче наш".

От Окружного бульвара до Курортной улицы такое запутанное движение, что Люсьен пешком по прямой добрался до дому скорее, чем Альфонс на "мерседесе". Из-за угла трейлера он глядит, как старик ставит машину в гараж и заходит на склад металлических товаров, чтобы прибраться там, пока все на перерыве.

Переждав из деликатности пару минут, мальчуган входит туда же. Альфонс разматывает моток проволоки для изгородей и вместо обеда жует карандаш. Люсьен подходит к нему с виноватым видом:

– Привет, Альфонс, как дела?

– А, ты уже пришел, – не оборачиваясь говорит старик. – Ну да, молодому пройтись по улице – одно удовольствие. Надеюсь, ты не простудился? Иди к себе – я там развесил картины.

– Спасибо, что приехал за мной на "мерседесе", – шепчет Люсьен, усаживаясь на ящик.

– Ему было полезно проветриться.

Они помолчали. Было слышно только, как бренчит проволока – Альфонс разматывает виток за витком, чтобы потом смотать как следует.

– Этот малый из Гренобля, который поступил в ученики, – ворчит он, – вроде бы и старается, но в нашем деле из него ничего не выйдет – нет хватки. Вот посмотри на эту проволоку – кто так отрезает!

– Как ты думаешь, у меня получится вызвать папу стаканом?

Альфонс кладет моток на верстак и опускается на корточки рядом с ящиком заклепок, по которому Люсьен стучит пятками.

– Очень может быть. Я не знал, что ты в этом разбираешься.

– А как это делается, Альфонс? – Люсьен хватает спасителя за руку.

Старик смотрит на эту ручонку, вцепившуюся в его рукав. Может быть, первый раз Люсьен вот так потянулся к нему. От волнения у него перехватывает горло, так что он не может сразу ответить и оттягивает время, перекладывая жеваный карандаш изо рта за ухо.

– Этот метод описывает Ламартин в письме племяннице Валентине весной пятьдесят третьего года. Берешь лист картона, пишешь на нем алфавит, переворачиваешь стакан или рюмку, потом несколько человек прикладывают к нему пальцы, и пробегает такой легкий ветерок...

– Флюид?

– Вот-вот. Ты становишься чем-то вроде антенны и улавливаешь то, что передает покойник, а потом, по законам физики, это переходит на стакан и он начинает двигаться от одной буквы к другой. Ты задаешь вопросы – он отвечает. Ламартин рассказывает, что Виктор Гюго таким манером записывал стихи, которые ему диктовал один англичанин – Шекспир. Я и сам пробовал, но в одиночку плохо получается. И потом, у меня дома и так все всегда дрожит и двигается – из-за поездов.

– И ты думаешь, с папой может получиться?

– Если он захочет говорить, то заговорит. И насколько я его знаю, за ним дело не станет.

– Классно!

– Только может оказаться, что он занят другими вещами. Ну, понимаешь, не оттого, что не хочет с тобой говорить, а просто ему же надо там освоиться, он только что прибыл...

Но у Люсьена сразу стал такой расстроенный вид, что Альфонс берет свои сомнения обратно и задорно хлопает его по колену:

– Хочешь, попробуем вместе, ты да я, на пару?

Мальчишка смотрит на него, не зная, что ответить, и, по-моему, раздумывая, как бы не слишком дать Альфонсу почувствовать, что они неравны. Да, не поспеши я убраться на тот свет, мне бы надо было кое-что подправить в воспитании сына.

– Спасибо, но мы с ребятами собрались заняться этим у Тортоцца, сегодня в шесть часов. Он говорит, у него сильные флюиды.

– Это сын автомеханика? – Альфонс удивлен.

Люсьен сокрушенно разводит руками. Проглотив разочарование, Альфонс снова вытаскивает из-за уха карандаш.

— Сегодня вечером я бы все равно не смог — у меня Комитет. Тебе, наверно, нужен расчерченный лист — ладно, я сделаю. Только не показывай маме. Вообще-то ты еще не дорос до таких вещей.

— Клянусь! — Люсьен поднимает варежку.

Альфонс отрезает кусок крафта и пишет по кругу алфавит. Внутри круга столбиком цифры от нуля до девяти и слова "да" и "нет" в рамочке.

— Это для ответов на однозначные вопросы — так скорее.

Карандаш опять отправился за ухо.

— А что лучше взять: стакан или рюмку?

— Я советую стаканчик от горчицы. Рюмка на ножке не такая устойчивая. И может разбиться при резком вираже. Но иди — мама ждет тебя обедать.

Он берет с этажерки стаканчик, на котором нарисованы утенок Дональд и его друзья с удочками, вытряхивает из него окурки, вытирает и протягивает Люсьену.

— Расскажешь потом, — вздыхает он и снова принимается за проволоку.

Люсьен обещает, благодарит и выбегает во двор. Я устремился было за ним, но придержало какое-то новое чувство. Страх. Люсьен, упоенный, с улыбкой до ушей, прижимает к себе портфель, куда бережно поместил стаканчик и сложенную вдвое расчерченную карту. Альфонс забыл нанести букву W — постараюсь обойтись без нее.

На кухне, как всегда, для Люсьена был приготовлен обеденный прибор, салфетка и таблетка глюконата. Но его ждали также целых два сюрприза: у плиты стояла Одиль, а за столом сидел со стаканом томатного сока Гийом Пейроль.

— Мама ушла в бассейн, — торжествующе доложила, смакуя каждое слово, Одиль.

Люсьен поставил портфель на пол и удивленно переспросил:

— В бассейн?

— Да. Она пошла плавать, — Одиль подкрепила слова гребком по воздуху, с удовольствием призывая постороннего человека в свидетели недостойного поведения вдовы.

— Мама вольна делать что хочет, — одернул ее Люсьен. — Что сегодня на обед?

— Я поджарила тебе гольца, — с важностью ответила кассирша. — Ты знаком с месье Пейролем из полиции? Он хочет с тобой поговорить. Это Люсьен, мой крестник.

Крестник заглянул в сковородку, где шипела в разогретом масле длинная, тонкая, страшно костлявая рыбина, гордость нашего озера.

— Какая гадость, — сморщился Люсьен. — Я хочу рыбных палочек.

— Рыбных палочек! — вздохнула Одиль, ища сочувствия у гостя. — Они все на этом помешались. Думают, что все эти мороженые штучки так и ловятся в сети. Ты будешь есть то, что дают, и никаких разговоров.

— Я здесь дома, а ты на службе, — отчеканил Люсьен и, повернувшись к ней спиной, обратился к гостю: — Вы меня ждете?

— Здравствуй, Люсьен. Меня зовут Гийом, мы виделись вчера на кладбище... Я хотел купить картину твоего отца, и твоя мама сказала, что я могу посмотреть их у тебя.

Мальчуган смотрит на неожиданного клиента круглыми глазами. Настроение у него сразу исправляется, и, чувствуя себя важной персоной, он пожимает гостю руку.

— Вы обедали? У нас сегодня рыба.

— Благодарю за любезность, — стараясь быть серьезным, ответил Гийом.

— Обычно бывает что-нибудь получше, но сегодня у нашей служанки выходной. Пойдемте пока посмотрим.

И они выходят из комнаты, предоставив Одили срывать злобу на гольце, которого она свирепо переворачивает вилкой.

— Вы что, тоже художник? — спросил Люсьен на лестнице.

— Нет, но я люблю искусство.

— Почему же вы пошли в полицию?

— Я просто прохожу службу. А вообще-то я учусь на филфаке, готовлю диплом. Правда, не очень тороплюсь. Больше всего я люблю писать книги.

Люсьен церемонно распахивает дверь своей комнаты, и нам всем троим открываются увешанные картинами стены. Но, как ни старался Альфонс размещать их вплотную, рама к раме, в одном месте остался свободный квадрат, а самую большую картину пришлось поставить на пол около кровати. Это вечер во время сбора винограда. Гулянье при свете фонариков. На первом плане молодой парень с недовольной рожей. Та еще мазня.

Гийом Пейроль расхаживает, как в музее, задрав голову и заложив руки за спину. Ни за что не поверю, что ему нравится. Поданное таким образом, мое творческое наследие напоминает винегрет. Гийом нечаянно задевает ногой игрушечную "феррари", спотыкается и еле удерживает равновесие. Люсьен ловит и прижимает машинку к полу ботинком. Я с благодарностью замечаю, что он забрал из моей комнаты все машинки, которые я когда-то дарил ему на дни рождения и которые он выселил, когда подрос.

— Готово! — кричит из кухни Одиль.

Гийом возвращается к картине, прислоненной к кровати:

— Мне нравится вот эта.

— Это кутеж виноградарей в Кларафоне, — объясняет Люсьен, ошарашивая меня своей осведомленностью.

— Кутеж?

— Ну да, деревенский праздник. Так у нас говорят. Вы откуда?

— Из Парижа.

— Я был на Эйфелевой башне.

— Я тоже. А ты не пробовал плевать оттуда, с высоты, жевательной резинкой?

— Нет. — Люсьен удивлен.

— Это очень забавно. Потом спускаешься и ищешь ее внизу. Выигрывает тот, кто первым отыщет свою.

— А как узнать, что это твоя?

— Прежде чем выплевывать, конечно, прилепляешь бумажку.

— И ты когда-нибудь выигрывал?

— Ни разу. Дурацкая, вообще говоря, игра.

— Подгорает! — кричит Одиль.

— Тебя научил твой отец?

— Нет. Мой отец — человек серьезный. Дурак, но очень серьезный.

Запах горелого не дает укрепиться зародившейся мужской дружбе. Гийом указывает на разобиженного деревенского парня посреди гулянки и спрашивает цену.

— Триста франков, — от фонаря отвечает Люсьен. — Но тебе я уступлю за двести.

— Идет.

Гийом вынимает из кармана початую пачку "Голуаз" и вытаскивает из нее несколько свернутых в рулончик купюр — я тоже так делал в армии. Вообще при нем я словно молодею. Вижу свою копию.

— У тебя есть дети? — спрашивает Люсьен.

Мне бы тоже хотелось это знать.

— Нет.

— Это не мне, — Люсьен не берет денег. — Опусти это в кружку пожертвований за упокоение душ, томящихся в чистилище. Это в церкви Пресвятой Богородицы. Слева как войдешь.

— Ну вот, сгорело! — доносится злорадный возглас из кухни.

— Ты думаешь, он в чистилище?

— Если в раю, ему это не понадобится.

Люсьен сел на кровать, подобрал с пола желтый "феррари" и с погрустневшим лицом катает его по ноге. Одно колесо не крутится. Люсьен, насупясь, распрямляет крыло, которое мой покупатель погнул каблуком. Оглушительно хлопает входная дверь. В наступившей вслед за этим звенящей тишине слышно только равномерное тиканье часов в гостевой комнате.

— Он ведь не может быть в аду, правда? — не поднимая глаз, шепчет мой сын.

— Конечно нет, — успокаивает его Гийом с полной убежденностью. — Художники не попадают в ад.

— Почему?

Гийом садится на кровать рядом с Люсьеном и помогает ему освободить колесо.

— Ад для тех, кто никогда не рисковал. Никогда не сомневался в себе, ничего не делал или, как мой отец, плевал на людей и использовал их в своих интересах. Вот почему я пытаюсь писать книги.

— Какие?

— Свои. Знаешь, был такой писатель... настоящий, который всю жизнь работал ради того, чтобы дарить людям радость... Жан Кокто... так вот, он как-то сказал: "Когда придет смерть, я умру богатым человеком". Не беспокойся за своего папу. Посмотри, сколько он вам оставил. Худшее, что может ему грозить, это налоги.

— Налоги?

— Ну да. Он был талантлив, любим, имел хорошую семью, служил искусству — сколько сокровищ! Естественно, с него причитаются налоги. Там, где он сейчас, он должен давать и давать.

— А как с него могут брать?

— Поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас мне пора в казарму.

Гийом взял картину под мышку и стал спускаться вниз по лестнице вслед за озадаченным Люсьеном. Одили на кухне нет — она ушла. Горелая рыба — в мусорном ведре. На столе на видном месте — пакет чипсов и упаковка ветчины.

— Приятного аппетита. Сегодня же отнесу деньги в церковь, как мы уговорились. Передай привет маме.

— О'кей! Пока, Гийом!

— Пока!

Люсьен сжимает пакет с чипсами, пока он не лопается. Малыш улыбается, счастливый тем, что за его отцом признали столько заслуг. Оставляю его в раздумье о человеке, который за несколько минут стал для него больше чем другом. И ничуть не ревную, что мой сын переносит привязанность ко мне на постороннего: чем дальше тот продвигается в своем расследовании, тем больше становится на меня похож. Однако же, надеюсь, Люсьен не забудет про горчичный стаканчик и бумажное поле. У нас свидание в шесть часов в гараже Тортоцца, ты помнишь, малыш? Я буду там.

Фабьена в лиловой шапочке ленивым брассом плавает из конца в конец дорожки закрытого бассейна. То ли я еще под впечатлением предыдущей, такой эмоционально напряженной сцены, то ли мешает слишком шумный фон здесь, в бассейне — на соседних дорожках пловцы из местной команды отрабатывают кроль и баттерфляй, тренер свистит, выкрикивает номера и результаты, — но мне кажется, что Фабьена думает обо мне как-то странно. Безучастно. Просто повторяет про себя "Жак, Жак"... не связывая мое имя ни с каким воспоминанием, ни с какой мыслью. Что, она уже забыла, как я выглядел? Я растворился в хлорированной воде? Так же повторяют номер телефона, чтобы не забыть, когда не на чем записать. Зовет меня на помощь? Не похоже. И что за глупость прийти в бассейн простуженной. Если только это не нарочно. Хороший грипп — чем не предлог, чтобы отдаться назревающей депрессии, не вставать с постели, благо есть оправдание — температура.

Фабьена вылезает из воды по лесенке, идет в душ. На ней цельный купальник, в котором она была на Канарах прошлой зимой — наше последнее путешествие. Цыплячье-желтое солнце на черном нейлоновом фоне уже начало отколупываться.

В раздевалке ее узнали подружки Наилы и стали пихать друг друга локтями. Раздираемые любопытством, сочувствием и желанием посплетничать, они в конце концов возвращаются к тому, чем были заняты: досушивают волосы жужжащими электрофенами и прихорашиваются перед зеркалом.

Около комплекса водного спорта под платанами стоит фирменный фургончик Лормо — Фабьена взяла его, чтобы весь город видел: она едет в бассейн, — а рядышком дожидается папин "ситроен". Вот и Фабьена: идет большими шагами, отжимая рукой мокрые волосы, пальто нараспашку, в джемпере под горлышко, вдыхая полной грудью ледяной воздух и выдыхая клубы пара.

Папа выскакивает ей навстречу:

— Фабьена, что с тобой?

Она глядит на него без малейшего удивления, улыбки, смущения — без всякого выражения.

— Вам, конечно, позвонила Одиль. Да, я схожу с ума, пошла купаться, вместо того чтобы кормить обедом ребенка, ну и что? Уволю эту Одиль. Всех уволю. Продам магазин. Плевать я на всех хотела. Вас это устраивает?

Бедный папа смотрит на нее оторопев и не знает, что ответить. На всякий случай он раскрывает руки, и Фабьена с рыданиями бросается ему на грудь.

— Ничего, ничего, — приговаривает он, гладя ее по мокрым волосам. — Все нормально.

— Да уж! Я ничего не хочу делать, никого не могу видеть, терпеть не могу плавать и закатываюсь в бассейн на сеанс с двенадцати до двух, как любовница Жака, чтобы влезть в ее шкуру, чтобы он со мной заговорил! Ничего себе нормально!

— У Жака была любовница? — вот когда папа действительно ошарашен.

— Только не говорите мне, что вы об этом не знали, Луи! Кому угодно, но не мне!

Отец в шоке. Фабьена не представляла себе, как мало мы друг с другом говорили. Ей казалось, что только ненависть и отчаяние могут быть немы.

— Кто же она? — с трудом выговаривает он.

В глазах его такое искреннее неведение, что Фабьена находит в себе силы улыбнуться, взять его под руку и подвести к его машине.

— Ладно, папа. Мне уже лучше. Не знаю почему, но лучше. Я поеду домой. Как раз успею отвезти малыша в школу.

— В таком состоянии?

Фабьена оборачивается и прислоняется спиной к "ситроену". Она опять захлюпала и запахнула на себе пальто.

— Папа... Я боюсь наделать глупостей в магазине. Боюсь остервениться, нахамить клиентам... Мне нужно немножко передохнуть... Вас не затруднило бы снова взять на себя дело?

— Меня? — воскликнул отец, который только того и ждал. — Да ничуть!.. Наоборот!

Из уважения к общему трауру он умерил свой восторг и стал уверять Фабьену, что будет выполнять только самую неблагодарную работу — справляться с текущими делами — и не подумает вмешиваться в управление; хозяйкой остается она, ничего не изменилось.

— Все изменилось. Я уверена, Жак еще любил меня. А я его прогнала. Из-за ерунды, из-за такой ерунды, если б вы знали... Я вбила себе в голову какую-то чушь, а дальше все разрасталось само собой... Я сама, сама толкнула его к этой женщине. И, наверно, правильно сделала... Не в том дело... Знаю, что глупо так говорить, что это неправда, и все же... я все время думаю, что, если бы не оттолкнула его тогда, он сейчас был бы жив. Я одна, одна, совсем одна!

— А я... — прошептал отец.

Покраснев, он стоял на ветру, с развевающимся шарфом на шее, и был готов произнести слова, которые сдерживал десять лет. Я не ханжа, но тут мне стало противно. Однако он прав. Я жил так, как будто впереди была целая вечность. Пусть хоть он не повторит моей ошибки. Он открывает рот, набирает воздух, ищет какой-нибудь знак, что-нибудь вокруг, что поддержало бы его порыв, смотрит под ноги, ну, сейчас... Но слова не сходят с языка. Нет, подходящего момента никогда не будет. Он гаснет, сникает и поднимает глаза:

— Я хотел сказать: у вас есть Люсьен.

Фабьена уткнулась лбом в ворот его куртки и тихо прошептала:

— Каждую ночь, с тех пор как я отказалась спать с ним... Каждую ночь я по собственной воле оставалась одна, но так надеялась, так ждала, что вот откроется дверь... И все опять станет как раньше... Я ненавижу себя...

— Ну-ну, — он резковато оборвал ее признания — сам-то он не смог открыться...

Наконец он отвел и подсадил ее в кабину фургончика, посоветовал

включить отопление, выпить грогу и не беспокоиться о работе: завтра в семь утра он будет в магазине, и все, положитесь на меня, пойдет своим чередом. Все эти слова означают одно: я люблю тебя, — то, чего она никогда не пожелает услышать.

Красный с темно-синими буквами фургончик отъехал и скрылся из виду. Глядя ему вслед, папа утешается ставшим привычным доводом: быть непонятым лучше, чем смешным. И все не так плохо: вылезти из норы и занять место, которое он мне уступил, — как-никак большой шаг вперед.

Меня в его мыслях нет и близко, поэтому я оставляю его одного в ржавом "ситроене" строить планы новой жизни, которая не принесет никаких перемен.

Надо было убить время до шести часов. Боясь опоздать, я отбросил искушение махнуть на Маврикий. Правда, длительность путешествия для меня ничего не значит, но, прибыв на место, я не распоряжаюсь своими эмоциями и могу застрять в какой-нибудь точке. Это не жалобы, а опасения.

Поэтому я гулял, не слишком удаляясь от места встречи, и наносил визиты вежливости людям, которые никоим образом не могли бы меня задержать. Например, налоговому инспектору, который был последним, с кем я говорил при жизни. Он драматически рассказывает об этом каждому, кого приводит в его кабинет приближение срока подачи декларации. Этот наш разговор в понедельник вечером внезапно приобрел особое значение — инспектор не может отделаться от мысли, что он в какой-то мере стал причиной моей смерти. Не слишком ли сурово он отнесся к подсчетам доходов, которые я ему представил? Несчастный потерял сон. Клиенты, которым он успел поведать об этом случае, — тоже, поскольку приняли его слова за скрытую угрозу.

Я застал его в парке, в кафе "Ротонда", он с безутешным видом ел курицу-гриль и читал "Канар аншене". Здесь и мэтр Сонна — он вышел из-за столика, где сидел с компанией финансистов, и, проходя мимо налогового инспектора, пожал ему руку. Оба понимающе-сокрушенно покачали головами.

— Бедняга Лормо. Этот цирк в часовне...

— Представляешь, я последний, с кем он говорил при жизни!

— Я тоже! Если б ты знал, как я хлебнул лиха с его завещанием... Ладно, бог с ним. Ты придешь в субботу играть в гольф?

— Не знаю.

— Обещают хорошую погоду.

— Меня еще беспокоит нога.

— А меня в клубе записали в слабаки.

Оставляю их с их бедами и порхаю под голыми ветвями парковых деревьев — ищу, с кем бы выпить спокойно чашечку кофе или соснуть после обеда. Но самому выбрать и спроецироваться на кого-нибудь мне трудно, похоже, мои желания буксуют, если не сопрягаются с желанием живого человека. А нынче, сколько ни настраиваюсь, ничего не могу уловить, — очевидно, я сейчас никому не нужен. В такое время я и сам не без труда возвращался к работе и обычно подбадривал себя сладким.

Кондитерская Дюмонселей, желая обставить Лормо, работает без перерыва. Дети Жанны-Мари сменяют друг друга за прилавком. Сегодня меж витрин мыкается страдающая булимией Мари-Па, изнывая от

соблазнительных запахов и гоня от себя искусительную мысль, что, пока мать отдыхает, она вполне могла бы безнаказанно полакомиться. К тому же между часом и тремя покупателей никогда не бывает — желающие подкрепиться предпочитают славной фирме "Дюмонсель" лавочки поскромнее, с более доступными ценами.

Мари-Па хватается за пачку "Кэмел" в кармане халата, желая побороть одну тягу другой: заменить наполеоны сигаретами. Вечером перед телевизором она выкуривает по две пачки, чтобы перебить аппетит. Воспитательница в детском саду звала нас с ней "жених и невеста". Хоть она на четыре года старше, но во дворе всегда подходила ко мне. Мы держались за руки, делились друг с другом цветными карандашами, играли в папу и маму, а нашим сыном был вечно копошившийся в песочнице Жан-Ми. Она была красивой девчонкой, пока мать не подавила ее, не в силах смириться с тем, что дочь взрослеет. Она и теперь еще вполне миловидна, хоть ее и разнесло, вполне свежа, несмотря на горькую обиду, которую она топит в калориях и табачном дыме. Возможно, попадись ей хороший человек, тоже солидной комплекции, и теплое отношение потихоньку растопило бы лишний жир. Но от ожирения в Эксе не лечатся, а объявления в отделе знакомств ("девушка 39 лет, 110 кг, не утратившая надежд, ищет серьезного человека такого же веса") ее мамаша ни за что бы не потерпела.

Если бы я мог поправлять волшебной палочкой промахи судьбы... Отыскать бы на улице какого-нибудь симпатичного, добродушного толстяка, привести сюда, заманить в кондитерскую, познакомить парочку... Но слишком концентрироваться на проблемах Мари-Па, пожалуй, опасно — чего доброго, растрачусь до времени. А перед сыном мне надо явиться, вооруженным всеми своими способностями, если таковые окажутся. Очень надеюсь. Ведь это будет первый раз, когда не я один пытаюсь войти в контакт с живыми. Желание Люсьена должно дать мне сил ответить.

Вдруг распахивается дверь и входит... Нет, не упитанный прекрасный принц, а мадемуазель Туссен. Вот про кого я совсем забыл. Да и она после похорон оставила меня в покое.

— Добрый день, милочка, — говорит она елейным голоском.

— О, здравствуйте, мадемуазель Туссен, — живо отзывается Мари-Па. — Вы редко заходите в такое время. Что прикажете?

— Ничего. Я хотела с вами поговорить.

Старая дева наклоняется над горой ром-баб и бесцеремонно хватает за руки трепещущую кондитершу.

— Давайте откровенно. У вас есть любовник?

Мари-Па, давно привыкшая к материнским допросам, даже не удивляется, а только опускает глаза, мотает головой и пожимает плечами:

— Да нет.

Туссен энергично встряхивает ее руки.

— Послушайте меня — отчаиваться рано. Что сказал бы ваш отец, он так гордился вами!

— Я посвятила себя Иисусу, — смиренно лепечет Мари-Па.

— Ему это не больно надо. Разве вы не хотите иметь ребенка?

— О-о... — Мари-Па душераздирающе вздыхает.

— Сорок лет — пора бы пошевелиться, детка! Нечего надеяться на Святой Дух.

— Тридцать девять, — застенчиво поправляет моя бывшая "невеста".

— Тем более!

— Но для этого нужна пара...

— Отлично. Я вас записываю.

Туссен решительно щиплет девушку за пухлую ручку и топает к выходу, попирая старинный паркет своими ботинищами. Стеклянные витрины трясутся от ее шагов. Я ничего не понял. Мари-Па тоже. Она застыла, глядя на дверь и машинально запустив руку в пирожные на подносе.

Я догнал буддистку на углу у казино. Она в раздумье остановилась около дома Дюмонселей, бордового с белыми щипцами особняка — по этажу на братьев и сестру, а самый верхний — маменькин. Как раз в этот момент Одиль распахивает окно в спальне Жана-Ми, чтобы поскорей его добудиться. Она не в духе и толкает створку с такой силой, что от стены отлетает кусок штукатурки. Туссен, глядя на нее, ухмыльнулась было, но тут же с сомнением поджала губы. Топая, как слон, она двинулась по Женевской к вокзалу, на ходу ставя галочки в своем списке. Приближаться к ней настолько, чтобы ухватить ее мысли, я все же опасаюсь, поэтому слежу, оставаясь поодаль. Дойдя вдоль путей до переезда, она направляется к домику стрелочника, где живет Альфонс. Он занят тем, что стирает иней с листьев пластмассовой герани, макая кисточку в теплую воду.

— Эй, Озерэ, — приступает к нему Туссен, — я в этом году задумала развести тюльпаны, заказала луковиц на сто квадратных метров, когда их надо сажать в грунт?

— Да зачем тебе сажать: одна вода для поливки обойдется в копеечку, уж луку-то купила бы сколько надо на рынке, — ворчит Альфонс. Они с Туссен знакомы шесть десятков лет, и на "вы" он с ней только в магазине.

Дружески похлопав его по плечу, Туссен уточняет, что говорила о тюльпанах, журит за рассеянность и без всякого перехода сообщает, что он мог бы составить счастье какой-нибудь женщины.

— Мне и так неплохо, — отвечает Альфонс.

Тон у него непривычно хмурый. Скорее всего, его расстроил Люсьен. Он, наверно, уже видел, как сидит рядом с мальчуганом за столиком, вопрошает горчичный стаканчик и покрывает своим ровным почерком прилежного ученика листок за листком, записывая мои щедрые откровения об ангелах небесных, о моей маме, Ламартине и Жюли Шарль.

— В одиночку вертеть стакан не получается, — вслух жалуется он.

— А о женитьбе ты не думал? — гнет свое Туссен.

Альфонс пожимает плечами.

— Где ты найдешь такую женщину, которая была бы изящна, как тюльпан, и с дырявыми легкими, но которой хватило бы на мой век, чтобы не сидеть тоскливо на скамейке, откуда мы когда-то любовались озером вдвоем? Любовь — дело такое! Но не буду тебе докучать, это не по твоей части, — добавил он смягчаясь.

— Знаешь, — говорит Туссен, потупясь на кончики своих "луноходов", — я ведь уже не девушка.

— Прости, — смущенно отводит глаза Альфонс.

— Да ты тут ни при чем, — с затаенным сожалением вздыхает Туссен.

Он снова осторожно смотрит ей в лицо.

— Ладно, — она хлопает в ладоши у него перед носом, возвращая разговор в нужное русло. — Что сделано, то сделано, а что нет, то нет.

Буду говорить прямо, не люблю ходить вокруг да около – ты ведь меня знаешь.

– Ну да, – подняв бровь, хмыкает Альфонс.

– Так вот, хочешь жениться на молодой Дюмонсель?

– На ком? – ужасается он. – На Мари-Па?

– Она мечтает иметь ребенка, в ее возрасте это нормально, но ее замкнуло на образе отца, поэтому ей нравятся только пожилые мужчины. Так вперед! Я знаю, что она от тебя без ума.

– Да на что она мне? – отпирается Альфонс. – И потом, она ведь не страдает легкими.

– Ну, за этим дело не станет – она столько курит! Ну же, Альфонс! Решайся! Ты отлично воспитал четверых чужих детей, и что это тебе дало? Только неблагодарность и унижения. И эти Лормо продолжают бессовестно тебя эксплуатировать.

– Неправда! – возмутился Альфонс.

– Для тебя, конечно, это благо, потому что ты один-одинешенек. Но надо же шевелиться! Ты красивый, еще полный сил мужчина. И я знаю, как тебе хочется стать отцом.

– В моем-то возрасте? – обороняется он.

– Такое бывало. Подумай: прелестный малыш, твой и ничей больше, такой же забавный, каким был маленький Жак, то-то была бы радость на старости лет, а?

– Нет, – говорит Альфонс, протирая последний лист, – брось ты эти затеи, Тереза! От твоих забот чувствуешь себя как на больничной койке. И вообще, даже если допустить, что это возможно: Мари-Па, ребенок от нее и все прочее... как ты себе представляешь, я буду изо дня в день выносить такую свекровушку? Не для того я, благодаря поэзии, дожил до своих лет, чтобы под конец увязнуть в человеческой глупости. А Жанна-Мари раньше своих детей не умрет – можешь мне поверить. Норов не даст. Ну, мне пора, до свидания, перерыв кончается.

Альфонс запирает свой домик и уходит, а Туссен еще долго обескураженно смотрит, как удаляется худощавая фигура, раскланивающаяся по пути с каждым встречным. Потом достает листок и вычеркивает две строчки. На мгновение ее ручка замирает, потом, разрывая бумагу, царапает какое-то имя. Чье именно, мне не видно, впрочем, я и так уже потерял с ней сегодня немало времени. Может, у нее новая идея: реинкарнировать меня, как пересаживают растение из горшка в горшок, – мне-то что, пусть себе тешится.

Взлетаю над "Парк-отелем", башней из тонированного стекла, которая торчит на месте бывшего городского сада, где я учился ходить. С птичьего полета вид у города малопривлекательный. Это мой первый полет, и я еще плохо ориентируюсь, но диссонанс между черепичными, разных цветов, кровлями, вычурными куполами устаревших дворцов и примитивными бетонными коробками с безобразными, до жути плоскими крышами и щетиной труб прямо-таки режет глаз, сверху это куда хуже, чем снизу. Не мешало бы проектировщикам подумать и о мертвых!

Опускаюсь на паперть церкви Пресвятой Богородицы, с непривычки это получилось довольно неловко: меня слегка мутит, как будто кружится голова. Проникаю в храм и, дожидаясь, не явится ли наш приятель полицейский погасить свой долг, перебираю молитвы. Народу много, сейчас самое время: верующие пациенты после утренних

процедур и тихого часа приходят поставить свечку для усиления действия лечебных грязей. Пятифранковые монетки гулко падают в кружки соответствующего святого. Заступник пребывающих в чистилище душ, похоже, никого не интересует. Скуки ради подслушиваю грешки, вполголоса перечисляемые в исповедальне. Кюре отпускает их, зевая.

Гийома что-то нет. Возможно, он задержался на учениях или на задании. Мне не очень-то нужны его двести франков, но было бы жаль, если бы он пожадничал. Слово есть слово, Люсьен ему поверил, и он не имеет права обманывать малыша. Не желая разочаровываться до конца, переношусь в гараж Тортоцца. Условленный час еще не наступил, но лучше я подожду на месте. Освоюсь с обстановкой, в которой мне предстоит, так сказать, дебютировать в роли духа.

Люсьен точно так же изнывает от волнения в полукилометре от меня, сидя дома за суперкалорийным ужином, который мама приготовила ему, искупая свое отсутствие в обед. Горячий шоколад, вафли с черникой, блинчики с каштановым кремом. А перекармливать-то его ни к чему. Еще заснет над стаканом... Фабьена спросила, приходил ли полицейский. Люсьен рассказал про сделку. С заколотыми на затылке волосами Фабьена сразу помолодела и стала похожа не на мать, а на старшую сестру своего сына. Она позвала его в кино на шесть часов. В "Рексе" снова крутят "Бродягу и красотку", мой любимый фильм, мы смотрели его два раза все втроем, и при других обстоятельствах меня бы очень тронуло это предложение. Люсьен сказал спасибо, но он должен идти к Ксавье Тортоцца заниматься географией. Нет так нет.

Без четверти шесть с бьющимся сердцем мой сын берет портфель, где лежит только стаканчик, лист крафта да еще на всякий случай "Знаешь ли ты Францию?". Но Фабьена уже ушла в кино.

— Соболезную, мадам Лормо, — говорит кассирша.

— Благодарю вас, один билет.

В глубине гаража, где горит лампочка "Запасный выход", около сливной ямы, сделали две подставки из покрышек и положили сверху три доски. От глаз мадам Тортоцца, обслуживающей бензоколонку по ту сторону запертых решеток мастерской, спиритов закрывал ряд грузовиков с опрокинутыми кабинами. В торжественном молчании Люсьен развернул лист и поставил в центр горчичный стаканчик вверх дном. Все уселись вокруг импровизированного стола на табуретках. Марко щелкнул пальцами. Самба выдувает пузыри из жвачки. Ксавье Тортоцца зажег свечку и тоном знатока сказал:

— Так им комфортнее.

В заднюю дверь вбежал запыхавшийся Жан-Мари Дюмонсель.

— Пацаны, опоздал! — выпалил он, протирая запотевшие толстые очки. — У меня дома напряг: дядя надрался в муниципальном совете и всыпал тетке, потому что на нее наорала бабка, из-за того что она сожрала наполеоны, заказ барона Трибу...

— Не грузись, не в школе, — обрывает его Марко. — Выкинь всю эту муть из башки, вали сюда и сиди тихо.

Жан-Мари послушно садится и глядит на стакан.

— Кто никогда не занимался спиритизмом? — спрашивает Тортоцца.

Жан-Мари украдкой озирается — все сидят с умным видом. Он робко поднимает палец.

— Вот наказание! — вздыхает Марко. — Люсьен, расскажи этому олуху.

Люсьен единым духом выдает технические сведения, которые почерпнул у Альфонса, небрежно перечисляя имена и книги.

— А что это за Ламартина? — спрашивает Самба.

— Дикарь есть дикарь! — фыркает Марко.

— Я родился в Верхней Савойе! — обижается Самба.

— Вот я и говорю. Не Ламартина, а Ламартин, это тебе не телка какая-нибудь, а поэт.

— Подумаешь! Что у нас, поэтов, что ли, нет! Это в Нижней Савойе...

— Что-что?! А ну повтори!

— Не цапайтесь, — вмешивается Тортоцца. — А то духи обидятся и не отзовутся.

Савояры враждующих штатов моментально успокаиваются и временно откладывают войну. Люсьен с замиранием сердца прикасается указательным пальцем к краю стакана. То же самое делают остальные. Повисает тишина, слышен только гул включающегося каждые пять минут вентилятора.

— Есть тут кто-нибудь? — до жути важным голосом вопрошает Тортоцца.

Напыжась, концентрирую всю волю на стакане.

— Кто будет толкать, по шеям накостыляю! — предупреждает Марко.

Стакан не двигается.

— Пусть разогреется, — говорит Тортоцца.

— Думайте все о моем отце, — шепчет Люсьен.

— А я его не знал, — говорит Самба.

— Высокий такой, спортивный, волосы как у Люсьена, большой приколист, — описывает Марко. — Клевый мужик.

— Ясно, — кивает Самба и настраивается по этому портрету-роботу.

Со стороны заваленного пустыми канистрами от масла стола в дальнем углу раздается скрип. Люсьен вздрагивает, стакан качается.

— Папа, это ты?

Всей силой мысли пихаю стакан. Это все-таки не кровать. Ребята, не дыша и вытянув руки, не сводят глаз со сдвинутых пальцев. Даже вентилятор затих.

— Ты меня слышишь, папа?

Стакан вдруг срывается с места и скользит к слову "да".

— Класс! — вскрикивает сын Жана-Гю и замирает с открытым ртом.

Я и сам поражен. Волна неудержимой радости захлестывает меня, сметает все внутренние преграды. Давай, малыш, еще вопрос!

— Где ты сейчас? — сдавленным голосом спрашивает Люсьен.

Как ему объяснить? Пока я подыскиваю слова и примериваюсь к буквам на бумаге, вмешивается Тортоцца:

— Это слишком трудно. Не спеши, сначала спрашивай просто "да" или "нет", иначе он не поймет.

— Мой папа был не такой уж тупой! — вскидывается Люсьен.

— Не лезь! — говорит Марко. — Делай как чувствуешь, Люсьен.

Тишину снова нарушает скрип. Люсьен настороженно косится в угол и снова обращается ко мне. С большим трудом он выговаривает то, что мучает его больше всего:

— Ты в раю?

Врать не хочется, но стакан помимо моей воли описывает круг на месте и снова показывает "да". Люсьен испытывает огромное облегче-

ние, и я радуюсь за него. Выходит, я не так уж соврал: возможность говорить – это и есть рай.

– Ты не сердишься, что я продал картину с кутежом в Кларафоне?

Он еще не договорил, а я уже ответил "нет". Престиж моего сына растет с каждой минутой.

– Тебе хорошо?

Снова "да". Стакан перемещается все быстрее и увереннее. Главное – наловчиться.

– Можно я тоже спрошу? – просит Самба.

Марко смотрит на Люсьена, тот кивает.

– Скажите, месье, там, в раю, много народу из Верхней Савойи?

Жан-Мари прыскает в воротник свитера. Я делаю петлю и возвращаюсь – "да"! Долой расизм.

– Вот видишь! – Самба торжествующе поворачивается к Марко.

– Везде нужны рабы, – бесстрастно замечает Марко. – Давай дальше, Люсьен.

Люсьен колеблется. Я пытаюсь угадать, что он хочет спросить, но у него в голове теснится слишком много вопросов, он не знает, какой лучше выбрать.

– Ты бываешь рядом со мной, когда я играю в Донки Конга у себя в комнате?

Конечно "да".

– Ксавье, пора делать уроки! – кричит Тортоцца-мама с бензоколонки, перекрывая шум отъезжающего автомобиля.

– Сейчас иду! – отзывается Ксавье.

– Еще один вопросик! – умоляет Жан-Мари.

Люсьен закидывает голову и закрывает глаза, чтобы сильнее чувствовать мое присутствие.

– Папа, ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?

Вот задачка... Сказать, что я его люблю, – не хочется ставить малыша в неловкое положение перед товарищами. Придумать бы что-нибудь такое, чтобы у него не оставалось сомнений, что он разговаривал со мной, упомянуть какой-нибудь нам одним известный секрет... Я уж было собрался поблагодарить его за то, что он забрал в свою комнату мои машинки, и мысленно нацелился на букву "С", но вдруг стакан рванулся в другую сторону и остановился на букве "Ш". Промашка. Как теперь зачеркнуть? Ладно, поехали дальше, пусть будет "шпасибо", Люсьен поймет и так. Я прицелился на "П", но попал на "О". Неловкость или я разучился писать? Вместо "А" получилось "Л". А дальше стакан понесло. Он метался по бумаге кругами и зигзагами, сбрасывая на виражах детские пальцы и полностью выйдя из-под моего контроля. Тортоцца выкрикивает буквы, Самба быстро записывает. Передо мной все затуманилось и завертелось колесом. Очнулся я только тогда, когда стакан остановился. Застыл на букве "Л".

– Ничего себе задал жару твой родитель! – восхищается, утирая пот со лба, Тортоцца. – Ну, что там получилось?

Самба, прикусив губу, пустил листок по рукам. На нем написано:

"Шол бы ты на хрен, дебил".

Приятели Люсьена скрючились от хохота, он же побелел как полотно. Ничего не понимаю. Кто это сделал? Стакан летал слишком быстро, чтобы допустить, что это подстроил кто-нибудь из ребят. Остается предположить, что вместо меня стаканом завладел другой дух... Но чей?

Люсьен вскочил, опрокинув табуретку, и под дружный смех бросился вон из гаража. Постой, малыш, это ошибка, это был не я...

— Придурок! — сказал Марко стаканчику из-под горчицы и щелчком скинул его на пол. Стаканчик разбился.

— Вдобавок с ошибкой, — заметил Самба, указывая пальцем на "шОл".

Люсьен мчался через уставленную битыми автомобилями площадку. Стой, мой мальчик, остановись, прошу тебя, неужели ты думаешь, что я мог так унизить тебя перед друзьями, ты же меня знаешь...

— Сволочь! — вопил он, задрав голову к небу. — Чтоб ты сдох!

Ногой распахнул калитку автосервиса и припустил по улице. Он с такой силой отпихнул меня, что я как приклеенный остался висеть над развалюхами. Да и что толку бежать за ним, раз он меня не слышит и никогда больше не пожелает говорить со мной.

За несколько секунд я познал ад.

— Приглашаем всех желающих отправиться на морскую прогулку к водопадам! В одиннадцать часов на Оленьем острове подводная экскурсия под руководством Филиппа, а на острове Манжени пикник с шампанским! Вечером мавританский буфет в ресторане "Пайот" и конкурс креольских танцев вокруг бассейна!

Не исключено, что я навсегда останусь в этом чужом мире, где меня никто не знает, где у меня нет вех, нет резонанса и ассоциаций, затеряюсь в толпе приехавших бездумно погреться на солнышке отдыхающих. Стать привидением в гостинице на берегу Индийского океана — не худший способ провести вечность. Тут у всех хорошее настроение, контингент часто меняется, а веселая суета на меня не распространяется. Пройдет время, и муки совести, страдания от малодушия и бессилия станут подобны набегающим издалека и разбивающимся о коралловый барьер волнам. Может быть, облюбую себе номер 2642, где живет Доминик Руа, служащая фирмы "Куони", и останусь здесь, когда она уже уедет. На этот раз я мертв окончательно. "Чтоб ты сдох!" — крикнул мне мой сын, и я повиновался.

Днем Наила с Доминик слишком заняты, чтобы думать обо мне, поддерживая мое стабильное существование. И я распыляюсь. Они взлетают над лагуной на бипланах, огибают рифы на водных лыжах, лавируют между купальщиками на доске с парусом, ныряют, ходят то на теннисные корты, то в сауну, обходят в обед все пять гостиничных ресторанов и пробуют по блюду в каждом, определяют по степени загара курортный стаж постояльцев — словом, набираются опыта и знаний, чтобы по возвращении во Францию дать своим клиентам исчерпывающую информацию.

На островочке Манжени они устроились за столиком под кокосовыми пальмами у самой воды, ветер сдувает с коленей желтую скатерть, на свободные места присоседились двое голландских туристов — судя по остывшей красноте кожи, стаж две недели — и навязываются в кавалеры. Спасибо, не надо. Но те с тяжеловесным юмором настаивают.

Без всякого стыда я подглядываю за пляжными романами, в то время как мой сын взбешен до слез, жена в депрессии, а отец исполняет мои обязанности. Со временем все само уляжется. Я больше ни во что не вмешиваюсь, я перестал считать себя необходимым. Кажется, мой дух начинает распадаться, и это даже приятно. С самого вторника мне

было отказано в сне, и вот сейчас, здесь, на пляже, он настигает меня, я даже чувствую тепло, жар...

Пожалуй, даже слишком сильный. Сквозь жужжанье моторных лодок пробивается еще какой-то треск. Лагуна подернулась языками пламени, небо сморщилось, купальщиков, соломенные хижины заволокло дымом... Пожар! Меня втянуло во двор нашего дома. И, как только глаза немного привыкли к темноте, я понял почему. Люсьен в пижаме бегал вокруг пылающего посреди двора костра, поливал ректификатом из бутылки скатанные в комок тряпки и швырял их в огонь. Костер был сложен из моих картин — он выкинул их все сверху, из окна. Съеживаясь, истекая краской, горели холсты, трещали и взметали фонтаны искр сосновые рамы. На улице одни за другими распахиваются ставни, раздаются крики. Фабьена, встрепанная, в моем черно-белом тренировочном выскочила из прицепа и стоит, шатаясь от снотворного. Люсьен, эй, Люсьен! Не лей спирт в огонь, слышишь! У него кончились тряпки, и он уже размахнулся, чтобы ливануть прямо из бутылки, не соображая, что струя загорится и пламя перекинется на него самого. Остановись! Фабьена подумала то же, что я, и с криком бросилась к сыну. К счастью, в костер летит вся бутылка — мгновенный взрыв огненного шара, фейерверк, и все.

— Люсьен, ты с ума сошел, прекрати!

Крупная искра залетела в контейнер с картоном, который тут же вспыхнул. Со стороны водолечебницы послышался вой пожарной сирены. Люсьен увернулся от матери, перелез через задние ворота и спрыгнул на улицу.

— Люсьен, малыш! Куда ты! Вернись!

Но он бежит, дрожа от слез и возбуждения. Фабьена схватила ключи от ворот и открыла их как раз в ту минуту, когда из подъехавшей пожарной машины посыпались пожарники с огнетушителями. Растолкав их, она бросилась вдогонку за Люсьеном. Он уже перебежал через площадь Ревар и помчался по улице Шамбери к полицейскому управлению.

Во дворе лежала груда углей, припорошенных белым пеплом, — все, что осталось от пятнадцати лет моих художественных упражнений.

Фабьена догнала Люсьена на углу улицы Трессерв, затащила в первый попавшийся бар и, растолкав проституток и их клиентов, пробилась к стойке.

— Эй-эй, дамочка, несовершеннолетним вход воспрещен...

— Дайте быстро грогу и что-нибудь укрыться!

Она сажает Люсьена под красным балдахином около батареи, хлопает по щекам и растирает спину и руки. Мальчишка сидит бледный, неподвижный, уставившись в одну точку. Девицы в высоких сапогах и мини-юбках укутывают его в меха, приносят тазик с горячей водой и уксусом, чтобы согреть ноги, наперебой вспоминают домашние средства: фиалковая настойка, имбирный корень, зубчик чеснока, мелиссовая вода... Фабьена пробует на безучастном Люсьене все подряд, а недовольные клиенты уходят в другой бар.

— Ну вот, наш чижик порозовел, — радуется Флорида из Марселя, она здорово раздалась с тех пор, как мне было двадцать лет.

— Немудрено, ты засунула его ноги в кипяток! — возмущается пышная мулатка, которой в мои времена не было.

— Дайте же ему, бедняжке, вздохнуть! — вмешивается хозяйка. — Что стряслось, почему он в такую холодину бегает по улице в одной пижаме? Боже мой, да это же мадам Лормо! Мы с вами виделись в магазине. Я так сочувствую вам, дорогая! Тогда понятно — такое потрясение для малыша.

— Мне нужен Гийом, — бормочет Люсьен, еле шевеля синими губами.

Девицы, расступившиеся, чтобы дать ему воздуху, снова сбились в кружок, предлагая свою помощь: каждая хоть одного Гийома да знала.

— Это полицейский, из казармы напротив, — вздыхает Фабьена.

— Господи, да зачем он ему понадобился? — с тревогой спрашивает Флорида.

— Не знаю я, — стонет моя жена. Она никак не отдышится после бега, но ее уже снова одолевает снотворное. — Он ему продал картину отца, а потом, ума не приложу, что на него нашло, спалил все остальные. Теперь, может, собирается поджечь полицию. Не могу... не могу я больше...

Она уронила голову на руки. Хозяйка щелкает пальцами — подают бутылку коньяка и сахарницу.

— Ну-ка, милочка, выпейте залпом, а малышу сахарку с коньяком!

— Нельзя ли лучше кофе? Я приняла три таблетки лексомила...

— Простите, — вступает в разговор дородная блондинка, — это не вы были когда-то второй после меня на конкурсе красоты? Я Мирей Пернель, "Мисс Рюмийи—86"...

— Я.

И тут начались чудеса. Фабьена плюнула на приличия и стала такой, какой была до меня, снова окунулась в атмосферу конкурсов и фотосъемок, вспоминая об их лихорадочном веселье и забыв об ожесточенном соперничестве, обидах, уязвленном самолюбии — теперь все это казалось такими пустяками. Мирей Пернель почти сделала карьеру. Это ее рука в рекламе минеральной воды Перье сладострастно оглаживала бутылку, пока пенящаяся струя не вышибала крышку — а потом этот клип запретили как оскорбляющий нравственность.

— Ну и пришлось мне из Парижа опять возвращаться сюда... Так что же вдруг парнишке вздумалось куролесить?

Люсьен, завернутый в три лисьих боа, пончо и мохеровый плед, в чепчике с черными перьями, стиснутый шестью парами налитых женских грудей и напичканный сахаром с коньяком, начинает соотносить масштабы реальных проблем, так что обида на горчичный стаканчик и сожжение картин становятся на одну доску с подвигами гориллы и битвой летучих мышей с банановыми гроздьями. Он внятно рассказывает слушательницам о спиритическом сеансе в гараже Тортоцца.

— Сумасшедший! — ужасается мулатка с Антильских островов и трижды осеняет себя крестом. — Мертвые — это же табу, если ты не "воду"!

— И потом, тебя же просто надули! Кто-то из твоих приятелей подталкивал стакан пальцем, вот и все. А твой папа, святая душа, ни при чем! Одно слово — надувательство.

— Я тоже, — говорит Флорида, — когда-то пыталась крутить стол и вызывать месье Жермена, если кто помнит такого... Ну и... то же самое, попался какой-то шкодливый дух и давай ругаться... я его, конечно, тоже послала куда подальше. Сам-то месье Жермен был учтивее некуда. Если хочешь знать мое мнение, чижик, никакие это не духи говорят через стакан, а так, мелкие оболтусы, вроде тех чокнутых, что базарят на ули-

це. Что на том свете, что на этом — недоумков везде хватает. Небось один такой и валяет дурака. В чем дело, что я такого сказала?

Девицы подозрительно уставились на Фабьену, которая прямо-таки корчилась со смеху.

— Ничего-ничего, простите, я не над вами, — еле выговорила она, — просто в кои-то веки Жаку досталось... Всю жизнь морочил людей своими дурацкими розыгрышами, а тут сам напоролся. Прости, малыш, — она притянула к себе мордашку Люсьена и поцеловала, — но ты же видишь — это такие пустяки. Я очень люблю твоего папу и уверена: если он нас сейчас видит, то тоже смеется.

— Но я сжег его картины! — ужасается Люсьен.

— Он напишет другие, — утешает его мулатка. — Увидишь его во сне — скажи "я тебя люблю", и он будет посылать тебе по ночам картинки, тебе одному. Вот как надо общаться с мертвыми. Только так.

Парики и кудряшки затряслись в знак согласия. Люсьен улыбнулся. Феям никогда не поздно прилететь и склониться над кроваткой.

Что ж, кажется, тут все в порядке и мое присутствие больше не требуется. По мере того как удаляется сцена, стихают смех и сердечные слова, я словно бы медленно поднимаюсь. На другой небесный уровень...

И вдруг приземляюсь в спальне Одили, полной рывков и стонов. Жан-Ми выполняет супружеский долг. Глаза у мужа и жены закрыты, и Одиль с такой силой взывает ко мне, что меня буквально прибивает к изножью кровати и я вынужден наблюдать их любовь. Только было снизошедший в душу мир испаряется под напором грубой плоти от одной мысли о том, что я, по милости нашей кассирши, обречен целую вечность, ad vitam aeternam, быть виртуальным участником ее любовных утех.

— Жак!

Я цепенею. Полупрозрачная белая фигура по ту сторону кровати произнесла мое имя. Взмахом туманного рукава она указывает на вспотевшего от усердия Жана-Ми.

— Он думает обо мне все десять лет, чуть ли не каждый раз. А она часто звала тебя. Пока ты был жив, проступали только детали: глаза, зажатая в руке кисть...

— Сара, ты?!

— Ты не забыл меня? Но почему-то никогда не звал...

Любовный дуэт набирает силу. Одиль вскрикивает, Жан-Ми шумно дышит. Мы с Сарой при них. От волнения я не могу говорить. Ее же слова воспринимаю как разноцветные импульсы, окрашивающие ее светящийся контур. Сара. Неприступная задавака. Круглая отличница, особенно любила биологию и целыми днями сидела дома над микроскопом. Хорошенькая или нет — мне и в голову не приходило оценивать с этой точки зрения столь недосягаемое светило. А Жан-Ми, судя по всему, оценил. После окончания школы Сара уехала в Париж и там нахватала каких-то умопомрачительных дипломов — так рассказывала нам ее мать, с конца весны до начала осени торговавшая в парке мороженым. Потом защитила докторскую по молекулярной биологии и стала директором исследовательского центра при молочной фирме "Жерве — Данон". И, хоть мать хвасталась жалованьем дочки — пятьдесят тысяч франков в месяц, — в городе потешались: стоило кончать университет, чтобы заниматься йогуртами... В Эксе Сара больше не появлялась. У

Дюмонселей, если вдруг заговаривали о ней, называли ее не иначе как "жерведанонкой". Зимой того года, когда я женился, она разбилась на машине. Яркой кометой промелькнула на нашем небосклоне в школьные годы и давно забылась, как множество других в жизни. Может быть, Жан-Ми был единственным, в чьей памяти она еще существовала, единственным, кто мог ее удержать.

— Наконец-то ты тут, наконец есть хоть кто-нибудь! А то я говорю-говорю с ним, а он ничего не слышит, затаскивает в постель, делает свое дело и отсылает назад — вот и все. Послушай меня, Жак, умоляю тебя, послушай! Эволюция началась не с кембрийского взрыва, как все думают, а на три миллиарда лет раньше, в эпоху бактерий. Состав протоплазмы в наших клетках в точности повторяет состав протоокеанов. Я доказала это, все формулы в архивах "Данон" в Сюси-ан-Бри, ячейка номер сто сорок четыре, синяя папка. Ее сдали на хранение не открывая. Скажи им, я никак не могу!

— Сара... Я тоже не могу... Ты первая душа, которую я вижу...

— Ты меня чувствуешь там, внутри?

— Да! — стонет Одиль.

— Жизнь создали бактерии, без них первые растения не смогли бы ассимилировать азот, необходимый для развития животных... Бактерии управляют эволюцией, слышишь, Жак, они создали нас в своих целях: мы должны построить космические ракеты, чтобы распространить бактерии на другие планеты... Я показала это на примере термитов, все лежит в синей папке, но они заглянули только на последнюю страницу — там формула молочного фермента, абсорбирующего токсины... Понимаешь, термиты с помощью своих бактерий пожирают древесину и выделяют метан, который служит для поддержания кислородного насыщения на уровне двадцати одного процента. На пять процентов больше — и все живое бы сгорело, на пять меньше — не могло бы дышать. Я доказала, что бактерии регулируют гомеостаз Земли!

— Я ничего не понимаю, Сара... Ты говоришь слишком быстро...

— Нет времени, они сейчас кончат! Раз ты меня слышишь и видишь, значит, мои бактерии взяли у твоих определенные гены, чтобы восполнить функцию, которой не обладает их ДНК. Точно так же при зарождении Земли они расщепили молекулы воды, чтобы получить водород... Спустя сто миллионов лет они едва не уничтожили сами себя из-за одновременно высвободившегося огромного количества кислорода. Тогда они позаимствовали генетический материал у других микроорганизмов, которые потребляли кислород. Мы — потомки этого слияния. Скажи им все это!

— Сара! Я пытался поговорить со своим сыном, а мое место в стакане занял другой дух, бактерия-паразит. Как ее прогнать?

— Понимаешь, у меня есть доказательство того, что наши бактерии перешли из одного царства природы в другое с помощью управляемой эволюции...

— Так, значит, вот мы кто такие, да? Наша память — скопище бактерий. Бактерии, покинувшие мое тело, это теперь я? Они проникают в мысли других людей, позволяют мне переноситься с места на место, устремляются на зов? Да, Сара? Это они, бактерии, и перевоплощаются, да?

— У меня есть доказательство! Вещества, из которых состоит скелет, были сначала отброшены как отходы. А потом в ходе эволюции

бактерии их приспособили. $H_2O_2 + CO_2 + Ca$. Слышишь? Надо найти в синей папке страницу двадцать пять. Понимаешь?

– Да, Сара.

– Спасибо, Жак, спасибо. Передай это кому-нибудь, кто тебя услышит... сто сорок четвертая ячейка в Сюси-ан-Бри...

– Хорошо, Сара.

– Нет, нет, Жан-Ми, хватит!

– Нет, ты кончишь, ты у меня кончишь!

Кровать сотрясается все сильнее, нас с Сарой бросает друг к другу, и наши мысли, воспоминания сплетаются на ином, не требующем понимания уровне. Чем ближе миг наслаждения, тем полнее сливаемся мы, смешивая страхи и краски – или, может быть, Сара просто бледнеет. На меня обрушивается вся бездонность ее прошлого и нынешнего одиночества, так что я начинаю понимать, какое счастье, что меня тревожат столько оставшихся на земле. А я-то жаловался. Сара уверена, что открыла тайну зарождения живого, и это знание пропадает зря, никому до него и дела нет. Чтобы солидно выглядеть и чтобы никто не мешал заниматься наукой, она уродовала себя, создавала вокруг себя вакуум и преуспела в этой обороне и самоизоляции даже больше, чем хотела. Ее никто не любил, родная мать довольствуется тем, что аккуратно приносит цветы на могилу, незавершенные работы валяются в архиве, и только один-единственный человек иногда воскрешает ее в памяти, разжигая себя в постели.

– Так я рассчитываю на тебя, Жак! Сюси-ан-Бри, сто сорок четвертая ячейка!

Как я могу ей отказать? Жан-Ми с супругой кончили, и я остаюсь один. Сара! Где ты? Сара!

– Кто первый пойдет мыться: ты или я?

– Ты уже встал, ну так иди. Зачем зря спрашивать?

– Что ты цепляешься ко мне на каждом слове?

– Хватит, Жан-Ми! Сколько можно!

– Да катись ты...

Сара нагрузила меня своей болячкой, но сама ничем не помогла мне, ни во что не вникла. Она ничего и не может для меня сделать, так же как я для нее. Однако это только первая проба. Теперь моя душа лишилась невинности, и возможно, в следующий раз я буду действовать более умело...

Слышно, как течет вода, открываются дверцы шкафчика, жужжит механическая зубная щетка, и все.

Я с нетерпеньем поджидаю нового прилива желания у Жана-Ми, но Одиль уже заснула, а он развернул "Экип" и тоже потихоньку проваливается в сон и видит перед собой чьи-то карабкающиеся на гору ноги. Похоже, следующей встречи с Сарой мне придется ждать до завтрашнего вечера. Без помощи Жана-Ми я не могу ухватить ее, как бы интенсивно о ней ни думал.

Что ж, я снова свободен. И снова один. Зову на помощь, но никто не идет. Нет больше сил болтаться на обочине, вот уж буквально между небом и землей. Наверное, я не смог извлечь урок из пройденных испытаний, не смог понять посланные мне знаки. Если так и застряну на опушке, в отстойнике, который питает эротические фантазии и религиозные убеждения, так и буду игрушкой для бредней Туссен и спазмов Одили поочередно, кончу как Сара, но у нее-то есть свои причины тор-

чать у самой границы и биться в стены — она распростилась с телом, не достигнув цели, к которой сводился смысл ее жизни. Я же все завершил. После меня осталось пустое место, и оно уже начинает заполняться, остались раны — они уже заживают, воспоминания — они никого не терзают. Мне можно присоединиться к ушедшим раньше меня, пусть только скажут как. Раз Сара на привязи из-за своих проблем, а мама и предки смотрят, как я тут маюсь, и безмолвствуют, надо найти другого помощника. Общение с мертвыми вполне возможно, теперь-то я знаю, они проявляют себя более или менее ощутимо: от голоса "за сценой", как старушка, которую отпевали вместо меня, до цветоречи Сары. Но они обе желали говорить только о себе, я же должен найти душу, которую интересовал бы именно я, духа, который пытался войти в контакт со мной, еще когда я был жив.

И тут во мне ожило стершееся за годы воспоминание. Может быть, весь путь, который я прошел со вторника, вел меня назад, в май 1989 года... В тот год я сам встретился с духом. Я, конечно, пустил в ход здравый смысл, списал все на свое желание поверить в то, чего на самом деле не было, и мало-помалу начисто забыл. Однако семь лет назад, на берегу Средиземного моря, мне единственный раз была протянута рука из потустороннего мира, к которому я теперь принадлежу... Если розовая вилла еще цела и тогдашняя девушка-призрак — вот кто легко вступал в общение с любым случайно подвернувшимся человеком, — все еще там, то я наверняка найду ход на небо.

Это было наше первое летнее путешествие, Фабьена непременно захотела воспользоваться трейлером, чтобы папа видел, что его свадебный подарок пригодился. Я выбрал наудачу — четырехзвездочный кемпинг в Жуан-ле-Пене. Однако сумасшедшие цены ничем не оправдывались, единственной имевшейся в наличии роскошью были автомобили постояльцев. Я с тревогой замечал, что, помимо нежных словечек и болтовни по поводу кухни, игры в мяч или музыкальных групп, мне в общем-то не о чем говорить с Фабьеной. А тут еще она по сто раз на дню спрашивала: "О чем ты думаешь?" Я думал о холстах и мольберте, оставленных в Эксе, чтобы освободить место для нее. И знал, что она думает о раскаленных летним солнцем опущенных железных шторах на витринах нашего магазина с табличкой "Закрыто на каникулы". Она чувствовала себя такой же неприкаянной без клиентов, как я — без своих кистей. Пожертвовав друг для друга каждый своим индивидуальным счастьем, мы оба были несчастны и составляли гармоничную пару.

Как-то раз я пошел выбросить мусор. Контейнеры стояли в жидком сосняке на дальнем конце пляжа. Меленький белый песок ласкал босые ступни, покалыванье сухих сосновых иголок унимало мигрень, звуки за спиной становились все тише. Я погружался в траву и зелень, как купальщики там, на пляже, в морские волны. Даже птицы смолкали, когда я проходил рядом.

Сосны кончились, пошел подлесок погуще, редкие стволы пальм и эвкалиптов были оплетены жимолостью и плющом, на колючках боярышника остались висеть клочья пластиковых пакетов. Пляжные крики окончательно утонули в населенной странным шуршанием тишине — насекомые и змеи укрылись здесь от толчеи кемпинга. Было что-то успокоительное и затягивающее в этих пышных зарослях, и я шел все глубже. С каждым шагом усиливалось впечатление неожиданных так

близко от пляжного многолюдья джунглей и какой-то неопределенной опасности, и от этого подмывало бежать, позабыв обо всем на свете.

Вдруг на очередном повороте тропинки или, вернее, извилистой просеки в колючих кустах показался увитый плющом дом. Розовая штукатурка выцвела и потрескалась. На обшарпанной террасе стоял старомодный шезлонг с обвисшим от дождей полотняным сиденьем. На подлокотник была надета старая, но целехонькая соломенная шляпа. Плитка на полу потрескалась, паркет рассыпался, двери и черепица с крыши сорваны запасливыми людьми. Посреди гостиной выросла акация. Однако в комнате была и обстановка, как будто упрямый скваттер пытался восстановить в развалинах прежний антураж. Перед камином с выломанной решеткой, где на куче пепла лежали две-три черные головешки, скособочилось вольтеровское кресло. Рядом стоял низкий столик с кипой женских журналов пятидесятых годов. Почти новые бархатные занавеси обрамляли единственное уцелевшее окно.

Я замер под пологом налитых светом листьев, приглядываясь и прислушиваясь в поисках кого-то, чье присутствие было явно ощутимо. Ни одной паутины в этом заброшенном жилище. Разграбить дом могли и неделю назад, навести уют — тоже. Но акации было не меньше десяти лет. Я подошел и хлопнул ладонью по клеенчатой обивке кресла — пыли вылетело самая малость. Неужели кто-то недавно прибирался в этих руинах? Тут мое внимание привлекла полуразрушенная лестница — я явственно слышал нараставшее поскрипывание. И, сколько бы я ни твердил себе, что это деревянные балки рассыхались и трескались под палящими солнечными лучами, рациональное объяснение не сходилось с распиравшим грудь тайным трепетом.

Прижимаясь к перилам, я стал вдоль стенки подниматься по краю ступенек. Какой-то вандал расколотил их кувалдой — из мести или чтобы преградить путь наверх. Я все сильнее ощущал некий *зов*, мягкий, но настоятельный. Перекрывая тяжелый дух гнилого дерева и остывшего пепла, витал нежный аромат духов.

Лестница вела в пустую комнату, где распустила крону акация. В конце коридора со сломанными половицами была дверь, тоже единственная, за ней — спальня с узкой кроватью, покрытой розовым стеганым одеялом. На полированном комоде стоял старый флакон духов без пробки и лежала овальная черепаховая щетка с запутавшимися в ней черными волосами. Я взял щетку, закрыл глаза и глубоко вдохнул, чтобы из дурманящего цветочного запаха возникло видение.

И в тот же миг я ее увидел. В белой до полу рубашке она стояла, прислонясь к стене, и заслоняла лицо локтем. Я ощутил леденящий страх. Не свой — *ее*. На меня нахлынули впечатления: опасность, близость врагов, обыск, разгром, арест... Я открыл глаза — при свете дня наваждение рассеялось. Ни запаха, ни чувства, что здесь кто-то есть. Что-то подталкивало меня поскорее уйти. Словно внутренне внятная просьба, призыв подождать, отложить удовольствие, обещание встречи...

В тот же день Фабьена сильно поранила ногу об острый камень, и вечером мы уехали из Жуан-ле-Пена.

Что ж, я вернусь попросить прощения и предложить свою помощь сегодня. Вдвоем мы приведем дом в полный порядок. Не знаю, кто ты и как тебя зовут, откликаюсь так нескоро, но чувствую, что ты меня ждешь. Зову тебя, как когда-то позвала меня ты, чтобы попытаться спасти обитель, в которой ты затворена. Может быть, если бы я помог тебе

увековечить память о твоем жилище, ты получила бы свободу и была бы вольна отправляться куда угодно и к кому угодно, как я. Ведь я был связан с моими близкими, пока чувствовал, что им меня не хватает, что они растеряны, страдают.

Сосняк на три четверти выгорел. Вилла отстроена, увеличена на один этаж, расширена с трех сторон, перекрашена в желтый цвет. На месте ветхой террасы устроен бассейн с двумя кипарисами по краям. На площадке около лимузина сосредоточенно играют в бадминтон дети. Их мать обрезает розовый куст в глиняной кадке. Отец сидит под квадратным тентом, читает рулончики факсов и носком тапки почесывает комнатную собачку.

Я зову сестру, раньше меня покинувшую мир, черноволосое видение в длинной рубашке. Витаю в кондиционированном воздухе новехоньких, в провансальском стиле интерьеров и предоставляю себя в полное распоряжение потусторонних сил, напрашиваясь в ученики *настоящему* призраку.

И вдруг происходит что-то ужасное. Впервые с тех пор, как расстался с телом, я ощущаю *физическую* боль. Я отвержен с такой неприязненной силой, отринут так энергично, что мое сознание сковывает паралич... *Она* меня гонит. Ей нужны не мертвые, а живые: цепляясь за них, она может оставаться в доме. Всеми силами пытаюсь объяснить, что я с самыми дружескими намерениями, но все напрасно: я вторгся на ее территорию, и она меня атакует, пожирает, как делают пауки, когда впрыскивают в жертву желудочный сок и переваривают ее, прежде чем заглотить. У меня атрофируется представление о собственной личности, утекает память, я уже не могу ни спастись бегством, ни вернуться откуда пришел. "Предоставьте мертвым погребать своих мертвецов..." Нет! Не хочу! Стены и свет исчезают или, не знаю уж, засасывают меня, последняя попытка удержать вышедшее из-под контроля сознание терпит крах... я гасну.

А дальше — некое подобие музыки, туманная дымка, колышущиеся в ней силуэты. Смутное ощущение, что вокруг полно народу, на меня со всех сторон смотрят, за мной наблюдают, меня обступают... И вот я посреди толпы, состоящей из фрагментов лиц, неполных тел, плывущих над парадными платьями улыбок. Ко мне тянутся руки, поднятые бокалы. Вокруг меня струятся, обвиваются, меня ласкают по-земному обольстительные голоса:

— Вы новенький?

— Как самочувствие?

— Бокал шампанского!

— Вы здесь впервые?

Не знаю, кто это, но я видал таких, и я от них уже не раз отделывался. Мимолетные знакомцы, чужие люди, с которыми надо здороваться, которых надо выслушивать, развлекать... Благотворительный концерт, прием в супрефектуре, вернисаж, коктейль в гольф-клубе... Назойливые статисты, являвшиеся красть мое время и силы... Фигуры их становились все отчетливее и реальнее; жадные до свежих душ, они замкнули мой островок покоя в кольцо улыбок, тостов и объятий.

— Чем вы занимаетесь?

— Поведайте о своих замыслах.

— Вы так молодо выглядите!

— Вы, можно сказать, в хороших руках.

Поймали, связали, взяли в плен. Видно, только и ждали момента, чтоб затащить меня в свой круг, в свой ад, в свою общую могилу. Кажется, это прием у Амбер-Аллеров в Шамбери. Разносят печенье и горячие напитки для согрева... Все-все в сборе. Барон Трибу из Общества спортивных игр, доктор Ноллар из водолечебницы, Анжелика Бораневски и президент Рюмийо, члены жюри конкурса "Мисс Савойя", пятеро нотариусов из конторы Сонна... Все по очереди подхватывают меня и кружат в медленном танце, морочат трескучим смехом и жеманными голосами, меняют в угоду мне лица, превращаются в Фабьену и Наилу, в отца и даже в Люсьена — вот он пробирается в толпе, хочет позвать меня... Но это невозможно! Или они с самого начала играли мной? Принимали обличья моих близких, терзали мою память, чтобы разыграть передо мной мою же собственную жизнь в комическом виде?

С самого вторника, с семи утра, они невидимо следили за мной, подглядывали и потешались над моими блужданиями, безумными надеждами, неудачами, внушали мне иллюзии и поджидали, пока я переступлю порог... Умоляю, пусть кто-нибудь из живых, кто меня по-настоящему любит, позовет меня и вернет на землю... но все, все они здесь, хихикают, теснят, душат, пожирают... Боже мой, Боже, избавь меня! Только не этот ад! Сжалься, только не этот... Любой другой.

Исчезли. Зал опустел. Стены растаяли. Может, это было страшное видение, одно из тех, что предрекала мадемуазель Туссен, материализация того, чего я всегда избегал... Простое предостережение. Я понял. Отныне и близко не подойду ни к какому духу. Никого не стану разыскивать: ни маму, ни бабушку с дедушкой, ни призрак из Жуан-ле-Пена. Останусь в предписанных мне рамках и не буду взламывать запретные двери. Закончу свою миссию на земле. Если она у меня есть. Пусть это будет самая ничтожная услуга или просто взгляд, эхо мысли, иллюзия близости...

Цветут каштаны — пять месяцев прошло без меня. Где я был, в каком временном измерении? Мне кажется, прошел только миг, да и во мне никаких изменений. Как ни досадно, никаких. Я вернулся в исходную точку, в мой зал ожидания, в трейлер. И уж на этот раз по собственной воле я отсюда не выйду.

Пожалуйста, располагайте мной. Пользуйтесь кому надо. Увиливать я больше не стану.

Фабьена продала мой трейлер. Пане пришлось долго настаивать, сначала мягко, потом тверже, чтобы она решилась поместить объявление. Альфонс, Люсьен, врач — все уговаривали ее... Нельзя было и дальше жить так, как она жила, против времени, часами сидеть у окна и ждать, как будто я сейчас закончу картину, вылезу из своей берлоги и вернусь к ней. Нельзя было и дальше так любить меня. Это могло стоить ей здоровья.

Переговоры с покупателями взял на себя отец. Фабьена закрыла ставни, чтобы не видеть, как посторонние люди ходят по двору. Она поставила условие: трейлер продается со всей обстановкой, *как есть*, чтобы от моей жизни без нее под ее окном не осталось ни следа, ни тревожащего душу намека. Это был единственный способ избавиться от нервной депрессии, в которой она увязала. Какое счастье, что при вас ваш свекор, повторял доктор Мейлан, очень милый, но совсем мо-

лодой. Фабьена его понимала. Помолодевший на десяток лет отец поселился в гостевой комнате, окружил ее вниманием, и мало-помалу из старшего в семье превратился в мужчину в доме. И утвердился в этой роли, когда сбагрил трейлер и окончательно выпроводил Альфонса на пенсию, сославшись на сложности с налоговой инспекцией. Теперь он один был живой памятью обо мне.

Помню, что я испытывал, когда в Люсьене года в два или три проявилось сходство со мной. Как странно было видеть в зеркале его черты. Вот и сейчас мне так же не по себе. Папа носит мою одежду. Он похудел, подтянулся, подкрасил волосы и ждет своего часа. Фабьена же не знает, как себя вести, как не слишком жестоко дать понять, что его надежды несбыточны, как отказать, не причиняя боли. Да он и не спрашивает, а потому у нее нет случая сказать "нет". Время работает на него, он становится необходимым, и постепенно Фабьена к нему привязывается, из жалости принимает его любовь. С Люсьеном у него тоже наладились отличные отношения: он играет с ним в видеоигры, изучает информатику, чтобы не отстать от внука, подключает его к Интернету — словом, заменяет меня, как может. Для Фабьены это очень важно. Она видела на моем примере, что получается, когда ребенку прививают культ умершего родителя. Только Одиль без конца поминает меня в магазине: "Жак всегда расставлял косилки на левой стороне витрины, рядом с автосекаторами". Но кто же слушает Одиль? Мой опыт и привычки тонут в стрекотании ее кассы.

Однажды утром трейлер покинул наш двор, прицепленный к зеленому "пежо", и я уехал вместе с ним. Хозяева — пара из Изера, им лет по сорок, двое детей.

Возможно, это начало нового небытия.

Муж шпарит по левой полосе, семафорит фарами, подрезает тех, кто не дает себя обогнать, сигналит и ругается. У него шестнадцать цилиндров, пусть это знают все! А под сиденьем на всякий случай дубинка. Жена от страха съежилась, закрыла глаза и судорожно сжала кулаки. Семейство едет отдыхать.

На заднем сиденье дочь, девчушка лет пятнадцати, нахохлившись, упивалась своей несчастной любовью и голосом Майкла Джексона из наушников. Сын же ничего не делал. Ничего не говорил. И смотрел в одну точку. Трейлер трясся и болтался на ста сорока в час и поспевал как мог.

Место стоянки выбрали у ручья, между взбирающимся по склону виноградником и тенистым черешневым садом. Предполагалось, что дети будут спать в палатке, но Фредерик забрался в домик на колесах и не захотел вылезать. А когда у Фредерика появляется какое-нибудь желание, ему не перечат. В палатку пришлось втискиваться родителям.

Ванесса тоже полюбила трейлер, это крошечное помещение с постоянно меняющимися за окнами видами, которое она быстро колонизировала, наполнив картинками и любимыми песенками, сумбурными снами, припадками веселья и мрачности. Трейлер обрел новую жизнь, и я все больше в нее вовлекаюсь. Сколько же времени я буду прикован к этому металлическому домику? Или только ржавчина откроет мне путь в вечность?

Мне нравится следовать за Ванессой. Парень, о котором она лила

слезы в начале поездки, давно забыт. Она гоняет на своем велике по окрестным деревням и дразнит местных ребят джинсовыми шортиками с бахромой и свободно колышущейся под майкой грудью. Часами точит лясы, сидя под вязами у колонки, а над головой у нее чиркают выпархивающие из-под черепичных крыш ласточки. Почти каждую ночь она тащит меня на танцы куда-нибудь на деревенскую площадь, к стенам старого замка, на площадку с фонариками под платанами или около бассейна на плохонькой вилле. Каждый раз флиртует направо и налево, разжигает пятерых-шестерых кавалеров, разрешая им самое большее пощупать груди, и всегда возвращается одна. Я у нее, получается, за дуэнью.

В трейлер она влезает бесшумно, держа в руке кроссовки, в темноте целует крепко спящего брата, раздевается и укладывается голышом на банкетке в моем "гостином углу", превращенной в дополнительное спальное место. Мою кровать занимает Фредерик, но я сплю с Ванессой. Ее мысли и сны расплывчаты, изменчивы, сбивчивы. Я начинаю привыкать к ее девичьей памяти: то, что волнует ее сию минуту, через час выветривается из головы. Я дремлю, когда она скучает, просыпаюсь вместе с ее руками, засыпаю, когда она утомляется. Мне хорошо. Наконец-то можно отдохнуть.

Не думаю, что Ванесса меня как-то воспринимает. Но она не дала матери освободить шкафчики, забитые моими художественными принадлежностями. Ей приятно спать в жилище незнакомого мужчины. В объяснение того, почему трейлер продавался со всей обстановкой, мой отец, чтобы не смутить покупателей, рассказал, будто я бросил жену и удрал на край света с любовницей. И Ванесса из ночи в ночь лепит образ этого беглеца и переносит на него свои мечтанья вырваться на волю. Постепенно ее воображение делает из меня красавца мужчину, который в один прекрасный день встретит ее, Ванессу, и бросит ради нее жену и детей. Я стану знаменитым художником, очень богатым, очень сексуальным. И увековечу ее на своих полотнах, которые будут стоить бешеные деньги. Она зажжет во мне страсть, уйдет от меня, вернется, снова уйдет, я пойму, что не могу без нее жить, буду на коленях просить ее руки, и она снизойдет, и станет моей женой, а потом вдовой, и выпустит духи, носящие мое имя, и будет жить как захочет, и плевать она тогда хотела на предков и на школу, и увезет брата в Америку, и там его вылечат, и больше никто не будет называть его дебилом.

Я действительно полюбил Ванессу, не за недозрелое тельце или изменчивый, как весенняя погода, нрав, а за то, как хорошо она вписывается в мой антураж. Как хозяйничает в трейлере, как повторяет мои жесты: дергает и захлопывает дверцу холодильника, чтобы не трясся; цепляет занавеску душа на защелку круглого окошка; расправляет посудную тряпку на краешке хлебницы... Все эти мелочи умиляют, питают и привязывают меня к ней больше, чем любые мысленные воззвания, любые молитвы... И с братом она обходится так же, как обходился бы я. Фредерик целыми днями вырезает фигурки из комиксов, а она собирает их, наклеивает на большие листы бумаги, точит ему ножницы. Всячески показывает, что понимает смысл этих его занятий, их важность, видит, как красиво получается. Она даже превосходит меня в неуклюжем усердии и психологическом невежестве. Никакого творческого импульса, которым так восхищается сестра, у Фредерика нет — наоборот, он хочет кромсать, разрушать целостность мира, в котором

для него нет места и который он сам отвергает. Наклеенные Ванессой фигурки он вырезает снова, а она и рада: получается, что они делают какое-то общее дело. Мать только вздыхает. Она давно потеряла надежду. Отец и подавно отступился. Он не может даже показать сына людям и никогда не сможет гордиться им, заниматься его образованием, сделать его своим преемником в филиале "Пежо – Южный Гренобль". Трейлер был куплен именно для того, чтобы не видеть больше в гостиницах замешательства и жалости других постояльцев. Вот кончится лето, и он поместит Фредерика в интернат для аутичных детей, там он будет среди таких же, как он сам, и перестанет отравлять жизнь нормальным людям. Ванесса еще ничего не знает. Она, конечно, будет против, разбушуется, но это пройдет. Купят ей собаку.

Я прожил в моей новой семье уже, наверное, недели две. За это время парни из окрестных деревень всерьез обозлились на динамистку Ванессу. Я чую, как сгущаются тучи, Ванесса же ничего не видит или, может быть, бессознательно провоцирует опасность, лишь бы случилось хоть что-нибудь. Ножницы брата, бесцеремонно взрезающие упорядоченную жизнь окружающих, воздействуют на нее гораздо сильнее, чем моя блеклая тень, о которой она больше не думает.

И вот однажды ночью, после очередной танцульки под фонариками, где она забавлялась по своему обыкновению, трое на мотоциклах догнали ее на выезде из деревни, сбросили с велосипеда и потащили в траву. И снова, как в тот раз, когда пытался вступиться за Люсьена, я исходил яростью от бессилия и вынужден был смотреть и терпеть, меня терзали ее крики, жгла ее боль. Мерзавцы заглушали ее стоны смехом, заливали рыдания водкой, которую вливали ей в рот из горлышка, сдирали с нее одежду. Изнасиловать ее они не смогли – были сильно под кайфом, но вволю поиздевались и избили ногами.

За это время с полтора десятка машин проехало мимо, прибавив скорости, пока наконец одна не остановилась и из нее не выскочил человек с зажженным фонарем. Молодчики оседлали мотоциклы и умчали. Человек с фонарем выкрикнул: "Есть кто-нибудь?" Ванесса замерла скрючившись, лицом в землю, чтобы задушить всхлипы. Тогда он сел в машину и поехал своей дорогой. А Ванесса еще долго лежала, дрожа всем телом, и только сверчки стрекотали в высокой траве. Начало светать, когда она пешком, в разорванной в клочья одежде вернулась в трейлер. Взгляд у нее стал таким же неподвижным, как у брата. Она помылась, вылив на себя весь запас воды, а когда душ поперхнулся и зашипел, натянула свитер и легла рядышком с Фредериком, который, по обыкновению, спит как бревно, не слышно даже, как дышит. Ванесса прижалась к нему, окунулась в тепло и тишину. Я прикладываю всю оставшуюся у меня энергию, чтобы поддержать, успокоить ее, помешать замкнуться в немоте, подобно брату. Ты не должна молчать, Ванесса, должна рассказать матери, подать в суд... Не оставляй этого в себе. Ты никогда не сможешь забыть того, что произошло, если не найдешь слов, чтобы выразить это, выпустить из себя...

Я чувствую, это моя последняя попытка передать импульс. Силы явно иссякают, и я уже не подзаряжаюсь, как прежде. Должно быть, мое время на исходе. Но стоит ли экономить: на что еще имело бы смысл растратить себя, перед тем как погаснуть? Выскажись, Ванесса, откройся, разберись в себе и объяснись...

Утро. Трейлер залит солнцем. Ванесса наконец уснула. Зато приподд-

нимается в постели Фредерик и смотрит на сестру с тревожным удивлением. Ванесса прижала его к самой стенке, он осторожно выкарабкивается и переступает через нее — так же делал я, когда у меня ночевала Наила. Наконец он вылезает и садится за стол перед листом бумаги, на которой Ванесса наклеила для него Снупи и Бэтмана. Но вместо ножниц берется за карандаш. Потом переворачивает лист и начинает рисовать. Я смотрю и не верю. По мере того как он водит карандашом, моя усталость исчезает бесследно. Он очертил рамку, а в ней рисует волны, кресло, стоящее не то на песке с протянувшимися по нему тенями, не то на примятой ветром траве. Карандаш снует по бумаге, обводит, заштриховывает. Невероятно! Он делает три картины в одной. Вольтеровское кресло под акацией, забытое окно и силуэт встающей с высокой травы Ванессы. Все это неумело, коряво, неясно, но сомнений нет — это моя мечта, мой кошмар и несчастье с его сестрой... Мне это не мерещится. Я прослеживаю ход его композиции, растворяюсь в нем, направляю его руку, замедляю, убыстряю движения...

Наконец-то, наконец кто-то слышит и слушает меня. Значит, я предназначался не Ванессе. Теперь я знаю, кому должен являться, кому я нужен и как могу ему помочь.

Стоп, Фредерик! Остановись. Ты перегрузил эскиз, потерял мысль. Порви этот лист, вот так, чтобы не было соблазна скопировать, возьми другой и начни сначала. Найди первую линию, наметь движение, как только что... Так... Не думай о деталях, удержи чувство, которое ты хочешь выразить, образ, который я тебе посылаю...

Нет. Порви и опять начни сначала. Не нервничай. Молодец. Бери карандаш. Ножницы не трогай. Не так. Ну постарайся, Фредерик! Доверься мне. Не оставляй меня. Попробуй еще разок...

— Режи! Смотри! Да иди же скорей! Посмотри, что он сделал... Да не Ванесса, это он! Я сама видела, прихожу — а он сидит и рисует...

— Ну и что? Тут же ничего не нарисовано, одни каракули.

— Да нет, это рисунок, как ты не понимаешь?! Он сделал нам рисунок! У тебя отлично получилось, Фредерик! Слышишь? Очень красивый рисунок, миленький, мне очень нравится, просто чудо, ты у меня молодец, я так рада... Спасибо, благодарю тебя, Боже...

— Не валяй дурака, видишь — он не хочет отдавать тебе эту штуку, накалякал сам себе, да и все. Прости, но, по-моему, все один черт: калякать, рвать или резать! Ему лишь бы нас изводить!

— Замолчи, Режи! Ты же помнишь, что сказал доктор! Посмотри, Фредо, у тебя тут есть еще и краски, и кисточки, все что хочешь, полным-полно, ты можешь делать цветные рисунки, давай, солнышко мое, придумывай разные истории и рисуй... Ванесса, куда ты? Ты мне нужна — полно стирки. Ванесса, вернись!

— Ванесса, слышишь, что мать говорит? Иди сюда сейчас же! Да что вы, обалдели?! Или сговорились испортить мне отпуск?! Надоело мне с вами дурью маяться, пошли все на фиг!

— На фиг, — шепчет Фредерик и снова берет карандаш.

Немая сцена — обомлевшие родители смотрят на сына, вытаращив глаза, а он в десятый раз принимается рисовать одно и то же. Не надо, Фредерик, так мне будет слишком трудно. Не при них, они нам мешают, я отвлекаюсь, и ты меня хуже слышишь... Спешить некуда. У нас уйма времени.

Я поселился в воображении Фредерика, и теперь я — гамма красок, набор ракурсов и композиций. Я фокусирую мысль на идее картины, основывающейся на воспоминании, посмертном видении или эпизоде текущей жизни, и жду, чтобы замысел излился на бумаге. Точнее, чтобы Фредерик уловил его и воспользовался им тогда, когда на то будет его собственное желание. Я не подталкиваю его и появляюсь лишь тогда, когда это нужно ему. Известные мне технические приемы он открывает интуитивно, ощупью или как-то впитывает их, но не я вдохновляю его, а наоборот. Это он побуждает меня трансформировать в некие художественные волны то, что до нашей встречи я только переживал или безуспешно пытался выразить на уровне первичных восприятий.

Его стиль все меньше похож на мой. Однако для смешивания красок он пользуется тем же растворителем, что и я: треть льняного масла, треть скипидара, треть уайт-спирита. Отлично, значит, единственный секрет, которым я владел в своей жизни, нашел преемника.

Усилия, которые приходится прикладывать, чтобы оставаться отстраненным, быть только инструментом в руках другого человека, значительно ослабили узы, связующие меня с этим миром. Я стал недосягаем для страстных призывов Одили и причуд мадемуазель Туссен; почти не слышу мыслей моих родных; и, с тех пор как посвятил себя Фредерику, совсем не испытываю сожалений об утраченном теле. Пусть себе гниет в земле — что за важность! — я воплощаюсь в его палитре, на его картинах.

Нет-нет, Фредерик, не надо класть краску так густо, чтобы получить чистый цвет. Толщина слоя не дает глубины. Даже когда пишешь тени, старайся вводить контрастные мазки... Вот-вот, примерно так. А здесь у тебя закатное солнце отражается в окнах — не налегай на косые линии и разбавь желтый цвет. Точка белил создаст впечатление занавесок. Открываешь перспективу, а сам остаешься невидимым, тогда в картине появляется тайна, притягательная сила, скрытый план... Правильно...

Ты хорошо сделал мостовую: разноцветные точки, как будто солнце играет на камнях. Но обводить контуры ни к чему — сотри-ка эти черные линии. Положись на палитру, пусть дышит, пусть краски говорят свободно, не ставь им перегородок, они сами тебе подскажут, что делать.

Интересно, что у тебя связывается с этой вечерней улицей? Что значат для тебя этот детский стол с пустым стульчиком на краю тротуара и эти безразлично идущие мимо люди? Для меня смысл совершенно ясен: это мое воспоминание. Но если для тебя это просто символ, навязывать свои ассоциации я не стану. Хотя, скорее всего, здесь слиты оба толкования.

Мне было тогда четыре-пять лет, мы жили в Пьеррэ. Как-то в четверг ко мне примчалась Брижит: только что звонила мама, она садится в самолет и возвращается во Францию. Я хотел встретить маму как можно раньше, поэтому занял пост перед домом: поставил свой круглый столик поперек канавы и уселся на стул лицом к дороге — таким образом я мог обозревать деревню с севера на юг на целый километр. На столе стоял стакан лимонада, лежали пакетики печенья и шоколадного драже и, на случай, если ожидание затянется, карманный фонарик. Еще я прихватил расческу, и не зря: каждый прохожий спрашивал, что это я тут делаю, и ерошил мне волосы.

Совсем вечером, перед купаньем, вышла Брижит и сообщила, что

мама позвонила опять: ее самолет сломался, пришлось отложить возвращение до другого раза, она меня целует.

Нет, Фредерик, не жалей меня, не за что. Это вовсе не грустная картина. Вложи в нее веру. Надежду. Ведь главное, чтобы было кого ждать.

И разбавь, говорят тебе, желтый.

Он назначил ей встречу в кафе "Парк-отеля". Зеленоватые в прожилках деревянные панели, плафоны из опалового стекла, светло-розовая плитка, обсыпанные гравием цементные колонны, широкие окна выходят на заднее крыльцо казино. Сам он, как всегда, приходит с опозданием. Признается, что пишет роман, герой которого похож на меня. И спрашивает разрешения использовать мою биографию. Разумеется, имя будет другое. У него заготовлен перечень интересующих его вопросов. О названиях инструментов, о нашем знакомстве, о рождении Люсьена... Фабьена отвечает ровным голосом, окуная маслины в коктейль. На ней синий с белой отделкой костюм. Волосы подстрижены очень коротко. Она превратилась в девчонку, с тех пор как отошла от дел.

— Но почему именно мой муж?

— Видите ли... мне кажется, что на его месте я поступал бы точно так же, как он. Я не хочу сказать, что воссоздаю в своей книге всю его жизнь... Это было бы слишком самонадеянно. Но он помогает жить мне самому.

Гийом глотает последнюю маслину и вскидывает глаза на колышущиеся верхушки кедров, посылая последние слова в небо. Несколько написанных страниц он уже показывал под большим секретом Люсьену и спрашивал его мнение. Узнав, что я стал героем романа, Люсьен окончательно проникся ко мне уважением. Он внес свои поправки: "Папа так не говорил". Гийом послушно переписывает под его диктовку и все больше влезает в мою шкуру. А у Люсьена с каждой новой главой крепнет ощущение, что он управляет моей жизнью, начатой сначала, так же, как делает с обезьянами и человечками на экране видео.

— Сын все время говорит о вас. И твердит, что вы в меня влюблены.

— Мне, право, жаль, но...

— Вам не за что извиняться.

— Да нет, я хочу сказать... меня вообще не очень привлекают женщины...

— Я так и думала. Но ради Люсьена нам с вами было бы хорошо подружиться, если, конечно, вы не имеете ничего против.

Гийом улыбается и спрашивает у метрдотеля меню. По-моему, он соврал. Сделал ставку на доверительные, дружеские, непринужденные отношения, чтобы тихой сапой соблазнить Фабьену: пусть в один прекрасный день подумает, что это ей принадлежит заслуга научить его любить женщин. Сдается мне, что папе скоро придется вернуться к себе на ферму.

Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Ведь писатель — Гийом, а я — его персонаж. Ему и выбирать. Отныне жизнь Жака Лормо в его руках. Надеюсь, он ею удачно распорядится.

Альфонс каждое воскресенье приходит на мою могилу и рассказывает, что новенького в городе. Только его голос еще и может собрать воедино отдельные эмоции и пристрастия, из которых состоял когда-то лавочник из Экс-ле-Бена.

— Представляешь, они собираются делать вместо наземного перехода туннель. Придется уничтожить полтора десятка деревьев и шесть домов, и все из-за того, что кому-то лень постоять три минуты перед шлагбаумом. С ума люди сходят. Ну, что еще? Жан-Ми с Одилью ждут ребенка, говорят, если будет мальчик, назовут его в твою честь Жан-Жаком — по-моему, очень мило. Вот еще, по-моему, недурная новость: Мари-Па разругалась с мамашей и — держись! — переехала жить к какому-то типу в Бурк-ан-Брес. Посмотрел бы ты на нее: осталась половина того, что было, так похудела от счастья, а жених — беженец без паспорта. Жанна-Мари разом постарела на десять лет. Минутку, я взгляну на листочек — я там все записал, чтобы не забыть... Ах, да — мадемуазель Туссен уехала на месяц в тибетский монастырь. Тяжелый случай. Ну, а про сестру ты, конечно, знаешь?

Я знал. Брижит получила результат последних ежегодных анализов. Метастазы в печени. В тот же вечер у нее был концерт в Лиможе. Она, наверное, никогда так хорошо не играла. Другие музыканты изумленно подхватывали ее гениальные импровизации, награжденные жидкими хлопками из полупустого зала. Потом Брижит вернулась в гостиницу и выбросилась из окна.

Я был рядом, когда белое облачко покинуло разбитое в лепешку тело. Явился, чтобы встретить ее, просто, без всякого злорадства, тихо торжествуя. Видишь, Брижит, загробная жизнь существует...

Но она меня не увидела.

Облачко потянулось к гостиничному бару, где музыканты, друзья Брижит, обмывали концерт, и растворилось в дыме их сигарет. Неужели точно такое же разочарование пережили мои мать и бабушка с дедушкой, когда ждали меня на выходе из тела?

Вряд ли Брижит придется маяться в зале ожидания так же долго, как мне: ее не держит ничего, кроме какого-нибудь ритма, особого аккорда, способа игры на гитаре, которые ее коллеги воспроизведут однажды на концерте, когда подумают о ней.

Каждую неделю голос Альфонса становится все глуше, воспоминания повторяются, а настоящее как будто совсем не держится у него в голове.

— Дай и мне местечко. У меня что-то совсем отказывают мозги... Даже "Озеро"... проснулся сегодня утром и забыл две строфы. Все ясно: это конец.

Нет еще, Альфонс. Пока что ухожу я. А ты еще долго проживешь, вырастишь еще одного ребенка, позабудешь прошлое, но выдержишь и снова будешь оберегать будущее семьи... Прощай, мой вечный дядька, мой ангел-хранитель, престарелый поэт. Лет через пятнадцать-двадцать тебя настигнет легкая смерть, ты лучше подготовлен к ней, чем был я. Ты свое предназначение на земле выполнил, и тебе не надо будет перебирать, как мне, свои грехи. Тебя, наверное, ждет твоя мать, и Ламартин, и Жюли Шарм, до которой дошла вся твоя любовь — и она отдаст тебе столько же. Я за свою жизнь научился только ходить по кругу, поэтому мне пришлось впрячься в работу другого. Теперь я наконец в расчете и скоро удалюсь. Растворюсь, растаю... По крайней мере, так я думаю.

Фредерик вот-вот найдет свой стиль и пробьется сквозь зеркало без амальгамы, которое отделяло его от всех людей. Его живописью уже начинают восхищаться. Вместо интерната для аутистов его отдали в

художественную школу. Скоро его родителей будут осаждать торговцы картинами. Он давно уже превзошел мой скромный талант, придал ему глубокий смысл, и я ему почти не нужен.

Одно из последних доступных мне чувств – это усталость. Теперь, когда Фредерик стал писать красками сам, мне все труднее сохранять сосредоточенность и передвигаться по воле других людей... Вот уж не предполагал, что можно вот так стареть после смерти. Моим нормальным состоянием стала какая-то заторможенность. Я больше никуда не рвусь, ничего не хочу, ничем не возмущаюсь. Мне трудно подбирать слова. Заканчивать мысли. Я пуст. Как белая страница.

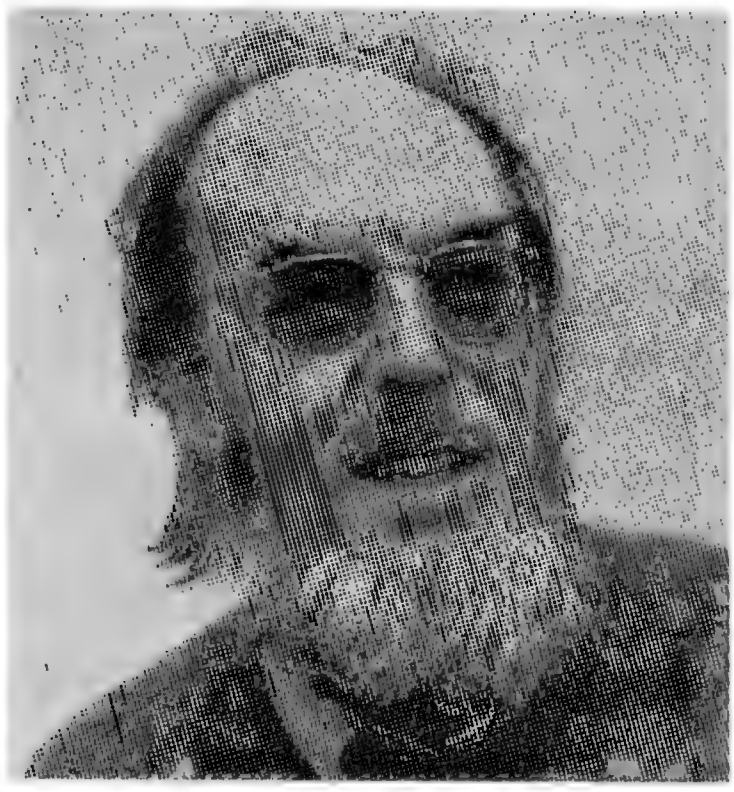
Когда мой писатель думает о другом, я выпадаю из времени и осознаю, что перестал существовать, только когда он снова пытается вместить меня в какую-нибудь фразу, исправляет им же вложенные в мои уста слова. Когда роман выйдет в свет, будут ли читатели хоть ненадолго призывать и оживлять меня? Я сам не понимаю, хочу этого или боюсь. Уступив свое место, надо бы исчезнуть совсем. А я почему-то цепляюсь за последнее. И пытаюсь внедрить в воображение автора какие-то непонятные слова: "Сюси-ан-Бри, сто сорок четвертая ячейка". Он не слышит, а я не знаю, почему это так важно и так меня огорчает.

Наступила зима. Писатель сидит в своем номере. У него успели отрасти длинные волосы, и он уже не в военной форме. На экране компьютера прокручивается текст романа.

Досмотрев, он добавляет последнее слово – "КОНЕЦ".

Мне страшно.

Имон Греннан



Стихи

Перевод с английского и вступление ВЛ. ГАНДЕЛЬСМАНА

Имон Греннан родился и вырос в Ирландии, но последние двадцать лет живет в Америке и преподает английский язык и литературу, являясь профессором знаменитого Вассаровского колледжа в штате Нью-Йорк. Между тем Ирландия для Греннана не только географическая родина, но страна замечательных литературных традиций и великого языка, и потому его ежегодные наезды в Дублин — своего рода "переливание поэтической крови". Эта "двойная" жизнь обогатила Греннана, словно бы наделив его двойным видением. И в Америке, и в Ирландии он чувствует себя как дома. Вероятно, кочевая жизнь сказалась на том, что он буквально "помешался на птицах" (как отмечает один из критиков), особенно это заметно в ранних вещах.

Греннан работает и в традиционной старинной манере, печально и спокойно глядя на мир, и в импульсивно-современной, пытаясь во что бы то ни стало ухватить мгновение. "Мои стихи,— говорит поэт, — попытка возвращения к жизни. Если вы к тому же неправедный католик, то вы всегда в поисках примирения, утешения, всего, что так дорого и зыбко. Для меня поэзия — это песня печали, торжествующей печали. Стихи подобны морским раковинам. Что-то безвозвратно уходит, и поэтому вы пишете".

© 1998 by Eamon Grennan
©Вл. Гандельсман. Перевод, вступление, 2000

Тонкое искусство

Матери

Спустя тридцатилетье вновь учиться
в камине разводить огонь. Начни
(сказала бы она) с газет — с известий
вчерашних о смертях, рожденьях, свадьбах
и катастрофах — черно-белый день
Истории пусть выгорает первым.
Затем крест-накрест — ветки, в чьих мозгах
сухих есть память о взрывном цветенье
и о листве, и разложи средь веток
недогоревший накануне уголь,
и новым углем увенчай свой труд,
как должно обращаясь с древней тьмой,
которой предназначен свет. Взгляни,
как холоден, но как пригляден вид —
всё, как показывала мать, и даже
камин был выметен перед растопкой.
Когда зажжешь огонь, прикрой его,
пусть *прикровенно* разрастется пламя,
прикинься, что ты занят посторонним,
но и малейший вздох не упусти,
ни пауз, ни глотков, ни задыханий,
ни удовлетворенных шепотков,
пока ты не поймешь, что занялся́
(сказала бы она) огонь. Тогда
оставь его в покое, в его тайной,
голодной жизни, как дитя, растущим,
собою становящимся, чужим.

Станция

Мы прощаемся на платформе,
в тишине
цепенеющая громада поезда
насыщает станцию несвершившимся, и желанным,
и не ска́занным никогда друг другу.
Он забрасывает на плечо черный рюкзак
и переминается с ноги на ногу — скорей бы, его взгляд
блуждает за подцвеченным окном,
из-за которого он вот-вот
уставится на слепяще-платиновый Гудзон.

Я хочу сказать, что перед ним открывается мир,
но что путь к нему долог, вроде туннеля,
потому что он покидает дом
и уезжает к матери, и мы оба
до мозга костей пронизаны чувством
непоправимости. О чем этот воздух,

густеющий между нами,
потом истончающийся до дыр?
Или сланцево-серые птицы,
которые бормочут что-то свое
под железными стропилами,
затем взлетают,
вычерчивая с легкой грацией петли
между темной станцией и озаренной рекой?

На мгновение я прижимаюсь к нему щекой —
моя, с грубой щетиной, и его,
почти девичья, но пожестче, со слабым пушком,
что-то шелковое, едва пробивающееся,
заметное лишь в отблесках света;
его предстоящая жизнь — вся из первых прикосновений.
Откуда сердечная боль? Моя —
от бессилия вымолвить: хорошо бы вместе;
его —
от страха и трепета,
что я найду те слова, те оперенные слоги,
которые застревают у него в горле.

Во внезапной спешке и толчее,
когда объявляют посадку, он говорит:
пора — и, едва коснувшись меня,
исчезает. Через минуту
поезд — призрачные лица в дымчатых окнах, —
скрежеща колесами и сцепленьями, медленно
отчаливает,
я иду рядом и машу тому,
кто уже не виден. Позже,
в городе, по пути к материнскому дому,
он войдет в подземку и пересечет реку.
Я представляю
его бледно-летящее в темном стекле
лицо, светящееся
среди теней, припадающих
и пропадающих прежде,
чем успеваешь их опознать.

Сьюзен Сонтаг

Вот так мы теперь живем

Рассказ

Перевод с английского М. ГАЛЬПЕРИНОЙ

СНАЧАЛА он просто худел, чувствовал недомогание, сказал Макс Эллен, и не обращался к врачу, вставил Грег, потому что ему удавалось сохранять относительно стабильный ритм работы, но курить бросил, заметила Таня, видимо, испугался или просто захотел, не отдавая себе в этом отчета, быть здоровым, или здоровее, или, может, просто вернуть несколько фунтов, сказал Орсон, потому что он сказал, продолжала Таня, что думал, будто полезет на стенку (все говорят, без этого не обходится), а обнаружил, к своему великому удивлению, что вовсе не страдает без сигарет, и упивался тем, что впервые за многие годы у него нет неприятных ощущений в легких. А врач-то у него хороший, захотел узнать Стивен, потому что ведь это безумие — не провериться, когда напряжение немного спало, после того как он вернулся из Хельсинки с конференции, даже если и почувствовал себя лучше. И он сказал Фрэнку, что сходит к врачу, хотя ему очень страшно, в чем он сознался Яне, да и кто бы на его месте не испугался, однако, как это ни странно, до недавнего времени он не беспокоился, как сам признавался Квентину, и только с полгода назад у него во рту появился металлический привкус паники, потому что тяжелая болезнь — это то, что случается только с другими людьми, обычное заблуждение, говорил он Паоло, для человека, который за свои тридцать восемь лет ни разу серьезно не болел; ипохондриком он, как уверяет Яна, не был. Разумеется, не волноваться трудно, волнуются все, но что толку паниковать, сейчас, сказал Квентину Макс, ничего другого не остается, только ждать и надеяться, ждать и соблюдать необходимые предосторожности, соблюдать необходимые предосторожности и надеяться. И если окажется, что он действительно болен,

© 1986 by Susan Sontag, first printed in THE NEW YORKER Magazin. Reprinted with the permission of the Wylie Agency, Inc.
© М. Гальперина. Перевод, 2000

не стоит отчаиваться: сейчас появились новые средства, которые обещают сдержать неумолимое развитие болезни; ведутся исследования. Казалось, каждый по нескольку раз на неделе созванивается с остальными, чтобы обменяться новостями. Я никогда по столько часов не проводил у телефона, сказал Стивен Кэт, и после того, как мне позвонят двое или трое и сообщат что-то новое, я уже в совершенном изнеможении, но вместо того, чтобы отключить телефон и отдохнуть немного, я сам набираю номер очередного приятеля или знакомого, чтобы передать новости дальше. Я не уверена, что могу позволить себе так много об этом думать, сказала Эллен, и ловлю себя на мысли, что во всем этом есть что-то нездоровое: я уже начала к этому привыкать, это меня захватывает, должно быть, что-то похожее испытывали люди во время бомбежки Лондона. Насколько я знаю, мне болезнь не угрожает, но тут никогда нельзя знать точно, сказала Эйлин. Да, это как снег на голову, сказал Фрэнк. Но разве вы со мной не согласны, что ему необходимо показаться врачу, настаивал Стивен. Знаешь, сказал Орсон, нельзя человека заставить заботиться о себе, и почему вообще ты думаешь сразу самое худшее, может быть, он просто захворал, люди все еще подвержены обычным заболеваниям, и очень тяжелым, почему ты сразу предполагаешь, что у него *то самое*. Но я только хочу быть уверен, что он понимает, какие могут быть варианты, ведь большинство людей этого не понимают, они поэтому не обращаются к доктору и не обследуются, им кажется, что уже ничего нельзя сделать. А разве можно что-то сделать, сказал он Тане (по словам Грега), то есть, я не вижу, что́ выиграю, если пойду к врачу: если я действительно болен, будто бы сказал он, я это скоро узнаю и так.

В больнице настроение его вроде бы стало улучшаться, по словам Донни. Он казался бодрее, чем в последние месяцы, сказала Урсула, и похоже, страшную весть он встретил чуть ли не с облегчением, по словам Айры, напротив, как воистину нежданный удар, по словам Квентина, но едва ли можно было ожидать, что он будет всем своим друзьям говорить одно и то же, поскольку его отношение к Айре сильно отличается от его отношения к Квентину (так считает Квентин, который всегда гордился дружбой с ним) и, возможно, он полагал, что ничего с Квентином не случится, если тот увидит его в слезах, но Айра уверял, что это не может быть причиной того, почему он так по-разному обращается с каждым из них, и, вероятно, он чувствовал себя менее разбитым, и даже, наоборот, собравшим все силы на борьбу за жизнь в тот момент, когда его видел Айра, а когда вошел Квентин с цветами, его одолело чувство безысходности, это оттого, что цветы почему-то повергали его в дурное расположение духа, как Квентин уверял Кэт, потому что палата была вся завалена цветами, туда уже просто было не втиснуть ни одного цветочка, ну, это ты преувеличиваешь, с улыбкой сказала Кэт, цветы все любят. Да? А кто бы не преувеличивал в такое время, резко произнес Квентин. Тебе не кажется, что *это* в каком-то смысле тоже преувеличение? Само собой, мягко сказала Кэт, я просто тебя поддразниваю, вернее, я не хотела тебя дразнить. Я знаю, сказал Квентин со слезами на глазах, и Кэт обняла его и сказала: что ж, когда я пойду туда вечером, я не возьму цветов, а что он хочет, и Квентин сказал, если верить Максу, больше всего он любит шоколад. Может, он еще что-нибудь любит, спросила Кэт, я имею в виду, что-нибудь вроде шоколада, но не шоколад. Лакрицу, сказал Квентин высморкавшись. А кроме этого? А ты сейчас не преувеличиваешь, спро-

сил Квентин с улыбкой. Да, ты прав, сказала Кэт, так если я хочу ему принести уйму всякой всячины, что еще, кроме шоколада и лакрицы? "Морские камешки", сказал Квентин.

Он не хотел оставаться один, как уверял Паоло, и очень много людей приходило к нему в первую неделю, а сиделка, родом с Ямайки, говорила, на этом этаже есть пациенты, которые были бы рады лишнему цветочку, и никто не боялся приходить, не то что раньше, подчеркнула Кэт специально для Эйлин, их теперь даже не отделяют от прочих больных, заметила Хильда, на дверях палаты нет предупреждения об опасности заражения, как было принято несколько лет назад, вообще-то у него палата на двоих, и он говорил Орсону, что старикан за занавеской (которому явно пора на тот свет, вставил Стивен) на самом деле даже не болен, так что, продолжала Кэт, ты бы правда сходила, проведала его, он будет очень рад тебя видеть, ему приятно, когда его навещают, ты ведь не потому к нему не заходишь, что боишься, правда? Да нет, конечно, сказала Эйлин, но я не знаю, что́ ему сказать, боюсь, что буду чувствовать себя скованно, а он обязательно это заметит и ему от этого станет хуже, так что никакого удовольствия я ему не доставлю, верно? Да он ничего не заметит, сказала Кэт, потрепав Эйлин по руке, и все совсем не так, не так, как ты себе представляешь, он не судит никого, и до того, что́ тобой движет, ему нет никакого дела, он просто радуется встрече с друзьями. Но я никогда, собственно, не была его другом, сказала Эйлин, ты его друг, ты всегда ему нравилась, ты говорила мне, что он с тобой беседует о Норе, я знаю, что я ему нравилась, он даже был мной увлечен, но он уважает тебя. Но, если верить Уэсли, причина, по которой Эйлин так редко приходила в больницу, была в том, что он никогда не мог полностью ей принадлежать, всегда у него уже кто-то сидел, а к тому времени, когда расходились одни посетители, успевали прийти следующие, она много лет его любила, и я понимаю, сказала Донни, какую горечь должна испытывать Эйлин, ведь если у него была когда-нибудь женщина-друг, с которой он не просто спал время от времени, а женщина, которую он по-настоящему любил, — и бог мой, сказал Виктор, как он сходил с ума по Норе, те, кто давно его знают, помнят, какая это была трогательная пара, два угрюмых ангелочка, — то, уж во всяком случае, это не она.

И когда те его друзья, которые приходили к нему каждый день, отловили в коридоре его лечащего врача, Стивен задавал наиболее грамотные вопросы, поскольку его знания основывались не только на тех историях, которые несколько раз в неделю печатает "Таймс" (Грег уверял, что бросил их читать, потому что больше просто не в силах), но еще и на публикациях в медицинских журналах, выходящих у нас, и в Англии, и во Франции, и был лично знаком с одним из ведущих парижских специалистов, автором широко известных исследований в этой области; но и тот сказал не намного больше, чем лечащий врач, которая ограничилась обычными отговорками: пневмония не угрожает жизни, лихорадка проходит, он, разумеется, еще очень слаб, но антибиотики действуют положительно, и ему придется провести в стационаре как минимум двадцать один день под капельницей, а потом можно будет начать новый курс лечения — она оптимистично оценивала возможность получить у него согласие; когда Виктор сказал, что раз у него нет аппетита (он всем говорил, когда его умоляли поесть, что у больничной еды какой-то стран-

ный металлический привкус), то, наверное, не надо приносить ему столько шоколада, врач только улыбнулась и ответила, что в таких случаях душевное состояние больного – фактор не менее важный, и если от шоколада он чувствует себя лучше, то и вреда тут никакого быть не может, Стивена это насторожило, как он потом признавался Донни, потому что хочется все-таки верить обещаниям и запретам современной медицины, вооруженной высокими технологиями, а тут успокаивающе сдержанный специалист по этому заболеванию, эта седая женщина, которую цитируют в печати, говорит как старомодный деревенский лекарь, который уверяет родных больного, что чай с медом и куриный бульон не менее важны для успешного выздоровления, чем пенициллин; возможно, это означает, сказал Макс, что они еще только прикидывают, как его лечить, и сами пока толком не знают, что делать, или, что вероятнее, вмешалась Ксавье, они просто ни черта не знают, а вот это правда, а что уж точно правда, сказала Хильда, бередя рану, так это то, что нет у них, у врачей, никакой надежды.

Нет, нет, сказал Льюис, этого не может быть, погоди, я не могу в это поверить, ты точно знаешь, то есть они точно знают, они сделали все анализы, не зря значит, когда зазвонил телефон, я побоялся подойти, подумал, что сейчас мне скажут: еще кто-нибудь заболел; но неужели Льюис действительно до вчерашнего дня ничего не знал, вспыхнул Роберт, что-то мне не верится, об этом все говорили, быть того не может, чтобы никто не звонил Льюису; скорее всего, Льюис все знал, но по каким-то соображениям притворялся, будто впервые слышит, потому что, напомнила Яна, разве не сам Льюис говорил Грегу примерно месяц назад, да и не одному Грегу, что он плохо выглядит, похудел, и Льюис встревожился и повторял, что неплохо бы ему показаться врачу, так что не может для него это быть полной неожиданностью. Да уж, все теперь переживают за всех, сказала Бетси, вот как мы живем, так мы теперь живем. И кроме всего прочего, они когда-то были очень близки, ведь у Льюиса до сих пор есть ключи от его квартиры, вы же понимаете, что после разрыва не забирают ключи только отчасти в надежде на то, что человек может вдруг завалиться в гости, спьяну или в минуту душевного подъема, как-нибудь под вечер, но в основном потому, что умнее иметь несколько комплектов ключей в городе, коль ты живешь один, на самом верху дома, который раньше занимали разные конторы и где никогда не будет швейцара или хотя бы консьержа, кого-нибудь, у кого можно спросить запасные ключи поздно ночью, если вдруг потерял свои или дверь захлопнулась. У кого еще есть ключи, спросила Таня, это я к тому, чтобы кто-нибудь заскочил туда завтра перед тем, как идти в больницу, и принес какие-нибудь его сокровища, потому что на днях он жаловался, сказал Айра, что в больничной палате ужасная скука и у него такое впечатление, что его заперли в номере мотеля, и все сразу начали рассказывать разные смешные случаи про номера в мотеле, а после анекдота Урсулы про "Лакшари баджет инн" в Скенектади вокруг его кровати стоял громовой хохот, а он молча смотрел на них, лихорадочно блестя глазами, и все это время, вспомнил Виктор, жевал этот проклятый шоколад. Но, по словам Яны, которая с помощью ключей Льюиса проникла в его холостяцкую берлогу в поисках какого-нибудь утешительного художественного средства, чтобы оживить немного палату, византийской иконы, которая висела над кроватью, на месте не оказалось, это было непонят-

но, пока Орсон не припомнил, как он без сожаления (Грег утверждал обратное) рассказывал, что мальчик, от которого он недавно отделался, украл ее вместе с четырьмя коробками лакрицы, как будто их так же легко продать на улице, как телик или стерео. Но он всегда был очень щедр, тихо сказала Кэт, и, хотя любил красивые вещи, никогда всерьез к ним не привязывался, сказал Орсон, что нетипично для коллекционера, пояснил Фрэнк, и когда Кэт затряслась и на глаза у нее навернулись слезы, Орсон спросил с тревогой, может, он, Орсон, сказал что-нибудь не так, она указала им на то, что они заговорили о нем в прошедшем времени, начали вспоминать, каким он был, за что они его любили, как будто он уже весь вышел, кончился, стал просто частью прошлого.

Наверное, он устает от посетителей, сказал Роберт, который, как не могла не заметить Эллен, сам приходил в больницу всего два раза и, возможно, искал оправданий нерегулярности своих посещений, но и сомнений нет, по словам Урсулы, что настроение у него упало, хотя врачи ничего огорчительного не говорили, и он, по-видимому, предпочитает на несколько часов в день оставаться в одиночестве; и Донни он сказал, что начал вести дневник, впервые в жизни, потому что хочет фиксировать изменение своей реакции на этот удивительный поворот событий, отражать действия врачей, записывать, кто к нему приходит каждый день и обсуждает у его изголовья состояние его тела, и что не так уж важно, что́ именно он там пишет, почти ничего, с горечью сказал он Квентину, кроме обычных банальностей о страхе и изумлении — почему такое случилось с ним, с ним тоже, плюс обычное раскаяние в прошлых ошибках, простительные суеверия, перемежаемые решениями жить лучше, значительнее, больше времени уделять работе и друзьям, не принимать так близко к сердцу, что о нем думают люди, вперемешку с уговорами себя в том, что в его положении воля к жизни значит больше, чем все остальное, и что, если он действительно хочет жить, верит в жизнь и любит себя (прочь, старый черт Танат), он *будет* жить, он будет исключением из правила; но, может быть, все это, размышлял Квентин, разговаривая с Кэт по телефону, было не главное, а главное то, что с того самого момента, когда он завел дневник, он начал накапливать материал, чтобы однажды его перечесть, чтобы хитро застолбить себе местечко в будущем, когда этот дневник станет просто предметом, пережитком прошлого, и когда он сможет его вообще не открывать, если захочет, чтобы это суровое испытание осталось позади, но дневник будет при нем, в ящике его огромного маджореллиевского письменного стола, и он мог бы уже, как, собственно, он сам сказал Квентину как-то ранним солнечным вечером, приподнявшись на больничной кровати, представить, как сидит в своем пентхаусе и октябрьское солнце светит сквозь чистые стекла окон, а не сквозь это матовое окошко, а дневник, тот самый трагический дневник, валяется в ящике стола.

Не надо придавать значения побочным эффектам, сказал Стивен (в разговоре с Максом), не понимаю, почему тебя это так беспокоит, любое серьезное лечение чревато побочными эффектами, это неизбежно, ты хочешь сказать, что в противном случае лечение неэффективно, вставила Хильда, в любом случае, сварливо продолжал Стивен, если сказано, что *бывают* побочные эффекты, это вовсе не означает, что они будут у него, или все, или некоторые. Это просто перечень всех возмож-

ных неприятностей, потому что врачи вынуждены перестраховываться, так что они придумывают самый худший сценарий, но ведь именно это с ним и происходит, и со многими другими, перебила Таня, самый худший сценарий, катастрофа, которую никто и представить себе не мог, это слишком жестоко, а разве бывает вообще хоть что-нибудь без побочных эффектов, поддел их Айра, даже *мы* все не что иное, как побочный эффект, но мы-то уж не такой страшный побочный эффект, сказал Фрэнк, он любит, когда вокруг много друзей, да мы и друг другу помогаем; потому что его болезнь склеила нас всех одним клеем, задумчиво проговорила Ксавье, и какими бы ни были ревность и обиды, которые заставляли нас в прошлом не доверять друг другу или сердиться друг на друга, когда случается что-нибудь *такое* (небо падает! небо падает!), начинаешь понимать, что́ для тебя по-настоящему важно. Я согласен с тобой, Цыпленок, говорят, сказал он. Но не кажется ли тебе, заметил Квентин Максу, что мы стали так близки ему и выкраиваем время, чтобы забежать в больницу, в стремлении защититься еще надежнее, вот мы — нормальные, ничем не больны и болеть не собираемся, как будто то, что случилось с ним, не может случиться с нами, тогда как есть вероятность, что вскоре один из нас окончит свои дни там же, где сейчас он, возможно, он испытывал сходные чувства, когда был в когорте навещавших Зака этой весной (вы ведь не знали Зака?), по словам Кларис, вдовы Зака, он не слишком часто к нему заходил, говорил, что терпеть не может больниц, и не замечает, чтобы Заку становилось лучше от его визитов, и что Зак мог понять по его лицу, как он неуютно себя чувствует. Ага, и он такой же, сказала Эйлин. Трус. Как и я.

И после того как его отпустили домой и Квентин вызвался переехать к нему, чтобы готовить еду и отвечать на звонки и чтобы держать в курсе дел его мать, живущую в Миссисипи, а главное, разумеется, не дать ей прилететь в Нью-Йорк, взвалить свое горе на сына и вдобавок разрушить привычный ход вещей своей назойливой помощью, он мог час-другой посвящать своей монографии, в те дни, когда не настаивал на походе в кафе или в кино, которое его утомляло, он казался бодрым, по мнению Кэт, аппетит у него был хороший, и вот что он сказал, доложил Орсон, он согласен со Стивеном, что для него сейчас самое главное — быть в форме, он ведь борец, верно же, он перестанет быть собой, если не будет бороться, а готов ли он к великой борьбе, риторически спросил Стивен (о чем Макс рассказывал Донни), а он сказал: еще бы, а Стивен добавил: могло быть гораздо хуже́, заболей ты два года назад, но теперь с этой заразой бьется столько ученых, американская команда и французская тоже, все вон из кожи лезут, чтобы получить через пару лет Нобелевскую премию, вот и все, что от тебя требуется, — оставаться здоровым еще год-другой, а там уже подоспеет хорошее лекарство, настоящее лекарство. Он говорит: да, сказал Стивен, время я выбрал удачно. А Бетси, которая десять лет то штурмовала диету долголетия, то забрасывала ее, привела к нему японского специалиста, чтобы тот его осмотрел, но, слава богу, сообщила Донни, ему хватило ума отказаться, зато он согласился, чтобы его посмотрел рентгенолог, которого привел Виктор, хотя чего тут просвечивать, сказала Хильда, когда суть этого метода заключается в том, чтобы увидеть контуры болезни, ее края, увидеть ее целиком, здесь сильнее, там слабее, как нечто, имеющее границы, что-то, чему ты **являешься хозяином**, в том смысле, что ты мог этого не допустить, в то

время как эта болезнь была слишком всеобъемлюща; или будет, сказал Макс. Но главное, сказал Грег, что он не согласился на диету долголетия, которая может быть безвредной для толстушки Бетси, но для него, и всегда-то худого от всех этих сигарет и прочей химии, подавляющей аппетит, которой он годами травил свой организм, будет просто губительной; едва ли сейчас самое подходящее время, заметил Стивен, заниматься очищением своего организма и исключать из рациона биодобавки и другие примеси, которые мы жизнерадостно или не очень жизнерадостно поглощаем, покуда здоровы, здоровы в меру своих возможностей; только до тех пор, сказал Айра. Мне бы очень хотелось, тоскливо сказала Урсула, увидеть, как он ест мясо с картошкой. И спагетти с соусом из морских моллюсков, добавил Грег. И пышный, богатый холестерином омлет с копченой моццареллой, предложила Ивонна, которая прилетела на выходные из Лондона, чтобы его повидать. Шоколадный торт, добавил Фрэнк. Только не шоколадный торт, сказала Урсула, он и так ест слишком много шоколада.

И когда, конечно, не сразу, но всего лишь через три недели, его включили в список тех, кому назначено новое лекарство, что потребовало значительного закулисного давления на врачей, он стал меньше говорить о своей болезни, как уверяла Донни, что Кэт считала хорошим признаком, признаком того, что он больше не ощущает себя жертвой и чувствует не то, что *у него* болезнь, а, скорее, то, что он *живет с болезнью* (так, кажется, звучит клише), более конструктивный подход, сказала Яна, как бы сосуществование, подразумевающее, что это нечто ограниченное во времени, но чем ограниченное, сказала Хильда, и потом, ты сказала что-то про больницу, Яна, я слышала слово "обход". Но утешает то, настаивал Стивен, что впервые с начала болезни, по крайней мере с того момента, как он наконец согласился позвонить врачу, он стал спокойно произносить вслух ее название, произносить часто и свободно, как будто это просто слово, такое же, как мальчик, или галерея, или сигарета, или деньги, или дело, по делу и не по делу, встрял Паоло, потому что, продолжал Стивен, когда человек называет болезнь по имени, это признак выздоровления, признак того, что он согласен быть тем, кто он есть, смертным, уязвимым, что он не избранный, не исключение из правил, в конце концов, это говорит о том, что человек хочет, действительно хочет бороться за свою жизнь. И мы тоже должны произносить это слово, и почаще, добавила Таня, мы не должны давать ему повод думать, что уступаем ему в честности, мы уже попытались быть честными и можем продолжать в том же духе. Похоже, все знают, как ему помочь, отозвался Уэсли. В каком-то смысле ему повезло, сказала Ивонна, которая решила в Нью-Йорке свои проблемы со складом и вечером улетала в Лондон, еще как повезло, едко заметил Уэсли, его никто не избегает, продолжала Ивонна, никто не боится его обнимать и целовать в губы, у нас в Лондоне, понятное дело, еще до этого не дошли, мои знакомые, люди, которым вроде бы даже отдаленно ничего не угрожает, так они просто в ужасе, но я потрясена вашим общим спокойствием и благоразумием, ты называешь это спокойствием, спросил Квентин. Но должен признаться, говорят, он сказал, я перепуган страшно, мне стало трудно читать (а вы ведь знаете, как он любит читать, вставил Грег; да, чтение — это его телевидение, сказал Паоло) или думать, но я не впадаю в истерику. А вот я просто в истерике, сказал Льюис Ивонне. Но вы можете *сделать* что-

нибудь для него, и это замечательно, как бы я хотела побыть здесь подольше, ответила на это Ивонна, это просто прекрасно, эта утопия дружбы, которую вы вокруг него развернули (довольно жалкая утопия, сказала Кэт), так что болезнь, подытожила Ивонна, остановилась в своем развитии. Да, но тебе не кажется, что нам теперь стало как-то уютнее с ним, с его болезнью, сказала Таня, потому что воображаемая болезнь во сто крат хуже, чем настоящая, для того, кого мы все любим, и каждый из нас по-своему болеет. После того как он заболел, эта болезнь потеряла для меня мистический ореол, сказала Яна, я уже не была так напугана и ошарашена, как раньше, когда до меня доходили слухи о чьих-нибудь знакомых, которых я никогда не видела. Но ты ведь знаешь, что тебе эта болезнь не грозит, сказал Квентин, на что Эллен ответила, что, по ее мнению, дело, не в этом, да это еще не факт, мой гинеколог говорит, что все рискуют, все, кто ведет половую жизнь, поскольку секс — это та цепь, которая связывает каждого из нас со многими другими, а теперь огромная цепь жизни стала также и цепью смерти. Для тебя все не так, как для меня, Льюиса, или Фрэнка, или Паоло, или Макса, я все больше и больше боюсь, и у меня для этого есть все основания. Я не думаю о том, угрожает мне что-нибудь или нет, сказала Хильда, я знаю, что мне было страшно, когда человек, которого я знаю, заболел, я боялась того, что мне предстоит увидеть и почувствовать, и в первый раз после того, как я побывала в больнице, я испытала огромное облегчение. Я больше не буду бояться, никогда; он, казалось, ничем от меня не отличается. Так оно и есть, сказал Кевин.

По словам Льюиса, он чаще говорил о тех, кто чаще его навещал, и это естественно, сказала Бетси, я думаю, он даже ведет счет визитам. А среди тех, кто приходил или справлялся ежедневно по телефону, в этаком узком кругу набравших больше всего очков, все равно продолжается соревнование, вот что действует мне на нервы, призналась Бетси Яне; все время эта вульгарная гонка за место у кровати смертельно больного, и хотя мы все до мозга костей стали образцом добродетели от сознания собственной преданности (ты говори за себя, сказала Яна), такой беззаветной, что выкраиваем для него время если не каждый день, то через день, но некоторые из нас уже сошли с дистанции, заметила Ксавье, разве мы при этом не приобретаем, по крайней мере, столько же, сколько он. А разве да, сказала Яна. Мы соревнуемся за знак его особого расположения, каждый из нас ревниво ловит намеки на благосклонность, хочет чувствовать себя самым долгожданным гостем, самым близким и родным, и таковыми оказываются, конечно, те, у кого нет законной половины, детей или официального постоянного любовника, словом, сложилась иерархия, которую никто не посмеет оспаривать, продолжала Бетси, таким образом, мы стали членами его семьи, сами того не ведая, не имея официальных титулов и рангов (мы, мы, проворчал Квентин); а можно ли сказать, хотя некоторые из нас, Льюис, Квентин, Таня и Паоло, выделяются из общей массы, как бывшие любовники, все мы в разной степени его друзья, кого он предпочитает остальным, спросил Виктор (теперь он говорит "нас", разозлился Квентин), дело в том, что временами мне кажется, что он гораздо охотнее увидел бы Эйлин, которая приходила только три раза, два раза в больницу и один раз, когда он уже был дома, чем нас с вами; но, по словам Тани, разочарованный тем, что Эйлин не приходит, он на нее злится, хотя, если верить Ксавье, он не

был уязвлен, но покорился, смирился с отсутствием Эйлин, как будто он большего не заслуживает. Но он очень рад гостям, сказал Льюис; он говорит, что, когда нет компании, его клонит в сон, он и спит (по словам Квентина), а потом, когда кто-нибудь приходит, встряхивается, важно то, что он никогда не чувствует себя одиноким. Но, сказал Виктор, есть один человек, о котором он давно ничего не слышал, а возможно, хочет услышать больше, чем о ком-либо из нас, но она ведь не исчезла совсем, даже сразу после того, как ушла от него, и он знает точно, где она теперь живет, сказала Кэт, он мне говорил, что звонил ей в сочельник, а она сказала, как приятно тебя слышать, счастливого Рождества, и он был в ярости, он презирал ее, по словам Эллен (а чего вы еще от нее ожидали, сказал Уэсли, она перегорела), но Кэт гадала, уж не позвонил ли он ей среди бессонной ночи, какая у нас разница во времени, а Квентин сказал, нет, вряд ли, я думаю, он не хотел, чтобы она знала.

И когда он стал лучше себя чувствовать и вновь набрал фунты, которые потерял в больнице, невзирая на то, что холодильник теперь наполнялся в основном проросшими пшеничными зернами, грейпфрутами и снятым молоком (он переживает за свой уровень холестерина, сокрушался Стивен), и сказал Квентину, что теперь уже сам справится, и справлялся, он стал спрашивать каждого, кто приходил его проведать, как он выглядит, и все говорили, что он выглядит великолепно, гораздо лучше, чем месяц назад, и это было так не похоже на то, что они ему говорили в то время; но потом становилось все труднее и труднее понять, как же он выглядит, и отвечать честно на этот вопрос, хотя они договорились между собой быть честными, как во имя честности (так думала Донни), так и готовясь к худшему, потому что он уже давно выглядел *так*, во всяком случае, казалось, что очень давно, что будто бы он всегда так выглядел, как же он выглядел до этого, но прошло всего несколько месяцев, и эти слова: бледный, и изнуренный, и хрупкий, — разве не их обычно употребляют? И однажды в четверг Эллен, встретившись с Льюисом в дверях, сказала, когда они вместе поднимались на лифте, как он *на самом деле?* Но ты же видишь, как он, кисло ответил Льюис, он прекрасно себя чувствует, он совершенно здоров, и Эллен поняла, что Льюис, само собой, не считает, что он совершенно здоров, но что ему не становится хуже, это правда, но не было ли, ну, бессердечно, что ли, так говорить. Я не вижу в этом ничего страшного, сказал Квентин, но я понимаю, о чем ты, помню, я однажды разговаривал с Фрэнком, который как-никак добровольно пять часов в неделю работал в службе доверия (знаю, сказала Эллен), и Фрэнк все рассказывал о человеке, которому поставили диагноз почти год назад и он в куда более тяжелом состоянии, который звонил Фрэнку и жаловался на небрежное отношение персонала и вообще поносил врачей как мог, а Фрэнк ему говорил, что не из-за чего так расстраиваться, с таким подтекстом, что он, Фрэнк, не стал бы вести себя так безрассудно, и я сказал, с трудом сдерживаясь, но Фрэнк, Фрэнк, ему есть из-за чего расстраиваться, он умирает, а Фрэнк сказал, сказал, обращаясь к Квентину, я не хочу об этом думать под таким углом.

И это было тогда, когда он был еще дома, восстанавливал силы, лечился, жаловался, что пока все еще не может помногу работать, но, по словам Квентина, поправлялся и несколько раз в неделю заходил в офис, распространилась дурная весть о двоих знакомых, один был из Хьюсто-

на, а другой из Парижа, весть, которую Квентин перехватил на том основании, что она может подействовать на него только угнетающе, но Стивен заявил, что не надо ему врать, для него ведь так важно жить в окружении правды, искренность была одной из первых его побед и то, что он сам охотно шутил на тему своей болезни, но Эллен сказала, что нехорошо внушать ему, что наступает конец света, слишком много людей болеет, это становится общим бедствием, и если болезнь будет считаться такой же естественной, как, скажем, смерть, это может лишить его воли бороться за жизнь. О, сказала Хильда, которая не была лично знакома ни с тем, который из Хьюстона, ни с тем, кто в Париже, но слышала о том, который в Париже, пианисте, специализировавшемся на чешской и польской музыке двадцатого столетия, у меня были его записи, он такая значительная фигура, и, когда Кэт на нее свирепо глянула, продолжала, оправдываясь, я знаю, что жизнь каждого в равной степени священна, но *есть* и другая точка зрения, я имею в виду, точка зрения самих этих известных людей, которые не готовы к тому, чтобы стать просто людьми, не готовы к тому, что их могут заменить, и потом, это большая потеря для культуры. Но так не может продолжаться всегда, сказал Уэсли, этого не может быть, ведь они все хотят что-то наверстать (они, они, пробормотал Стивен), а тебе не приходит в голову, сказал Грег, что если некоторые люди и не умрут, я имею в виду, если им сумеют сохранить жизнь (им, им, пробормотала Кэт), они по-прежнему останутся вирусоносителями, а это значит, что, если у тебя есть совесть, ты никогда не сможешь заниматься любовью так, как привык — самозабвенно, подсказал Айра — это делать. Но это лучше, чем умереть, сказал Фрэнк. И во всех разговорах о будущем, когда он себе разрешал надеяться, по словам Квентина, он никогда не говорил о своих планах на тот случай, если он не умрет, если ему повезет оказаться в числе первых, кто выживет, никогда не говорил, подтвердила Кэт, что всему, что с ним было, придет конец, все, мол, уже в прошлом, то, как он жил до сих пор, но, по словам Айры, он об этом не думал, мол, хватит бравады, хватит глупостей, хватит давать жизнь взаймы, хватит ее разбазаривать, и не думал о том, чтобы относиться к жизни как-нибудь так, по-самурайски, нет, он готов снова тратить ее легко, дерзко; и Кэт вспомнила со вздохом, как они, по ее инициативе, однажды перепихнулись на покрытой серым ковриком банкетке на верхнем этаже "Пророка", куда поднялись перекурить перед тем, как снова идти танцевать, и она спросила неуверенно, чувствуя, что было бы глупо просить короля разврата, ну, немного остыть, что ли, а играть роль старшей сестры она не умела, роль, на которую, как подтвердила Хильда, он провоцировал многих женщин, ты принял меры, милый, ты понимаешь, о чем я. И он ответил, продолжала Кэт, нет, не принял, видишь ли, я так не могу, секс для меня очень важен и всегда был важен (он начал так говорить, по словам Виктора, после того, как от него ушла Нора), и если уж я занимаюсь сексом, то на полную катушку. Но сейчас он бы так не сказал, не правда ли, сказал Грег; он, должно быть, чувствует себя ужасно глупо, сказала Бетси, как человек, который продолжает курить, говоря "не могу бросить", а как только получит плохой рентген, тут же бросает, как будто и не было никакой никотиновой зависимости. Но секс — это тебе не сигареты, сказал Фрэнк, и, кроме того, какое удовольствие вспоминать, что он был так беспечен, сердито сказал Льюис, весь ужас в том, что тебе один раз может не повезти, и разве он не чувствовал бы себя еще хуже, если бы завязал с этим делом

три года назад и при этом бы все равно заболел, поскольку одна из самых страшных особенностей этой болезни заключается в том, что ты не знаешь, когда ты ее подцепил, может, это случилось десять лет назад, потому что можно с уверенностью сказать, что она существовала многие годы, прежде чем ее распознали; разве что теперь ей придумали имя. Кто знает, когда (я много над этим думаю, сказал Макс), и кто знает (я знаю, что́ ты сейчас скажешь, перебил Стивен), сколько еще людей могут заболеть.

Я чувствую себя прекрасно, говорят, отвечал он всем подряд, когда его спрашивали, как он себя чувствует, а это, как правило, был первый вопрос, который ему задавали. Или: я чувствую себя лучше, а как поживаете вы? Но он и другое говорил тоже. Я играю в чехарду сам с собой, сказал он, по словам Виктора. Или: должен быть способ извлекать из этой ситуации что-то положительное, говорят, сказал он Кэт. Как это по-американски, сказал Паоло. Да, сказала Бетси, знаете старинную американскую поговорку: если тебе дали лимон, сделай из него лимонад. Яна вспомнила, что он ей сказал: с одним не могу примириться — с тем, что стану уродом, но Стивен поспешил указать, что болезнь далеко не всегда принимает такие формы, она протекает по-разному, и в разговоре с Эллен ввернул словечко вроде гемато-энцефалический барьер в мозгу; никогда не думала, что *там* есть барьер, сказала Яна. Но он не должен знать про Макса, сказала Эллен, это его ужасно расстроит, пожалуйста, не говорите ему, он должен знать, мрачно возразил Квентин, и он разозлится, если ему не сказать. Но можно и подождать, есть еще время, пока не снимут респиратор, сказала Эллен; просто невозможно поверить, сказал Фрэнк, Макс был как огурчик, совершенно не чувствовал себя больным, и однажды просыпается с температурой за сорок, не может дышать, так это обычно и начинается, абсолютно на ровном месте, сказал Стивен, у этой болезни столько всяких форм. И потом, когда прошла еще одна неделя, он спросил Квентина, где же Макс, его не интересовало, как Квентин повеселился на Багамах, но когда число людей, которые регулярно его навещали, начало уменьшаться, отчасти из-за того, что старые распри, забытые на время его первой госпитализации и возвращения домой, снова вышли наружу, и вражда, тлевшая между Льюисом и Фрэнком, разгорелась, как ни старалась Кэт их помирить, и еще потому, что он сам способствовал ослаблению уз любви, которые объединяли вокруг него друзей, делая вид, что принимает их подношения, как будто нет ничего из ряда вон выходящего в том, что так много людей уделяют ему столько внимания и времени, посещают его чуть не каждый день, беспрерывно обсуждают его состояние по телефону, но, по словам Паоло, его благодарность не стала меньше, просто он уже к этому привык, к визитам и прочему. Со временем это превратилось в нечто обыденное, вроде затянувшейся вечеринки, сперва в больнице, а сейчас и дома, когда он только-только становится на ноги; мне ясно, сказал Роберт, что я в черном списке; но Кэт сказала, это абсурд, нет никакого черного списка; и Виктор сказал, нет есть, только его составляет не он, а Квентин. Он хочет нас видеть, мы ему помогаем, мы должны делать это так, как он хочет, он вчера упал, когда шел в ванную, нельзя говорить ему про Макса (но он уже знает, если верить Донни).

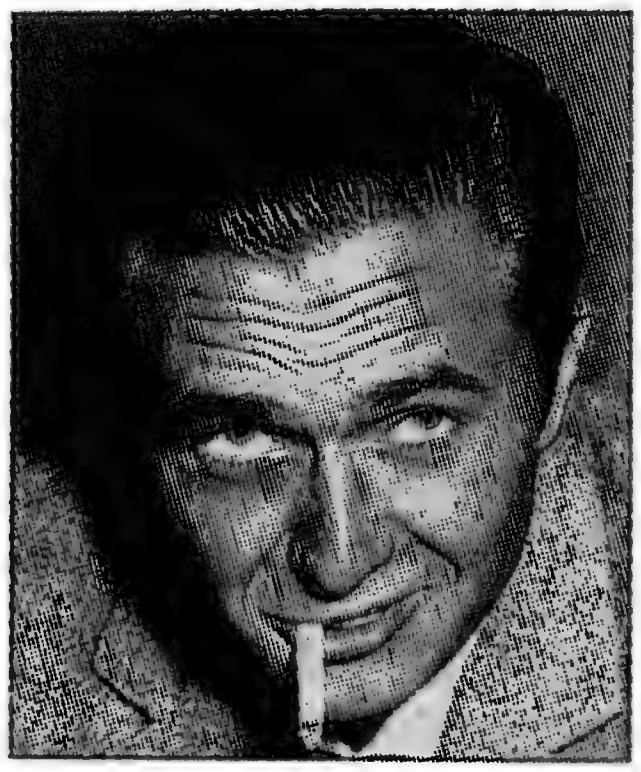
Когда я был дома, говорят, сказал он, я боялся спать, мне казалось, что я проваливаюсь в черную дыру, уснуть было все равно что уступить смер-

ти, я не гасил свет на ночь, но здесь, в больнице, мне не так страшно. И Квентину он сказал как-то утром, страх раздирает меня, и Айре, он давит меня, вжимает меня внутрь меня самого, страх все делает огромным и высоким, я это чувствую, но не знаю, как выразить, сказал он Квентину. Беда тоже удивительно возвышает. Иногда я чувствую себя *так* хорошо, таким сильным, как будто могу выпрыгнуть из кожи. С ума я схожу или что. Или это все от внимания и заботы, которыми все меня окружили, как в детском сне, где тебя любят. Или это из-за лекарств? Знаю, что это звучит дико, но иногда мне кажется, что это *небывалое* ощущение, застенчиво сказал он; но при этом оставался неприятный привкус во рту, шумело в голове, ломило затылок, красные десны кровоточили, было больно дышать, и кожа стала цвета слоновой кости, цвета белого шоколада. В числе тех, кто плакал, когда им сказали по телефону, что он снова в больнице, были Кэт и Стивен (которым позвонил Квентин), Эйлин, Виктор, Эллен и Льюис (которым позвонила Кэт), Ксавье и Урсула (которым позвонил Стивен). В числе тех, кто не плакал, была Хильда, которая сказала, что ей на днях стало известно, что ее семидесятипятилетняя тетка умерла от этой болезни, которую подхватила во время переливания крови после успешной операции на сердце пять лет назад, и Фрэнк, и Донни, и Бетси, но это не значит, по словам Тани, что их это никак не задело, а Квентин думал, что они, возможно, не скоро придут в больницу, но пришлют подарки; палата — на этот раз ему дали отдельную палату — была полна цветов, комнатных растений, книг и пленок с записями. Прилив раздражения, еле сдерживаемого в последние недели его пребывания дома, начал спадать в будничности больничных посещений, хотя многие негодовали по поводу того, что Квентин завел Книгу посетителей (но это Квентин придумал, заметил Льюис); теперь, чтобы обеспечить постоянный поток посетителей, желательно, чтобы приходили не больше двух человек одновременно (это правило, общее для всех больниц, здесь не очень строго соблюдалось, во всяком случае, на его этаже, то ли из соображений милосердия, то ли оттого, что все равно толку от запрета было мало, неизвестно), сначала нужно было позвонить Квентину, узнать, когда у него "окно", и больше никаких перебоев не случалось, его мать уже невозможно было удержать, она приехала, поселилась в отеле неподалеку от больницы, но, кажется, ее ежедневное присутствие угнетает его меньше, чем мы ожидали, заметил Квентин; Эллен сказала, это нас оно угнетает, как думаешь, долго она еще здесь пробудет? Легче быть добрым друг к другу, когда навещаешь его в больнице, заметила Донни, чем дома, когда думаешь, вот опять не удастся побыть с ним наедине; теперь, когда мы опять приходим сюда, строго по двое, уже нет сомнений, в чем заключается наша роль, какими мы должны быть — дружными, смешными, нетребовательными, легкими, важно быть легким, ибо в этом ужасе есть свое веселье, как сказал бы поэт, заметила Кэт (его глаза, такие блестящие глаза, вставил Льюис). Глаза у него скучающие, погасшие, сказал Уэсли Ксавье, но Бетси сказала, что в его лице, не только в глазах, видна душа, теплота; что бы там ни было, сказала Кэт, раньше мне никогда не хотелось избегать его взгляда; и Стивен сказал, я боюсь того, что выражают мои собственные глаза, что я на него смотрю слишком пристально или, наоборот, с наигранной небрежностью, добавил Виктор. И, не в пример тому, как он выглядел дома, он каждое утро был гладко выбрит; его вьющиеся волосы были всегда расчесаны; но он жаловался, что сменились сиделки, а ему не

нравится эта перемена, он хочет, чтобы остались прежние. Палата была теперь обставлена с некоторым эффектом (странное слово для обозначения личных вещей, заметила Эллен) индивидуальности, а Таня принесла рисунки и письмо от своего девятилетнего сына, страдающего дислексией, который, после того как она купила компьютер, начал писать; а Донни принесла шампанское и воздушные шары, которые привязали к ножке кровати; расскажите мне что-нибудь, попросил он, проснувшись и обнаружив у своей кровати Донни и Кэт, которые ему улыбались; расскажите какую-нибудь историю, произнес он с тоской в голосе, говорила Донни, которая не нашлась, что рассказать; ты сам — история, сказала Кэт. А Ксавье принесла гватемальскую деревянную статуэтку святого Себастьяна с возведенными к небу глазами и раскрытым ртом, и когда Таня сказала, что это дань эротическому прошлому, Ксавье заметила, там, откуда я родом, считается, будто Себастьян оберегает от чумы. Чуму символизируют стрелы? Да, символизируют стрелы. Все помнят, что тело прекрасного юноши, привязанного к дереву, было пронзено стрелами (мне всегда казалось, что он их не замечает, вставила Таня), но все забывают, что у этой истории есть продолжение, продолжала Ксавье, что когда женщины-христианки пришли хоронить мученика, они увидели, что он еще живой, и выходили его. И он сказал, по словам Стивена, я и не знал, что святой Себастьян не умер. Бесспорно, сказала Кэт по телефону Стивену, умирание завораживает. Мне стыдно, но я ничего не могу поделать. Мы учимся умирать, сказала Хильда; я не готова к такой учебе, сказала Эйлин; и Льюис, который приходил к нему прямо из той больницы, в которой Макса до сих пор держали в реанимации, встретил Таню, которая выходила из лифта на десятом этаже, и когда они вместе шли по коридору мимо открытых дверей, отводя взгляд от утопающих в кроватях больных с трубками в носу, залитых голубоватым светом телевизоров, Таня сказала Льюису, об одном не могу думать без содрогания, что кто-то умирает с включенным телевизором.

Он стал на удивление ко всему равнодушен, сказала Эллен, вот что меня удручает, хотя с ним теперь даже легче общаться. Иногда он ворчал. Мне надоело, что каждое утро у меня берут кровь, зачем им столько моей крови, что они с ней делают, говорят, сказал он; но куда девалась его злость, удивлялась Яна. Но в основном с ним было очень приятно, он всегда говорил, а как *ты*, как твое самочувствие. Он теперь такой славный, сказала Эйлин. Он такой милый, сказала Таня (милый, милый, простонал Паоло). Сначала он был очень плох, но пошел на поправку, по сведениям Стивена, можно не опасаться, что на этот раз он не выкарабкается, и доктор говорила, что деньков через десять его выпишут, если все пойдет хорошо, и мамашу его убедили вернуться в штат Миссисипи, и Квентин готовил пентхаус к его возвращению. И он все по-прежнему вел дневник, никому его не показывал, однако Таня, придя однажды первой и застав его спящим, заглянула туда и ужаснулась, по словам Грега, не тому, что́ там прочитала, но тому, как неуклонно меняется его почерк: на последних страницах это просто какая-то паутина, разобрать трудно, буквы клонятся в разные стороны и разбредаются по странице. Я подумала, сказала Урсула Квентину, что разница между рассказом и картиной или фотографией заключается в том, что в рассказе можно написать: “он еще живой”. Но на картине или фотографии ты не можешь показать это “еще”. Только то, что он живой. Он еще живой, сказал Стивен.

Марек Хласко



Письма из Америки

Перевод с польского И. ПОДЧИЩАЕВОЙ

От редакции

Марек Хласко (1934—1969) был и остается культовым писателем в Польше, откуда ему пришлось уехать и куда он уже не смог вернуться. Русскому читателю он известен: "Иностранная литература" печатала его рассказы и литературную автобиографию "Красивые, двадцатилетние"; были публикации и в других журналах. Теперь мы снова возвращаемся к творчеству Хласко, публикуя подборку из его цикла рассказов-фельетонов "Письма из Америки". Написаны они были во второй половине 60-х годов в Калифорнии, задумывались как продолжение "Красивых, двадцатилетних", печатались в парижском эмигрантском журнале "Культура".

Дети

ДЕТИ Уильяма и Джуди играют вместе. Детям, разумеется, нельзя ничего запрещать, поскольку запреты ведут к развитию комплексов, которые потом губительно отражаются — на чем? — да на всем; с этим все согласны. А посему, когда мне случается поехать с Уильямом, его женой и детьми в Диснейленд и в машине его дети орут как сумасшедшие, Уильям не позволяет себе просто рявкнуть: "А ну всем заткнуться", а выдумывает для них разные игры и, пытаясь их перекричать, говорит: "Послушайте, сейчас я думаю о звере, название которого начинается на "Т". И это помогает. Правда, хотя дети и перестают орать хором, зато принимаются выкрикивать по очереди: "T for Tiger, T for Tiger..."[1]

Жена Уильяма показала мне вчера одну книжечку под названием "Письма детей к Богу".

© by Andrzej Czyżewski, 1985
© И. Подчищаева. Перевод, 2000

1. "Т" — это тигр, "Т"— это тигр" (*англ.*). (*Здесь и далее – прим.перев.*).

"Добрый Боженька! Я люблю Тебя, потому что Ты добрый. Я пытаюсь быть таким же, как Ты. Я тоже добрый по отношению ко всем людям, к отцу, и матери, и двум своим сестренкам. Это, наверно, здорово — быть Богом и знать, что все Тебя любят. С приветом. Твой Томас".

"Добрый Боженька, я провалился. Благодарю Тебя. Раймонд".

"Добрый Боженька, меня зовут Роберт, и мне хочется иметь братика. Мама сказала, чтоб с этим я обратился к отцу, а отец велел попросить Тебя. Как думаешь, Ты мог бы это сделать? Желаю Тебе успехов. Роберт".

"Добрый Боженька! Моему младшему брату четыре годика. Будь добр, сделай так, чтобы он перестал меня бесить. Твой друг Марк".

"Добрый Боженька! Я думаю, это прекрасно, что наши астронавты летают над землей. Только прошу Тебя, сделай так, чтоб они не упали на наш дом. Твой друг Норман".

"Добрый Боженька, а ну как Ты умрешь, что тогда будет? Никто не хочет мне этого сказать. Твой друг Майкл".

"Почему Ты не можешь сделать так, чтобы по субботам прекращался дождь? Роуз".

"Добрый Боженька! Мальчики лучше девочек. Я знаю, что Ты — один из них, но все-таки будь fair[1]. Сильвия".

"Добрый Боженька! В школе мы проходили про Иону и кита. Ну когда кит его проглотил и так далее. Это самая лучшая история из всех, которые я слышал, с захватывающим сюжетом. А папа говорит, что все это звучит немного подозрительно. Ну не потеха ли, как думаешь? Твой Сидней".

"Добрый Боженька! Если Ты действительно так много о нас думаешь, то почему Ты не сделал так, чтобы река, оставаясь большой, все же не затопила наш дом и нам не пришлось бы переезжать? Виктор".

Я не стал бы так подробно об этом говорить, если б не тот факт, что для меня дети как бы вписаны в пейзаж Америки. Я с ними сталкиваюсь ежедневно: вижу, как утром они едут в школу на специальном автобусе, снабженном светящейся надписью; потом возвращаются; потом ждут фургон с мороженым, который появляется на нашей улице около четырех; потом сидят, уставившись в телевизор, следя за приключениями Бэтмена. Между семью и девятью наша улица оглашается страшными криками — наступает время, когда детей пора отрывать от телевизора и укладывать спать.

Детям ничего не запрещается, их не бьют по рукам — оказывается, это может пагубно отразиться на них в будущем. Но я никак не могу избавиться от чувства удивления, когда гляжу на детей, сидящих у экранов телевизоров и поглощенных приключениями Бэтмена или похождениями детективов и личностей с садистскими наклонностями, которые промышляют в игорных домах, на темных улицах и в барах, где полным-полно продажных женщин; манеры и привычки у этих типов, мягко говоря, специфические. Каждую минуту — труп, каждую минуту — летящая в пропасть машина, которая тут же взрывается; еще не самое плохое — ковбой, пинком под зад вышвыривающий за дверь окровавленного человека со словами: "Бери коня и убирайся из города". Неужто все это не отражается на детской психике? Жена Уильяма утверждает, что телевидение таким образом подавляет агрессивные инстинкты; возможно, отчасти это и правда. В книге "Мир секса" я прочитал, что зрители, наблюдающие за схватками боксеров или борцов, испытывают чувства, близкие к оргазму. Поскольку книга написана

1. Справедлив (*англ.*).

профессиональным психиатром, с ним трудно спорить — в этой стране по любому вопросу голос психиатра решающий.

А что, например, может вообразить себе ребенок, читая сказочку под названием "Почему у "jelly-fish"[1] нет костей"? Там все просто: однажды королевская дочь заявила, что больна. Врач-осьминог, тщательно обследовав, сообщил, что королевскому дитяти необходима порция обезьяньей печенки. На выполнение врачебной рекомендации делегируют рыбу, поскольку лучше пловца не сыскать.

Рыба плыла через океан и вдруг увидела тонущую обезьяну. Предложила той помощь; обезьяна вскочила ей на спину и таким образом спаслась. В разговоре, завязавшемся между рыбой и обезьяной, рыба попросила обезьяну, чтобы та дала ей кусочек своей печенки, поскольку это необходимо для здоровья королевской дщери. Обезьяна сказала, что охотно это сделает, но свою печенку она оставила на острове; рыба с обезьяной на хребте поплыла в направлении острова; обезьяна же, выскочив на берег, забралась на дерево и сказала: "А теперь поцелуй меня в задницу". Рыба поплыла обратно и рассказала о своем приключении врачу-осьминогу. Врач доложил обо всем королю, который, рассвирепев, приказал своим слугам выпороть рыбу; били ее, били, покуда не размозжили все кости. Вот почему у "jelly-fish" нет костей.

Однако на этом не конец поучительной сказочке. После произведенной над рыбой экзекуции королевская дочь заявила, что вовсе не больна, а о недомоганиях, причину которых она усматривала в больной печени, вообще говорить не стоит, они всего лишь — следствие легкой головной боли.

Это самая жестокая сказка из всех, которые мне известны. В ней много чего есть: отвага и самопожертвование, сведенное на нет изменой, и обманутое доверие, и физические пытки, и наказание без вины — и все это из-за каприза юной томящейся от скуки идиотки. Присутствует там и мотив пожизненной инвалидности, позволяющий объяснить детям, почему у "jelli-fish" нет костей. Это один из лучших рассказов Сартра, какие я только читал; должен признаться, что, читая его тяжеловесные сочинения, я никогда не предполагал, что этот малый зайдет так далеко.

Адольф Рудницкий в своих "Голубых страничках" говорит: молодые люди уверены, что причина всех их бед — женщины; таким образом, гнев молодых обрушивается на головы женщин. Здесь же, в Штатах, причиной всех бед молодых людей всегда служат родители. Если молодой человек — недотепа, педераст, алкоголик и полный идиот, то нам тут же объясняют — все потому, что его отец был подкаблучником, а мать — деспотом в семье. Если девица стала шлюхой, то лишь потому, что отец был размазней и подкаблучником; удивительная штука — во всех американских фильмах, посвященных молодежи, даже самые заурядные актеры — такие, как например, Элвис Пресли — прекрасно играют, когда дело доходит до конфликта между отцом и сыном.

Меня все-таки интересует ответ на вопрос, что думает ребенок, читающий сказку о "jelli-fish". Здесь мнения педагогов-психологов разделились. Одни утверждают, что ребенок, читая сказку, понимает: речь идет о вымышленных персонажах и обстоятельствах; другие утверждают обратное: мир сказки — это и есть настоящий мир ребенка, и ребе-

1. Медуза (*англ.*). Американцы употребляют это словосочетание и в переносном смысле — "человек слабовольный, размазня". (*Прим. автора.*)

нок сперва научится понимать проблемы пса Плуто, а уж только потом — проблемы министра Макнамары.

В одной из таких книг можно прочитать историю о мальчике, который панически боялся летать на самолете и не мог внятно объяснить почему. Чтобы продемонстрировать ему, что это не так опасно, как кажется, его отец сдал экзамен на PP (private pilot); то же самое потом сделала и мать, и только рак спас тестя с тещей от сдачи этого экзамена. Однако ребенок все равно боялся летать; его отвели к психологу, и после нескольких сеансов выяснилось: когда мальчик наблюдает за взлетающим в небо самолетом, он видит, как тот становится все меньше и меньше. "Я просто не хочу оказаться внутри, чтоб меня раздавило", — сказал он. Вот и все.

Мнения педагогов-психологов на эту тему разделились, и я не стану высказываться, поскольку уверен: вряд ли можно сыскать другого человека, в той же мере лишенного педагогических талантов, как я. Глядя на американских детей и размышляя о трагедии длинноволосых, я вспоминаю разговор героя "Подростка" со своим отцом. Так вот, на вечный российский вопрос "что же делать?" юноша получает следующий ответ: "Вообще же ничего не делать всего лучше; по крайней мере, спокоен совестью, что ни в чем не участвовал". Должен честно признаться, что точность и справедливость такого ответа глубоко поразили меня, настолько глубоко, что вот уже лет пятнадцать, как я придерживаюсь подобной точки зрения и надеюсь, что мне удастся сохранить эту веру до того самого дня, когда я уйду дорогой всех людей.

По поводу отношения ребенка к насилию у психологов тоже нет единого мнения, и не приходится обольщаться, что на этот счет можно отыскать дельное суждение. Пару дней назад мне попалась статья одного психиатра, в которой врач утверждает: ребенку необходимо объяснять, что такое насилие, жестокость и агрессия, чтоб он мог вступить в жизнь, вооруженный верой в то, что человек, сколько бы его ни били и ни унижали, в конечном счете все же способен побеждать. Так, герой небезызвестного мультфильма — кот, которого по ходу действия без конца взрывают, бьют током, утюжат асфальтовым катком и так далее и тому подобное, — в конце все же приходит в себя и расправляется с садисткой-мышью, из-за которой претерпел столько мучений. Такова педагогическая роль насилия и агрессии в книгах и фильмах, предназначенных для детей.

Все это с трудом укладывается у меня в голове. Я вовсе не уверен, что именно так надлежит готовить ребенка к жизни. Сам я, будучи ребенком во время оккупации, видел такое количество убитых, замученных и публично расстрелянных, что это перестало меня волновать; и полагаю, такое происходило с множеством моих сверстников. После войны дети в развалинах Варшавы по большей части играли в расстрел евреев. Послевоенные годы принесли новую волну террора, еще более страшного, поскольку зло творили сами поляки; тогда убийств на улицах я уже не видел, зато читал статьи о судах над летчиками из RAF[1]; над солдатами Армии Крайовой; читал отчеты о процессе епископа Качмарека[2]. Рано уйдя из семьи, я достаточно покрутился в различных

1. Royal Air Force (*англ.*) — Британские воздушные силы, в составе которых во время второй мировой войны сражались польские летчики.
2. Ч. Качмарек (1909–1984) — келецкий епископ, на показательном процессе в 1953 г. "признавший" себя виновным в сотрудничестве с гитлеровцами в годы оккупации.

слоях общества, в том числе там, где любое недоразумение разрешалось дракой — в лучшем случае в ход шли только кулаки. Не знаю, насколько я типичный продукт своей эпохи, но в том, что я продукт времен войны, голода и террора, нет сомнений. Этим объясняется интеллектуальная скудость моих рассказов; я просто не способен придумать рассказ, который не кончался бы смертью, катастрофой, самоубийством или тюрьмой. Тут нет никакой позы или претензии на сильную личность, в чем кое-кто меня упрекает. Это просто интеллектуальный инфантилизм — результат неумения правильно оценивать человека, абсолютного незнания истинной ценности человеческой жизни, подлинных людских стремлений и помыслов. С некоторых пор мне отлично об этом известно, и тем не менее я не в состоянии придумать других рассказов, нежели те, что выходят из-под моего пера.

Меня много раз спрашивали, зачем я снова и снова пишу о двух подонках, убивавших собак[1]. Поначалу я и сам не мог найти ответ; только теперь мне припомнилось, что однажды, когда я был ребенком, мы с мамой ждали на пригородной станции поезда. Завидев на перроне породистого пса, я подошел к нему и стал с ним возиться, как вдруг сильный удар сапога по лицу отбросил меня в сторону: пес принадлежал немцу, который не мог допустить, чтобы польский ребенок дотрагивался до его собаки. Дальше: когда я был маленький, мы жили под Варшавой; однажды в электричке я наблюдал такую картину: польская шлюха ехала с немецким офицером в вагоне, а ее пес бежал рядом с поездом. В конце концов немец пристрелил собаку, и они со шлюхой дружно хохотали. И еще: тоже ребенком я получил в подарок от матери дворняжку Мики; дворнягу пристрелили скучающие немецкие солдаты.

Чтобы понять, о чем я говорю, необходимо хотя бы недолго пожить в Германии и понаблюдать, как немцы относятся к животным — трогательно, дружески, заботливо. В нашей стране немцы ненавидели не только нас, но и наших животных. Адольф Рудницкий справедливо пишет, что ненависть немцев — это не ненависть господ, это ненависть лакеев. Поистине трудно вообразить себе другую такую же страну, где никчемный капрал, разглагольствуя перед полупьяными завсегдатаями пивнушки, сумел бы внушить им, что именно они — соль земли и цвет нации и это дает им право совершать преступления.

Так вот я — продукт того времени, и, скорей всего, это мой крест, от которого мне никогда не избавиться. Но разве картины зла и насилия помогли мне в моей жизни? Со всей убежденностью говорю: нет. Совсем наоборот; попав на Запад уже зрелым человеком, я вынужден был учиться элементарным вещам: почтительному отношению к другим, уважению их права на покой, права на отдых; и я вовсе не уверен, что научился этому в полной мере. Будучи уже взрослым, я вынужден был учиться правильно переходить улицу, не нарушать правил дорожного движения и не превышать скорость; должен был, наконец, учиться самому трудному для меня — умению разговаривать с чиновниками и полицейскими без внутреннего страха. И по сей день этому не научился. Шагая в Германии по улице, я то и дело схожу с тротуара на мостовую, ибо так и жду, что идущий навстречу прохожий даст мне пинка или ударит кулаком в лицо; и мне даже в голову не приходит, что я со своими почти девяноста килограммами живого веса, я, усиленно занимающийся гимнастикой, мог бы свалить его одним ударом, если б ему только вздумалось меня тронуть.

1. См. "Обращенный в Яффе" и "Снова убиваю собак".

Так вот, полученные уроки и "воспитание насилием" не принесли, если говорить обо мне, положительных результатов. Даже признав себя самым несносным человеком на свете, я не готов согласиться, что все виденное мною в те времена, когда формировался мой характер, оставило меня равнодушным. Глядя на детей, которые внимательно наблюдают за дерущимися людьми, и слыша за кадром голос диктора: "Как жаль, что не у всех из вас есть цветные телевизоры. Как раз сейчас Киллер Кард Кокс рассек бровь Риску Ромерро; Ромерро потрясающе истекает кровью; у каждого должен быть цветной телевизор. Вы даже не представляете себе, что теряете..." – я испытываю скорее недобрые чувства, вопреки мнению психологов. Утешает только одно – повторю вслед за Вольтером, – что всякое обобщение грешит фальшью, включая и то, которое я позволил себе сделать.

Страшилки

В "Лос-Анджелес таймс" я наткнулся на такую историю: во Вьетнаме американцы сровняли с землей какую-то деревню, служившую партизанам перевалочной базой. После карательной акции репортер подошел к одному из солдат, с виду отчаянному головорезу, и спросил, что он обо всем этом думает.

– Ох и осточертело мне все это, – сказал солдат. – Я понимаю – идет война, понимаю – мы убиваем коммунистов, потому что иначе они убили бы нас, но убивать коров и щенков – это совсем другое. Этого от нас никто требовать не вправе.

Прихватив заметку, окрыленный, я бросился к Вильяму. Билл прочитал и сказал:

– Подумаешь! – и показал мне другую газетную вырезку. В ней речь шла о человеке, который служит надзирателем в тюрьме Алькатрас и в течение двадцати лет отволакивает людей в газовую камеру.

«У вас ужасная профессия, – сказал ему репортер. – Что помогает вам в исполнении этих жутких обязанностей?»

«Не знаю, – после минутного раздумья ответил надзиратель. – Просто я люблю людей – вот и все».

Химия

Грэм Грин в своей книжке "Наш человек в Гаване" пишет, что тема номер один в любом разговоре гаванцев – секс. Вышеупомянутое наблюдение, сделанное мастером клерикальной прозы Грином, свидетельствует о том, что он ни дня не пробыл в Лос-Анджелесе (тут стоит оговориться, что это не самая страшная из бед, когда-либо постигших округ Лос-Анджелес).

Стендаль пишет в главе, посвященной Ирландии, о том, какую зловещую роль в судьбе всякого ирландца играет священник, который вмешивается в жизнь человека и разрушает ее в соответствии со своими идиотскими догмами; за душевным здоровьем моих американских друзей зорко наблюдает психоаналитик. Разумеется, фрустрация[1] – пробле-

1. Фрустрация – психологическое состояние, вызванное разочарованием, неосуществлением какой-либо значимой для человека цели или неудовлетворением потребностей и проявляющееся в гнетущем напряжении, чувстве тревоги и безысходности.

ма номер один. Поскольку, как я уже писал, психиатр здесь непререкаемый авторитет по всем вопросам — начиная с покупки автомобиля аж до цвета гроба, — то в данном случае я не осмеливаюсь вступать в дискуссию.

Здесь я на себе почувствовал оглупляющее влияние сексуальной символики, без которой не обходится ни одна реклама. Сидя на аэродроме в ожидании разрешения на свой вылет, я частенько листаю журнал "Пайлот энд плейн", на последней странице которого можно полюбоваться красочным изображением самолета "пайпер чероки". На крыле стоит очаровательная блондинка, ветер вздымает платье вокруг ее стройных ног, деликатно, но недвусмысленно обнажая ее соблазнительные прелести. Надпись: "ЛЮБИМЫЙ. Когда ты впервые полетишь на нашем новом "чероки-140" и приземление твое будет мягким и безопасным, ты не подумаешь о "чероки" иначе, чем: ЛЮБИМЫЙ". На второй странице журнала — статья "Sex and the Simple Engine"[1]. Ученый автор описывает, что происходило на аэродроме, когда там продефилировала девушка в юбке выше колен. Механик вместо восемьдесят второго бензина залил девяносто второй; один мужик, глянув вслед девушке, отвлекся и рассчитал ТС (true course)[2] 300 вместо 030, отчего самолет, вместо того чтобы лететь на северо-восток, взял курс на северо-запад. Другой вообще совершил ужасную ошибку, в результате чего лишился лицензии пилота. И так далее, и тому подобное.

Сидя перед телевизором, я сто раз на дню вижу рекламу различных лекарственных средств, косметики, продуктов питания; каждый рекламный ролик представляет собой мастерски разработанный сценарий, доводящий до нашего сведения, что применение именно данного средства спасет нас от фиаско в постели и, соответственно, обезопасит от ухода жены, потери работы и друзей; это, и только это средство станет спасением от алкоголизма, отчаяния, одиночества. Парень провожает девушку домой; холодно прощается с ней, а она кидается к подруге и сообщает: "Представляешь — рукопожатие вместо поцелуя". На минуту погрузившись в себя, подруга с мукой в голосе наконец заявляет: "Ты уверена, что с твоим дыханием все о'кей?" "Да я же каждый день чищу зубы", — отвечает бедолага. "Этого недостаточно. Ты должна пользоваться..." и т. д. и т. п.

Проходит неделя — буквально одна только неделя! Та же девушка с тем же парнем поздно вечером возвращаются домой. На сей раз он уже не подает ей руку, а порывисто обнимает и закрывает рот долгим поцелуем, который заставляет содрогнуться все ее естество. Она не сопротивляется. Затемнение, звучит хор ангелов, и мы знаем, мы свято верим, мы вне себя от счастья, понимая, что дело близится к той развязке, о которой в одной русской частушке поется:

Парень девушку ...
Хочет познакомиться.

Голос диктора за кадром: "Наше средство защитит вас от возвращения домой в одиночестве". И вновь — хор ангелов.

Другая реклама: молодых влечет друг к другу, парень протягивает девушке дрожащую руку, она подает ему свою, и вдруг — раз! — в ладони

1. **"Секс и простая машина"** (*англ.*).
2. **Нужный курс** (*англ.*).

парня вместо прелестных коготков — щетка. Диктор произносит тоном разгневанного Господа Бога, укоряющего Онана: "Разве он хотел стиснуть щетку вместо твоей ладони? НЕТ!" Неделю спустя: девушка применила смягчающий крем, и на этот раз мы видим, как он хватает ее за руку и тут же с неистовой страстью привлекает к себе; после чего — как говорил несравненный Тадеуш Доленга-Мостович[1] — "тела их сплетаются в загадочный иероглиф природы".

В любом drug-store можно приобрести литературу, посвященную сексуальной жизни самки рода человеческого. Мой знакомый врач справедливо замечает, что существуют тысячи публикаций на тему, как надлежит удовлетворять самку; в свою очередь, ему не известна ни одна книжка, объясняющая, каким способом самка должна осчастливливать мужчину. Все эти книги написаны в основном врачами-психиатрами и подкреплены реальными случаями из жизни, каждый из которых снабжен профессиональным комментарием с подробными объяснениями эротических символов.

Книги подобного рода расходятся в тысячах экземпляров, а их авторы зашибают огромные деньги. Судить о научной ценности этой литературы трудно; быть может, только одна из ста действительно полезна. Однако я никак не могу отделаться от мысли, что победоносное шествие секса, начиная с рекламы мыла и шпилек для волос, используется в корыстных целях пройдохами, наживающимися на этом, как всегда наживались на любой другой человеческой потребности. Несмотря на эти публикации, я верю, что у многих все еще живы мечты о нормальных мужчинах и женщинах и не отмерло чувство, которое некогда называли любовью, а сегодня называют всего лишь химией.

Моя карьера в кинематографии

Я сидел в ожидании президента компании, на которую мне предстояло работать. Внезапно дверь с треском распахнулась, и какой-то человек с перекошенным лицом и налитыми кровью глазами ворвался в комнату. За ним стремительно вбежали несколько секретарш, машинисток, ассистентов и других субъектов, установить половую принадлежность которых было весьма затруднительно, поскольку из-за крайнего физического и психического переутомления их лица невозможно было отличить одно от другого.

— Это вы написали эту чертову историю о летчиках? — загремел президент. — И что? Вы правда хотите, чтоб героиня в конце ушла от мужа? Кто же это будет финансировать? Придумайте что-нибудь другое для этой шлюхи. Пусть ее муж погибнет — разобьется при посадке.

— Исключено, — сказал я. — Ее муж — опытный пилот и, работая в сельскохозяйственной авиации, сажает свою "птичку" каждые сорок пять минут. Даже если предположить, что ему пришлось бы сесть на вспаханное поле, а такое приземление должно проходить при открытых не более чем на двадцать пять градусов подкрылках и полностью открытых дроссельных клапанах...

Президент прервал меня нетерпеливым жестом:

— Ну так пусть откинет копыта при других обстоятельствах. Не думаете же вы всерьез, что эта шлюха может в конце бросить мужа и уйти

1. Т. Доленга-Мостович (1898–1939) — польский писатель межвоенного двадцатилетия.

к другому! Мы не вправе делать аморальные фильмы. — Он повернулся к одному из своих ассистентов: — Фред, отвези его... знаешь куда. Забыл, как называется то место. Там еще такие причудливые скалы. Ему это будет полезно.

И, сыпля проклятиями, ринулся вперед; толпа секретарш, машинисток и ассистентов потрусила вслед за ним. Я еще мог наблюдать, как он стремительно мчался по двору, потрясая кулаками над головой. Больше мне с ним свидеться не довелось, как и не удалось взглянуть на причудливые скалы, которые, без сомнения, могли бы изменить мой взгляд на женщин, бросающих своих мужей; на том дело и кончилось.

Праведник из Содома

Продолжение моей карьеры в кинематографии

Ларри — кинопродюсер, и выглядит он именно так, как должен выглядеть продюсер: огромный, слоноподобный, невыспавшийся; он курит сигары и оживляется, только услышав телефонный звонок. Познер в своем репортаже о Голливуде хорошо написал о роли телефона в Штатах. Действительно, тут каждый только и делает, что ждет звонка. Телефонный звонок может нищего превратить в человека, хорошо зарабатывающего; топающего пешком — во владельца лимузина "линкольн-континенталь"; бедолагу, которому нечем заплатить за квартиру, — в хозяина роскошных апартаментов. С таким же успехом один звонок может лишить тебя всего, что ты имеешь, и никто не поинтересуется, как у тебя идут дела; и телефон твой будет помалкивать, пока симпатичный голосок операторши из General System[1] не сообщит, что за неуплату по счетам телефон у тебя отключают. И тогда ты уже вообще никто.

Ларри позвонил мне и сказал, что хочет со мной встретиться. Ларри прислал за мной машину и велел подать мне кофе, глотнув которого я впервые в жизни поверил в существование абсолютного зла. Ларри велел мне рассказать о себе, выпытывал о состоянии моего здоровья, о моем отношении к религии, недовольно скривился, когда я сказал ему, что религия занимает незначительное место в моей жизни; расспрашивал меня о моей жене и воспылал гневом, когда в процессе беседы я признался, что перед вступлением в законный брак имел двух женщин. Поостыв и успокоившись при виде моего раскаяния и смущения, Ларри спросил, сколько я получаю, что ем на завтрак, и наконец заявил, что будет говорить со мной не как продюсер, а как отец родной, потому что я пришелся ему по душе. Затем Ларри начал говорить о себе; обрисовав в нескольких необыкновенно емких фразах свою трудную юность, службу в армии, перенесенные болезни, он сказал, что мне следует постоянно быть начеку, поскольку этот город кишит пройдохами, которые, наобещав золотые горы, лишь используют меня и не заплатят ни гроша. Но этому не бывать. Этого не произойдет, ибо он, Ларри, возьмет меня под свою личную опеку, всегда даст добрый совет и защитит от людской подлости. В заключение Ларри сообщил, что до сих пор в городе был только один порядочный человек, а теперь нас таких двое.

— О'кей, — сказал Ларри. — Я собираюсь снять фильм о человеке,

1. Телефонная компания (*англ.*).

бродяжке, который в один прекрасный день открывает в себе любовь к Богу. — При этом Ларри душераздирающе зарыдал; я, как мог, утешил его, и Ларри продолжил: — И этот чертов бродяга, этот засранец однажды понимает, что нельзя больше жить без Бога, и становится другим человеком. Ну и как тебе это?

Я искренне заверил его, что сама по себе идея — вершина человеческой мысли, а когда Ларри попытался меня прервать, отругал его за неверие в мощь собственного ума.

— Одна только загвоздка, — сказал я. — Ребенком мне довелось прочитать историю о бродяге, которого нанял миссионер, чтобы тот отвез его на пироге к индейцам. Дорогой они помирали со скуки, и миссионер попытался наставить бродяжку на путь истинный, но тот заявил, что в Бога не верит, и точка. В конце концов они попали в руки индейцев. Те привязали их к столбу и велели миссионеру отречься от Бога, а иначе поджарят его живьем. Миссионер отрекся, ибо другого выхода не было. А вот бродяга отказался. "Я в этом особо не разбираюсь, — сказал он. — Но мой отец верил в Бога, а был он горький пьяница и самый крепкий мужик в Кентукки. И дед мой тоже верил, хоть был заядлым игроком в покер и скор на руку. Я в этих делах не силен, но это Бог моих предков". Миссионера отпустили, а бродягу спалили живьем на костре.

— Кто это написал? — бледнея на глазах, спросил Ларри.

— Если не ошибаюсь, Джек Лондон.

— Не беда, — сказал Ларри. — Езжай домой и подумай над этим сюжетом.

— А как быть с правами?

— Предоставь это мне. Как украсть, моя забота.

Я вернулся домой точно на крыльях. Скоренько связался с представителем фирмы по продаже "ягуаров" и спросил, сколько стоит самая лучшая модель. После чего оставил заказ; потом набрал номер красотки Джуди и пригласил ее съездить в Палм-Спрингс. Попросил принести мне из супермаркета бутылку виски. Заказал из дома разговор с Парижем; отказался от старой квартиры и только принялся за объявления в газете, подыскивая подходящую виллу с бассейном, как зазвонил телефон. Это был Ларри; голос у него дрожал, как у старого, больного человека. Он всхлипывал и сопел и наконец выдавил из себя, что же произошло: проект, н-а-аш проект, за это время украли другие.

Диковинный человек-паук

Однажды после серии блистательных успехов на кинематографическом поприще, а также побед, одержанных благодаря врожденному дару слова в избранном обществе обитателей лос-анджелесской тюрьмы, я оказался без гроша за душой. Но мир не без добрых людей, и вскоре я получил работу грузчика. В назначенное время, тщательно выбритый и свежий, я предстал пред ясные очи шефа, который долго молча изучал меня, а потом сказал:

— Будете работать у нас диковинным человеком-пауком. Как вам это?

Я заверил его, что всю жизнь только и мечтал о преображении своей скромной персоны в диковинного человека-паука, ждал этой минуты тридцать четыре года, и вот наконец сны мои стали явью.

— Видите ли, — сказал мой шеф, — наша фирма занимается распространением комиксов. Нет такого дерьма, какого бы у нас не нашлось. Все есть: "Любовь девушки", "Искренние признания", "Невыполнимая миссия", "Бэтмен" и тому подобное. Все это мы развозим по городу. Вы распределены в отдел приключений; начальником у вас будет Микки, таким образом, вы автоматически попадаете в подгруппу "Фантастика", то есть автоматически становитесь членом секции "Диковинный человек-паук". Понятно?

— Разумеется.

— Вас задерживала когда-нибудь полиция?

— Нет.

Мой шеф снова пристально взглянул на меня.

— И кому вы это рассказываете? — оживился он.

Придя на склад, я отыскал своего начальника Микки. Представившись, спросил, как мне к нему обращаться, на что он ответил, чтоб я звал его по имени. После чего дал мне халат, на спине которого был намалеван мужик, сильно смахивающий не то на отпрыска Никиты Хрущева, не то на потомка Флоренс Найтингейл[1], не то на них обоих сразу; это странное существо смотрело на мир сквозь густую сеть паутины; под восхитительной картинкой красовалась надпись огромными буквами: "ДИКОВИННЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК".

Теперь это был я.

Работа начиналась в семь утра. В цех въезжал огромный грузовик, а я и еще один мужик с лицом сифилитика-садиста, на халате которого было нарисовано пронзенное стрелой сердце и надпись под ним: "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК", принимались за дело.

— Ты бери свои пачки, а я свои, — сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. — Смотри только, чтоб ничего не перепутать. Если подложишь своего ПАУКА к моим шлюхам, Франческо взбесится.

— Кто такой Франческо?

— Водитель грузовика, — сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. — Тот еще сукин сын. Он может потом пойти к Микки и сказать, что по нашей вине его машина простаивала, и в пятницу мы вылетим с работы. Понятно?

Мы начали сбрасывать с грузовика пачки, а Франческо стоял и, глядя на нас со зловещей ухмылкой, комментировал наши усилия в таких выражениях, которые страшно повторить даже в среде кинематографистов. Впрочем, их можно было расценивать как ободряющие, что было вовсе не лишено смысла, учитывая вес пачек: каждая тянула килограммов на сорок.

Минут через пятнадцать в цех шаркающей походкой вошел какой-то старец; видок у него был тот еще — одной ногой он явно стоял в могиле. На спине у патриарха было выведено: "СЕКСОЛОГИЯ. НЕОТРАЗИМЫЙ ЛЮБОВНИК". Выкатив глаза от натуги и хрипя, как при последнем издыхании, СЕКСОЛОГИЯ вскарабкался на грузовик и зашептал мне на ухо:

— Будь начеку! Микки заходил уже два раза и видел, как ты сидишь.

— Так ведь колымага отъехала, — сказал я. — И мы ждали следующую.

— В нашей фирме не принято рассиживаться, — сказал СЕКСОЛОГИЯ. НЕОТРАЗИМЫЙ ЛЮБОВНИК. — Даже если автокара нет, ты

1. Английская медсестра в период Крымской войны (1853—1856). Международным комитетом Красного Креста в 1912 году учреждена медаль им. Найтингейл.

должен стоять. Еще раз Микки увидит тебя сидящим — вытурит влет. — Кряхтя и отдуваясь, СЕКСОЛОГИЯ. НЕОТРАЗИМЫЙ ЛЮБОВНИК слез с грузовика и, уставившись перед собой безумным взглядом, удалился; его рыбьи глаза слезились.

Микки вошел в цех и гаркнул:

— Перерыв.

Я видел, как ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК аккурат поднял очередную пачку, но в тот самый момент, когда раздался рык Микки, выпустил ее из рук. Мы расселись где попало, и каждый принялся за принесенный с собой сандвич. Внезапно в зал вошел какой-то горбун, в одном лице являвший собой целую процессию евреев, совершающих переход через Красное море. На спине у него была надпись: "ГЕРКУЛЕС, ЧЕЛОВЕК — ГОРА МЫШЦ". Горбун плакал навзрыд.

— Чего этот ублюдок плачет? — спросил я.

— Неужто не знаешь? — спросил ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК.

— Нет.

— У нашего шефа своеобразное чувство юмора, — пояснил ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. — Сам видишь, как он нас всех поназывал, — вспомнишь и готов на стенку лезть. Горбун сперва был ТАРЗАНОМ, СЫНОМ НЕИ, потом его превратили в КРАСОТУ И СИЛУ МУЖЧИНЫ, а теперь этот убогий — ГЕРКУЛЕС. Когда я пришел сюда, получил халат и увидел, что я уже не Билл Андерсон, а ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК, то пошел к шефу и говорю: "Босс, нельзя ли меня сделать ЧЕЛОВЕКОМ-ЗВЕРЕМ, НАЕМНЫМ УБИЙЦЕЙ"? А он посмотрел на меня и сказал: "А по-моему, ты выглядишь как ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК ". Повернулся к своей секретарше и спросил: "Ну скажи, Сьюзен, разве он не самый симпатичный парень в нашем городе?" А Сьюзен в ответ: "Да, мистер Фишбейн". А он мне: "Ну как, теперь ты мне веришь?" Этим дело и кончилось.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК задумался. Его угрюмое лицо сифилитика-садиста совсем скукожилось; лобик, и без того не больше почтовой марки, пропал окончательно; казалось, его нижняя челюсть торчит прямо из головы.

— А мне даже секс приходится покупать, — сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. — Как другие покупают картошку. Я урод, и никто меня не хочет. Как-то зашел я в один бар на Вайн-стрит, где обычно гужуются шлюхи; они там сидели и дули виски, которое для них покупали всякие типы, а потом уводили с собой. Ну я тоже разлетелся заказать что-нибудь одной, подхожу, спрашиваю, что она пьет, а она мне на это: "Я пью "Seven and Seven"[1]. А ты что? Крокодилье говно?" И даже не захотела со мной разговаривать. Тогда один таксист сказал, что знает в центре проститутку, которая называет себя Жозефина, и что он меня к ней отвезет. Отвез, велел стукнуть три раза в дверь и сказать, что я от Харри. Сам остался ждать внизу. Я заплатил ему восемь долларов, поднялся наверх, постучал; открыл мне какой-то негр. Я говорю: "Могу я видеть Жозефину?" А знаешь, кто был этот негр? Боксер, убивший человека на ринге, за что у него отобрали лицензию; он не умел притворяться и бил по-настоящему. Негр так рассвирепел, что я потом три недели провалялся в больнице.

— Да он, верно, подшутить над тобой хотел, — сказал человек ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ.

1. Сорт виски.

— Кто?

— Таксист этот, — сказал ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ.

— Думаешь? — спросил ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК.

— Некоторые считают, что ничего нет смешнее, чем одурачить другого, — сказал ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ.

— Я до него еще доберусь, — изрек ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК.

— Всех нас тут дурачат, — сказал ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ. — Чтоб получить эту работу, надо состоять в профсоюзе. Наш шеф никого не может выкинуть, иначе профсоюз с ним в один день разберется. Папаша Хоффа[1] не позволил бы нас и пальцем тронуть. Поэтому мы получаем два пятьдесят три в час, и шефу ничего не остается, как столько платить; он ненавидит Папашу Хоффу и отыгрывается на нас. Я вот — после двух инфарктов и четырех операций грыжи, и ни одного своего зуба нет, оттого шеф и запихнул меня на эту серию о бандите, который закапывает людей живьем. В прошлом месяце он закопал двух девчонок, монашку и собственного тестя. А все потому, что с этим парнем что-то произошло в молодости и он вроде возненавидел людей. По крайней мере, похоже на то.

— Скажи ПАУКУ, как тебя звали до этого, — сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК.

— Я предпочел бы не говорить.

— Скажи ему.

— О'кэй, — сказал ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ. — До этого я звался ВОСКРЕСШИЙ ДЖО. Это об одном парне из Канзас-Сити, который умыкал трупы.

— И что он с ними делал?

— Не знаю. В очередном комиксе это бы выяснилось, но меня перебросили в другую группу, — сказал ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ.

— Наш шеф всегда так делает, — заметил ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. — Как только кто-нибудь всерьез заинтересуется, чего там в этой макулатуре пишут, тут же его переводят на другую работу. Я — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК, а даже не знаю, о чем это.

— А все потому, что наш шеф ненавидит Папашу Хоффу, — сказал ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ. — Папаша был хороший малый, хотел даже выбить для нас страховку у дантиста. Теперь его загребли, но шеф до сих пор его боится.

— Шеф его ненавидит, потому что Хоффа был водителем грузовика и одного его слова было бы достаточно, чтоб "маки"[2] по всей стране встали, — сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. — Только Папаша никогда бы так не поступил. Папаша за нас горой, но в дела шефа вмешиваться не может. Потому-то шеф и сделал из нас шутов гороховых.

Микки вошел в цех и крикнул:

— Let's go![3]

На этот раз машин под разгрузку не было. Я и ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК сортировали старые комиксы и сдирали с них обложки.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК вышел на минуту, и некоторое время я один сдирал обложки и складывал в кипы этот хлам, но потом мой напарник вернулся и как вкопанный застыл у меня за спиной.

1. Джеймс Риддл Хоффа (1913–1975) — профсоюзный деятель, в 1957–1971 гг. — президент профсоюза водителей грузовых автомобилей и складских рабочих. Многократно обвинялся в связях с преступным миром; в 1967 г. был посажен в тюрьму.
2. Большегрузные машины в Америке.
3. За работу! (*англ.*)

— Где обложки? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я. — Кто-то их только что унес.

— О господи! Надо было все складывать в стопку, а сверху положить обложку. Вот о чем это, скажи на милость?

Я взял один из разодранных комиксов и принялся читать:

"Первый раз Том взял меня силой на Арлингтонском военном кладбище. Дело было ночью. По сей день мне не забыть, как его волосатая рука, точно клещами, раздирала мои беззащитные и тогда еще невинные бедра..."

— Ладно, — сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. — Прикроем это "Утенком Дональдом", и все будет в ажуре. — Он сорвал обложку с "Утенка Дональда" и, прикрыв сверху пачку, ловко обмотал ее бечевкой, после чего перебросил соседу.

Парни, трудившиеся по другую сторону стола, видно, тоже что-то напутали. Я слышал, как один из них пытается сопоставить текст с обложкой:

— "Тогда в руке Джонни сверкнул короткий мексиканский нож. Джонни вогнал его в живот негра и одним движением с сатанинским хохотом вырвал внутренности. "А на будущее заруби себе на носу, что к белому человеку надо относиться с уважением", — сказал Джонни и спокойно отошел в сторону с дьявольской ухмылкой на губах".

Прервав чтение и помолчав минутку, парень сказал:

— На будущее?

— Ну да.

— Но о каком будущем тут может идти речь? Ведь Джонни вырвал у этого малого кишки.

— Ничего ты не смыслишь в литературе, — сказал его приятель. — Чепуха все это, но должна быть похожа на правду, ясно? Ведь если это дерьмо расходится каждую неделю миллионными тиражами, и каждая брошюрка стоит двадцать пять центов, значит, не так-то уж оно и глупо, верно? Почитай теперь из этой кучи.

— "Не тебе ли было сказано, чтоб ты никогда больше не совался в этот город", — сказал шериф и отступил на шаг. Молниеносным движением он выхватил пистолет, но Билли Кид[1] оказался быстрее. Два выстрела слились в один, и тело шерифа замертво рухнуло на землю..."

Перестав сдирать обложки, я попытался обмозговать эту сцену. Если шериф "молниеносным" движением выхватил оружие, а Билли Кид оказался быстрее, то каким же сверхмолниеносным должно было быть движение Билли? Ответа я найти не сумел. Зато виртуозность этой сцены поразила меня в самое сердце. Выстрел Билли оказался более метким, и уже не шериф, а *тело* шерифа "замертво" рухнуло на землю; убери автор слово "замертво", был бы кусок вполне приличной прозы, но ведь каждому сочинителю надо как-то отличиться. По сей день не понимаю, что за финансовые операции проворачивают герои романов Бальзака; не могу разобраться в потоке слов Жеромского; не понимаю, почему Ежи Анджеевский так мало пишет, и вообще не понимаю, зачем я сам взялся писать.

— И еще одной вещи я не понимаю, — вслух сказал я. — Почему шеф назвал меня ДИКОВИННЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК?

— Он тебе что-нибудь другое придумает, — сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. — МИР ЖЕНЩИН скоро отбывает во Вьетнам, он там

1. Билли Кид (1859—1881) — знаменитый главарь банды в Калифорнии.

будет капелланом, и тебя тогда, возможно, перебросят на МИР ЖЕНЩИН. Жена-то у тебя есть?

— А что, я выгляжу ублаженным?

— Ну так, может, он перебросит тебя на МИР ЖЕНЩИН. Там раньше вкалывал один тип, которого жена довела до ручки, поэтому шеф его туда и поставил.

— А почему МИР ЖЕНЩИН решил податься в капелланы?

— МИР ЖЕНЩИН — священник. Священник-рабочий. Таких много. Но теперь и он сыт всем этим по горло и отправляется на войну. "Мир женщин" — это такой журнал с фотографиями голых баб, там еще пишут, что за час позирования они получают пятьдесят зеленых. Кстати, можешь на него полюбоваться.

Обернувшись, я увидел мужчину, сдирающего обложки с журнальчика "Мир женщин". Глаза его были возведены к небу, и каждый раз, когда ему приходилось дотрагиваться до обложки, он болезненно морщился. Из-под содранной обложки наружу немедленно выныривало фото обнаженной красотки на плюшевом диване, недвусмысленная поза которой призывала с ходу лечь на нее, минуя даже промежуточную стадию принятия горизонтального положения рядом с ней на диване. Надпись под снимком гласила: "Терезе В. только девятнадцать лет, и вся жизнь у нее впереди. Она любит музыку, занятия спортом и танцы". Больше ничего прочитать о Терезе В. мне не удалось — МИР ЖЕНЩИН с мученическим выражением лица сдирал обложки и шептал при этом молитвы.

С другого конца цеха до нас донеслись громкие голоса. Это Микки разговаривал с каким-то хромым, чей левый ботинок, видно, весил не меньше пятнадцати фунтов, из-за чего колченогий слегка смахивал на дьявола из оперетки, режиссер которой еще до премьеры понял, что идти ему по миру, а потому на роль дьявола пригласил самого дешевого актера в городе. На тощих плечах хромого черта болтался мятый халат с надписью: "МИР СПОРТА".

— При чем тут спорт? — ядовито вопрошал Микки. — Вечно вы путаете обложки. Ну-ка прочти мне кусок.

— Мне читать не надо, — сказал МИР СПОРТА, — я и так знаю, о чем это.

— Ну и о чем?

— Об одном бандите, у которого была невеста, и тут-то его зацапали.

— И что было дальше?

— Потом он слинял из тюрьмы и пришел прямо к ней, чтоб она его спрятала, а попал аккурат на ее свадьбу с другим. Он передушил всех гостей, а негру, игравшему на трубе, вырвал глаза и выкинул его в окно, а вслед за ним вышвырнул и его трубу, издевательски проорав вдогонку: "Никто теперь не зарабатывает лучше слепых трубачей". Вот и все.

— А к спорту это какое отношение имеет? — спросил Микки.

— Я думаю, что человек, собственноручно задушивший всех гостей и выкинувший в окно здоровенного негра, был чертовски силен, — с достоинством сказал МИР СПОРТА. — По крайней мере, мне так кажется. Я переболел полиомиелитом, меня не взяли в армию, и даже водительских прав у меня нет.

— То, что тебе кажется, никому не интересно, — сказал Микки. — Изволь придерживаться текста.

— А для меня этот человек — силач.

— А для нас — бандит.

— Мало, что ли, сильных бандитов?

— Это к делу не относится.

— А по-моему, человек, который передушил своими руками всех гостей на свадьбе, — настоящий спортсмен, — с достоинством ответил МИР СПОРТА. — Я бы так не сумел, и ты бы так не сумел.

— Я тебе как человеку объясняю: этот тип был бандитом. А то и наемным убийцей.

— Это еще ничего не доказывает, — сказал МИР СПОРТА. — Малыш Чесман тоже был бандитом, а в тюрьме занимался спортом, поднимал тяжести, и бицепсы у него были толщиной со змею кобру, я читал в газете. Одно другому не мешает.

Микки отошел, а ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК сказал мне:

— Это наш шеф сделал из колченогого МИР СПОРТА. Раньше он был ДЕМОН СКОРОСТИ, ИЛИ ВЫЗОВ ПРОСТРАНСТВУ, но этих комиксов никто не покупал, и старик перевел его на "Мир спорта". Надо было его тогда видеть. Мы все так и вылупили глаза; я думал, он лопнет от злости. Красный весь был, как тот бедолага, которого собрались вешать, а веревка куда-то запропастилась, и пришлось ждать. То краснел, то бледнел. Подошел к колченогому и сказал: "Все, с завтрашнего дня будешь МИР СПОРТА, а этот хлам выкинь". И сам принялся рвать остатки "Демона скорости".

— Перекур, — сказал Микки.

Я купил себе бутылку молока и бутерброд с ветчиной; сидящий рядом со мной ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ беседовал с каким-то типом, который снял халат, и сказать о нем было нечего, кроме того, что он кемарил, сладко похрапывая, в то время как ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ разливался перед ним соловьем:

— Я все мечтал: вот стукнет мне шестьдесят, выйду на пенсию и сниму дешевую комнатку на Бродвее в Санта-Монике. Днем посижу у моря, потом сготовлю себе обед, а вечером закачусь в пивнушку, поболтаю с людьми, а если попадется кто стоящий, угощу его пивом. Слышь, в таких маленьких барах кружка пива идет по двадцать два, а то и по пятнадцать центов. Детей у меня нет, жена померла, и я все мечтал: стану старый — буду сидеть в баре с людьми болтать. Алкашом я никогда не был, а вот посидеть почесать языком люблю. Пришел наконец тот день, снял я себе комнатку и стал ходить по барам — рассказывал людям, как сдирал обложки с комиксов и складывал их в пачки, и так целых сорок лет. И что? Никто не хотел меня слушать. Сколько можно рассказывать, как срываешь обложку и бросаешь журнал в кучу! А ни о чем другом я рассказывать не умел, пить я не пил, ездить никуда не ездил; однажды только пьяный негр сшиб меня своей машиной, а когда я лежал на мостовой, подошел и дал мне пару пинков по жопе, приговаривая: "В другой раз не будешь по улицам шляться, когда я тут пьяный езжу". С тем и уехал, и его не поймали. Так вот, рассказывал я им, рассказывал об обложках этих, пока владельцы дешевых баров на Бродвее не стали меня гнать взашей. Стоило мне на пороге появиться, причем трезвому как стеклышко, сразу начинали орать: "Алкашей не обслуживаем!" Видать, клиенты попросили меня вытуривать. Тогда я вернулся сюда, и шеф меня взял, и из ВОСКРЕСШЕГО ДЖО сделал ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ. Ну ты понял?

Спавший мужик проснулся и сказал:

– Понятное дело. И правильно сделал. Я вот ни одной бабе не верю. И у меня жена тоже была с Юга, и тоже сбежала с каким-то паршивцем, и больше я о ней никогда не слыхал.

Ко мне подскочил ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК, белый как полотно.

– Ты помнишь, куда положил пачку, прикрытую "Утенком Дональдом"? – спросил он. – Микки рвет и мечет.

– Лежит себе там на столе.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК схватил пачку и принялся стирать резинкой мои инициалы.

– Эй, друг, – крикнул он какому-то мексиканцу. – Покажи-ка мне твою пачку. Что там у тебя?

– "Твоя и других", – сказал мексиканец ТВОЯ И ДРУГИХ.

– Дай глянуть. Никогда не видал этого дерьма.

ТВОЯ И ДРУГИХ швырнул ему пачку, и ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК на минуту погрузился в текст.

– Хорошая история, – сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. – Тебя как зовут?

– ТВОЯ И ДРУГИХ.

– А по-настоящему?

– Карлос Ромео.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК стер мой автограф и быстро написал две буквы: "К. Р". А потом метнул пачку через весь цех, где на другом конце негр, обслуживавший агрегат, который прессовал пачки в квадратные тюки, обвязал ее проволокой и закинул на грузовик.

– Почему тебя зовут ТВОЯ И ДРУГИХ? – спросил я.

– Потому что моя жена путается со всеми подряд.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК зашептал мне на ухо:

– Они подумают, что этот ублюдок прикрыл ту историю...

– Знаю, – прервал я его. – "Первый раз Том взял меня на военном кладбище. До сегодняшнего дня..." и так далее. А мы это накрыли "Утенком Дональдом".

– Они будут думать, это сделал ТВОЯ И ДРУГИХ, – повторил ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. – И в пятницу вышибут его с работы. Микки придет и скажет: "Все, это твой последний день". Но Микки никогда такого не говорит с глазу на глаз. Подождет до вечера – ТВОЯ И ДРУГИХ еще целый день будет вкалывать. У бедолаги желваки ходуном будут ходить, но Микки он ничего не рискнет ответить, кроме как: " I'm sorry, sir. Thank you for giving me a chance"[1]. И это будет конец.

– Почему ты выбрал именно его?

– Он не состоит в профсоюзе. Тридцати дней еще не проработал.

– А если узнают твой почерк?

– Не узнают, – сказал ЗАКОПАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЬЕМ. – ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК отсидел свое за подделку чека. Он всех нас спасает, когда мы попадаем в переплет.

– Точно, – грустно сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. – Я всем всегда помогаю. Но когда один раз попросил, чтоб мне сменили имя, никто и слушать не стал. И это – свободная страна.

– А как бы ты хотел зваться?

– БЛАГОРОДНЫЙ ДУШИТЕЛЬ, – сказал ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЧОНОК. – Но даже это мне не удалось.

1. Мне очень жаль, сэр. Спасибо, что дали мне шанс *(англ.)*.

Готфрид Бенн

Двойная жизнь

Главы из книги

Перевод с немецкого и вступление ИГОРЯ БОЛЫЧЕВА

От переводчика

Готфрид Бенн (1886—1956) — один из крупнейших лириков нашего столетия. В немецкой литературе XX века эта фигура стоит особняком и до сих пор вызывает яростные споры. Завораживающий поэтический голос Бенна заставлял даже его противников (среди которых был такой крупный поэт, как Карл Кролов) начинать свои критические пассажи с неизменной оговорки: "Конечно, нельзя отрицать очарование его стихов".

Бенн знал два взлета славы. Первый приходится на 10-е годы XX века — "экспрессионистское десятилетие", как назвал его на склоне лет сам Бенн. В 1912 году выходит его первая книга стихов "Морг" и другие стихотворения", которая в связи с арестом тиража приобретает скандальную известность. Стихи этой и двух последующих его книг— "Сыновья. Новые стихотворения" (1913) и "Плоть" (1917) — с некоторыми оговорками действительно можно назвать экспрессионистскими. Бенн в 1952 году писал по поводу переиздания своих ранних стихо-творений: "Признаюсь: чтобы прочесть корректуры этого тома, мне понадобилось несчетное количество коктейлей и аперитивов для души и желудка; правда, потом все это в целом — как старт и как сумасшествие — показалось мне хорошим".

"Настоящий" Бенн появляется позже — в 20—30-е годы. Зрелый и поздний Бенн — это монолог на одну тему: попытка обрести незыблемую опору во вселенной, где есть только "пустота и обреченное Я". Такой опорой может быть, по мнению Бенна, только "творческая страсть" и "артистизм". Бенн вообще считал стиль доказательством существования.

© И. Болычев. Перевод. Вступление, 2000

Так уж сложилось, что существование поэта пришлось на самые драматические моменты XX века. Он пережил две мировые войны, расцвет "невиданного варварства" в своей стране и его страшное крушение. Надо сказать, у мужественного индивидуалиста и скептика Бенна, который считал, что "надеяться — значит иметь ложные представления о жизни" и что в наше время следует говорить уже "не о распаде отдельной личности и даже не о ветхости расы, континента, социального порядка или системы, — случилось нечто, имеющее гораздо более широкий размах: ощущается отсутствие будущего для целого проекта творения"; так вот, у этого рыцаря безнадежного стоицизма был один момент в жизни, когда ему показалось, что мир еще не до конца пропал и его можно возродить. Надежды эти были связаны с национал-социализмом. Не то чтобы Бенн, не выносивший застойного европейского филистерства, всерьез воспринял лозунги нацистской пропаганды о новой культуре и новом человеке. "Большая ошибка" (так он сам впоследствии назвал некоторые свои статьи и речи начала 30-х годов) состояла не в том, что "старая" культура и "старый" человек изжили себя — в этом у автора "Морга" сомнений не было и в конце жизни; "большая ошибка" состояла в том, что на какое-то время аристократу духа и проницательному читателю Ницше почудилось, что он и нацисты говорят на одном языке. На мгновение Бенну почудился гул истории (как Блоку — "музыка революции"), и он не уехал из фашистской Германии. Один из немногих по-настоящему крупных немецких писателей, который не эмигрировал и остался со своим народом там, где его "народ, к несчастью, был". Помрачение длилось недолго, да и гитлеровские власти скоро поняли, с кем имеют дело. Для начала его стали замалчивать, потом (в 1935-м) объявили "культурбольшевиком", припомнив, кстати, дружбу с писателями-евреями (в частности, с крупнейшей немецкой поэтессой Эльзой Ласкер-Шюлер), и, наконец (в 1938-м) выгнали из Прусской академии искусств и запретили печатать свои произведения.

Начинается этап внутренней эмиграции. Бенн возвращается к своей "основной" профессии (а он был военным врачом), пишет, как у нас говорят, в стол, и с 1936 по 1948 год у него не выходит ни одной книги, за исключением изданных в 1943 году анонимно (на титуле стояли инициалы "G. B.") "Двадцати двух стихотворений".

С 1948 года — вначале в Швейцарии, а затем, после того как был снят запрет печататься (наложенный на этот раз союзниками-победителями), и в Германии — начинают выходить одна за другой поэтические и прозаические книги Бенна: "Роман фенотипа" (1949), повесть "Птолемеец" (1949), эссе "Проблема лирики" (1951) — и наступает второй взлет славы, который продолжается до самой смерти поэта в 1956 году. Интерес к позднему Бенну и его огромное влияние на немецкую, особенно молодую, литературу послевоенного времени обусловлен, кроме всего прочего, и чисто внешними по отношению к искусству обстоятельствами. В послевоенной Германии, на руинах оккупированного государства, в атмосфере хаоса, национального унижения и катастрофического чувства вины за совершенные перед человечеством преступления, когда думалось, что жизнь кончилась и не на что опереться, Готфрид Бенн, поэт европейского масштаба, переживший страшные годы вместе со своим народом и сохранивший мощь европейского духа, оказался фигурой, которая была просто необходима немцам в то время.

Автобиографическая проза Бенна — "Жизненный путь интеллектуала" (1934) и "Двойная жизнь" (1950) — сочетает в себе автобиографические фрагменты, изложение эстетических воззрений, рассуждения о месте поэта и поэзии в XX веке. Наделавшая в свое время много шума, она и сегодня продолжает быть крайне актуальной: поэт и власть, поэт и тоталитаризм, модернизм и традиционализм в искусстве — все эти вопросы стоят по-прежнему остро, и взгляд на них одного из крупнейших европейских лириков XX века безусловно интересен для многих.

I. *Тени прошлого*

В 1933 году я остался в Германии, а именно в Берлине. И поскольку это требует обоснований — вот они.

1. Эмиграции как таковой Германия, вообще говоря, не знала. Были Маркс и Энгельс, уехавшие в Лондон дожидаться своего часа. Потом мы слышали об испанцах, перебравшихся в Париж, подальше от политических баталий в собственной стране. Словом, были политические беженцы, но массовой, с этической подоплекой эмиграции, которая развернулась у нас после 1933 года, история Европы просто не знала. Есть, конечно, русская эмиграция, но из России люди уезжали, опасаясь физического уничтожения, тут был вполне понятный инстинкт самосохранения, а не демонстрация одного мировоззрения против другого — да и кто в 1933 году мог всерьез сравнивать 30 января в Берлине[1] и 8 ноября 1917 года в Петербурге? Поэтому, когда представители моего поколения и моего интеллектуального круга покидали Германию, это не было ни полемическим жестом, что появилось значительно позднее, ни бегством от опасности; истинных размеров последующего исхода из страны в то время никто не мог себе представить. Это была не столько самозащита, сколько поза, не столько акт борьбы, сколько проявление слабости. Эмиграция как фронда вождю — понятие доселе невиданное. А если проводить параллели с русской эмиграцией, то, на мой взгляд, большинство из тех, кто покинул Германию, скорее сочувствовали тем, кто остался в России, а не русским эмигрантам. Лично я не видел причин покидать Берлин, жил своей частной врачебной практикой, и политика меня не касалась.

2. Я не знаю, как оценивают сегодня события тех лет правоведы, политики, философы, но сам факт, что они дискутируют на эту тему, доказывает неоднозначность той ситуации — во всяком случае, я, да и многие другие считали, что новое правительство пришло к власти вполне законным путем. Серьезных аргументов против этого, в сущности, нет. Всенародно избранный рейхспрезидент после тяжелых внутренних колебаний открыто сформировал новое правительство, которое в целом было отнюдь не тоталитарным: в нем присутствовали представители центра и консерваторы, рейхстаг работал, газеты выходили, профсоюзы продолжали свою деятельность. Был ли этот шаг рейхспрезидента разумным и дальновидным или, напротив, как выяснилось впоследствии, неразумным и недальновидным, в то время не обсуждалось и дискуссии не подлежало. Кроме того, прелюдия к этому событию в 1932 году завершилась решением Верховного суда в Лейпциге, более высокой инстанции в тот момент в Германии не было[2]. Итак, у власти находилось законное правительство, и поначалу не было абсолютно никаких причин бойкотировать его призыв к сотрудничеству.

3. Партийная программа. Прочесть ее до конца я так и не удосужился, ни на одном из национал-социалистических собраний никогда не был, и ни до 1933 года, ни после ни одного национал-социалистического издания не выписывал, но тем не менее мне, безусловно, было известно, что среди их многочисленных программных пунктов есть и один злостно антисемитский. Но кто вообще всерьез принимает политичес-

1. 30 января 1933 г. Гитлер был назначен канцлером Германии. (*Здесь и далее – прим.перев.*)
2. В 1932 г. Гитлер получил немецкое гражданство и был снят государственный запрет с организаций СС и СА.

кие программы? Есть двадцать две партии, рассуждал я, и соответственно столько же партийных программ, каждая ругает другую, особенно хорошей нет ни одной, да и, как потом оказалось, словами Сенеки "Qui potest mori, non potest cogi"[1] тоже ни об одной не скажешь. Кроме того, из элементарного опыта известно, что вообще не приходится рассчитывать на осуществление пунктов предвыборных программ. Например, в программе национал-социалистической партии был и такой: "Уничтожение процентной кабалы". Но роль процентов осталась прежней, если не большей, капиталы по-прежнему размещались и приумножались, превращались в замки и бриллианты, а если что и уничтожалось, то отнюдь не проценты — словом, поначалу трудно было всерьез вос-

Готфрид Бенн. Скульптурный портрет работы Густава Генриха Вольфа, 1927 г.

принимать их партийные лозунги, а потом, когда они стали применять на практике свои расовые теоремы, от которых кровь стыла в жилах... Но это было уже не в 1933 году.

Антисемитизм — предмет настолько серьезный, что, думается, ему следует уделить больше внимания. "Еврейского вопроса" для меня лично вообще никогда не существовало. Просто невозможно себе представить, чтобы в доме моего отца[2] прозвучало высказывание или даже воз-

1. Кто готов умереть, того нельзя принудить (*лат.*).
2. Протестантского пастора.

никла мысль против народа, из которого вышел Иисус Христос. Отец в 1900-е годы читал "Форвертс"[1], а не листок Штёккера[2]: "Форвертс" в деревне на восточном берегу Эльбы — это вам не шутки! То же самое могу сказать и о школе. В Военно-медицинской академии, которой я обязан своим образованием, оказывается, было немало "расово неполноценных", но выяснилось это только после 1933 года, когда их начали вычеркивать из списков офицеров медицинской службы, прежде никто их национальностью не интересовался. (По долгу службы во время второго моего пребывания в армии мне пришлось просматривать почетные списки военных врачей, погибших на фронтах первой мировой, эти списки уже при нацистах были изданы в виде роскошного тома; фамилии располагались в алфавитном порядке, и одних только Конов я насчитал восемь.)

В те переломные годы в Берлине у меня было много знакомых евреев. Женщина-врач, которой я очень обязан и физически и духовно, была еврейкой. Единственный человек, с которым в 1930-м я был по-настоящему близок, с которым мы провели много приятных вечеров, и единственный, пожалуй, кого я мог бы назвать другом, — еврей. Наши отношения не изменились, когда я оказался в рядах вермахта, наши отношения не изменились и сегодня, хотя он теперь живет в Нью-Йорке. Если рассматривать "еврейский вопрос", так сказать, статистически, то должен заметить, что в жизни мне приходилось видеть или читать трех евреев, которых я считаю гениями: Вайнингера, Эльзу Ласкер-Шюлер и Момберта[3]. Среди талантов первого ряда я бы назвал имена Штернхайма, Либермана, Керра, Гофмансталя, Кафки, Дёблина, Карла Эйнштейна, а также Шёнберга[4]; далее идет нескончаемый ряд знаменитостей — тонких, глубоких, оригинальных людей, — с некоторыми из которых я был знаком лично: С. Фишер, Флехтхайм, Кассирер, семья Ульштайнов[5] — выбор субъективный и достаточно скромный, я мало вращался в высоких сферах. Из книг современных еврейских авторов, которые произвели на меня огромное впечатление и во многом определили внутреннее развитие, назову три: "Проблемы духовной жизни человека" Земи Майера, "Мифы. Реальность. Познание" Эриха Унгера и "Мышление примитивных народов" Леви-Брюля. Словом, я никогда не сомневался и сегодня не сомневаюсь, что тот период моей жизни просто невозможно себе помыслить без представителей неарийской расы. Блеск кайзеровского рейха, его внутреннее и внешнее богатство в значительной степени созданы именно представителями еврейской части населения Германии. Щедрым изобилием новых идей, художественных, научных, деловых инициатив, которое в период с 1918 по 1933 год поставило Берлин наравне с Парижем, мы во многом обязаны

1. Орган социал-демократической партии Германии, выходил под редакцией Вильгельма Либкнехта.
2. Адольф Штёккер (1835–1909) — придворный священник императоров Вильгельма I и Вильгельма II, ярый антисемит, предтеча Гитлера и нацизма.
3. Отто Вайнингер (1880–1903) — философ; Эльза Ласкер-Шюлер (1876–1945) — поэтесса; Альфред Момберт (1872–1942) — поэт.
4. Карл Штернхайм (1878–1942) — писатель и публицист; Макс Либерман (1847–1935) — художник; Альфред Керр (1878–1937) — издатель; Гуго фон Гофмансталь (1874–1929) — писатель; Альфред Дёблин (1878–1957) — писатель; Карл Эйнштейн (1885–1940) — поэт; Арнольд Шёнберг (1874–1951) — композитор.
5. Самуил Фишер (1859–1934) — основатель (1886) знаменитого издательства; Альфред Флехтхайм (1878–1937) — издатель; Пауль Кассирер (1871–1926) — издатель, писатель; Хайнц Ульштайн (1893–1973) — издатель, писатель.

одаренности именно этой части населения, их международным связям, их душевной неуспокоенности и самое главное – их безошибочному чутью на качество. И то, что все это пестрое великолепие возможно заглушить и разрушить какими-то политическими или даже насильственными средствами, – в 1933 году такое казалось, и не мне одному, просто невероятным. Это означало бы отгородиться от Европы, остановить ход истории, истребить культуру – в 1933 году представлялось, что нет на земле силы, которой подвластно такое. Либеральные эпохи, писал я, "не замечают власти", они не смотрят ей в глаза, они смотрят в сторону – тогда я так считал. Но настало время, когда всем пришлось взглянуть власти в глаза. В том числе и мне.

Все сказанное до сих пор – своего рода вступление к одной теме, которую в истории своей жизни я не могу обойти. Речь идет о моем "Ответе литературным эмигрантам", который в начале 1933 года появился в газетах, прозвучал по радио, имел большой резонанс как в Германии, так и за ее пределами, и им меня попрекают до сей поры. Поводом для этого моего высказывания послужило письмо Клауса Манна, его я приведу ниже. Клаус Манн был мне в известном смысле близок, иногда даже навещал меня; этот молодой человек блестящего ума, побывавший во многих странах, безукоризненно воспитанный, с прекрасными манерами, обладал в числе прочих достоинств замечательным и весьма редким ныне свойством: вести беседу со старшими с должной долей уважения. Письмо его я не перечитывал пятнадцать лет, и сегодня оно вызывает у меня смущенное удивление. Этот двадцатисемилетний молодой человек оценивал ситуацию очень точно и на удивление прозорливо, он мыслил куда более трезво, чем я; а мой ответ, выдержки из которого я приведу ниже, напротив, полон излишней романтики, пафоса, патетики, но должен все же заметить: в нем затронуты проблемы, вопросы, трудности, которые актуальны и по сей день, и вот о них-то я и хочу поговорить. Я привожу это письмо и в знак уважения к памяти о покойном, о котором я, несмотря на все нападки на меня с его стороны и со стороны его окружения, храню самые дружеские воспоминания. Встречающиеся в письме имена я опустил, поскольку многие из этих людей живы, а некоторые и по сей день играют довольно заметные роли. Вот оно, это замечательное письмо.

Клаус Манн *Ле-Лаванду, 9.5.33*

Дорогой и уважаемый господин доктор Бенн,

позвольте истинному и страстному почитателю Ваших произведений обратиться к Вам с вопросом, на который у меня нет, в сущности, никакого другого права, кроме глубокой симпатии к Вашему духовному миру. Я пишу эти строки в надежде, что Вы позволите мне как внимательному Вашему читателю открыто поставить один вопрос. В последнее время до меня неоднократно доходили слухи о Ваших высказываниях по поводу последних "немецких событий", что могло бы меня сильно смутить, имей я смелость этим слухам поверить. Мне очень бы не хотелось этого делать. Но всем известен один факт: по сути дела, Вы остаетесь ЕДИНСТВЕННЫМ немецким писателем, с которым мы считаемся, не заявившим о своем выходе из Академии. Что не удивительно в случае протестанта X и чего следовало ожидать от Y, с замечательной последовательностью играющего роль Гинденбурга немецкой литературы, – в Вашем случае ужасает. В каком обществе Вы там остались? Чего Вы можете достичь, предоставляя

Ваше имя, которое было для нас символом высочайшего культурного уровня и прямо-таки фанатической чистоты и честности, в распоряжение тех, чье бескультурье является абсолютно беспрецедентным в европейской истории и от чьей моральной нечистоплотности с презрением отвернулся весь мир? Сколько друзей Вы потеряете, сотрудничая с людьми, достойными духовной ненависти, и что за друзей Вы приобретете в Вашем нынешнем фальшивом положении? Кто Вас там понимает? Кто там имеет уши слышать Ваши радикальные речи, которые звучат для господ X и Y как нечто в высшей степени чуждое, а то и как чистый культурбольшевизм? А где же почитатели Вашего таланта? Разве они в стане "пробуждающейся" Германии? Молодые Ваши почитатели, которых я знаю, сидят сегодня по маленьким отелям Парижа, Цюриха, Праги, а Вы, Вы — их кумир, продолжаете разыгрывать из себя академика ЭТОЙ страны.

Если Вас не интересуют Ваши поклонники, то взгляните, где теперь те, кем Вы когда-то так пленительно восхищались. Генрих Манн, к которому Вы, как никто другой, были благосклонны, выгнан с позором из той самой организации, где продолжаете оставаться Вы; моего отца, которого Вы так любили цитировать, только поносят в той стране, для мирового авторитета которой он столько сделал — видно, все же не так много, чтобы ее новые хозяева не сумели это разрушить. Лучшие умы за границей, те, с кем Вы в свое время тоже считались, превзошли самих себя в острейших протестах — вспомните хотя бы Андре Жида, он уж точно не принадлежит к пошлым "марксистам", так отвратительным Вам.

И тут мы подходим к решающему вопросу. Как хорошо я Вас понимал и как часто разделял Ваше раздражение типом немецкого "марксистского" литератора (законченный представитель — Z). Как было скверно и глупо, когда подобные господа в "Бёрзенкурир", "Франкфуртер цайтунг" или своих многочисленных искривленных влево виршах устраивали экспертизы социального содержания. От этого действительно тошнило, и никто не претерпел от них больше, чем я. Но вот уже несколько лет я с беспокойством слежу за тем, как Вы, Готфрид Бенн, из-за своей антипатии к этим надутым тупицам погружаетесь во все более жестокий ИРРАЦИОНАЛИЗМ. Признаюсь, Ваша позиция была чисто духовной и обладала для меня большой привлекательной силой, что, впрочем, не мешало мне чувствовать и ее опасность. Когда недавно в "Вельтбюне" я читал статью о Вас и Вашем "бегстве в праисторию", я при всем моем желании не смог отказать в правоте Вашим оппонентам. А когда я над этим задумался, мне пришло в голову, что я, в сущности, уже писал о Вас что-то подобное, только довольно давно[1]. Сегодня выясняется одна почти неизбежная закономерность: слишком сильная склонность к иррационализму ведет к политической реакционности, если не быть прямо-таки дьявольски осторожным. Вначале широкий жест против "цивилизации" — жест, насколько мне известно, слишком притягательный для людей духовных; потом незаметно одобряется культ силы, а там уже недалеко и до Адольфа Гитлера. Не получилось ли так, как сказал мне на днях здесь, на побережье, один остроумный писатель (НЕ "марксист"): "Просто Бенн так сильно рассердился на господина NN, что сделался нацистом". Я прекрасно понимаю, что есть тысячи причин сердиться на господина NN, но не до такой же степени, чтобы предавать из-за этого духовность вообще. Ни NN, ни MM не смогли бы меня завести так далеко. Напротив, тогда как LL сегодня ищет

1. В статье "Какого будущего мы хотим?" (1930).

пути и средства, как бы подстричься слегка по-фашистски — и может быть, завтра у него "нация" займет место, которое вчера занимало "классовое сознание", — я понимаю сейчас как никогда ясно и точно, где мое место. И никакой вульгарный марксизм не в силах меня запутать. Я знаю, что вовсе не обязательно быть тупоумным "материалистом", чтобы держаться здравого смысла и от всего сердца ненавидеть истерическую жестокость.

Я сказал Вам все это, хоть Вы меня и не спрашивали; так не подобает поступать, и я должен еще раз принести свои извинения. Но Вы должны знать, что для меня — и для некоторых других — Вы принадлежите к тем немногим, кого нам ни в коем случае не хотелось бы потерять "на той стороне". Но тот, кто сегодня ведет себя двусмысленно, отныне и навсегда уже не с нами. Разумеется, Вы должны знать также, на что Вы меняете нашу любовь и какой эрзац Вам предложат взамен; тут не надо быть пророком — в конце концов Вас ожидают неблагодарность, унижение, издевательства.

И если сегодня некоторые духовные авторитеты все еще не знают, с кем они, то им следует знать совершенно точно — ЧТО не с ними: а именно сам ДУХ.

Буду Вам благодарен за любой ответ.

Мой адрес:
Отель де ля Тур, Санари

Ваш Клаус Манн

Вот такое письмо, которое нельзя читать без волнения. Моя гневная реакция на него показывает, в каком угнетенном, напряженном душевном состоянии я находился в то время. Я считал, что возможно подлинное обновление немецкого народа, которое укажет выход из безжизненного рационализма, функционализма и цивилизаторской мертвечины, послужит Европе примером и, учитывая огромный масштаб событий, поможет целым народам и религиозным системам выявить лучшее, что у них есть, и использовать с максимальной для всех пользой. Вначале я приведу без изменений два абзаца из заключительной части моего ответа.

В конце концов, Ваше письмо обращено непосредственно к моей персоне. Именно ко мне обращены Ваши вопросы, вопросы предостерегающие и, судя по радикальной стилистике, скорее риторические: что может ожидать меня здесь, на другой стороне, кроме позора и поношения, и как же быть с теми выдающимися литераторами, мнение которых мне не безразлично и которые оказались ныне в Вашем стане. Вот мой ответ: я и впредь буду ценить то, что, на мой взгляд, ценно и полезно для немецкой литературы, где бы оно ни было — хоть в Лугано, хоть на побережье Лигурийского моря, но сам лично поддерживаю новое государство, ибо это мой народ пытается здесь идти собственным путем. И кто я такой, чтобы оставаться в стороне, разве я знаю, как можно было бы сделать лучше? Нет! Я могу пытаться по мере сил направлять его туда, где бы мне хотелось его видеть, но даже если и не получится — он останется моим народом. Народ — это так много! Своим духовным и экономическим существованием, своим языком, своей жизнью, своими отношениями с людьми, всеми своими мыслями и представлениями я обязан прежде всего моему народу. Из

него вышли предки, в него возвратятся потомки. И поскольку я вырос в деревне, среди полей и стад, я еще знаю, что такое Родина. Большой город, индустриальное общество, интеллектуализм, все тени, которые отбрасывает эпоха в мое сознание, вся мощь этого столетия, которой я предстою в моем творчестве, — бывают мгновения, когда вся эта вымученная жизнь исчезает и не остается ничего — только равнина, простор, времена года, земля, простое слово Народ. Вот откуда моя решимость предоставить себя в распоряжение того, чему Европа, как пишете Вы, отказывает в малейшем признании.

И наконец, несколько слов о том, что Вы, прочтя этот мой ответ за границей, наверняка захотите узнать: я не член партии, не знаком с ее вождями, мне не приходится оглядываться на новых друзей. Именно моя фанатическая чистота, о которой Вы так лестно для меня пишете в своем письме, именно чистота мысли и чувства понуждает меня говорить то, что я говорю. Глубинные основы такой точки зрения те же, что Вы можете прочесть у каждого, кто задумывался об истории. Один сказал: "Мировая история — не почва для счастья" (Фихте); другой: "Народы призваны выявить великие жизненные закономерности без оглядки на счастье отдельной личности или некоей общей суммы счастья" (Буркхардт); третий: "Нынешнее измельчание человека заставляет задуматься о силе, которая способна вызвать к жизни более крепкую расу. При этом господствующая раса может зародиться только после устрашающего и насильственного толчка. Проблема: где варвары XX столетия?" (Ницше). Обо всем этом эра либерализма и индивидуализма напрочь забыла, она духовно не в состоянии ответить на вызов времени и сделать соответствующие политические выводы. Пришла пора испытаний, общество сплотилось, и теперь каждый, и в том числе литератор, в одиночку и сам для себя должен сделать выбор: личные пристрастия или равнение на государство. Я выбрал последнее и связал свою судьбу с этим государством, несмотря на Ваши призывы с другого берега, а Вам — счастливо оставаться.

Под другими частями моего "Ответа" сегодня бы я не подписался, они романтичны, неприятно напористы, в них чувствуется своего рода "опьянение судьбой" — прошу запомнить словосочетание, оно из арсенала человека, который знал, о чем говорит, чуть позже мы вернемся к этому. Во всяком случае, мой "Ответ" — не апология национал-социализма, он совсем о другом, и вот тут мы наконец приближаемся к сути проблемы, а именно к вопросу о праве народа выбирать собственные формы жизни, даже если эти формы не нравятся окружающим; и я размышлял о том, каким образом эти новые формы жизни могут возникнуть и пробить себе дорогу, несмотря на все интеллектуальные и моральные возражения. Эта часть моих размышлений по-прежнему актуальна, и я хочу ее еще раз обсудить.

Позвольте и мне задать Вам вопрос: а как, в сущности, Вы представляете себе ход истории? Вы что, считаете, история делается в основном на французских курортах? Как Вам представляется, скажем, XII столетие, переход от романского мироощущения к готическому? Вы что, думаете, этот переход о б с у ж д а л с я? Вы что, считаете, что на севере той страны, с юга которой Вы мне сегодня пишете, некто в ы д у м а л новый архитектурный стиль? Сел и р е ш и л: а заменим-ка купол на шпиль; и была д и с к у с с и я на тему: круг или многоугольник? Я считаю, Вы могли бы пойти

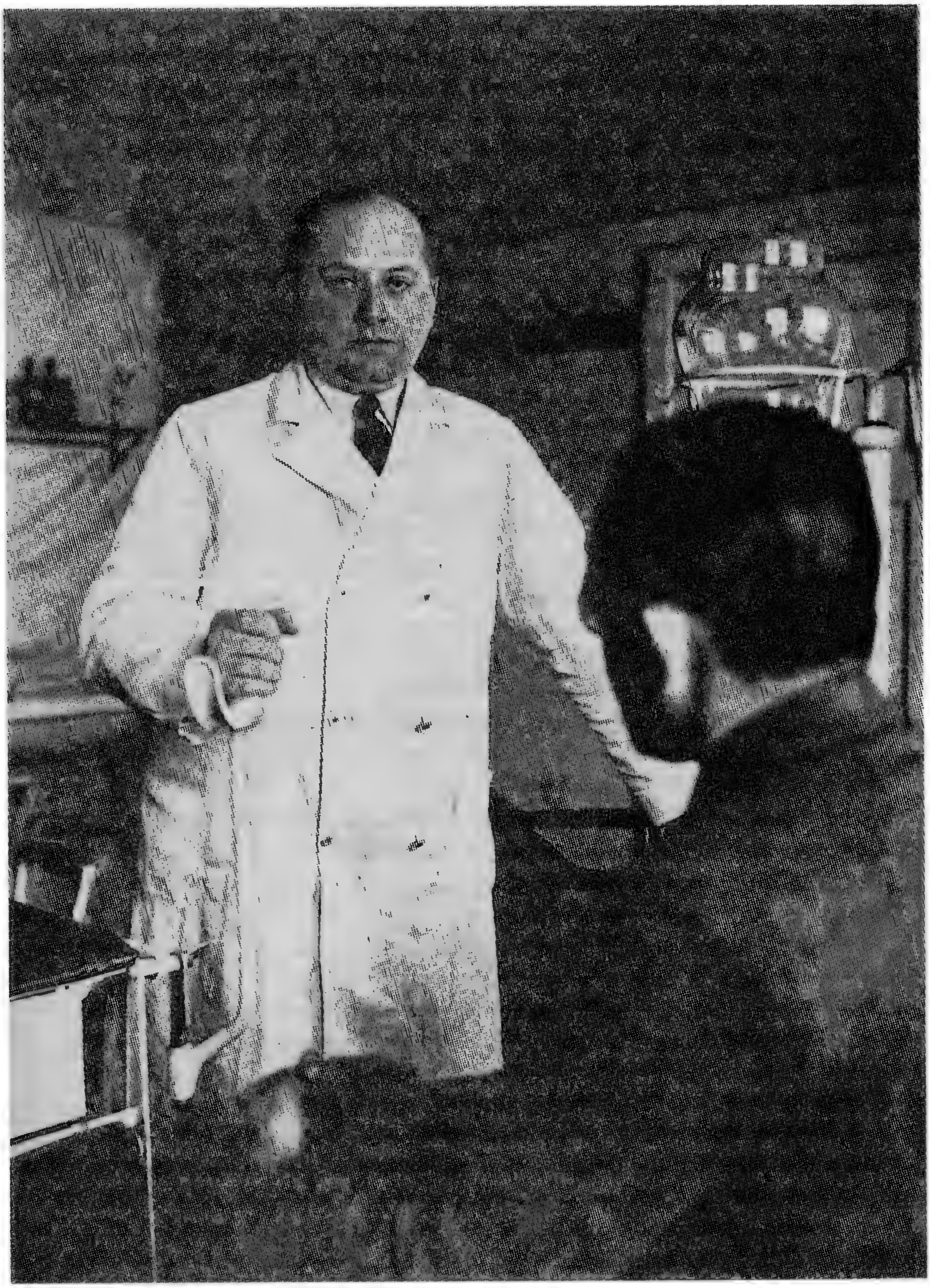
куда дальше, когда бы избавились наконец от романического понимания истории и взглянули бы на нее как на элементарный, катастрофичный, безжалостный процесс; я считаю, Вы глубже поняли бы нынешние события в Германии, когда бы перестали видеть в истории подобие выписки из бухгалтерской книги, которой обывательское сознание XIX века подменяет Творение, — увы, история Вам не обязана ничем, а Вы ей — всем, она не знает ни Вашей демократии, ни Вашего вымученно вознесенного рационализма, у нее есть лишь один способ действия, ей известен лишь один стиль: в переломный момент вызвать к жизни из недр расы новый человеческий тип, который должен пробиться и воплотить свои идеи в материале своего времени и своего поколения — упорно, безжалостно, трагично, как и повелевают законы жизни. Естественно, такое понимание истории не просвещенческое и не гуманистическое, оно — метафизическое; а мое представление о человеке именно таково. В этом и есть суть наших старых споров: и, несмотря на Ваш упрек, я — за иррациональное.

Давайте отвлечемся от наших с Клаусом Манном споров в 1933 году, напишем новую, сегодняшнюю дату[1], есть нечто объединяющее эти даты, а именно дилемма истории. История! Запад молится на нее. Из нее черпает большую часть своих стандартных идеологем: смелость, честь, доблесть, отечество и измена отечеству, мужество, верность, самоутверждение, под лежачий камень вода не бежит, упорство и труд все перетрут — полный набор понятийной джиу-джитсу национализма. Но ведь эти же самые слова и представления — основа философской и культурной паутины, сотканной за последние столетия: Валленштейн, Вильгельм Телль, Принц Гомбургский, во Франции мифы о Жанне д'Арк, у англичан королевские драмы, у эллинов персы, фриз Парфенона, Илион — Фиуме Д'Аннунцио, — и как быть с "Тремя гренадерами" Генриха Гейне? И что такое Пиндар, воспевавший победителей Олимпиад, а Нибелунги, Эдда, походы Александра и "Государство" Платона? За всем стоит одна-единственная фигура — человек, одержимый исторической идеей, его борьба, его победы и поражения — за всем этим стоит человеческое мужество, зачастую отрицающее все законы и преображающее старую мораль, — мужество — и разве не то же самое и у нас?

Давайте теперь посмотрим на два основных источника нашей культуры: Рим ни в коем случае не идеал человечности, скорее образец величия; а Греция, в которой берет начало наш с вами гуманизм: "Гуманизм как идея о благородстве человека" (Бультман), "Греческий подход к человеку, который мы называем гуманизмом" (Вернер Егер), "Греческий идеал образования, который сохраняем и мы" (Эдуард Норден), — так вот, эти самые греки, что́ написали они на могильной плите Эсхила? Не стихи, не строки из его трагедии. "Листва марафонской рощи до сих пор шелестит о силе славного воина" — он был для них героем Марафонской битвы, и только. И Европа находит это достойным восхищения.

Марафон, отвага, добродетели, история, та самая история, которая зачала современную Европу в битве при Саламине[2], а в сражении при Пуатье и Туре[3] укрепила и упрочила, — какими же путями идет она? Ост-

1. 1949 г.
2. В 480 г. до н. э. греческий флот одержал победу над персидским в сражении у острова Саламин в Эгейском море.
3. В сражении у городов Пуатье и Тур в 732 г. франки под предводительством Карла Мартелла разбили вторгшихся из Испании в Галлию арабов. Тем самым они отстояли христианскую Европу от нашествия мусульман.



Доктор Бенн в своем кабинете, 1928 г.

Индская компания, Бастилия, Кортес — каковы они, эти методы, которые приводят к практическим результатам? Коротко и современным языком говоря: историей движет не демократия, ею движет насилие. И здесь перед нами встает еще один неразрешимый вопрос, а именно: что такое насилие, где оно начинается, чем определяется? И рождение — насилие, и ледниковый период — насилие. Убийство животных — тоже насилие. Любой регулировщик движения — насилие. Любой порядок — насилие. Иными словами, существует нечто грубое и несозерцательное, что идет своим путем; а отсюда всего один шаг до вопроса: может ли дух вообще проявиться, оформиться, реализоваться без этого контра-

пункта? Дилемма истории! Она встанет еще острее, если взглянуть подальше в глубь времен: как быть, если религия кротости и смирения, учившая подставлять левую щеку, когда достаточно отхлестали по правой, как быть, если христианство — религиозные гонения, папские войны, Тридцатилетняя война, инквизиция, охота на ведьм, эдикты, гуситы, Кальвин — принесло в жертву не меньше человеческих жизней, чем две последние мировые войны? Как быть? Неразрешимый вопрос. Умом его не понять.

Отечество, Война, Власть — говоря об отношении к этим материям, не могу отказать себе в примере Томаса Манна, которого я всегда очень высоко ценил и уважал. Передо мной лежит его "Биографический очерк", впервые напечатанный в июньском номере "Нойе рундшау" за 1930 год. В нем он, в частности, описывает свое восприятие войны 1914—1918 годов. Вот что мы читаем:

> Я разделял это опьянение судьбой, охватившее немецкий дух, чья вера, вместившая так много истины и заблуждения, правды и неправды, была готова идти навстречу страшным, но по большому счету целительным испытаниям, способствовавшим росту и созреванию. Я прошел этот тяжелый путь вместе с моим народом, наши переживания одолели одни и те же ступени, и я считаю, это хорошо.

Итак, он считает, это хорошо! И ни слова о пацифизме. Читаем дальше:

> "Размышления аполитичного человека" были интеллектуальным вкладом в дело, на службу которому, как уже говорилось, я был призван не государством, не вермахтом, но самим временем.

Призван! Затем Томас Манн едет в оккупированный Брюссель, чтобы присутствовать там в переполненном немцами театре на премьере своей "Фьоренцы". Потом завтракает с немецким губернатором и его офицерами, "блестящими, любезными людьми"; один из них позже обратится к писателю попросту как к "военному товарищу". 1918 год он переживает как "крушение безусловно истинного, хотя, возможно, политически неоправданного и исторически ошибочного душевного подъема", узнает, насколько "отвратительно и угнетающе — чувствовать себя преданным перед лицом противника". Далее следует примечательная фраза: "У меня с самого начала возникло чувство, что происходит эпохальный исторический поворот, захватывающий и меня, и самые глубины моей личности, отсюда то самое опьянение судьбой, которое придало моему отношению к войне исключительно пронемецкий характер".

На редкость проникновенные фразы! Думается, многие из этих оборотов перекликаются с некоторыми пассажами из моего "Ответа литературным эмигрантам". Во всяком случае, я уверен, что и сегодня Томас Манн вряд ли изменил бы эти свои высказывания или отрекся от них. Да и не в этом суть. Сама проблема все равно остается. Художник — духовно утонченная личность, по природе своей аполитичная и настроенная против войны, — попадает в водоворот истории и как-то вынужден с ним бороться. Как быть? Определенного ответа на этот вопрос нет у художника ни для себя самого, ни для окружающих; его положение зыбко, неопределенно или — говоря одним словом, которое

мне лично не очень нравится, — трагично. Вот, скажем, заметки Гёте о войне и сражениях, в которых ему доводилось участвовать, согреты настоящей теплотой; но это его личные впечатления, и он не мог предвидеть, какие гибельные перспективы откроются перед его потомками.

А перспективы открываются поистине гибельные, или, иначе говоря, все более непредсказуемые. Политическая апатия изначально обречена, но любое политическое действие — это насилие, это экспансия. Сегодня знающие люди говорят так: власть должна принадлежать самым лучшим, элите, именно за это идет борьба. Но что она такое, элита? Об этом у каждого свои собственные представления. И как поведет себя эта элита, когда в ее руках окажется власть? Оглянувшись вокруг, мы увидим много других государств, якобы уже осуществивших то, что у нас ставится целью: внутренняя жизнь человека и культура; но в этих государствах совсем другая элита, чем та, что грезится нашим философам. Везде и всюду и повсеместно — интуитивный, формообразующий мотив, а за ним и формулировки, и переоценка ценностей. А как иначе прикажете объяснять такие вот ситуации: этим летом меня посетил один немецкий эмигрант, он теперь профессор философии в США. Мы проговорили часа два, в частности и о политике. Между прочим он заметил: "Без диктатуры нигде не обходится, этого требуют обстоятельства". Мне было странно слышать такое от американца, который покинул Германию, спасаясь от диктатуры. Я попросил его растолковать подробнее. Он помедлил, а потом сказал: "Есть диктатуры хорошие, а есть плохие" — и привел в качестве примера последней режим в восточных странах. Плохие и хорошие диктатуры — нет, это меня не устраивает, тут снова начинает попахивать борьбой идеологий, а идеологии, как известно, всегда желают миру самого что ни на есть добра. Похоже, на эту тему вообще нет смысла думать. Иногда возникает ощущение, что с мыслью как таковой уже покончено. Каждое утверждение влечет за собой прямо противоположное, его в свою очередь обдумывают, о нем пишут, и в этот самый момент вдруг — контратака, и все опять разрушено. Это как листья на деревьях: летом они нежны и юны, но никакому ветру, никакой непогоде не под силу сорвать их с ветки, а наступает осень — и они опадают сами собой. В диалектике, судя по всему, наступила осень, мысли опадают от дуновения собственного творца, он сам их растит и лелеет и сам же обращает в прах. Предметы, о которых слишком много думают, превращаются в ничто. Такая судьба постигла Власть и Дух, Порядок и Хаос, Государство и Свободу. Пора остановиться, иначе и мы тоже обратимся в ничто вместе с ними.

Хочу коснуться еще нескольких конкретных упреков из письма Клауса Манна, и прежде всего: почему я не вышел из Академии. Речь идет о Прусской академии искусств, где в 1926 году было образовано отделение литературы. Его членами состояли двадцать пять самых выдающихся писателей и поэтов. Когда меня в 1932 году туда избрали, Академией руководил Макс Либерман, а председателем отделения литературы был Генрих Манн. Избрание в Академию — это большая честь, пожалуй величайшая, которой мог удостоиться пишущий на немецком языке. В задачи Академии входило проведение выставок, концертов, литературных вечеров, экспертизы для Министерства культуры, присуждение премий, помощь заслуженным деятелям искусств. Положение в начале сложного 1933 года было таково: после отъезда знаменитых академиков в нашем отделении осталось едва ли полдюжины старых членов,

которым приходилось выдерживать настоящий штурм новых авторов известного народного и патриотического направления, а те, в свою очередь, стремились полностью устранить из культурной жизни старых членов отделения и занять ключевые позиции. Всех нас в большей или меньшей степени они считали культурбольшевиками. Происходящие события были для нас не очень ясны, никто не понимал, на каком он свете, а надо заметить, что, кроме духовных вопросов, перед многими стояли и вполне прозаические – материальные. Меня, правда, это не касалось, поскольку из всех этих фондов я не получил ни пфеннига. Но в Академии был штат работников, обслуживающий персонал, секретари отделений, которым, естественно, хотелось и дальше получать жалованье; например, Лёрке[1] как секретарь отделения литературы получал жалование, и оно было для него очень важным (естественно, не настолько, чтобы из-за него он мог бы пойти на какие-то принципиальные внутренние уступки, но все же); Штукен[2] получал ежемесячную почетную пенсию, без которой просто не смог бы прожить; Фульда[3] по своим личным причинам хотел узнать, что происходит и как далеко могут зайти угрозы против старых членов Академии. Поэтому мы старались держаться вместе, имея в виду еще и то, что отношения с отсутствующими членами, которые поддерживал тогдашний председатель Академии Макс фон Шиллингс[4], были разорваны не окончательно, и мы питали известные надежды. В таких обстоятельствах по поручению оставшихся членов я принял участие в совещании у Руста[5], он в то время курировал Академию. И вот сидел я там, единственный и не очень желанный представитель "пережитков прошлого", на которого, как мне было известно, у Руста был зуб из-за сотрудничества с "Вельтбюне", сидел молча и слушал, как новый фронт рапортует о своих колоссальных международных связях и о том, что вся Европа спит и видит, как бы поскорее присоединиться к новому направлению. Когда во время дискуссии я позволил себе упомянуть об "изменившейся политической ситуации", Руст покраснел и отчеканил, что "речь нужно вести не о политических изменениях, а о преобразованиях исторической важности". Сразу после совещания я пришел в кафе, где меня ожидали оставшиеся члены Академии – насколько помню, Лёрке, фон Моло[6], Штукен, Фульда, – и поделился с ними тягостным впечатлением, которое произвело на меня высокое собрание. На этом, собственно, кончается мое личное участие в работе Академии. Правда, я, как, впрочем, и другие оставшиеся члены, присутствовал на общем собрании Академии 6–7 июня 1933 года, которое открыл Руст, а вел господин фон Шиллингс. Председателями были избраны Йост и Блунк[7], а ученый совет обновили на сто процентов. Я держался в тени, но хорошо помню, каких невероятных усилий стоило некоторым новоиспеченным академикам поздороваться со мной за руку. После этого собрания я об Академии ничего не слышал. Кто там заседал, что они решали, мне не известно. Остает-

1. Оскар Лёрке (1884–1941) – поэт, прозаик.
2. Эдуард (Людвиг) Штукен (1865–1936) – поэт, драматург.
3. Людвиг Фульда (1862–1939) – писатель, переводчик.
4. Макс фон Шиллингс (1868–1933) – композитор.
5. Бернхард Руст (1883–1945) – с 1933 г. министр культуры Пруссии, с 1934 по 1945 г. – рейхсминистр по делам науки, образования и культуры.
6. Вальтер Риттер фон Моло (1880–1958) – поэт, драматург.
7. Ханс Йост (1890–1978) – драматург, поэт, в 1935–1945 гг. – президент Имперской палаты писателей (ИПП), бригаденфюрер СС; Ханс Фридрих Блунк (1888–1961) – поэт, прозаик, президент ИПП в 1933–1935 гг.

ся добавить, что летом 1933 года ко мне обратились оттуда с просьбой написать речь для церемонии по случаю смерти Стефана Георге; я подготовился, но мое выступление запретили. Кто и почему — об этом мне не сообщили. Таким образом, уже в 1933 году моя академическая деятельность практически завершилась.

Я потому так подробно на этом остановился, что Клаус Манн в своем романе "Мефисто", который он в 1937 году послал мне с грустным и трогательным посвящением, который дошел до меня и который, в известном смысле, является его главной книгой, касается и моей персоны, и моих сочинений. Там действует некий "в высшей степени требовательный, трудный для понимания, с таинственным очарованием лирик" по имени Пельц, чье внешнее сходство со мной не оставляет никаких сомнений. Так вот, этот Пельц, будто бы вице-президент Академии, от природы замкнутый и, по замечанию автора, немного не от мира сего, вдруг делается светским и общительным, становится частым гостем в Гендрикскалле и в домах сильных мира сего, где виски и мармелад прямо из Лондона, деньги швыряют пачками и вообще дым коромыслом. Должен заметить, что все это не более чем поэтическая вольность автора. На самом деле никуда я не ходил, да меня и не приглашали, не был вхож ни в министерства, ни во дворцы, ни на рауты, ни на приемы, не посещал мероприятий Имперской палаты культуры, не был ни на открытии Дней книги в Веймаре, ни на чем другом в таком роде. Кроме уже помянутого Руста, самой высшей партийной инстанцией, с какой мне доводилось иметь дело, был уполномоченный из домоуправления, который время от времени собирал какие-то взносы.

Короче говоря: я считаю, что многие из тех, кто не уехал из страны и остался на своем посту, поступили так потому, что надеялись сохранить места уехавших свободными до той поры, пока они не вернутся обратно. Я говорю это не в оправдание — свое или других, — времена, когда это могло потребоваться, уже прошли, я объясняю, как все было на самом деле. И не вижу, почему бы этому не поверить. Мы не все были оппортунистами. У нас ведь тоже были свои соображения, свои надежды, и свои сомнения, с которыми мы боролись, и свои внутренние и внешние поражения, которыми мы поплатились,— как и у тех, кто оставил нас. Мы пережили это по-своему, они — по-своему. Всегда все знать, всегда быть правым — в одном этом нет величия. Ошибаться и вопреки этому все же продолжать верить в себя — вот человек, говорит один из моих "Трех стариков", и по ту сторону победы и поражения начинается его слава. Честь взять на себя отмеренную каждому долю того, что назначено мойрами или, если угодно, волею случая или обстоятельств. Это не оппортунизм. Из оппортунизма творческий человек не рождается. Чтобы выносить суждения, следует опуститься до более скрытых и более опасных глубин. И когда сегодня Дёблин публично и в частных беседах называет меня подлецом, я абсолютно не понимаю почему, и тут он должен разобраться с собою сам.

Я должен высказать еще одно соображение, которое часто приходит мне на ум, когда я мысленно возвращаюсь к 1933 году. Если те, кто тогда покинул Германию, а сегодня продолжает смотреть на нас, оставшихся, свысока, были такие умные и прозорливые, каким, без сомнения, был Клаус Манн и, возможно, многие другие, — почему же тогда они не отвели беду и от себя и от нас? Ведь им принадлежало обществен-

ное мнение, их слушала общественность, они были знакомы с Брауном, Зеверингом, Брюнингом[1], в их распоряжении была часть влиятельных газет, театры, соответствующие посольства и международные организации. Но, за исключением знаменитого выступления Томаса Манна в Берлинской филармонии в 1932 году, я не припомню каких-либо серьезных действий с их стороны; почему же они, если все понимали, не предотвратили беду, не спасли себя, нас, Европу – весь мир? Может, тоже, как я выразился выше, "не замечали власти"? Или все же то, что тогда надвигалось, следует рассматривать как нечто неотвратимое, своего рода геологический процесс?

II. *Лира и меч*

Итак, я по-прежнему жил в Берлине, процесс переплавки нации шел полным ходом, а обстоятельства, внутренние и внешние, менялись таким образом, что мне пришлось задуматься, как быть дальше. От национал-социалистического Союза врачей ничего хорошего ожидать не приходилось. Меня уже в 1933 году вычеркнули из списка врачей, имеющих право выдавать определенного сорта справки и свидетельства. Я выразил протест в довольно энергичной форме и потребовал объяснений. И вот однажды вечером, как раз когда у меня были приемные часы, мне позвонил некий господин – впоследствии я узнал, что это был тогдашний председатель национал-социалистического Союза врачей, которого, кстати, позже, по случаю путча Рёма, расстреляли, – и говорит: "Кто вы вообще такой, голубчик? Где вы были, когда мы боролись? Так что молчите в тряпочку, и нечего корчить из себя важную персону. Между прочим, тут передо мной ваша анкета, ваша матушка, урожденная Жекье, то есть не нормальная немка Якоб, а какая-то иностранка, наверняка еврейка. Вы меня не проведете, я таких, как вы, насквозь вижу". Потрясенный, я повесил трубку: до сих пор в таком тоне врач с врачом никогда не говорил. Потом были курсы повышения квалификации, ибо не закончивший подобных курсов лишался частной практики. Тема: расовая проблема. "Представьте себе, что компрессор с "даймлер-бенц" ставят на вшивый "опель". Что будет? Ничего не будет. Машина не поедет". Так просто и доходчиво объясняли нам бессмысленность смешанных браков между арийцами и неарийцами. Немалое внимание уделялось и теме масонства. Подполковник Геч потчевал нас старой песней о том, как мы проиграли битву на Марне потому, что немецкие вольные каменщики предали армии фон Бюлова и Клюка своим французским братьям-масонам. И мы, взрослые люди, должны были все это слушать и приветствовать аплодисментами. После одного из таких занятий ко мне подошел руководитель курсов и говорит: "Вы же у нас поэт, своего рода писатель. Напишите-ка о наших курсах заметку для газеты, так, небольшую зарисовочку". В известном смысле я был готов участвовать в построении нового общества, да только не в таком качестве. Я не ожидал, что интеллигенции уготовят место в самом низу общественной лестницы, откуда она, собственно, когда-то давно и начинала. Так что же было делать?

1. Отто Браун (1872– 1955); Карл Зеверинг (1875–1952); Генрих Брюнинг (1885–1970) – видные политические деятели Веймарской республики..

Я все это рассказываю не потому, что хочу свести счеты с национал-социализмом, он повержен, и не мне привязывать труп Гектора к колеснице и волочить по земле. Я пишу это для молодых людей в надежде убедить их, что даже в вихре залихватского разгула, хвастливых тысячелетних потуг и претензий на тотальное преобразование человека всегда есть несколько нормальных людей, способных взглянуть на всю эту свистопляску трезво и разумно.

В литературе творилось то же самое, что и везде. И здесь к власти приходили люди, или вообще не имевшие ничего общего с литературой, или соблазнившиеся новыми возможностями обогащения. На самом верху нередко оказывались законченные подонки. Не хочу переходить на личности. Когда сегодня я размышляю на эту тему, я говорю себе: нужно обладать недюжинным характером и недюжинным внутренним закалом, чтобы суметь замкнуться в самом себе и держать себя в руках, когда кругом столько соблазнов — и власть, и влияние, и деньги; одним дано устоять перед такими искушениями, другим — нет. Хочу заметить, что были в те годы несколько знаменитостей, которые держались не без достоинства, их литературные вкусы, их мироощущение на самом деле в известной и, я бы сказал, в достаточно терпимой степени оказались созвучны национал-социализму, так что сомневаться в их честности не приходится. Например, Вернер Боймельбург[1]. Мы не сближались, он не мог помочь, когда меня травили, но это было безусловно приятное явление на общем крайне неприятном фоне. Или Йост — надо отдать ему должное — всегда вел себя по отношению ко мне честно, хотя вообще был слаб и руководство культурным процессом ему было явно не по плечу. Но мы пока в 1933—1934 годах, когда еще теплились надежды, что продажность, честолюбие и чванство, рвущиеся к власти, удастся укротить и оставшаяся в стране старая гвардия сумеет отстоять свои позиции. Ведь в Германии тех лет оставалось немало фигур бесспорно крупных. По-прежнему жили здесь Кете Кольвиц, Рене Зинтенес, Кольбе, Шайбе, Пехштайн, Хофер, Маркс, Шмидт-Ротлуф, Э. Р. Вайсс. По-прежнему в стране оставались Барлах, Гауптман, Рикарда Хух, Рихард Штраус, Пфицнер, Лёрке, Р. А. Шрёдер, Эдшмид, Каросса, Биндинг, оставались также и Фослер, Ясперс, Шпрангер, Е. Р. Куртиус, Планк, Майнеке, Хайдеггер, Шпенглер, оставались три мировые знаменитости, хотя им пришлось отказаться от Нобелевской премии, оставались и Лёбе, Гримме, Брюнинг, Аденауэр[2]. Все эти люди, насколько мне известно, в партии не состояли, но их никто не арестовывал и не преследовал. Так что режим не казался абсолютно беспросветным. Но, с другой стороны, он был уже и не такой, чтобы я мог позволить себе и дальше связывать с ним свое имя.

Отойти в сторону я мог только одним способом, и этот способ назывался Армия. Некоторые из моих коллег и товарищей, с которыми я учился, после первой мировой войны продолжали служить в разрешенной договором стотысячной германской армии и к описываемому времени занимали довольно высокие посты. Я обратился к ним с просьбой,

1. Вернер Боймельбург (1899—1963) — писатель народно-националистического направления.
2. Г. Бенн перечисляет имена известных художников, скульпторов, поэтов, прозаиков, философов, историков и политических деятелей. В 1937 г. Гитлер подписал указ, запрещающий немцам получать Нобелевские премии. Это был его ответ Нобелевскому комитету, присудившему в 1936 г. Премию мира публицисту-антифашисту, узнику концлагеря Карлу фон Осецкому (1889—1938).

нельзя ли мне снова вернуться на службу. Я хотел уехать из Берлина и разорвать все связи, обусловленные моим литературным положением. При известных условиях это оказалось возможно, правда было связано с риском. Самым рискованным было то, что я должен был пройти полугодичные курсы переподготовки без всякой гарантии, что после их окончания буду принят на службу в вермахт. То есть надо было бросить все: практику, квартиру в Берлине, — лишиться всех доходов и отправиться в неизвестность. В это время я сказал фразу, которая до 1945 года была довольно популярна среди офицеров (к счастью, никто не знал, кто ее автор): "Армия — это аристократическая форма эмиграции". (Так что Бруно Е. Вернер в своем романе "Галера" совершенно справедливо приписывает этот афоризм мне.) И надо заметить, это действительно соответствовало истине. По крайней мере, до начала 1938 года, когда начальником штаба верховного командования стал Кейтель. До него из пяти офицеров четыре были настроены антигитлеровски, причем не особенно это скрывали. Когда в марте 1935-го я спросил на прощание у своего довольно высокопоставленного покровителя: "Простите, так когда я приду, скажем, в канцелярию, мне что надо говорить: "Хайль Гитлер" или "Доброе утро"? — "Обычного "Здрасте" вполне достаточно", — ответил он мне. Помню, еще в 1937-м я показывал своему командиру, генералу, воспитаннику пажеского корпуса, бывшему гвардейскому офицеру, открытое письмо Томаса Манна философскому факультету Боннского университета по случаю лишения его звания почетного доктора. Генерал прочел и остался очень доволен. Итак, в конце марта 1935 года я выехал к новому месту службы в Ганновер, а 1 апреля отправил оттуда в Берлин письмо, ради которого, собственно, все и затевал. В письме я сообщал, что в связи с поступлением на службу в вермахт прекращаю свое членство во всех прочих организациях и больше не могу занимать никаких литературных постов. Кстати, хочу заметить, что в числе членов Национального союза писателей, этого своеобразного эрзаца ПЕН-клуба (в самом клубе я не состоял), в правление которого меня избрали в 1933 году, были и писатели-евреи, по крайней мере до тех пор, пока я был в этом правлении.

Отмечу также, что хоть я и вернулся в армию, но ни "милитаристом", ни "поджигателем войны" не был; с 1937 года я служил в так называемых тыловых подразделениях, в мои обязанности входило освидетельствование раненных на военной службе, или раненных на поле боя, как их стали называть позже; я определял размер пенсии, группу инвалидности, нуждается ли пациент в дополнительном санаторном лечении или достаточно госпиталя; мне приходилось решать вопросы ортопедии и стоматологии, — словом, я занимался не столько самой войной, сколько ее последствиями, теми, кто возвращался с полей сражений. По долгу службы мне приходилось общаться с экспертами из ведущих университетских клиник, осваивать новые для меня области медицины, и мои профессиональные врачебные познания существенно расширились. Во время войны я занимался тем же.

В вермахте я принадлежал к так называемому "запасному" офицерскому составу; тут были люди пожилые или повторно призванные, мы носили особую форму, и солдаты из действующей армии обычно не принимали нас всерьез, а порой и откровенно насмехались над нами. Среди "запасных" офицеров в очень сильной степени сохранился старый прусский дух ("Чем больше вокруг блеска и роскоши, тем неукос-

нительней должен блюсти офицер простоту в обращении, тем скромнее должен быть образ его жизни"), и мне, приехавшему из противоположного в этом смысле Берлина, прежде всего бросилась в глаза щепетильность моих сослуживцев в отношении женщин и чести. Супружеская измена была абсолютно невозможна, поскольку это — бесчестие. Фривольность в разговоре была просто немыслима. В этом кругу я был единственным неженатым человеком, и иногда на субботу-воскресенье ко мне из Берлина приезжала гостья, с которой мы однажды прогулялись по пустынным улицам и пообедали в местном ресторанчике. В понедельник меня спрашивают: "Господин доктор, это была ваша невеста?" — "Нет, — отвечаю, — просто гостья". В комнате повисает напряженная тишина.

Майор медицинской службы Готфрид Бенн, 1936 г.

Я привел этот пример, чтобы дать понять, какое впечатление могли произвести на моих сослуживцев начавшиеся вскоре в печати открытые нападки на меня, в которых особенно подчеркивалась аморальность моих литературных произведений. 7 мая 1936 года в газете "Шварцес кор" ("Черный корпус") была напечатана большая разгромная статья, в которой обо мне писали так: ты, свинья — грязный боров — подонок — свинский извращенец, проваливай туда, где сидят твои дружки Керр, Тухольский и Кестнер. В тот же самый день статью перепечатала и газета "Фёлькишер беобахтер". Номер "Шварцес кор" повсюду висел совершенно открыто, и когда на той неделе мне по делам пришлось быть в Гёттингене, я увидел его там на университетской "доске позора"; рядом толпились студенты; я остановился неподалеку, и мне стало просто не по себе. В сложившихся обстоятельствах невозможно было сделать вид, что ничего не произошло, и мне пришлось вручить экземпляр газеты своему командиру и предоставить ему решить самому, могу ли я служить после этого в рядах его подразделения. Мой командир — тот самый генерал, о котором я уже упоминал, военный старой закалки, заставлявший нас носить белые перчатки, не затягивать визит вежливости к начальству более пяти минут и являться на приемы непременно в фуражке и при сабле, — был, однако, человеком очень умным и образованным. На мою просьбу он ответил: дайте мне эту газету, принесите несколько ваших книг и другие критические отзывы о вас, а через сорок восемь часов зайдите за ответом. Ответ был таков: газета "Шварцес кор" — грязный листок, ее пачкотня не может рассматриваться как оскорбление для офицера; вот если бы она вас похвалила, тогда другое дело; так что инцидент исчерпан, продолжайте исполнять свои обязанности.

В Ганновере я написал "Пивную "Вольф", которая напечатана в 1949 году в книге "Птолемеец", и некоторые стихотворения, вошедшие в новые мои сборники: "Анемоны", "Как никогда ты одинок...", "Кто жил один...", "Спутники", "Астры", "День окончания лета". В Ганновере меня окружала природа, которая, на мой взгляд, очень способствует лирическим стихам. Как бы то ни было, я провел там два не самых плохих

года. Служба была не очень обременительной и отнимала не слишком много времени, я был в высшей степени пунктуален и аккуратен, хотел закрепиться в вермахте и получить повышение в чине, чтобы несколько улучшить материальное положение. Собственно, прямой нужды в деньгах я не испытывал, получал от трехсот до четырехсот рейхсмарок, снова жил, как студент, в меблированной комнате и готовил себе сам. По воскресеньям на большом туристском автобусе отправлялся в путешествие к новым для меня вересковым пустошам, окрестностям речки Везер, предгорьям Золлинга или в незнакомые городки Хамельн, Целле, Вольфенбюттель – все это интересные места. Политикой тут и не пахло. Потасовки между СА и офицерами вновь поставили на повестку дня вопросы, связанные со старым кодексом чести, но потом как-то сами собой сошли на нет. Сильно занимала умы и такая проблема: может ли женщина с внебрачным ребенком стать женой офицера? Тогда, в 1936 году, решалась она, насколько помнится, отрицательно – народная армия в то время еще не достигла будущего совершенства.

В конце концов жизнь в провинциальном городе стала для меня невыносимой. Берлин с 1904 года был моей родиной, я, хорошо знавший и Нью-Йорк и Париж, тем не менее считал, что лучшее место для жизни – это Берлин. И всеми силами старался вернуться туда. "Я готов влачить свое существование в Панкове или Нидершёнхаузене – где угодно, только бы скорее вернуться в Берлин", – писал я своим покровителям. И они уважили мою просьбу.

В Берлине со мной вскоре произошла еще одна неприятная история, и вновь все зависело от того, как к ней отнесутся в вермахте. В Мюнхене существовало издательство Й. Ф. Лемана. Это было ведущее издательство в области естественных наук и медицины. При нем издавался еженедельник "Мюнхенер медицинише вохеншрифт", который читали как внутри страны, так и за рубежом; здесь выходили основополагающие работы по здравоохранению и биологии, вышло также несколько книг Гюнтера[1], посвященных расовым вопросам. И вот такое издательство вдруг выпустило в свет книгу, мягко говоря совершенно не свойственной для него тематики – "Чистка храма культуры". Автором ее, как мне стало доподлинно известно, был человек из СС, крепкой чеканки, по профессии художник, по сути дилетантствующий мракобес; он рисовал героев и женщин с волосами цвета спелой пшеницы. Из вышеупомянутого храма меня предлагалось вымести как культурбольшевика и осквернителя расы, упоминался мой непристойный роман с Эльзой Ласкер-Шюлер и так далее – словом, все сугубо народно и возвышенно. Сам я этой книги никогда в глаза не видел, зато увидел мой самый главный начальник, инспектор медицинских войск. Этот инспектор, баварец, вращался в культурных кругах Мюнхена и был довольно тесно связан с издательством Лемана, поскольку там выходило много работ по здравоохранению. Он был большой либерал, отличался редкостной терпимостью и выглядел совсем не по-военному, но все подчиненные должны были чувствовать его неусыпную заботу. Поэтому он вызвал меня и сказал: "Послушайте, ваше дело надо как-то решать. В нашем кругу мы не можем игнорировать такое издательство. Я приказываю вам позаботиться о том, чтобы в следующем издании книги абзаца о вас не было".

1. Ханс Гюнтер (1891–1968) – немецкий антрополог и этнолог, публицист. Теория Гюнтера о расе легла в фундамент идеологии третьего рейха.

Я ответил было, что, мол, прекрасно знаю людей подобного сорта, и поэтому вряд ли это возможно. На что он сказал: "В интересах офицерского корпуса медицинской службы, к которому вы принадлежите и который я возглавляю, вы обязаны выполнить этот приказ".

Мне пришлось написать владельцу издательства, господину Леману, вначале очень вежливо, и изложить свою просьбу. Ответ был резким и оскорбительным. Я снова написал, он снова ответил — в конце концов переписка приняла такой тон, что для того, кто предполагал остаться в рядах вермахта, продолжать ее не было никакой возможности. Я писал приблизительно так: "Если бы и в научных публикациях Вы были таким же дилетантом и невеждой, каким зарекомендовали себя в вопросах культуры, то Ваше издательство уже давно вылетело бы в трубу". На что он отвечал примерно следующее: "Если бы Вы знали, что Ваши книги в Мюнхенской государственной библиотеке держат в специальном шкафу под замком и выдают только тем, у кого есть подписанная партийным чиновником справка о том, что они по роду своей деятельности занимаются изучением культурных дегенератов и духовных извращенцев, то попридержали бы свой язык". Герр Леман мог себе позволить так писать; он был, насколько я слышал, кавалером ордена Крови[1] и частым гостем в Оберзальцберге[2]. Так что мне оставалось только прекратить переписку и признать свое поражение. Письмо к Главному инспектору медицинских войск ниже привожу без изменений.

Д-р БЕНН
Майор медицинской службы

Берлин, 18 августа 1937

Адрес: Главному инспектору медицинских войск
исх. N 1271/37 на вх. от 14.VII.37.
Содержание: "Чистка храма культуры"
Издательство Й.Ф. Лемана
19 приложений
Господину Главному инспектору медицинских войск
через господина корпусного врача III армейского
корпуса Берлина

РАПОРТ

о том, что я, во исполнение приказа, предпринял некоторые шаги по прояснению обстоятельств в связи с вышеозначенной публикацией. К рапорту прилагаются:
1. Оригинал письма президента Имперской палаты писателей с изложением его точки зрения на указанный вопрос и еще одно письмо президента, полученное мною несколькими днями позже.
2. Переписка с издателем Леманом, из которой явствует, что мне не удалось достигнуть приемлемого решения вопроса.

По поводу переписки считаю необходимым сообщить следующее.
а) В своем письме я был вынужден упомянуть о том, что состою на военной службе, дабы получить от издательства хоть какой-нибудь ответ. Я бе-

1. Орден Крови (Blutorden) — почетный знак, которым награждались участники гитлеровского путча в Мюнхене в 1923 г.
2. В Оберзальцберге находилась так называемая "вторая" баварская резиденция Гитлера "Бергхоф".

седовал с двумя деятелями культуры, которые так же, как и я, подверглись оскорблению в этой книге, оба они достаточно известны; один из них обратился с письмом в издательство непосредственно от своего имени, другой — через адвоката. Первый вообще не получил никакого ответа, второй — уведомление в одно предложение о том, что удовлетворить его просьбу не представляется возможным.

b) Я вынужден был прибегнуть к известной резкости в выражениях и потребовал ответить мне в установленный срок, поскольку, с одной стороны, резкость была обусловлена характером нападок на меня, а с другой — я по опыту знаю, насколько может затянуться ожидание ответа из подобных инстанций. Я отдаю себе отчет, что резкость ответа господина Лемана обусловлена отчасти и тоном моего письма. Но это лучше, чем уклончивость и неопределенность.

c) Партийная комиссия, которая якобы рецензировала рукопись рассматриваемой книги, уже несколько лет назад объяснила моему издательству, что все нападки на меня и на мои работы не следует принимать во внимание, а все оскорбления, нанесенные мне в печати, непреднамеренны и не выражают официальной точки зрения. Документ, подтверждающий это, см. в Приложении 3. Однако создается впечатление, что в курирующих культуру официальных инстанциях царит хаос и неразбериха, а управляют ими дилетанты.

d) Автор книги — совершенно неизвестный художник, не снискавший своими работами абсолютно никакого общественного признания. Я лично его никогда не видел. Это тем более важно, что, согласно новому положению об издательской деятельности, издатель несет персональную ответственность за выпускаемые им книги.

e) К своему письму от 14.08.37 д-р Леман приложил несколько выписок из моих книг, которые, по его мнению, должны лишний раз доказать ущербность моей личности. В Приложении 2g я поместил только часть этих выписок. Я не осмелился привести все эти фразы, ибо, взятые из другой эпохи моей жизни и вообще из другой исторической эпохи, вырванные из контекста и специально подобранные, они создают ложное представление обо мне. Из приведенных мною выдержек совершенно очевидно, что речь идет о литературных проблемах; возможно, высказываемые мною взгляды ошибочны, возможно, они даже отчасти и ущербны, но, повторюсь, обусловлены они чисто эстетическими исканиями, глубоким внутренним напряжением и духовным антиномизмом.

f) В заключение позвольте еще раз заметить, что все эти проблемы, которые дали повод к последним нападкам на меня, ни в одной стране мира, а до недавнего времени и у нас, по сути своей изначально не подлежали рассмотрению с точки зрения уголовного кодекса или кодекса чести. Когда наше поколение вступало в жизнь, на литературу смотрели как на самовыражение таланта, как на творческий импульс, как на элемент развития нации, если угодно. И если сейчас, когда мое поколение уже сходит со сцены, на литературу стали смотреть иначе, нам надо это учесть, но вины нашей в этом нет никакой.

Прошу вашего указания, считать ли инцидент исчерпанным или же мне следует предпринять какие-то дальнейшие действия.

Майор медицинской службы
Бенн

Из этого письма Главному инспектору медицинских войск от 18.08.37 видно, что я выражаюсь о культурной ситуации в новой Германии довольно нелицеприятно; замечательно, однако, что высокие инстанции, в которых побывало это письмо, не сочли нужным хоть как-нибудь объясниться. Через некоторое время я получил служебное распоряжение: инцидент считать исчерпанным, но я должен позаботиться о том, чтобы в следующем издании злополучной книги выражение "культурбольшевик" было опущено. Приказ показался мне отчасти платоническим, второго издания ведь и вообще могло не быть, и я решил оставить все как есть и вернуться к своим обязанностям военного врача.

Но не прошло и полгода, как на меня обрушился очередной удар, на этот раз самый серьезный. Мартовским утром 1938 года мною было получено заказное письмо от президента Имперской палаты писателей с уведомлением, что я исключен из означенной палаты и мне запрещено писать. В случае нарушения запрета против меня вступают в действия законы Имперской палаты по надзору за культурой. Вначале я не понял, что все это значит, последние годы у меня вообще ничего не выходило, мне показалось, что произошла ошибка, и я написал президенту с просьбой объяснить причины такого решения. Но прежде хочу привести оригинал уведомления.

Президент
Имперской палаты писателей 18 марта 1938 г.
II-W

Берлин-Шарлоттенбург 2
Гарденбергштр. 6

Господину
д-ру мед. Готфриду Бенну
Берлин-Вильмерсдорф
Кайзераллее 28/IV

Заказное!

По согласованию с министром народного просвещения и пропаганды и на основании §10 Первого постановления об исполнении законов Имперской палаты культуры от 1 ноября 1933 (Сб. Зак. акт. стр.797) я исключаю Вас с настоящего момента из числа писателей Имперской палаты, поскольку больше не в состоянии считать Вас обладающим необходимыми качествами для занятия писательским делом.
На основании настоящего исключения Вы утрачиваете право на дальнейшие профессиональные занятия в пределах компетенции Имперской палаты писателей. В случае нарушения данного запрета против Вас будут приведены в действие законы и постановления Имперской палаты культуры.

(Печать) Имперская палата культуры

По поручению

Имперская палата писателей

Ihde

Президент на мое письмо ответил вежливо: уведомление об исключении составлено по всей форме, а что касается причины такого решения, то мне следовало бы знать, что сам рейхсмаршал возбудил против меня дело в суде чести с целью исключить меня из офицерского корпуса. Сам рейхсмаршал — у меня даже поджилки задрожали; но все же: рейхсмаршал и — майор медицинской службы, не слишком ли наруше-

ны пропорции? Кроме того, я служу не в люфтваффе, а в пехоте, а сюда до сих пор власть Геринга не простиралась. Но в чем же причины? Стихи, которые я написал перед первой мировой войной и некоторые из которых переведены на большинство европейских языков? Вряд ли. Других причин, личных или литературных, просто не было, а упадочническое искусство само по себе, в число представителей которого я как экспрессионист зачислялся автоматически, казалось мне все же недостаточным поводом для подобных решений. Однако мне ничего не оставалось, как снова отправиться к своим начальникам и проинформировать их об очередной неприятной истории. В конце концов, утешал я себя, должно же им когда-нибудь надоесть возится со всеми этими стихами, экспрессионизмом и прочими эстетическими тонкостями, у них и своих забот хватает. Кроме того, такие вопросы не решаются только в руководстве медицинскими войсками, дело касается управления военными кадрами, поэтому решение будут принимать тамошние офицеры, генералы и просто чиновники. Генералам придется заниматься лирикой, которая им органически чужда, придется заниматься, наверняка contre coeur[1], чем-то таким, что в их глазах — типичное развлечение полусвета, какие-то сентиментальные глупости, и все это в такой напряженный политический момент! Во всяком случае, мне от этого легче не станет.

Прежде всего, однако, выяснилось, что никакого дела в суде чести не существует, никто о таковом ничего не слышал, так что президент Имперской палаты писателей, по-видимому, стал жертвой мистификации. Но само исключение из Имперской палаты писателей — официальный акт, и просто так его проигнорировать вермахт не имеет права. Прошли недели, очень неприятные недели, ибо я понимал, что в случае чего вряд ли национал-социалистический Союз врачей позволит мне возобновить частную практику. Наконец решение было принято. Командование медицинских войск сочло возможным оставить меня на службе, правда перспективы моей дальнейшей карьеры сильно ограничивались: я не мог занимать командных постов и не имел права решать кадровые вопросы. Впрочем, столь далеко мое честолюбие и не простиралось. Один из начальников, довольно интеллигентный человек, сказал мне так по поводу моего дела: "Все это вопросы эстетики. Настанет четвертый рейх, и что же — прикажете нам снова разгонять всех офицеров и врачей, у которых иные эстетические вкусы? Нет, этого мы себе не можем позволить". Четвертого рейха, когда опять кого-то придется разгонять, судя по всему, не предвидится, но хочу заметить, что и тогда были в армии люди, которые отстаивали свое мнение, отличное от линии партии, и, как в моем случае, спасали жизнь своим подчиненным. Очень большую помощь в той нелегкой ситуации оказал мне мой однокашник, который занимал довольно высокий пост и имел возможность влиять на решение кадровых вопросов. Он прошел и войну и плен, и я хочу выразить ему свою благодарность: спасибо Вам, профессор Вальтер Киттель из Висбадена.

Еще пару слов об Имперской палате писателей. С мая 1936 года у меня ничего не выходило, на все запросы газет и журналов я неизменно отвечал, что как офицеру вермахта мне печататься нельзя. Я не бывал ни на каких публичных мероприятиях, не участвовал ни в какой полеми-

1. Против воли (*франц.*).

ке, абсолютно никак не проявлял себя ни литературно, ни политически, и тем не менее в один прекрасный день, два года спустя после последней публикации, получил это уведомление об исключении, "немедленного действия", с угрозами наказания за продолжение профессиональной деятельности. Если бы я жил литературой, если бы у меня были жена и дети, мне бы осталось только выбирать — двадцать кубиков морфия или газовая духовка. Я не верю, что во всем свете найдется другой такой профессиональный союз, товарищество рабочих или объединение ремесленников, которые могли бы так поступить со своим старым, заслуженным членом, не совершившим ничего предосудительного. Они бы, по крайней мере, написали: "Уважаемый коллега, к сожалению, по политическим причинам мы вынуждены исключить Вас из наших рядов. Зайдите к нам, поговорим, посмотрим, не сможем ли мы Вам чем-нибудь помочь. Мы понимаем Ваше положение и постараемся оттянуть сколько возможно Ваше формальное исключение, пока вы подыщете себе другую работу". Так поступили бы в профсоюзе ремесленников. Но не в Палате культуры: заказное письмо, никаких объяснений, при этом — сам министр, сам президент или по крайней мере бланки из их канцелярии, да еще угрозы. Похоже, они действительно верили, что им позволено все. В своей записной книжке я записал:

ЭКСПРЕССИОНИСТ!

В Греции чеканили монету
В честь Сафо. У нас другой подход:
Раз мозги не вышиб ты поэту,
То тем самым предал свой народ!

III. *Лирическое интермеццо*

Прошли годы. Знакомых в Берлине у меня практически не осталось, письма приходили редко. Единственным человеком из минувшей эпохи, редкое общение с которым доставляло мне удовольствие, была Рене Зинтенис[1]; она всегда отличалась дружелюбием, другие отвернулись от меня, я считался неблагонадежным. И еще вдова Рингельнаца[2] Мушелькальк; новый ее супруг, очаровательный молодой окулист, родом из Трабен-Трарбаха, где у него было небольшое имение; кроме того, он был как-то связан с некой винодельческой фирмой, которая вот уже на протяжении пяти поколений принадлежала одной семье. Иногда оттуда присылали замечательный мозель, и мы каждые две недели собирались на праздничный субботний ужин. Было нас четверо: Мушелькальк, ее муж, моя молодая жена[3] и я; на пару часов мы забывали о страшной нужде, обступавшей нас, это были единственные часы, когда мы улыбались. Из четверых двое самых молодых, мой коллега и моя жена, погибли в 1945 году при наступлении русских.

В то время я изредка видел Ханса Флеша, бывшего директора Берлинского радио, шурина Хиндемита[4], по образованию врача. У него

1. Рене Зинтенис (1888—1965) — скульптор.
2. Иоахим Рингельнац (1883—1934) — поэт.
3. Герта фон Ведемайер, вторая жена Бенна. Первая, Эдит Брозин (урожденная Остерло), от которой у Бенна родилась в 1915 г. дочь Нели, умерла в 1922-м.
4. Пауль Хиндемит (1895—1963) — композитор, дирижер; покинул Германию в 1938 г. после того, как его музыку объявили декадентской.

был, как тогда выражались, "изъян в биографии"; поначалу он работал на обувной фабрике, а потом, когда нужда прижала, его устроили представителем больничной кассы в провинции. Врачебной практики Флеш никогда в жизни не имел. Вскоре после отъезда он позвонил мне: что делать с кожными болезнями, которые я даже не могу диагностировать, вы же специалист, может быть, посоветуете что-нибудь? Не волнуйтесь, сказал я ему, даже и смотреть особенно не надо, прописывайте всем туменол-аммониум с цинковой пастой, это поможет. Снова оказавшись в Берлине, он опять позвонил мне: гениальный совет! Все выздоравливают, а я считаюсь лучшим специалистом по кожным болезням в округе.

Все это звучит трогательно, но на самом деле таковым не было. Разрушенные кварталы, обгорелые руины домов, после авианалетов с улиц за ноги растаскивали трупы по квартирам. Целыми днями ни воды, ни света, ни газа. Сирены: стаи бамбардировщиков из района Ганновер-Брауншвайг, тучные американцы; по ночам — комарики из Лондона. И день и ночь — пропаганда, и Кольберг, старый Фриц и любовь к фюреру, и в довершение всего "немецкое приветствие", которое в вермахте — и это вне всякого сомнения — терпят стиснув зубы.

В 1940 году я сидел в штабе на Бендлерштрассе составлял экспертные заключения на раненых и анализировал акты о самоубийствах в вермахте. Очень интересные сведения! Большинство самоубийств приходилось на начало года, и только в единичных случаях тщательный анализ личности, среды и семьи позволял точно определить причины трагедии. Только у двадцати процентов — а через меня прошли тысячи дел — существовал определенный мотив: вопросы чести, страх наказания, венерическое заболевание, неудачная любовь; в остальных случаях причины абсолютно неясны. Поскольку я в медицинских войсках был экспертом по этой проблеме, мне пришлось прочесть очень много специальной литературы на разных языках, и это только подтвердило мои наблюдения. Большинство самоубийств происходит спонтанно, часто под влиянием алкоголя, и очень редко как сознательный акт. Очевидно, самоубийство для нас куда более привлекательно, чем хотелось бы и чем нам кажется из-за ограды наших моральных установлений.

Итак, я сидел на Бендлерштрассе и между актами и экспертизами как-то незаметно снова стал писать стихи. Потом я опубликовал некоторые из этих стихотворений, написанных на знаменитой улице, где располагались административные аппараты Кейтеля, Фромма, Канариса; стихи эти не вошли ни в один из новых моих сборников. Они свидетельствуют о моих настроениях в то победное время. Я опубликовал их за свой счет в августе 1943 года в маленькой книжечке, которая называлась "22 стихотворения"; я разослал ее своим знакомым. Этот сборничек, вообще говоря, можно было бы считать своего рода доказательством моей антифашистской деятельности, да только я на это не претендую. Поэтому стихи эти известны только нескольким моим знакомым, которые прочли их в той книжечке, в нынешние сборники я их не включал. Не включал я их еще и потому, что могло сложиться впечатление, будто я их печатаю в связи с очередным "изменением политической ситуации".

МОНОЛОГ

Мозги — во лжи, кишки — в зловонной слизи,
народ тупиц избрал себе паяцев —
гадать по звездам и полетам птиц,
по собственным отбросам; о рабы —
среди снегов и в солнечных пустынях —
рабы, рабы, рабы — рабы без счета —
голодные — на кнут и пряник — толпы.
О, самость! И пушок на подбородке
прыщавом мнится бородой пророка!

Что им Олимп? Походы Александра?
Мы перепрыгнем лужу Геллеспонта!
Взнуздаем Азию! У нас Вожди!
Избранники трибун и стадионов,
им видно все, они неуязвимы,
повязку — на рукав, штандарт — на площадь:
весь мир – котел вскипающих знамен;
и колченогий мнит себя атлетом,
зловонный скунс на солнечном лугу
вдыхает аромат — который смрад
из собственного заднего прохода;
кабан, сопя, преследует газель —
воздушное, летящее созданье!
Так извратилась мера всех вещей:
сортир — родник, червяк — линейка,
фиалке гадит жаба в рот и брюхом
елозит по камням — о, аллилуйя!
Вот он венец истории — свинарник,
созвездья — крап на карте шулерской,
крысиный яд — лекарство от чумы.
Зло воспевает смерть. И провокатор
в псалмах вычитывает строчки блуда.

И вот — Земля; кокетку любит Месяц;
потом она, одевшись, по весне
зерно лелеет, распускает розы,
Везувий усмиряет, облакам
не позволяет щелочью и серой
обрушиться и выжечь – выжечь с корнем
ублюдка по прозванью человек:
ах, эти стебли, росы, лепестки —
они, они питают это зло,
разврат, распад, безудержную ложь
души, ума и духа — извращенье.

Смерть — это все оставить так, как есть:
мечту без облика, без воплощенья — образ
в зазорах бытия, на произвол;
но жизнь — позор и потаканье злу:
высокую тоску существованья,
истории осмысленную суть,
весь холод одиночества — отдать
за деньги, чин, карьеру, некролог
в конце, который — легкий мотылек,
осколок безучастного металла —
иных взыскует смыслов —

Звук, перелив, изгиб голубизны
в вечернем парке прямо надо мною —
не песня даже — так, три ноты в ряд:
и вот уже наполнено пространство,
и ночь, и сад сиянием, и вновь
воссоздан мир, над головой звучит
возвышенное в слабости своей
печальное рожденье бытия.
Звук, перелив — рожденье бытия —
изгиб голубизны — и снова мера
вещам вернулась: дело, слово, жизнь...

Из алого, кровавого венка
ум выберет цветок, который впору:
"отточенный" и "непреклонный в цвете",
"с зубчатой гранью точных лепестков"
на потной простыне правещества.
Все будет так. Ублюдок — обречен;
когда в гниенье чуют запах неба —
над падалью уже кружит стервятник
и соколы голодные кричат...

IV. К*орпус II, комната 66*

Таков был адрес места, на протяжении нескольких месяцев служившего мне жилищем[1]. Казарма располагалась высоко и, словно замок, возвышалась над городом. Монсальват, как называл ее один обер-лейтенант, очевидно поклонник оперы, но и на самом деле казарма была достаточно недоступна, по крайней мере для праздношатающихся: чтобы подняться от Вокзальной улицы до подножия холма, нужно было преодолеть сто семьдесят три ступеньки.

Что может быть романтичней казармы! Комната 66 выходит на строевой плац, под окном три невысокие рябинки, ягоды, еще не пупрпурные, листья, словно тронутые загаром[2]. Конец августа, ласточки пока не улетели, но уже собираются в стаи. На углу репетирует батальонный оркестр, на трубах и барабане сверкает солнце, они играют "Хвалу небу" и "Я подстрелил оленя в густом лесу". Идет пятый год войны, а здесь свой, совершенно замкнутый мир, своего рода béguinage[3], коман-

1. Речь идет о городе Ландсберге на Варте в Восточной Пруссии, ныне польском городе Гожув-Велькопольском. Здесь Бенн провел 1943—1945 гг.
2. Ср. стихотворение Бенна 1954 г.:

   Рябина

   Рябина — тускло-розовая медь
   лишь только первый признак, за которым
   придет последний пламень, осень, смерть.

   Рябина — грозди цвета обещанья,
   предсказанных тонов неполнота,
   преддверье мига горького прощанья —
   все лишь сейчас и больше никогда.

   Рябина — смена дней, ночей и лет,
   от бледных красок путь к тому итогу,
   что в зрелости своей завещан Богу,
   но где берешь ты стройность, форму, цвет?..

   Перев. Ольги Татариновой.
3. Женский монастырь бегинок (*франц.*).

ды на плацу кажутся чем-то внешним, внутри же все приглушенно и тихо. Городок — на востоке, над ним возвышенность, на ней Монсальват, светло-желтое здание и огромный строевой плац, словно форт в пустыне. Сам город тоже странный. Немощеные улочки, частью в долине, частью на склонах холма; отдельные домики, к которым не ведут тропинки, и непонятно, как туда попадают их обитатели; изгороди, как в Литве, замшелые, низкие, мокрые. Цыганская кибитка, в которой кто-то живет. Человек в вечерних сумерках с кошкой на левом плече, на шее у нее веревка, она боится, переминает лапками, хочет спрыгнуть, человек смеется. Низкие облака, темный и фиолетовый свет, ни единого проблеска, вечно собирающийся дождь, много тополей. Почему-то у стены перед домиком ни с того ни с сего изогнутый в форме лиры розовый куст и три голубые розы. По утрам над поселком разливается удивительно мягкий небесный свет. И все кажется нереальным, двумерным — мир кулис.

По периметру плаца казармы — мечты и грезы. Не о славе и не о победе, грезы одиночества, мечты беглецов и призраков. Действительность вдалеке. В центральном корпусе, в так называемом "зале почета", большими буквами выведено имя некоего генерала: "Казарма имени генерала фон Х". Он генеральствовал во время первой мировой войны. Три дня кряду, проходя мимо почетного караула, я пытался узнать: в честь кого названа казарма? Кто он был такой, генерал фон Х? Никто не знает. Абсолютно никому не известный генерал фон Х. Без вести пропавший. Нет больше ни знамен, ни личного штандарта, ни окружавшей его положенной по чину генеральской свиты. Не прошло и двадцати лет. Здесь особенно остро чувствуешь бренность и эфемерность фальшивых ценностей и человеческих заблуждений.

На казармы время от времени накатывают волны новобранцев. В основном двух сортов: шестнадцатилетние, некормленые, жалкие, забитые, прямиком с трудового фронта, запуганные, верноподданные, усердные; и старички пятидесяти-шестидесяти лет из Берлина. В первый день они еще пока господа, цивильная одежда, газеты из киоска, неторопливая походка: мы не просто так, мы адвокаты, лавочники, страховые агенты, у нас красивые жены, центральное отопление, весь этот окружающий бред нас мало касается и вызывает разве что иронической улыбку; а на другой день их переодевают в военную форму, и они превращаются в последнее дерьмо. Теперь везде бегом, унтер-офицер заорал — пулей на плац; таскают ящики, получают каски. Курс подготовки краток — две-три недели; что интересно, теперь их на второй день уже учат стрелять, раньше начинали только через месяц-полтора. Потом ночью их выстраивают на плацу, уже с ранцами, скатанными шинелями, брезентовыми палатками, противогазами, автоматами и пулеметами — все вместе чуть ли не центнер весом, — и вперед марш, в эшелоны, в темноту. Эти колонны, марширующие в темноту, — страшное зрелище. Невидимый оркестр в голове колонны играет марши, бодрые ритмы, а позади повисает беззвучный след, который тянется в забвение. Все происходит очень быстро, короткая брешь в тишине и черноте — и снова безмолвие и непроглядная, без земли и неба, ночь. Наутро прибывают новые. Все повторяется сначала. На плацу становится холодно. Раздается команда потереть друг о дружку ладони, побить кулаками по коленям, восстановить кровообращение, жизнь должна продолжаться, биология войны. Казармы стоят, волны накатывают и ухо-

дят. Новые и новые волны людей, крови, обреченные на несколько выстрелов, на несколько атак на так называемого врага, на исчезновение в далеких восточных степях. И за всей этой непостижимостью стоит не особенно представительный генерал, по-своему красивый в золоте и пурпуре, он стреляет сам и дает стрелять другим, и, похоже, происходящее не особенно его волнует. В обед офицеры собираются за столом. После начала войны разница в рационе офицеров и солдат практически отсутствует. Полковник, как и рядовой, получает в неделю два пайка, плюс маргарин и искусственный мед на полоске бумажки, чтобы забрать с собой; в обед капустный суп в глубокой тарелке или кучка картошин в мундире, их приходится чистить прямо за столом (который застелен клеенкой, если есть, а нет – "перешитой" простыней); очищенные картофелины лежат горкой на столе, пока все ждут супа или подливки. В один прекрасный день полковник, командир нашего подразделения, является к столу небритым. Нет лезвий, нечего и точить. Кто-то говорит, что знает в Берлине место, где можно достать. Коллега-австриец рассказывает, что в армии Австро-Венгерской империи только драгуны Виндишгреца имели право ходить гладко выбритыми; вспоминают Колин, где только что призванные новобранцы, молокососы с пушком на щеках, решили исход сражения. Кусочек мыла для бритья дается на четыре месяца. В парикмахерских больше не бреют – нечем. Говорят, в Америке бреют в специальных шезлонгах – что с них взять, гнилая плутократия.

Обычные разговоры обычных безобидных людей, и никто не чувствует, что нависло над ними и над их родиной. Бадольо[1] – предатель; король – рахитичный коротышка и мошенник. Недавно в Гольштейне в одном могильном кургане раскопали германский парадный головной убор, который свидетельствует, как высоко было развито искусство головных уборов у наших предков уже три тысячи лет назад. Греки, кстати, тоже были арийцами. Принц Евгений пережил свою славу, то, что он под конец сделал во Франции, не так уж и здорово. Эти новомодные кинжалы чистой воды плебейство – кавалеристы всегда носили длинные сабли. – Кавалеристы! – Сейчас все моторизировано, кончилась кавалерия. – Раньше были ротмистры, а теперь танкмистры!

Все эти люди, как бы они ни храбрились, в сущности думают только о том, как бы достать жене пирожков с грибами, когда поедут в отпуск, или устроить сына в школу, да чтобы снова не оказаться на улице, как в 1918 году, если – и это единственное выражение, которое они себе изредка позволяют, – если, не дай бог, "что-нибудь случится". Почти все это офицеры старой армии, всем за пятьдесят, участники первой мировой. В промежутке между двумя войнами они были представителями табачных или писчебумажных фирм, сельскохозяйственными чиновниками, шталмейстерами в союзах верховой езды, вили свои уютные гнездышки. Теперь они майоры. Ни один не знает ни одного иностранного языка, ни разу не был за границей, разве что в военном походе. Только коллега-австриец, всегда настороженный и недоверчивый – принимают ли его всерьез? – успел повидать кое-что: Адриатику, Балканы, в пределах бывшей Империи. Вечерами они читают Сковронека, потом обсуждают: "Интересно написано". Какие уж тут высоты, какой уж тут

1. Пьетро Бадольо (1871–1956) – итальянский политический деятель. В 1943 г. участвовал в перевороте, приведшем к падению режима Муссолини, стал премьер-министром. В октябре 1943 г. его правительство объявило войну Германии.

духовный мир, но я старался пристальнее вглядеться в мое окружение. И кто не задавался тогда непрестанно вопросом: как могло случиться и до сих пор продолжаться, что Германия пошла за этим так называемым правительством, этой полудюжиной крикунов, которые вот уже более десятка лет в одних и тех же залах талдычут одни и те же глупости перед одними и теми же ревущими толпами, за этими шестью паяцами, которые верят, что они лучше всех все знают о прошлых столетиях и будущих тысячелетиях целого мира? Игроки, отправившиеся в Монте-Карло с пустым карманом и доморощенной "системой" сорвать банк, шулера, наглые, уверенные, что партнеры не заметят их крапленых карт, — клоуны митинговых баталий, герои заседательских кресел.

Тут не мечта Гогенштауфенов, хотевших объединить Север и Юг, не здравая, несмотря ни на что, колонизаторская идея рыцарских орденов, стремившихся на Восток, но один только голый пафос порыва и пустая форма, доисторическое знахарство власти, факельный чад и ночные мессы у реквизированного саркофага Генриха Льва[1].

Оно было и сразу понятным, это правительство; но сейчас уже пятый год войны, дела идут хуже и хуже, поражения и ошибочные решения, оставленные территории, торпедированные корабли, миллионы трупов, разбомбленные города, а массы несмотря ни на что продолжают слушать благоглупости фюрера и верить в них. Это не просто обман, банальный обман такого бы не выдержал. Среди руин больших городов люди верят в новое изобретение, в таинственное оружие возмездия, в смертельный ответный удар, который вот-вот последует. Верят все — сверху донизу, от генерала до солдата на кухне. Мистическая целокупность дураков, до-логическое сообщество презирающих опыт — нечто, без сомнения, сугубо германское и только в этом этнологическом смысле центральное для понимания ситуации. Периферийные этнологические объяснения распадаются, похоже, на две части. Во-первых, в небольших городах и сельской местности война не так заметна, там не голодают, живут привычной жизнью, их не бомбят, настроение им обеспечивает Геббельс по радио, с доставкой на дом, а в деревне испокон веку погода была куда важнее, чем отвлеченные умствования. Вторая причина состоит в том, что потери близких переносятся легче, когда в стране соответствующий настрой. Умирают быстро, и чем больше покойников, тем быстрее их забывают. Кроме того, между отцами и детьми по-прежнему существуют извечные антипатии и конфликты, поколения по-прежнему разъединяет ненависть и объединяет любовь. А от погибших сыновей тоже поддержка — льготы, налоговые поблажки, что, вообще говоря, важно для стариков. И воспитывая детей в духе времени, они нет-нет да и подумают о том, что в трудную минуту им зачтется бессмертие сына-героя и выразится в благодарности уцелевшего начальства.

И еще одно наблюдение: армия на пятом году войны, похоже, держится на двух китах — на лейтенантах и фельдмаршалах; все прочие — несущественные детали. Лейтенанты, выходцы из "гитлер-югенд", за плечами — соответствующее воспитание, из них систематически вытравливали все интеллектуальное и моральное содержание жизни, пичкали эрзацем дешевой романтики готских князей и сабельного клинка, маршбросков и ночевок в стогу сена под открытым небом. Им равно чужды

1. Генрих Лев (1129—1195) — герцог Саксонии и Баварии, прославился своими удачными (с 1160 г.) походами против славян.

все сколько-нибудь образованные питомцы старой школы: родители и воспитатели, интеллектуалы и гуманисты, носители любой минимальной культуры; они абсолютно спокойны: самоуверенные, целеустремленные, всезнающие, они прекрасно подготовлены к тому, чтобы считать разрушение целой части света исполнением арийской миссии. А что касается фельдмаршалов, мало кому известно, что маршальское содержание они получают пожизненно и практически безо всяких налогов, к ним навсегда приставлен адъютант, а по выходе в отставку их ждет уютное поместье или солидный надел земли в Грюневальде. А поскольку в нашем правовом государстве тот, кто дает маршальское звание, может запросто его же и отнять, а вместе с ним лишить и всех титулов, орденов и привилегий да заодно привлечь к суду всех членов семьи провинившегося военачальника, то маршалам как добрым отцам семейств остается только одно — исполнительность и послушание; так что и с ними все достаточно просто, и никакие они не исчадия ада.

Размышляя об этой войне и предшествовавшем ей мире, нельзя не обратить внимания на одно обстоятельство — на небывалую экзистенциальную пустоту современного немца, у которого нет ничего из того, что наполняет внутреннюю жизнь других народов: серьезное национальное содержание, общественные интересы, критика, общественная жизнь, колониальные впечатления, истинные традиции, — вместо этого вакуум с историческими благоглупостями, разрушенной системой образования, идиотическим враньем правительственной пропаганды и дешевым спортом. Зато можно носить красивую форму, она привлекает к тебе внимание, можно лихо рапортовать, серьезно склоняться над картой, в окружении свиты являться в казарму или на плац, распоряжаться, инспектировать, нагонять страху ("Два раза я не повторяю", "Узнаете, когда будете чистить сортир"); все это создает впечатление наполненности бытия, личной значимости, причастности к великому делу — словом, помогает изжить вечный комплекс среднего человека. Искусство запретили, прессу уничтожили, на слово отвечают пулей в затылок; сопрягать человеческие и моральные измерения с внешней жизнью — для этого в третьем рейхе нет предпосылок. Здесь царит идол внешнего пространства; на понтонных переправах, под бомбежками, рядом с окуляром оптического прицела индивидуалисту нет места, он воспринимает происходящее как космическую катастрофу.

При верховном командовании вермахта есть отдел прессы, который осуществляет "руководство боевым духом" армии. Во главе, естественно, генерал. Среди сотрудников — многочисленные писатели времен "системы"[1] и новые, нацистские. Я внимательно читаю их продукцию: "Обращение к солдатам", "Обращение к офицерам", "В помощь агитатору", "Пособие для политзанятий в роте", и все в таком духе. В целом отдел — обыкновенный филиал геббельсовского министерства, специализирующийся на солдатских "крепких выражениях": мразь, каналья, паскуда, свинство — это все по поводу тех, кто думает несколько иначе, чем авторы брошюр. Они любят порассуждать о "молодых народах", которым суждена победа. Молодые народы! Уж о Цезаре-то должны знать в верховном командовании, о том самом Цезаре, которого убили в 44 году до Рождества Христова и при котором этот так называемый "молодой народ" был уже достаточно сильным. Есть народы и помоложе, например нынешнему русскому режиму всего двадцать семь лет, так

1. Имеется в виду Веймарская республика.

что, по нацистской логике, ему сам Бог велел побеждать? Японцы вышли из мифологического состояния за 600 лет до Р.Х., то есть старее некуда, а истоки господствующей у них религии, синтоизма, вообще теряются в мистической дали времен. Соединенные Штаты, напротив, оформились государственно и национально только в XVII веке, то есть в то самое время, когда в Италии уже было "высокое" барокко, а в Германии Лейбниц развивал свою философию истории. Так что все эти благоглупости о молодых народах — чистой воды чушь, рассчитанная на полную разруху государственного образования. Себя самих эти управленцы боевым духом называют представителями "королевского искусства", которое "выявляет благороднейшие черты немецкого характера", а нацистское приветствие толкуют как "отдание чести идее непобедимой Германии", ну и так далее. Есть и другие темы: "За победой в боях — победа в люльках!", "Нюрнбергские законы стоят на страже не только немецкой крови, но и немецкой чести"; затем рассуждения о нависшей над нами "смертельной опасности" и "спасительных действиях фюрера в последний момент". Эти управленцы боевым духом призывают солдата, даже если он оказался в плену, сокрушать врага с помощью "морального террора". Разумеется, много внимания уделяется опровержениям инсинуаций еврейско-большевистской бульварной прессы; прежде всего (в декабре 43-го) необходимо довести до солдата ("со всей возможной простотой и наглядностью") тот факт, что "за последние десять лет Сталин потерпел сокрушительное политическое поражение". Кроме того, для поддержания боевого духа необходимо знать следующее: итальянцы — предатели, развратники, паршивые собаки; русские — извращенный садизм, опьяненная ненавистью степь, их ждет страшное возмездие; американцы воруют у наших раненых часы, бумажники и самопишущие ручки. Сталин — ящерица, грабитель банков из Тифлиса; Рузвельт — главный гангстер, который "шестизарядным кольтом" загнал в войну Эквадор и Боливию; Черчилль — горький пьяница, бросивший в молодости порядочную английскую девушку, чтобы подцепить богатую американскую плутократку... Тут главное не попасть бы в оборот: на одного шутника донесли — арестовали даже женщин, сидевших с ним за столом; вражье радио слушаешь, засранец, получай выстрел в затылок!

Гёльдерлин и Рильке тоже попали в оборот. Крайне интересно наблюдать, как сильно в последние десять лет этих лириков использует в своих целях политическая пропаганда. "Для тебя, любимая, любая жертва не жертва" — наиболее часто приводимая пропагандистами цитата из Гёльдерлина; любят также, в связи с желательным государственным переворотом, процитировать и такое: "...и здесь обитают боги". А что касается Рильке, то появление корнета в кругу нищих, иноков и белых графинь представляет кротость и благочестие других его сочинений в нужном свете[1]. Вот, например, в "Марине рундшау" ("Морском обозрении") за ноябрь 1943 года, которое доставили нам в казарму (издательство "Митлер и сын", главный редактор, естественно, адмирал), некий профессор церковного и государственного права из одного баварского университета трактует проблему военно-морской стратегии (это специалист по церковному-то праву?), трактует в разных аспектах: "в военном, экономическом, духовно-моральном".

1. Намек на ранний рассказ Рильке "Мелодия любви и смерти корнета Кристофа Рильке" (1899), в котором с излишней патетикой провозглашалась романтика смерти.

В перспективе для нас остается очень важной обеспеченная на все времена возможность свободного доступа к Атлантике, а с ней и гарантия хозяйственного и культурного процветания как для нас, так и для всей Европы. Тут уместно вспомнить слова Гёльдерлина: "Империя начинается с моря". Не забывает профессор и другого выдающегося лирика: *"Новое слово – прожитая жизнь". Так или иначе, но интересно отметить, что художник еще до того, как это обосновала наука, сумел, правда на свой лад, предугадать образ нового будущего. Это сделал Райнер Мария Рильке в своих "Дуинских элегиях".*

Так или иначе, тут интересно отметить эту оговорку "правда, на свой лад", то есть как бы он ни был хорош, этот художник, а наука все-таки лучше. Что же касается "прожитой жизни" как нового слова в военно-морском контексте, то у меня на этот счет нет комментариев. Безусловно "Дуинские элегии" – произведение многогранное, и рассматривать их можно под разными углами зрения, но, как ни смотри, найти в них что-нибудь военно-морское вряд ли возможно. Эта ссылка на Рильке – типичное жульничество, и профессор рассчитывает, впрочем вполне справедливо, на слабоумие немецкой интеллигенции, особенно прогрессирующее в последнее время.

Осень в окрестностях казарм, как и во всей стране, выдалась засушливой, поля разорили мыши, картошка не уродилась, содержание сахара в свекле катастрофически низкое. Потеря восточных районов в продовольственном смысле означала для страны потерю двухмесячного рациона хлеба, месячного рациона жиров и мяса. Соответственно урезали и наши рационы. Исчезли сапоги с длинными голенищами – не хватало кожи; исчезли протезы для раненых – не из чего делать. Исчезли шнурки для ботинок, исчезли бинты, исчезли судна для тяжелораненых; не хватало врачей, целые дивизии отправлялись на фронт без хирургов, среди гражданского населения один врач приходился на двадцать пять тысяч человек, у "скорой помощи" не было бензина. А фюрер вводил почетные нарукавные нашивки, устанавливал ширину лент на венках для торжественных военных похорон, запрещал солдатам жениться на иностранках, даже на скандинавках: "эти благороднейшие нордические женщины" все же оставались "расовыми вкраплениями" в великую немецкую нацию. Тление и распад подступали со всех сторон, а пропаганда продолжала раскручиваться на полную катушку. Нера и Зера, "добрые гномы из Моштара", очень рады, наконец-то они получили работу в великой организации Тодта[39]; Геббельс демонстрирует перед ранеными свой белозубый оскал; появляется Геринг с подарками, как Дед Мороз, – волшебная сказка продолжается.

Однажды в ноябре мне пришлось поехать по делам службы в Берлин. В то время поездки были чем-то вроде тяжелого спорта. По расписанию поезда уже не ходили. В два часа ночи к вокзалу, с которого мне нужно было уезжать, подошел удивительный поезд: восемь спальных вагонов, четыре вагона первого и второго классов, почти пустые, в хвосте платформа с зенитками. Я вошел было в вагон. Но человек в эсэсовской форме тут же выставил меня вон. Я никак не мог взять в толк почему. Он объяснил, что это поезд для ставки фюрера и господ из генерального штаба. Все ясно, в моей планшетке вполне могла оказаться лимонка. Я сел на следующий поезд, точнее, втиснулся рядом с туале-

39. Организация Тодта – полувоенная правительственная организация в нацистской Германии, "трудовая армия"; создана в 1933 г. Фрицем Тодтом (1891–1942).

том в вагон третьего класса — в форме майора, среди остарбайтеров. Туалет нараспашку, женщинам и детям приходилось им пользоваться так, дверь не закрывалась, повернуться в тесноте нет никакой возможности, впрочем, это никого не смущало. Пришлось сойти. На следующем поезде мне удалось попасть во второй класс, но я опять стоял. В купе напротив вольготно развалились на мягких сиденьях три молодых хлыща в партийной униформе, крепкие такие ребята. В проходе стояли женщины — женщины с белыми волосами, женщины с детьми. Представители расы господ достали бутылку коньяка и целый пучок сигарет (обычный немец получал тогда в день одну сигарету и, конечно, никакого коньяка); все три часа до Берлина они отдыхали, подкреплялись перед очередным партийным заданием. В тот же день во всех газетах была опубликована передовица о том, что среди павших и награжденных железными крестами за храбрость процент членов партии неизмеримо выше, чем обычных граждан. А броня, мол, на членов партии вообще не распространяется. В статье была такая фраза: "Картины иного рода, которые иногда случайно попадаются на глаза, никого не должны вводить в заблуждение". Очевидно, я имел дело в поезде с типичным оптическим обманом.

Из корпуса II лучше понимаешь, что такое "страна туманов", "страна мертвых" германской мифологии: вечная мгла, вечная сырость, вечная нужда в медвежьих шкурах у этих "великолепных древних германцев", как их любят называть по радио; Тэн с его геофизическим подходом вполне мог бы этим объяснить нашу природную чуждость ясности и форме, сюда можно добавить и чуждость порядочности и чести. В декабре 1943 года, в то самое время, когда русские прогнали нас уже полторы с лишним тысячи километров и прорвали в наших фронтах с десяток дыр, один обер-лейтенант, маленький, как колибри, и робкий, как кролик, за обедом сказал: "Главное, чтобы эти свиньи не прорвались". Прорваться, смять, ворваться на плечах противника, очистить территорию от врага — какая сила в этих словах, приятная, когда можно похвастаться, и страшная, когда приходится скрывать истинное положение дел. Сталинград — несчастный случай; гибель подводной лодки — случайная маленькая удача англичан; Монтгомери гнал Роммеля четыре тысячи километров от Эль-Аламейна до Неаполя — предательство Бадольо и его клики. В то время к нам приехал по делам большой партийный чин, обедал с нами в столовой. Наш полковник, человек старой школы, кавалерист, рыцарь Мальтийского ордена, не расстававшийся с моноклем, даже когда ездил верхом, по случаю такого события сменил свое стеклышко на черные роговые очки, чтобы не оскорбить простонародных чувств партийного бонзы и не навредить своей карьере ("Бесстрашие и Верность", "Semper talis"[1] — девиз на шлеме старой прусской гвардии).

У меня есть время читать. Случайно попала в руки французская книга о том, как Бернини в 1665 году был в Париже, где работал над планом Луврского дворца. Это семнадцатое столетие! Эти римляне! Бернини рассказывает, как Архимед ответил царю, который хотел его наградить за то, что он сжег вражеские корабли: "Отдайте ваши деньги богам, ибо они подарили людям круг и циркуль, чтобы его начертить". Или такое высказывание Бернини: "Монументальные идеи нужно сначала решать в целом, компоновать большие массы, как поступают при

1. "Всегда таков" (*лат.*).

создании парковых ансамблей, вначале нельзя дробить единую идею по разным группам, прежде всего надо уравновесить общую композицию. Затем нужно организовать и заполнить фигурами промежуточные пространства, и только потом можно переходить к деталям. Это единственный способ создания большой и хорошо продуманной композиции. Иначе ничего не выйдет, ибо каждая деталь начинает навязывать свой стиль, причем, как правило, такой, который противоречит общему целому". То есть нужно думать головой, прежде чем делать! Эти принципы покоятся на давно известных законах, на основополагающих законах, которые, как мы сами видим, нельзя безнаказанно нарушать.

А между тем приближается Рождество. Дополнительно выдают сто граммов мягкой свиной колбасы, а двадцать пять процентов мясного недельного пайка – шпротным порошком. Тот, кто готов пожертвовать тридцатью граммами маргарина и ста граммами сахару, может получить рождественскую коврижку. Записываюсь на коврижку. Рождественские песни запрещены, зимнее солнцевращение командирам предписано толковать в смысле возрождения света из лона матушки-природы. Никакого возрождения пока что не заметно. Я стою у окна комнаты 66, за окном казарменный двор в сереньком свете, серость чаячьих крыльев, поплескавшихся во всех морях земли. Вот и праздник. Утром был страшный налет на Берлин; как там квартира, как там те немногие знакомые, что живут в столице, целы ли они? Наступает рождественский вечер, приносят паек. Спрашиваю ординарца, как его астма, он туговат на ухо, говорить с ним тяжело. Снова смотрю на плац, за ним внизу долина, степи, Восток – все так близко, все так рядом, вся эта плотная изморось поколений, так ничего и не уяснивших о самих себе. На землю опускается Рождественская ночь 1943 года.

Вскоре после Рождества пришел приказ освободить казармы для отступающих с востока войск, наше подразделение едет дальше, я с ним. Активность, пассивность: подложенная свинья, волк в овечьей шкуре, козел в огороде – как быть, что делать, с ними, против них? Как раздули это понятие – дело! В нужде, когда нечего есть, что-то сделать, попытаться получить пособие, это понятно, но стремиться к единству мысли и дела – что за провинциальная идея! Можно себе представить, как современный физик пытается своей жизнью выразить собственные формулы и открытия, живет с ними в согласии, пытается их "воплотить", или Бахофен – свою теорию материнских государств, или Бёклин – свой "Остров мертвых", смешно! Когда человек находится в потоке событий своего времени, внутри исторического мира, то есть среди снайперов и спекулянтов, охотников и воров, он что, обязательно должен выходить на площадь и открыто проповедовать свои взгляды?

Существует ли вообще единая идея для человечества? Бывали времена, когда она как бы всплывала на поверхность и завладевала всеми умами. Но сегодня взгляды и убеждения скорее сродни мигрени – своего рода наследственная болезнь. Можно чувствовать себя пророком и при этом не поднимать зеленое знамя и не удаляться в горы в сопровождении орла и змеи. То, что пророчества не меняют людей, не улучшают их, не возвышают, доказала неудача последнего Диониса[1] – все закончилось раскрепощением белокурой бестии. Идеи – это всего лишь своего рода слабительное, ускоряющее перистальтику исторического мира, и какой серьезный человек будет открыто стремиться стать у него

1. Г. Бенн имеет в виду Ницше.

поперек дороги? Исторический мир — наглый недоросль, отбившийся от рук; вольготно развалились жирные хозяева жизни в окружении своих наложниц и прихлебателей, скрипки выводят возвышенную мелодию перед убийцами, а безымянные жертвы сгинули в темноте, всеми забытые, растерзанные, удавленные, — нет, с этим нет смысла бороться, против этого нет смысла открыто выступать, ни с маленькой пращой, ни с огромной трубой, — оставьте их, пусть они грохочут своей молотилкой по своим снопам.

То, что живет, есть нечто иное, чем то, что мыслит, это фундаментальное обстоятельство нашего существования, и мы должны с ним смириться. Может быть, когда-нибудь будет по-другому; может быть, в далеком будущем воссияет некое звездное единение, но пока народы живут именно так. То, что во мне думало, оно существовало в своем собственном пространстве; то мое, что жило, придерживалось установленных и присущих моему окружению внешних форм и дружеской благожелательности. То, что думает, не терпит фальши, оно никого ни о чем не спрашивало и ни перед кем не отчитывалось, оно вообще не проявлялось вовне, оно было само по себе и настолько самостоятельно, что вполне могло обладать собственной истиной, без оглядки на общее настроение моих соседей по казарме. Кто верит, тот не отступает, рек Исайя. Это естественно подразумевает, что человек должен открыто заявлять о своей вере; тот, кто так думает, кто придерживается такой точки зрения на мир, естественно должен восставать, бороться, устраивать революции или позволить себя расстрелять. Я такой точки зрения не придерживаюсь. В подобных вопросах не существует общих для всех доказательств, есть только экзистенциальные побудительные причины. Для меня такая причина — мое личное неверие в значительность исторического мира. Я не иду дальше того, чтобы оставаться типичным экспериментатором, который сводит отдельные содержания и комплексы в законченные формы, который способен воспринимать единство жизни и духа, вообще говоря, только в виде неких вторичных объектов: статуя, стихотворение, оставшееся в памяти потомков талантливое произведение искусства. Все, что касается собственно жизни, неопределенно и проблематично; единство религиозное мы больше не ощущаем как насущное, о так называемом единстве национальном лучше вообще промолчать, оставшиеся насущные для нас связи сохраняются сегодня только в выразительном произведении искусства. Биологическое напряжение разрешается в искусстве. Но искусство по сути своей не может быть исторической силой, оно парит над временем и историей, его воздействие проявляется на уровне генофонда, на уровне внутренней человеческой субстанции — а это долгий и незаметный путь. Занимательность и политическая ангажированность некоторых жанров, например романа, только вводят в заблуждение; существо искусства — бесконечная сдержанность, раскаленное ядро и непритязательная оболочка, настоящее искусство не трогает, оно опаляет. Внутренние экзистенциальные побуждения не случайны, они объективны, они не являются обязательными для всех, но существуют только для тех, кому очевидна их бытийная непреложность, они проявляются в разных мутационных вариантах, в разных попытках, успешных и перспективных или, напротив, в неудачных и тупиковых, — словом, как уже говорилось: в экспериментах. Их нельзя объяснить, их нельзя проверить, они ищут своего оправдания в не стесненном никакими рамками мире

выражения, в мире экспрессии; они, те самые, которые, несмотря на все препоны, даже в казарме, а может, именно потому, что в казарме, почувствовали особенную необходимость еще раз убедиться в неколебимости собственных основ.

Казарма, понятно, подобные поиски начисто отметает. Это все, отвечает казарма, чистой воды рассуждения, холодные, бесплодные рассуждения, опасные для естественной и теплой жизни, взбесившийся интеллект, враждебный патриотическим чувствам, идее тысячелетнего рейха, Празднику урожая, а также Белоснежке и семи гномам. Давайте лучше посмотрим сегодняшнюю газету, замечательная фотография в рубрике "Культурное строительство на фронте", под фотографией подпись: "Командующий флотом высказывает офицеру культурного подразделения свое мнение о картине "Боевой поход" — каково? Еще бы, сам командующий флотом! Наверняка адмирал и все как полагается: ливень сечет штормовые валы, баржа или лихтер, минный тральщик или эскадренный миноносец, килевая качка, дым столбом из трубы, и в бурлящей пене тоже нет недостатка — боевой поход, мирный поход — все эти трусливые страусино-исторические победные бредни — дело ваше. Приходящие ко мне мысли, напротив, требуют смелости, они беспощадны, и не надо спрашивать, куда ведет этот путь и чем закончится: это мой боевой и мирный поход, это мое человеческое предназначение, а все прочее — преступление!

Но и самой мысли приходит мысль о том, что в мире есть еще Нечто, призванное достичь Абсолюта, — Любовь — и что заповедано кротким посрамлять мысль добровольным самоуничижением; но ведь и заповедано: Любовью, но не тупостью; там, где Любовь и Мысль ведут игру на равных, уже начинается тот высший мир, за который и борется человек в своих творческих дерзаниях. Однако нынешняя земная эпоха принадлежит мысли, именно мысль определяет ее стать, выражение, черты лица, язык, совершая тем самым свое земное предназначение.

Разумеется, заслуживают любви и преступники, да только не теперешние. Вот Родя любовь заслужил, ибо принял Соню такою, как есть, ибо сам пострадал; Родя Раскольников, который поначалу был готов на все, лишь бы только всем показать, всем в лицо плюнуть, над всеми власть получить, даже на убийство пошел, — а все же любовь заслужил, ибо сказала Соня: пойдем со мной, выйди на площадь, стань на колени, поцелуй землю, которую ты осквернил, перед которой ты согрешил, поклонись в ноги всему миру и громко скажи всем: я убийца. Хочешь? Пойдешь со мной? И он пошел.

А тем временем пришел конец Восточным землям. Когда 21.01.45 заходили к коменданту города и спрашивали, что делать с нашими пожитками, которые мы в свое время с большими трудами притащили из Берлина, если придут русские, его адъютант капитан СС отвечал: того, кто задает такие вопросы, надо ставить к стенке, русские не пройдут, да, возможно, изредка и мелькают вдалеке одиночные дозорные танки врага, но город не сдадут, а если кто подумывает отправить жену в Берлин, таких тоже надо расстреливать. Следующей ночью в пять часов тревога, артобстрел, и мы побежали домой с одним портфельчиком, в пургу, в десятиградусный мороз, пешком по обледенелому шоссе, запруженному колоннами беженцев и жалкими повозками, из которых вываливались мертвые дети. В Кюстрине нас погрузили в открытый вагон для скота, который за двенадцать часов под непрерывными авиа-

налетами преодолел шестьдесят километров и доставил нас на вокзал Цоо. Таков был конец всех Восточных земель, город за городом. В берлинской квартире были чужие люди, голые стены, мы накрылись моей шинелью и старыми газетами и лежали без сна, слушая вой сирены. Так закончился этот отрезок жизни — во втором корпусе, в комнате 66.

В казарме я написал "Роман фенотипа", многие части "Мира выражения", в том числе "Палладу", а из сборника "Статические стихи", например, такие, как "Ах, дали, дали", "Сентябрь", "Тогда", "Статические стихи" и другие.

V. *Литературное*

<...>

b) Двойная жизнь

Наш культурный мир начал с двоящихся образов — сфинксов, кентавров, богов с песьими головами, — а закончил в нашем лице двойной жизнью: мы думаем совсем не то, что мы есть, или, как это сказано в "Трех стариках"[1]: "Мы жили не так, как были, писали не так, как думали, думали не так, как хотели, и оставили после себя совсем не то, что намеревались сделать". Единство личности — вопрос спорный. Этак получится, что творец теории относительности должен руководствоваться этой самой теорией и в своей повседневной жизни, а ежели ты философ-экзистенциалист, то тебе и в хоккей нельзя поиграть, а, как известно, многие очень активные политики целыми днями напролет просиживают с удочкой. В 1914 году в "Метрополитен-опера" я видел маленького толстопузенького Карузо, свободные вечера которого, очевидно, заполняли не мифы и мистерии, а какие-нибудь прозаические карточные пасьянсы, и я слышал его поистине божественный голос, голос Ариеля, голос Ариона — какое несоответствие! Или Руссо Таможенник: стоял у полосатого шлагбаума, выписывал квитанции, шлепал наклейки на чемоданы — а по вечерам прекрасные, безумные картины! Короче, мысль и бытие, искусство и образ того, кто его делает, точно так же, как внешняя и внутренняя жизнь, суть вполне самостоятельные сущности и не только не совпадают, но и, осмелюсь заметить, вообще имеют мало общего.

Таким образом, я — дуалист, противник синтеза и, если снова процитировать "Трех стариков", человек, отступающий "перед несоединимым"; мое стремление к единству ограничивается имеющимся в моем распоряжении конкретным листом бумаги: "здесь и сейчас", как говорит в "Палладе" богиня Одиссею; никаких всеобщностей, никаких морских путешествий — лук Филоктета нужен здесь и сейчас, поэтому отправляйся немедленно! Здесь и сейчас, никаких "вообще", никаких звездных порывов — это хороший принцип для двойной жизни, и на протяжении своей собственной двойной жизни, которая нельзя сказать чтобы всегда уж очень мне нравилась, я все время сознательно культивировал его. Мне было это не слишком трудно, для всех я был офицером, а мои книги были известны только в весьма узком кругу. Один из моих медицинских руководителей, у которого я пару лет работал асси-

1. Драматическое произведение Г. Бенна "Три старика. Диалоги" (1949).

стентом, некоторое время спустя написал мне: "Иногда в газетах я встречал Вашу фамилию, неужели это действительно Вы? Мне всегда представлялось абсолютно невозможным заговорить с Вами о чем-то другом, кроме раковой статистики или воспаления брюшной полости". В другой раз, будучи уже членом Поэтической академии, я как-то ужинал с коллегой-врачом, за столом было еще несколько человек, и вдруг одна дама наклонилась ко мне и, обворожительно улыбаясь, сказала: "Господин доктор, я слышала, вы неплохо управляетесь и с Пегасом?" Да, ответил я, управляюсь, вернее сказать, пытаюсь управляться.

Мой шестидесятилетний юбилей не доставил мне особых хлопот, не пришлось благодарить за букеты, отвечать на поздравительные телеграммы, я ужинал, как обычно, в кухне, со своей служанкой, она рассказывала мне о том, что у ее нового костюма вытачки в талии вышли неровно и, видно, придется перешивать. И сегодня у меня бывают ночные дежурства в том районе, где я живу. Ночное дежурство — это с восьми вечера до семи утра в бараке, который не очень хорошо отапливается; около двенадцати — телефонный звонок; табличек с названиями улиц на домах нет, номера в темноте не разберешь — глухие дворы, подвалы, руины, горы щебня, света нет — блокада; в левой руке свечка, в правой — шприц; тут старик с сердечным приступом, там кельнер с алкогольным отравлением, воспаление мозга последней степени, тифозный больной, которого нужно срочно в больницу, женщина с тяжелыми месячными; если хочешь ездить на вызовы в автомобиле, плати за него сам, — словом, мало похоже на лирическую идиллию. Но так и должно быть, так суждено, и я не хочу от этого уклоняться.

В подобных обстоятельствах есть одна вещь, которой следует всячески избегать, — нельзя позволять себе раскрываться. И еще одно, что я больше всего ненавижу, — дилетантизм; для мужчины это вообще непростительно. Поэтому и в медицине я всегда старался быть на уровне современных достижений. Я был настоящим профессионалом в трех областях: патология (одно время я руководил небольшим патологическим институтом), дерматология и венерология и, наконец, как можно заключить и из этой книги, реабилитационная медицина. По всем трем направлениям я публиковал научные работы в специальных журналах и книгах, и не увлекательные научно-популярные статейки, но серьезные, скучные, педантичные — настоящие исследования, — тоже своеобразная форма маскировки.

Двойная жизнь, в моем теоретическом понимании и практическом осуществлении, — это сознательное расщепление личности, намеренное и целенаправленное. Послушаем, что говорит на этот счет Птолемеец[1], его профессиональное предприятие — Институт красоты: косметические операции, включая лечение от варикозного расширения вен, не больше не меньше. <...>

Дух и жизнь, говорит мой герой, — для меня это два совершенно разных мира; вот я обслуживаю даму, но внутри-то, во мне — настоящий праздник, и чувствую я себя при этом совершенно чудесно, во всяком случае куда лучше, чем раньше, в те периоды моей жизни, когда я еще не владел этой техникой внутреннего раздвоения и потому — в самом худшем смысле этого слова — страдал. Страдания — что это вообще такое, откуда они? У тебя накипело, тебя распирает — так открой шлюзы;

1. Герой одноименной повести Бенна, вышедшей в 1949 г.

не нравится время, в котором живешь, — так вот он плакат над столом, черным по белому и большими буквами: другого ничего нет! Держись! И что плохого? Ты, внешний, зарабатываешь свои деньги, а тот, внутренний, может пока порезвиться и поублажать себя — большего не дано, такова ситуация, пойми ее и никогда не желай невозможного! Довольствоваться собою, да иногда смотреть на воду, говорит он в конце, но это не разочарование, нет, это все тот же его дионисийский мотив и принцип: дело и галлюцинации; именно ему он следует и в конце концов с удовлетворением констатирует: носить изысканный галстук и костюм безукоризненного покроя, внешне граф, внутренне пария, низменный, неприступный, неуязвимый, и тогда можно ни в чем себе не отказывать. Все это, в сущности, сводится к той же максиме: знай свое место, приспосабливайся к ситуации, скрывайся и таись, и никаких убеждений (от своего мнения в разговорах с клиентами лучше воздерживаться, соглашайся, поддакивай и тем и этим); с другой стороны, если это полезно для Института и Конторы, не чуждайся и убеждений и мировоззрений, любых направлений, любых концепций, главное — ничего не бери в голову, береги ее, там всегда должно быть пустое пространство для образа, для творения. Именно здесь настоящая реальность, здесь она моделируется, здесь обретает форму. ФОРМА — только она и важна, только в ней мораль. В чем она конкретно выражается, не столь важно, она важна сущностно, она первична, она основа основ: Ритм, Напряжение, ПРОЦЕСС — Птолемеец и сам не очень осведомлен в деталях. Впрочем, это его не очень и волнует: все есть как будет и у всего хороший конец, заключает он. Дионисийство, включающее и варикозное расширение вен! Такова ситуация — ситуация 1950 года! Такова в общих чертах двойная жизнь.

<...>

VI. *1886*

(Год моего рождения — о чем тогда писали в газетах)

Очень поздняя Пасха,
на Эльбе уже цветет сирень,
а в начале декабря был неслыханный снегопад:
в северной и средней Германии
на несколько недель
было полностью парализовано движение.

Пауль Хейзе опубликовал одноактную трагедию:
Свадьба. Молодая жена узнает,
что муж когда-то любил ее мать,
все пропало; но у нее
есть флакончик с морфием,
который когда-то дала ей тетушка,
заменившая мать:
“Смотри, будь с ним осторожна”;
она, качнувшись, падает, но ее успевает
подхватить Теодор (взолнованно восклицает):
“Линда! Жена моя! Возьми и меня с собою!”
Называется “Губы у края Чаши”.

Англия взяла Мандалай,
теперь бóльшая часть Иравади доступна для торговых судов;
Мадагаскар отошел к Франции;
Россия выгнала из Болгарии
князя Александра.

Немецкий союз велосипедистов
насчитывает пятнадцать тысяч членов.
Гюсфельд впервые покорил
Монблан
со стороны Гран-Муле.
Борзые из питомника Перхино
Тульского уезда,
с хорошо развитой грудью,
незаменимые при охоте на волков,
впервые появились на Берлинской собачьей выставке;
Асмодей получил золотую медаль.

Тургенев в Баден-Бадене[1]
каждый день навещает сестер Виардо;
незабываемые вечера,
его любимая песня, редко исполняемая
“Когда мои причуды”
(Шуберт),
также часто слушают они “Четверики” Экхарда.

Нашли:
питекантропа,
явские рудименты
праживотных.
Истребили:
маленькую птичку с Гавайских островов,
ее называли “медовый сосунок”,
на королевские мантии
шла желтая пуховая полоска на каждом крылышке.

Борьба против иностранных слов:
луна, Зефир, хризалиды;
тысячу восемьдесят восемь слов из “Фауста”
нужно заменить на исконно немецкие.
Движение помощников продавцов
с требованием закрывать в субботу лавочки после обеда,
на выборах в Берлине
социал-демократы набрали 68 535 голосов.
Самый свободомыслящий — район Тиргартена.
Зингер выступил со своей первой
предвыборной речью.
Тринадцатое издание
энциклопедического словаря Брокгауза.

Газеты освистали постановку
“Власти тьмы” Толстого,
а вот “Капля яда” Блюменталя
имела широкий положительный резонанс:
“Над головой графа Альбрехта Вальберга,

1. Тургенев умер в 1883 г.

который занимал видное место
в столичном обществе,
начали сгущаться тучи"...
Золя, Ибсен, Гауптман — неинтересны,
"Саламбо" — явная неудача,
Лист — космополит,
появилась новая рубрика
"Слово имеет читатель",
он хочет подробней узнать
о судорогах икроножных мышц
и удалении инородных тел.

1886 —

год рождения нескольких известных экспрессионистов,
дирижера Фуртвенглера,
его однокашника Кокошки,
год смерти генерал-фельдмаршала фон В.

Вдвое выросли капиталы
Шнайдера-Крёзо, Круппа, Путилова.

VII. Будущее и настоящее

Жизненный путь интеллектуала; интеллектуал, он несколько холоден в отношении человеческого, любит ясные слова и защищается понятиями, острыми как бритва. Это еще не устоявшееся начало нового типа "сапиенс", для поздней формы которого аффективное, гуманное или историческое больше не составят интереса, он будет думать в категориях порядка и регулирования и именно в этом видеть свою задачу. Видеть и осуществлять под эгидой больших надгосударственных образований, справедливо, но без сантиментов. Этот тип должен уже вскоре проявиться, будем надеяться, что Европа пойдет по такому пути.

Прошлое столетие было торпедировано одним понятием и словом "коллектив" — эра мистического завершилась, учили историки; начинается эра социального, утверждали обществоведы; нет, возражал третий рейх, начинается эра народного; эра активного, созидательного, прогрессивного, конструктивного, провозглашала Комиссия по делам восточных территорий; и теперь уже не поймешь, что это такое — "коллектив", эту мечту уже отмечтали; коллектив — чистой воды иллюзия, сказка, призванная заполнить небывалую пустоту нашего роботизированного существования и показать невозможность применять на практике современную идею государства. Сегодня государства восстанавливаются вместе, победители и побежденные работают рука об руку, а новые надгосударственные образования больше не нуждаются в этих вспомогательных конструкциях, потерявших свое содержание, и развивают индивидуума в других направлениях и наполняют его другими необходимостями.

Но все это в большей или меньшей степени вопросы будущего, а будущее, как я неоднократно писал, для живущего не имеет значения, самое главное сосредоточено в настоящем, которое и осуществляется через

него. С этой точки зрения давайте еще раз посмотрим на людей моего круга; я сделал это в форме своего рода афоризмов.

1. У моего поколения было еще литературное наследство от предшественников, на которое можно было опереться: проблема отцов и детей, античность, приключения, путешествия, общественные проблемы, меланхолия fin de siecle, вопросы брака, темы любви — у сегодняшних молодых нет ничего: ни стиля, ни содержания, ни знаний, ни образования, ни настроений, ни формальных течений — вообще никаких основ; и это продлится долго, до тех пор, пока что-нибудь не подвернется.

P. S. Хаос в душе и неумение писать — это еще не сюрреализм.

2. По сути, все, что мое поколение обсуждало, внутренне переживало, можно сказать "выстрадало", а можно сказать и "выдумало", — все это раньше сказал Ницше, он это сотворил, он нашел четкие формулировки, все дальнейшее — экзегеза. Его рискованная, стремительная, блистательная натура, его неуемный стиль, его самоотречение от всех идиллий, от всех общепринятых основ, его понятия интуитивной психологии, сущностного как мотива и психологии как диалектики — "Познание как аффект", — весь психоанализ, весь экзистенциализм, все это сделал он. С течением времени становится все яснее — это настоящий гигант послегётевской эпохи.

P. S. После Ницше — Шпенглер. И не из-за своего закатного прозрения, он ввел понятие морфологии культуры, которое не просто остроумно — это далеко идущая упорядочивающая мысль в запутанном историческом мире.

3. Науке можно не доверять, ее можно высмеивать, и генетику и палеонтологию, но наука — подзорная труба, взгляните в нее, и вам станет ясно: существует бесконечная череда животных и человеческих форм — до нас, помимо нас, после нас. Эта вот широта, этот климат, эти одежды, эти растения на жалком клочке земли и эти наши ценности, настроения, стремления, наши идеалы, наша философия — что со всем этим будет? Нам явно недостает трактата о домашнем характере аксиом, о географии априори, о климатических обоснованиях такого количества праха.

4. Отчуждение от природы. Наша среда обитания не природа — комната; даже обычный воздух нам чужд. Цветущий кустик на бульваре — вполне достаточно; порой взгляд на небо, серое низкое небо, в котором летит какая-то птица, не очень красивая, скажем скворец, — и вот уже наступила ночь. Мы — обитатели больших городов, и только здесь, в City, нынче собираются и поют Музы.

5. В начале было Слово. Меня это всегда удивляло, и я много думал об этом. В начале — тотемизм и анимизм, пещерная жизнь, звери, волшебные маски и весь мир, заключенный в одной поляне, — евреи были, должно быть, очень стары к тому времени, когда это сказали, и очень много знали. В самом деле, мир сконцентрирован в слове, и нет ничего более предательского, чем слово. Мне всегда было необычайно интересно наблюдать, как ученые-специалисты, даже и глубокие философы, неожиданно натыкались на свободное слово, к которому нельзя применить никаких формул, систем или исторически обусловленных наблю-

дений, никаких комментариев: Образ. Что тут начиналось! Полный провал! Стихоплет, сверчок, жалкий писака. В начале, в середине и в конце — слово.

P. S. Сегодня, в сущности, есть только две словесные трансценденции: математические теоремы и слово как искусство. Все остальное — профессиональный жаргон, "пару пива".

6. Сколько хороших дебютов так и осталось дебютами. Поначалу большой авангардист и действительно одаренный поэт — а годам к сорока путешествует с семьей по Андалусии, подробно описывает бой быков или, по случаю побывав в Индии, открывает для себя местное "самопознание". По моим наблюдениям, ранняя слава, самоутверждение за счет критиков и определенного сорта поклонников — и все это в самом начале — действуют разрушительно. Только тот, кто сам себя разрушает, снова и снова отрекается от себя, идет все время вперед и только об этом думает, живет в постоянном напряжении, никому не позволяет навязать себе темы для писания, сам в себе находит опору для собственного творчества, — только тот, может быть, если сойдется многое другое и удастся выразить то, что дóлжно выразить и оставить потомкам, — только тот в конце концов, может быть, сумеет дойти до Геркулесовых столбов и продвинуться дальше — на длину дождевого червя, — если повезет.

7. Произведение возникает в замкнутом пространстве. То, что люди называют динамизмом, подразумевая под этим нечто революционное, прогрессивное, расширяющее границы, — все это принадлежит другим сферам бытия, все это только предпосылки, ибо искусство статично. Его содержание — равновесие между традицией и оригинальностью; его метод — соотнесение массы и точки опоры. Этим и объясняется сущностная близость всех произведений искусства в культуре в целом — от раннеегипетских скульптур до картин Пикассо, от гимнов Междуречья и еврейских псалмов до стихотворений Эзры Паунда. И это же обособляет искусство от других сфер человеческой деятельности — тезис, который следует подчеркнуть особо, значение этого тезиса просто нельзя переоценить для понимания дальнейшего.

А дальнейшее, собственно, возникло в результате интервью с одним господином с радио и одним господином из газеты. Оба спросили меня, что я могу сказать по поводу многочисленных критических откликов на мои новые книги. "Какие претензии к вам выдвигают критики и что вы, в свою очередь, можете на них ответить?" Прежде всего, ответил я, у меня вызывают восхищение мои критики, как те, что хвалят, так и те, что ругают, поскольку среди них практически нет ни одного, кто бы не ухватил верно сущность моего литературного метода, кто бы не почувствовал направление моего стиля и моих мнений. Отсюда я с удивлением заключаю, что мои внутренние устремления, которые я попытался выразить, довольно широко распространены сегодня в европейской литературе, а это значит, что в творческой сфере современного западного человека достигнуты сегодня определенные условия конденсации, которые вскоре затронут и людей, отстоящих от творческой сферы довольно далеко, и произведут в их сознании неожиданные существенные изменения.

Далее я снова прибегну к афористической форме; я отдаю себе отчет в резкости формулировок, также замечу, что кое-что повторяет некото-

рые места "Жизненного пути интеллектуала", написанного в 1934 году. А что касается резкости — по-моему, в области духа от дряблости куда больше несчастий, чем от жесткости.

1. Фундаментальный кризис

Одна мысль противоречит другой: марксистская — западноевропейской, фаустианская — средиземноморской, коллективизм — изоляционизму, биология — гуманитарным наукам, критицизм — эмпиризму, социализм — аристократизму; все эти противоречия могут выйти вовне, вызвать напряжения и потрясения, но все это один и тот же бульон — из диалектики, рационализма и идеологии. Мысли, которые сегодня на коне, завтра будут повержены, идеи, которые сегодня созвучны времени, на следующем повороте окажутся пустыми и безжизненными, некоторые мотивы звучат на протяжении столетий и даже тысячелетий, как античность или христианство, но и они принадлежат все тому же диалектическому — наступательно-оборонительному — кругу идей. Ощущение всеобщей относительности, всеобщего релятивизма западной мысли, страсть к определенности и абсолюту суть характерные черты культуры. Ощущение это уже распространилось довольно широко, можно сказать даже, стало популярным. Повсюду вы можете встретить общества, которые дискутируют на эту тему, которые финансируются муниципальными властями; академии плодятся как грибы после дождя; всевозможные клубы дебатируют о всевозможных проблемах, повсюду прямо-таки кроличья толкотня анализов и прогнозов, душевных излияний и исповедей, даже и об исчерпанности и загнивании целой части света — и можно ли после этого серьезно относиться к человеку, когда он заявляет: все хорошо, все в порядке, так, наверное, все и должно быть, только, пожалуйста, все это без меня, эту горстку дней моих, без меня, ибо мне известна одна сфера, которая существует безо всей этой сумасшедшей активности, сфера, которая всегда неподвижна, всегда замкнута, которая не будет уничтожена никогда: это сфера эстетики.

2. Артистизм

Уславливаясь о встрече, вы обещали, что не станете задавать вопрос: являюсь ли я нигилистом? На самом деле вопрос этот абсолютно бессодержательный, все равно что спросить, занимаюсь ли я фигурным катанием, собираю ли марки. Все дело в том, что́ делает человек из своего нигилизма. Фигуристки Соня Хени и Макси Гербер, исполняющие pas des patineurs[1], — золотая Суахили в филателии — выражение в духовном мире — только самое чистое в своем роде, только то, что приближается к совершенству. Стиль выше истины, он несет в себе доказательство существования. Форма: в ней есть протяженность, есть длительность. "Мысль — дитя нужды", — говорил Шиллер, у которого мы замечаем вполне осознанный переход от морализма к эстетике, для него мысль всегда была сродни целесообразности и удовлетворению потребностей, кистеню и топору, она для него — природа; Новалис пошел дальше: "Искусство — это прогрессивная антропология".

Эпохи завершаются искусством, и род человеческий завершится

1. Здесь: элемент в фигурном катании (*франц.*).

искусством. Вначале — пресмыкающиеся и ящеры, затем биологический вид с искусством. Любовь и голод — палеонтология; иерархия и разделение труда есть и у насекомых; наш вид, мы — творили богов и искусство, а потом только искусство. Поздний мир на фундаменте низших ступеней и ранних форм бытия — мир всеобщей зрелости. Все вещи меняют облик, все понятия и категории в мгновение ока наполняются иным содержанием, когда на них смотрят с точки зрения искусства, когда оно их определяет, когда они перед ним предстают. Новое содержание — новое выражение. От Гомера до Гёте — час, от Гёте до сегодняшнего дня — сутки, двадцать четыре часа непрерывных изменений, превращений, опасностей, противостоять которым может только тот, кто занимается своим законным делом. Сегодня часто раздаются пожелания дать "истинный" образ Гёте, которого, мол, пока так и нет; дóлжно понять: все истинное находится в потоке, где все взвихрено, изменчиво; довольно и того, что осталось на пустынном берегу, — ростки и зародыши — это и есть искусство.

3. Религия и смирение

Наш континент захлестнула новая волна благочестия. Дёблин, некогда великий авангардист и Франц Биберкопф с Александерплац[1], стал ревностным католи́ком и проповедует принцип "Ora et labora"[2], Тойнби обратился к христианству, Элиот тоже, Юнгер сделался христианским гуманистом — в ход пошел стратегический золотой запас, прелестное содержание, но стиль, увы, вял, и все это сильно напоминает конформизм. У меня нет этого золотого запаса, и я на все смотрю чисто эстетически. "Бог — плохой стилистический принцип", — некогда писал я, и еще: "Боги в первой строке — нечто иное, чем боги в последней" — ибо сам ли я пытаюсь выразить свою внутреннюю сущность, или то делает за меня кто-то иной — и в том и в другом случае это невозможно. Если спросите, верю ли я, отвечу: вера лежит за пределами субстанции, с которой я работаю, она вне пределов моих обязательств и моих задач; в чем эти задачи и обязательства, мне известно не более, чем было известно всегда. Молитва и смирение — это заносчиво и претенциозно, это притязание на то, что я действительно ЕСТЬ нечто, тогда как я склонен считать, что на самом деле есть только НЕЧТО, проходящее через меня. Одна католическая газета, некогда причислявшая меня к знаменитостям, в конце концов написала следующее: оставим этого человека, он смеется над Богом и презирает религию. Какое заблуждение! Я презираю людей, которые не могут сами с собой разобраться и призывают на помощь иные инстанции, о которых сами ничего толком сказать не могут, — тени Ничто, турусы на колесах, лавровишневые капли; топчутся на месте, и грош цена их доброте и их величайшей надежде поскорее очутиться в могиле, чтобы только не видеть этого Верховного Существа. А это Верховное Существо — отдельная тема! Стоит задуматься, что́ оно со всеми нами наделало; во всяком случае, меня оно не настолько одарило, чтобы я мог во всем разобраться, слишком много скрыло оно того, что для меня важно, мне пришлось много пережить,

1. Франц Биберкопф — герой модернистского романа А. Дёблина "Берлин, Александерплац" (1929); выйдя из тюрьмы, он пытается стать "порядочным человеком", но вновь совершает убийство.
2. "Молись и трудись" (*лат.*).

и в конце приходится быть столь же изворотливым, что и в начале. Вывод: до всего мне пришлось доходить самому, ценой собственных жертв, изучая самого себя, через феноменологию собственного Я; и что же прикажете — вдруг в самый решительный момент стать смиренным и сказать, что, мол, да, в конце концов все это было задумано не так уж и плохо, — а чего же тогда будет стоить весь наш индивидуализм, которым только и держится так называемый Запад, когда он вдруг сам от себя отречется, и все отбросит, и со всем смирится; смирение как побочный мотив, как настроение, как средство, чтобы открыть шлюзы и дать простор новому течению, — это да, но как моральная и религиозная низкая облачность оно лишь привносит стилистическую путаницу. Верховное Существо — ему следовало бы пояснее разобраться в собственной ситуации, прежде чем предъявлять претензии к точным искусствам.

4. Принципы искусства

не могут быть распространены на политику и общественную жизнь. Это провинциальная недоразвитость художника — ожидать, что общественность им заинтересуется, поддержит его материально, отметит его шестидесятилетний юбилей банкетами и букетами. Он всю жизнь сражался сам с собой, так за что, скажите, его благодарить? Подумайте и о том, сколько увертюр из "Эгмонта", сколько "Леонор" отгремело над записными политиками на многочисленных торжественных церемониях и открытиях, разве от этого политики изменились? Я согласен с Моне: "Il faut décourager les arts"[1]; есть еще парафраза Джеймса Джойса из Талмуда: "Мы, евреи, как оливы, — даем самое лучшее, когда нас давят, когда хрустим и гибнем под прессом наших недругов" — по его мнению, это вполне применимо и к художникам. Здравая мысль! Пора наконец различать художника и культуртрегера, я уже писал об этом лет пятнадцать назад. Художник, как правило, асоциален, живет исключительно внутренней жизнью, он абсолютно не заинтересован в распространении, разъяснении и улучшении чего бы то ни было, он абсолютно не заинтересован в культуре. Он холоден, над материалом надо работать с холодной головой, идеи, чувства — все это по-человечески могут себе позволить другие, он должен воспринимать мир холодно и жестко, структурировать зыбкость. По большей части он предельно трезв и иным просто быть не может, идеализм — удел культуртрегеров и специалистов-ведов. Так я писал пятнадцать лет назад, в будущем, думаю, мало что изменится.

5. Стиль будущего

будет роботизированным, в основном — искусством монтажа. Прежний человек кончился — все выхолощено, развалено, ковыляет на протезах. Эта суета в романах, которая все длится сама собою и создает видимость происходящего, с этими старомодными судьбами и новомодными туземными общественными движениями, — все это глупо, никуда не годится и ни к чему не ведет; человек запнулся, остановился, он работает — художник, он должен сделать следующий шаг, обобщить, сгруппи-

1. "Надо дегероизировать искусства" (*франц.*).

ровать посконно-дедовски с помощью пространственно-временных категорий, физически и физиологически через трансцендентирующую перегруппировку сил на главном направлении, через самоограничение, через введение новых точек отсчета — только так он может выйти за пределы пустых реляций тотальной амбивалентности. Такая техника сама по себе проблема, которая нуждается в тщательном исследовании.

Одна дама, большая умница, написала недавно мне о картине Гогена в музее "Фолькванг"[1], настоящем старом замке со рвом и подъемным мостом в Рурской долине, вокруг которого, как она отметила, царит атмосфера Jardin-sous-le-pluie[2]: "Островитянка сама для себя, вся, вплоть до грациозно вывернутого веера, — воплощение живописного становления, и только глаза грезят". Именно это "воплощение живописного становления" и есть главное; нужно искать то, что относится к сути, и только это брать. Если задуматься, неизбежно приходишь к выводу: нас куда больше волнует церебральная сфера, нежели сексуальная или физиологическая. Нас занимают мысли, они жгут. Мы снова и снова возвращаемся к ним — на работе, в магазине; мы просыпаемся поутру, и они снова здесь. Неизвестно, всегда ли так было, но сегодня дело обстоит именно так.

Человек должен быть заново воссоздан из оборотов речи, пословиц, бессмысленного набора черт, изощренно, искусно, на самой широкой основе — ЧЕЛОВЕК В КАВЫЧКАХ. Он будет из формальных трюков, повторений и переплетений слов и мотивов: неожиданная мысль — озарение — вбивается как гвоздь — на нем все держится. Происхождение, жизненный путь — бессмыслица! Все равно все вышли из Ютеборга или Кёнигсберга и закончили свои дни в каком-нибудь Шварцвальде. Надо аранжировать мысли, приправить географией, сплести кокон из грез и снова распустить. Только не приплетать ничего беллетристически-психологического — все забито, некуда, не пройдет. Все остается открытым. Антисинтетичным. Замершим перед необъединяемым. Нужен высокий дух и крепкая хватка, иначе игра и детство. Нужно трагическое ощущение высочайшего накала, иначе не убедительно. И если человек к этому готов, первый стих может быть из железнодорожного справочника, второй — из Псалтири, третий — солдатской шуткой, а все вместе тем не менее будет Стихотворением. А нет — супруги могут сколько угодно воспевать в рифму своих жен, матери — сыновей, а внучатые племянники — любимых бабушек в креслах или на вечернем кладбище — скоро и самому последнему дилетанту станет ясно, что это больше уже не лирика. (Имена: Перс, Оден, Лотреамон, Palinurus[3], Ленгстон Хьюз, Генри Миллер, Элио Витторини, Маяковский (без большевизма), несколько молодых немцев из Фрайбургского круга.)

Я бы назвал этот стиль — Фаза II. Фаза II экспрессионизма, а заодно и постантичного человека.

"Интересно" — вот важнейшее слово! "Интересно" — это не имеет ничего общего с мутноватой, до боли знакомой "глубиной" и столь милой немецкому сердцу "верностью традициям", интерес не имеет ничего общего и с занимательностью, давайте переведем буквально: интересно— interesse — inter-esse: "меж бытия", в промежутке, между его темной и сияющей сторонами — "Олимп Иллюзии". Ницше.

1. Музей изобразительных искусств в Эссене.
2. "Сад под дождем" (*франц.*).
3. Palinurus — псевдоним английского писателя Кирилла Вернона Конноли (р. 1903).

Вечное, так называемое вневременное, все это изъезжено вдоль и поперек, все это очевидно, а вот фенотипическое — над этим действительно до́лжно работать. Бог есть форма. Генотипа нам никогда не понять, но фенотип как образ вполне возможно разработать. Из моей теории следует: делай нечто поразительное, над чем сам же потом станешь смеяться. ("Я называю плохой мудростью ту, которая никогда не была осмеяна". Ницше). До́лжно снова и снова возноситься над собой, и тогда — взлетишь. "Шарлатан" — не самое бранное слово, есть и похуже: "исторический" и "пошлый".

Ну а чествования, цветы на столе, признание? У меня ничего этого нет. Есть усталость, меланхолия, вспышки работоспособности, медлительность, нерешительность, волшебство — это помогает выстоять еще один час, а признание — что мне с ним делать? Когда пропишешь четыре десятка лет, а потом прочтешь какое-нибудь обобщающее историко-литературное исследование, за голову хватаешься. Да что же это такое? Откуда тут все эти цитаты? Из моих стихов? Быть не может! И если мне завтра скажут, что я ограбил табачную фабрику и всю жизнь торговал сигаретами из-под полы, — что ж, придется поверить и этому.

6. Общество

Общественной потребности думать так, как думаю я, нет, хотя, с другой стороны, нет и законов, которые бы это воспрещали. Все это — индивидуальные попытки выразить некие внутренние устремления, которые в известном смысле являются и устремлениями современности. А если при этом и вкрадываются инородные включения — мины замедленного действия, от которых когда-нибудь посылки с подарками к грядущему Рождеству взлетят на воздух, — что ж, и такое возможно, да только это меня не касается. Я не заглядываю так далеко в будущее, мои мысли заняты и ограничены вполне узкими рамками одного поколения, максимум тремя десятками лет. Никаких универсальных прозрений! Поэтому я снова и снова повторяю: "Камень, Стих, Флейта", то есть ограниченная и замкнутая сфера. Искусство — оно самодостаточно, у него нет идеи, оно целокупно. Вот, скажем, пишет Эгон Виетта в "Вельт": "Таким образом, с Г[отфридом] Б[енном] мы снова остаемся при слабостях Оскара Уайльда и эстетики Малларме". Ну прежде всего, когда к направлению принадлежат имена такой величины, это направление чего-нибудь да значит. Далее Виетта выдвигает в качестве возражения мысль Хайдеггера о том, что "и стиль — всего лишь преходящая форма исторического бытия". Во-первых, это слишком общо, ответил бы я, а во-вторых, если что и остается непреходящим в ощущении мира, так это как раз культурные формации, которых Шпенглер насчитывал восемь, а Тойнби — двадцать три. И потом, опять это стращание историей! Я не имею с этой историей ничего общего, сове Минервы нет места в моем кабинете — мне ни к чему перспективы и упования на некий взаимосвязанный духовный контекст, плодотворные влияния, ответвления, интеграцию или воскресение, я хожу в своем кругу, здесь — мойра, я не лезу в историю, я выполняю собственные задачи и обязательства, может, порой слишком рьяно, но мой круг замкнут во мне, я не выглядываю наружу, не озираюсь по сторонам, не позволяю себе таких поблажек, я работаю, ищу слово, описываю собственную морфологию, я выражаю себя. Сорок лет, сорок лет под напором одного стремления,

в сущности которого я тщетно пытаюсь разобраться. Но обратите внимание, откуда-то же сегодня берутся в самых разных уголках земли настроения умов, созвучные Фазе II.

И в заключение один вопрос: можно ли нашу духовную ситуацию оздоровить с помощью возврата назад и оглядки на прошлое? Лично я в реставрацию не верю. Духовные сущности необратимы, они идут своим путем до конца, до конца ночи, они обладают энергией, которая превосходит энергию физического мира. Поэтому мысли дóлжно формулировать без оглядки, снова и снова рубить сук, на котором сидишь, снова и снова кромсать на куски скатерть, покрывающую стол, и тогда на тебя станут нападать — и те, кому жаль дерева с обрезанными сучьями, и те, кому жаль украшенного скатертью стола, — они станут упрекать тебя; так образуется своего рода единство, из него произойдет будущее, в котором о тебе будут судить только по твоим высказываниям. Помни: невысказанное не существует, обдумывай все спокойно, прежде чем сказать, — ты наживешь врагов, будешь одинок, ореховая скорлупка в море, скорлупка, из которой разносится полущебет-полустрекот, невнятный, будешь стучать зубами от холода, с ужасом содрогаться от зрелища самого себя, только не подавай сигнал SOS, — во-первых, все равно никто не услышит, а во-вторых, после таких странствий конец придет как желанное успокоение.

VIII. Е*ще немного личного*

Внешне жизнь моя сложилась по-своему счастливо. Я окончил гуманитарную гимназию, и тем не менее, несмотря на финансовые сложности и обилие братьев и сестер, у которых тоже были свои права, я все же изучал то, к чему имел склонность: медицину и естественные науки, то есть дисциплины, которые в известном смысле определяли сознание минувшего столетия. И это было в те времена, когда еще учили по-настоящему: не спеша, с расстановкой, не жалея времени на "смежные предметы". Многое, что случилось потом со мной, — следствие не столько особенностей характера, сколько моей индифферентности. Я не состоял ни в каких партиях или ложах, хотя в некоторые периоды жизни находился с ними в некоем подобии отношений, что оказывалось иногда полезным. Из обеих войн каким-то чудом вышел целым и невредимым, избежал и арестов, и партизан, и комиссаров. Как врач побывал в весьма щекотливых ситуациях, но и из них удалось выпутаться благополучно. Дело в том, что каждому врачу, даже самому фешенебельному и законопослушному, каковым, увы, я себя никогда не имел возможности числить, приходится иногда оказываться в весьма затруднительных положениях: с одной стороны, интересы пациента и его близких, с другой — строгие установления и законы, которые при несчастном исходе грозят серьезными неприятностями. Случалось и такое: в бытность свою судовым врачом я отказался от большого похода на парусном судне во Владивосток — моя подверженность морской болезни даже и на обычных пассажирских судах была столь сильной и непобедимой, что я испугался; тот парусник никогда не вернулся назад. У меня крепкое здоровье, и как врач я всегда худо-бедно мог заработать себе на жизнь.

Однажды, году в тридцатом, пришел ко мне пациент, которому я

обязан самым чудесным путешествием в своей жизни. Он торговал предметами искусства, владел знаменитой галереей; на его роскошном "хорхе" мы проехали из Берлина до Испании – через Париж и Биарриц, исколесили Южную Францию, все Пиренеи. Это была деловая поездка. Мы посещали провинциальные городки и старинные крепости, а иногда даже и аристократические замки, и везде пели одну песню: "Nous cherchons des antiquités surtout des primitifs et des tableaux de grand valeur"[1]. Если мой знакомый замечал нечто стоящее – а взгляд у него был наметан, и за свою карьеру он сделал несколько по-настоящему ценных находок, – он как ни в чем не бывало проходил мимо, шел дальше, критиковал то и это, вертел в руках, ставил на место и, наконец, уже в дверях, как бы извиняясь, говорил: мы отняли у вас столько времени, было бы неловко уйти просто так, с пустыми руками, отнесите, пожалуйста, в мою машину вот это, – и, как я уже говорил, будучи настоящим экспертом, он привез в Берлин несколько подлинных раритетов. Путешествие, которое я бы сам никогда не смог себе позволить, незабываемые дни: Атлантика, Монтес-Мальдитос, Средиземноморье.

В общении я не ас, на торжественные мероприятия не ходок, и не то чтобы из какого-то принципа, скорее по причине психологического свойства, которая всю жизнь так меня мучила, что не могу о ней не упомянуть: страшное напряжение, внешнее и внутреннее, интеллектуальная скованность, вызванная тем, что можно бы назвать сопротивлением к выражению; всю жизнь я пытался преодолеть этот недостаток, но по большей части безуспешно. А потому жил в относительно замкнутом мире, знакомых у меня было немного; но вот в 1932 году появился в моей жизни господин Ольце из Бремена; виделись мы с ним редко, в доме у него я вообще ни разу не был, в отношении "личной жизни" мы придерживались неписаных, но строгих правил, однако его послания тормошили и будили меня, а в известные времена проливали бальзам на раны. Поводом для его первого визита послужила моя статья "Гёте и естественные науки", напечатанная в ставшем впоследствии знаменитым апрельском номере "Нойе рундшау" за 1932 год, – в старинном патрицианском семействе господина Ольце имя Гёте чтили многие поколения. С этого визита началась наша дружба и переписка, принимавшая все более обширные размеры – ныне это около двух тысяч писем; многое из того, что появилось в моих последних книгах, зарождалось именно в этих эпистолярных беседах о "высоких материях", к которым господин Ольце, как и я, имеет склонность. В благодарность я посвятил ему первую свою книгу, вышедшую после долгого перерыва с 1936 года, – "Три старика". И еще: на склоне лет, после несчастья, утрат и горя, я встретил женщину, которая принадлежит к другому поколению, младшему; она стала моей третьей женой, и теперь, благодаря ее нежным и мудрым рукам, в моей жизни появились размеренный ход, и порядок, и пестрые астры в вазах.

1. **Нас интересует антиквариат**, особенно примитивисты и ценные картины (*франц.*).

Заключение

Минула первая половина века, а вместе с ней и четыре десятка лет, на протяжении которых я работал в сфере духа. И вот оглядываешься назад, задумываешься — бывают дни, когда не чувствуешь ничего, кроме усталости, апатии, тупости. Ты был в лучшем случае профессионалом, чудаком, типичным артистом на характерные роли — больших ролей, шумных аншлагов, увы, не сподобился. Шестьдесят лет беспризорной, разбитой жизни — и постоянное стремление втиснуться в несколько предложений, в пару стихотворных строчек — и если это все, что у тебя есть, очевидно, остается одно — не стареть, по крайней мере не стареть настолько, чтобы бестрепетно взирать на свой собственный труп или криво ухмыляться над ним. Такое вот настроение. Тут приходит письмо от друга Ольце: вы читали последний номер "Меркур"? Там есть три замечательные вещи. Номер этот я в свое время получил, но отложил в сторону, даже не пролистал: столько книг, зачем читать — только множить и усугублять сомнения и страдания. Беру "Меркур", читаю. Вещи действительно стоящие. Все глубоко и честно, и о том же, что самого волновало всю жизнь. Формулировки, которые ведут далеко, дух, который не только стонет и хнычет, но и схватывает суть. Проницательный взгляд на творчество, духовный опыт, притом опыт истинный, изнутри, такой дается только долгой работой и жесткой самодисциплиной. И еще одна статья о французском прозаике; цитируют его скупо, но в этих нескольких фразах — итог подлинных внутренних переживаний, фразы крепкие, емкие, фразы транса, но в то же время и реальности. Так что духовный мир жив, и это неоспоримо, он тих и скрытен, но всеобъемлющ и фундаментален, у него есть свой закон, и этот закон передается от одного к другому — дальше. И апатии как не бывало. Сфера культуры творит великих людей, Хранителей своего родного мира. Этот мир культуры, поносимый мною столь часто, замкнут на свое "нечто" — и оно бесконечно, и отсюда величие. Есть много такого, что почти непереносимо, о чем мы не знаем, причин для сомнений и жалоб — легион. Но так и должно быть, и нашей задачей по-прежнему остается — наполнить этот наш час духовного мира, пока он длится, наполнить нашими человеческими образами, какими бы они ни были — закатными, горькими, монологичными или эклектичными, — такими, какие есть. О том непроницаемом положении духа в нашем мире, о той трезвой, лишенной эйфории позиции, которую нам следует занимать, сказано в моей повести "Пивная Вольф": "Ты ратуешь за царства, они несказанны, и там не бывает побед". О том же есть у меня и строфа в одном из стихотворений, она опять может показаться кому-то милитаристской или нигилистической, но это всего лишь попытка быть мужественным и серьезным:

и значит: в большом и малом
встречать безнадежный бой —
с мечом и открытым забралом
в час судьбы мировой.

Переводчик благодарит организацию Inter Nationes *за помощь в работе.*

Эрнест Хемингуэй

Кредо человека

НИКТО не может показать миру, каков я есть, ярче, чем это смог сделать я сам. Никто не может утаить себя от собратьев, поскольку каждый поступок человека, каждый акт творчества говорит о его авторе. Я рассказываю людям все о себе в своих книгах.

О *работе писателя*

Мне кажется, с самого первого романа я знал, какова будет моя дальнейшая судьба. Никогда я ни минуты не сомневался, что являюсь пионером новой эпохи, и понимал, что в дальнейшем каждый мой шаг будет рассматриваться с огромным интересом. Поэтому я решил дать потомству правдивый отчет обо всех моих поступках и мыслях.

Я ищу то, что не лежит на поверхности событий и не проходит с течением времени. Но моя цель — показать человеческую жизнь такой, какова она есть, не сгущая красок и ничего не приукрашивая. Я не отношу себя к великим мыслителям и не сообщаю человечеству ничего сенсационного. Однако я на редкость хорошо знаю мир и показываю его с тысячи разных точек.

Мне никогда не приходилось выбирать героев, скорее герои выбирали меня. Как и многие мои предшественники, я восхищался людьми сильными, подчиняющими себе обстоятельства, подчиняющими себе окружающих. Эта тема захватила меня настолько, что я не могу посвятить себя ничему другому. Вдохновение может быть таким же страстным, как любовь.

Содержание моих романов почерпнуто из глубин сердца и личного опыта, но я не удовлетворяюсь тем, чтобы легко и беспечно выпускать их в свет. Мои писательские привычки просты: долгие периоды обдумывания, короткие периоды записывания.

Бóльшую часть работы я проделываю в уме. Я никогда не начинаю писать, пока мысли не придут в порядок. Записывая, я часто произношу вслух отрывки диалога: ухо — хороший цензор. Я никогда не доверяю фразу бумаге, пока не сочту, что построил ее так, что она будет понятна любому.

Все же я иногда думаю, что мое повествование скорее намекает, чем говорит прямо. Читатель должен зачастую прибегать к помощи воображения, иначе он упустит наиболее тонкие оттенки мысли.

Я пишу с большим трудом, без устали сокращая и переделывая. Мне очень дорого благополучие моих произведений. С бесконечной заботливостью я граню и шлифую их, пока они не становятся бриллиантами. То, что многие авторы спокойно сохранили бы в гораздо большем объеме, я превращаю в крохотную драгоценность.

Я обладаю редким даром — умением применять свои критические способности в работе над собственными произведениями, как если бы это был труд другого автора. Много раз я без колебаний отвергал то, что менее добросовестный писатель оставил бы, не усомнившись ни на йоту.

Писать нужно, только если это приносит радость. Я счастлив, когда

© В. Стоянов. Перевод, 2000

пишу, но я не всегда доволен тем, что́ бывает написано.

Я не верю, что мои книги когда-нибудь станут мне памятником — я пытаюсь честно оценивать себя. Мне удалось стать писателем скорее благодаря настойчивости, нежели таланту; я — самый яркий пример человека в литературе, всем обязанного только себе. Но я никогда не заслуживал того невероятного успеха и славы, которых был удостоен.

У меня было много восторженных поклонников, не прочитавших ни одной моей книги. Впрочем, общественное мнение всегда было склонно переоценивать мою значительность — и недооценивать значение.

Книги обладают бессмертием. Это самый прочный продукт человеческого труда. Храмы превращаются в руины, картины и статуи разрушаются, но книги продолжают существовать. Время не властно над великими мыслями, которые сегодня так же свежи, как и в ту пору, когда, много веков назад, они зародились в умах их авторов. То, что говорилось и думалось тогда, и сейчас столь же мощно воздействует на нас с печатной страницы. Годы лишь отсеяли и унесли плохое, так как только по-настоящему хорошее может долго жить в литературе.

Современному романисту, помимо умения трудиться упорно и терпеливо, необходимо редкое сочетание способностей. Он должен обладать трезвым суждением и точным чувством меры, чтобы выбрать нужное из огромной массы материала и расположить все это, соблюдая соподчинение частей и верную перспективу. Он должен иметь воображение, чтобы мысленно переноситься и в прошлое, и в настоящее и буквально жить в гуще того, что описывает. У него должна быть критическая интуиция, которая помогает обнаружить причины и следствия и верно судить о людях и событиях. Только когда писатель ясно представляет себе мотивы человеческих поступков, он действительно может начать писать хорошо.

Найдется очень мало романов, где есть все: борьба, преследование, жестокость, секс, сильные характеры, действие, которое развивается как наступление бронетанковой дивизии, а также уважение к собственным героям и к правде.

Чаще всего то, что пишется большинством авторов в поздние годы, — это просто новые вариации сцен, характеров и событий из ранних произведений, с той лишь разницей, что в них меньше искусства и меньше силы и огня.

Слишком многие современные романы не преподают никакого урока и не служат никакой цели, кроме возбуждения отвратительного животного страха, от которого кровь стынет в жилах. Я счастлив, если, читая новый роман неизвестного автора, обнаруживаю, что он не пропитан горечью и что это добрая, щедрая и умная книга.

Ценность и привлекательность хорошей книги состоит в совершенной простоте, откровенности и как бы нечаянном обнажении характеров и мотивов действий. Это простота языка и мысли. Она безыскусна и свободна от сознательного литературного усилия. Но писать с прямодушной простотой труднее, чем с нарочитой сложностью.

Стиль писателя должен быть непосредственным и личным, его образы богатыми и полнокровными, слова простыми и энергичными. Великие писатели обладают даром блестящей краткости, это упорные труженики, кропотливые ученые и искусные стилисты.

Как правило, преуспевающие авторы могут мастерски писать захватывающие рассказы почти ни о чем. Великий литературный грех современных писателей — склонность к украшательству и любовь к внешнему блеску. Я с опаской отношусь к литераторам, книги которых написаны с профессиональной виртуозностью.

Значительная часть того, что печатается сейчас, — это незрелые и малохудожественные произведения. Очень многие авторы пишут быстро и небрежно, редко правя текст, набросанный в пылу сочинительства. В результате погрешности стиля у таких писателей вопиющи. Диалоги ге-

роев неестественны, слова выбраны неверно, язык зачастую предельно неряшлив. По большей части их книги лишены единства сюжета и действия. Повествование по временам надоедливо затянуто и напоминает пустопорожнюю болтовню. Создается впечатление, что пишущие имеют смутное представление о том, что произойдет в следующей главе их романа. Иногда они без всякой видимой причины вставляют непонятные и совершенно ненужные сцены, нередко вводят новых действующих лиц в конце книги. И персонажи у подобных авторов либо чудовища, либо ангелы, изображенные с отвратительной тщательностью. Сплошь и рядом их поступки плохо мотивированы, сами же герои холодны и безжизненны, это просто символы, которыми пользуются для решения какой-то неопределенной, фантастической проблемы существования. Добавим сюда и кричаще неправдоподобные сюжеты. Мало что в таких книгах связано с реальным, живым миром.

О *труде и времени*

На море в штиль — всякий лоцман. Но солнце без туч и радость без горя — это вовсе не жизнь. К примеру, судьба и самых удачливых — спутанная пряжа. Утраты и обретения, сменяющие друг друга, поочередно печалят и радуют нас. Даже сама смерть делает жизнь более желанной. В трудные минуты жизни, в скорби и лишениях люди становятся самими собой.

Простая наблюдательность должна убедить нас, что если нам суждено преуспеть в каком-нибудь большом начинании, то обойтись без трудностей невозможно. И человеку следует быть благодарным судьбе за это. Неудачи закаляют нашу способность к сопротивлению. Характер рождается при крушении надежд. Только когда мы узнаем и испытаем себя и не раз убедимся, как во вред себе переоценивали собственные возможности, опыт научит нас правильно судить о своих сильных и слабых сторонах.

Сожалеть о своих ошибках до такой степени, чтобы не повторять их, — значит раскаиваться по-настоящему. Нет ничего благородного в том, чтобы быть выше кого-то другого. Истинное благородство проявляется тогда, когда человек становится выше своего прежнего «я».

В жизни и работе куда более важны не способности, а характер, не ум, а сердце, не гений, а самообладание, терпение и дисциплина, подчиненные трезвому суждению.

Мудрость — последний дар судьбы для зрелого ума. Человек, испытавший многое, начинает полагаться на время как на своего помощника. О времени говорят, что оно скрашивает прошлое и утешает, но оно еще и учит. Время — пища, которой питается опыт, почва, на которой произрастает мудрость. Оно может быть другом или врагом юности. Время стоит у изголовья старости утешителем или палачом, в зависимости от того, на пользу или во вред употребили его, как надо или как не надо прожита жизнь.

Жизнь бывает почти пройдена, прежде чем мы поймем, что это такое. Но ее нельзя измерить только длительностью. Дуб живет сотни лет — время, за которое сменяются многие поколения смертных. Но кто согласится обменять на целый век растительного существования один день полнокровной, осмысленной, целеустремленной жизни человека?

Вокруг нас так много прекрасного и глубоко волнующего, и мне немного стыдно, что я не ценил все это больше. Все же, оглядываясь назад, я могу сказать о себе в четырех словах: я прожил счастливую жизнь.

О *смерти и страхе*

«Старик и море» — книга, которой я хотел увенчать труд всей жизни. Работать над ней было трудно. Ко мне подкрадывалась старость. Но немногие умирают от старости. Почти все умирают от разочарования, чрезмерной умственной или физической работы, тяжелых переживаний, несчастного случая. Человек — самое работоспособное из всех живых существ. Долгая жизнь часто лишает людей

оптимизма. Короткая жизнь лучше.

Едва ли найдется человек, хоть раз на протяжении своей жизни не испытавший боли сильнее той, которую обыкновенно испытывают умирающие. Известный врач как-то сказал мне, что муки смерти зачастую бывают слабее зубной боли.

Каждому суждено быть воином, и каждому суждено умереть, но лишь трусы умирают зря. Я всегда верил, что первейший долг мужчины — преодоление страха. Ничто не деморализует человека больше, чем малодушие и боязнь опасности. Легкий путь они делают трудным, трудный — непроходимым. Люди часто испытывают ненужный страх, боясь узнать все до конца. В боязни обнаружить факт, который хуже самого страха, они страшатся чего-то, что куда хуже этого факта. Они живут с мыслью о том, что видели призрак, и страдают от этой мысли. Лучше знать худшее, чем изо дня в день жить в страхе перед худшим.

О *пороках*

Из всех отвратительных пороков, позорящих этот мир, наиболее пагубен, наиболее опасен, конечно, фанатизм. Никакой другой порок не может сравниться с его темным и злобным духом. Фанатизм проявляется в том, что человек постоянно и упрямо придерживается своего особого мнения. Тот, кто привычно критикует все, по существу, обструкционист. Ему чужд творческий и деловой подход к вещам. Личное суждение становится его владыкой, а гипертрофированное самомнение — единственным наставником. Для подобного извращенного сознания собственные взгляды тождественны абсолютной истине.

Честолюбие — источник всех пороков. Оно порождает лицемерие, возбуждает зависть, толкает на обман.

Добродетельность большинства людей уменьшается с ростом их богатства. Дайте человеку необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью — он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное — и он возжаждет безумств. Одарите его всем, чего он ни пожелает, — и он будет жаловаться, что его обманули и что он получил совсем не то, что хотел.

Придет время, и натура человека столкнется лицом к лицу с его судьбой — какой это будет взрыв!

О *целеустремленной жизни*

От колыбели и до могилы, в нужде и в радости познавая окружающий мир и самого себя, современный человек продирается сквозь бесконечные джунгли различных осложнений; все теперь не просто: и мысль, и действие, и наслаждение, и даже смерть.

Я всегда верил, что человек, начавший более серьезную внутреннюю жизнь, начинает и внешне жить проще. В век сумасбродств и излишеств я хотел бы показать миру, как малы наши истинные потребности.

Я скорее хотел бы иметь возможность оценить что-то, чего у меня нет, чем иметь что-либо, чего не могу оценить.

Меня поражает, как много драгоценных минут тратится на ненужное потакание собственным слабостям, на легкомысленные забавы, на пустые разговоры, на сомнительное и бесполезное веселье. Расширять круг своих интересов, не углубляя их, — значит просто обкрадывать себя.

Нужно действовать. Пассивное созерцание — опасное состояние ума. Нельзя тратить жизнь на пустые мечтания.

Любители держать пари и игроки обычно умирают в бедности. Но, даже когда в молодости кому-то повезло, конечный результат слишком часто бывает плачевным. Эти люди пренебрегают необходимостью настойчивого труда, игнорируют общепринятый опыт. Работа теряет свою привлекательность, и жизнь рушится, проходя в ожидании благоприятного случая, который никогда не представляется.

Люди всегда ищут короткие пути к счастью. Таких путей нет.

Человек становится намного мудрее, когда осознает, что хотеть чего-нибудь и добиваться этого — раз-

ные вещи. Характерная черта больших писателей — самое серьезное отношение к работе. Их жизнь зачастую трудна и безрадостна, но они никогда не сидят без дела. За что бы они ни брались, будь то религия, политика, образование или просто работа ради куска хлеба, они делают это с полной отдачей.

О *одиночестве*

Иногда я пишу целыми днями из-за того, что совсем один.

Но люди мужественные нередко употребляли вынужденное одиночество себе на пользу, чтобы завершить важнейшую работу. Именно в уединении рождается стремление к совершенству. В одиночестве душа беседует сама с собой, и часто ее энергия обретает действенность. Поэтому, если человек стремится стать счастливым, ему нужно оставлять больше времени для себя.

Но принесет ли одиночество пользу или вред, во многом зависит от темперамента, образования и личных качеств человека. Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием еще грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.

Однако писатель не должен бежать от мира, когда он не пишет.

Я всегда интересовался в первую очередь живыми людьми, мужчинами и женщинами, а не идеями. Кино, телевидение и театр нагоняют на меня скуку. И хотя одаренные рассказчики бывают плохими писателями, я предпочитаю беседовать с кем-либо или слушать кого-нибудь.

Пока вы способны многое дать, друзей у вас будет предостаточно. Когда же потребуется что-то вам, их количество поубавится; но те, кто останутся, будут настоящими друзьями.

О *любви*

Любовь — единый творец человека и мира. Любовь — это всеобщий инстинкт. Она умудряет любящих, обостряет их ум и освежает чувства, порождает окрыленность. Любовь живет и крепнет, отдавая. Ее призвание в том, чтобы делиться всем, чем она обладает, делиться самой любовью. Любовь подразумевает взаимность. Понять другого — чуть ли не самое большое счастье, а быть понятым другим — быть может, наиприятнейший и приносящий наибольшее удовлетворение дар любви. Любовь дает, не собираясь получить что-либо взамен. Любовь терпелива и честна даже в окружении буйства, обмана и бесчестья. Она не признает ни времени, ни пространства, ни внешних обстоятельств, разделяющих влюбленных. Любовь дарит радость, приносит согласие вместо разлада и трений, не судит по внешности. Любовь — высшая цель существования, воплощение братства, сущность высоких моральных принципов, основа содружества. Любовь ищет хорошее всюду и при всех обстоятельствах и находит это хорошее. Любовь с одного взгляда открывает для себя строение вселенной и характер человека. А религия — это любовь в действии.

О *настоящем и будущем*

Сегодняшний день — не тихая заводь истории, а гребень приливной волны, с неудержимой силой несущейся вперед. Великие времена не в прошлом, великие времена — это наша современность, еще более великие времена — будущее.

Возросшие возможности средств передвижения и избыток богатства ежегодно порождают потоки туристов, колесящих туда-сюда по планете. Каждый может поехать куда угодно, и весьма вероятно, что он возвратится обратно более достойным человеком, с широкими взглядами и менее выраженной антипатией к своим собратьям, а также с пониманием той истины, что его собственное благосостояние неразрывно связано со всем родом, к которому он принадлежит. Хотя и слабо, но сердце человечества начинает биться как одно целое.

Перевод с английского В. СТОЯНОВА

Мировая литература: круг мнений

1. С чего началось и как развивалось Ваше знакомство с зарубежной литературой?
2. Творчество каких авторов, какие книги оказались для Вас принципиально важными?
3. Главное, на Ваш взгляд, событие мировой литературы этого столетия.
4. Дутые величины и недооцененные авторы в зарубежной литературе XX века.
5. Обоснованны ли разговоры о кризисе мировой литературы?
6. Отдаете ли Вы предпочтение какой-либо определенной национальной культуре?
7. Как Вы оцениваете воздействие зарубежной культуры на современную отечественную?
8. Как влияет Ваша профессиональная деятельность на восприятие литературы?
9. Ваши открытия последних лет в области зарубежной литературы.
10. Назовите, пожалуйста, книги, без которых, на Ваш взгляд, немыслим круг чтения в детстве, отрочестве, юности.
11. Что бы Вы могли посоветовать журналу «Иностранная литература»?

Петр Вайль, писатель

1. В детстве другой литературы, кроме зарубежной, не было. Русскую не читали, а проходили. Иностранную находили сами. Отдельное спасибо Боккаччо, Мопассану, Золя, Васко Пратолини, какому-то забытому британцу с его романом "Поругание прекрасной страны" о росте самосознания шахтеров Уэльса — за половое воспитание. Во дворе про это сообщалось доходчивее, но в книжках — авторитетнее.

Что до собственно словесности, то первыми были Лондон и Купер. То есть (привет политкорректности) сугубо мужская литература. Не Лермонтов ли сказал, что Купер — мужчина, а Скотт — женщина? Так или иначе — это правда, и еще больше правда, когда речь идет о Лондоне. Тут главное — отношения человека с природой. Кто кого?

Став взрослым, я думал о том, почему меня в детстве не трогали сочинения о животных — свой Бианки или западный Сетон-Томпсон (писатель, кстати, превосходный). Вина тут (вина!) в первую очередь Лондона: у него человек проходит как хозяин, и выглядит это очень увлекательно, значит убедительно. Мне уже в юности разонравилось всякого рода шестидесятническое ницшеанство — Клондайк, Братская ГЭС, геологические песни, но книжки про зверюшек я так и не полюбил.

2. От Лондона — плавное перетекание к Хемингуэю. Вряд ли нужно долго пояснять этот переход: стиснутые зубы, никому не понятный (а главное, не нужный) подтекст, девчонок не берем (хоть и спим с ними походя). В общем: мужчина — царь зверей.

В пересмотре ценностей — разгадка отречения от Хемингуэя, что

Продолжение. Начало см.: 1998, № 7, 10; 1999, № 2, 6, 8.

почти обязательно для человека, продолжающего читать. Дело в переоценке не социально-исторической, а личностной, возрастной, когда наконец понимаешь, что не ты самый главный на земле.

Без решительного пересмотра остаются другие кумиры юности — Дюма и Гашек. Точнее, "Три мушкетера" и "Швейк" — потому что прочие сочинения этих писателей не стоя́т вровень. Вот книги, которые перечитываешь (или передумываешь) всю жизнь. О них не стыдно сказать, что по ним учишься: у Дюма — радости жизни, у Гашека — стойкости перед ее кошмаром. Что, при ближайшем рассмотрении, одно и то же. В том же ряду — О.Генри.

Позже началась и по сей день продолжается античность. Ничего смешнее Аристофана, тоньше Платона, мощнее Софокла, смелее Петрония, трогательнее Овидия за столетия не придумано. Разве что, суммируя эти эпитеты, — Шекспир.

3. Литературные события — длящиеся, а не сиюминутные — в XX веке были: только о беллетристике говоря, книги Пруста, того же Хемингуэя, Фолкнера, Камю, Набокова, Мисимы, Борхеса, Маркеса; посмертные явления Кафки, Томаса Вулфа.

Однако важнее всего в мировой словесности XX века — "Улисс". (Сходные, однако не обязательно равнозначные, происшествия в музыке и живописи — Шёнберг, Малевич.) Джойс глыбой своей великой книги придавил всяческую литературную фигуративность, включая собственных "Дублинцев" и "Портрет художника в юности". После "Улисса" писать жизнеподобно и повествовательно долго означало писать либо бездарно, либо провинциально. Кажется, только к концу века начинают выбираться из-под этой лавины. Масштаб "Улисса" в культуре — как Октябрьской революции в политике: событие отразилось на всем, нравится это или не нравится.

4. Недооцененных авторов нет. Дутых величин тоже. Все дело лишь во временной дистанции. Заслуженно ли вознесен Пессоа, станет понятно через сто лет. И также через сто лет будет ясно, верно ли отодвинут О.Генри.

Стоит особо сказать о справедливости мировой иерархии: на длинном временном отрезке и на широком читательском пространстве иерархия не может быть неверной. Мне никогда по-настоящему не нравился "Робинзон Крузо" (и я могу обосновать свое неприятие), но это минус мне, а не Дефо.

5. Кризис — естественное состояние культуры. Неплохо бы обратить внимание на ситуации, которые занимают художников. Вот Энди Уорхол в фильме "Сон" показывает час с лишним спящего человека — это бескризисное искусство. Все остальное — горе и беда; лишь это интересно. Автор истошно вопит не только в своих сочинениях, но и по поводу их существования в окружающем мире. И все вокруг вопят в унисон.

6. Я бы скорее провел черту по виду литературы, нежели по ее национальной принадлежности. А именно — non-fiction увлекательнее (не говоря о том, что терапевтичнее) беллетристики. Правда, эти жанры — в особенности эссе и мемуар — лучше всего разработаны в англоязычных литературах. Значит, таково и предпочтение.

7. Воздействие зарубежной литературы на современную отечественную огромно. Еще точнее — определяюще. Досадно, но почти все значительное из написанного в последние годы в России есть сознательный, подсознательный или случайный перепев западных образцов. Вот Венедикт Ерофеев ярко оригинален, но поэма "Москва—Петушки" датирована 69 годом.

8. В основном это связано с перечитыванием. Великих нужно непременно перечитывать — не ради них, а ради себя: сопоставляя впечатления разных лет, строишь кривую своего миропонимания, гораздо больше в себе разбираешься.

Сочиняя книжку "Гений места" (надеюсь, знакомую читателям "ИЛ"),

я заново прочитывал Аристофана, Флобера, Андерсена, Петрония, Байрона — поразительно захватывающее чувство! Когда приближаешься к ним вплотную и возникает ощущение "своего" — отношение меняется. Примерно как читать газетную статью соседа.

9. Открытия связаны в первую очередь с попытками прочтения классики в оригинале. Так, сам убеждаешься в величии Шекспира — неизмеримо более великого писателя, чем предлагает русский перевод. Шекспир — эротичнее, резче, смешнее, "сегодняшнее", чем нам казалось. То же самое — с поправкой на масштаб — с Байроном. И т. д. Увы, другими языками не владею, а то бы открытия, без сомнения, множились.

10. Боже упаси. Рекомендательный список нужен, когда диапазон насильственно ограничен. Теперь же, при свободном выборе, сочетание родительских благих намерений и произвола ребенка — достаточный критерий. Здравый смысл не подведет.

11. Ясно, что по инерции вкусы читателей российских толстых журналов тяготеют к романам. Никуда не денешься. Но увеличивать долю nonfiction — что и так делается — современно и необходимо.

Виктор Шендерович, литератор

1. В детстве, конечно, Майн Рид. Рыжий шеститомник перечитан многажды. В отрочестве — безо всякой системы, подряд: Жюль Верн, Бальзак, Марк Твен, Диккенс, Сэлинджер, Джером К. Джером, Мопассан (до сих пор считаю, что лучше "Пышки" вообще мало что написано в мировой литературе). В юности, как полагается, Хемингуэй. Потом были периоды сильного увлечения Латинской Америкой — Борхес, Кортасар. "Протяженность парков" мог рассказать близко к тексту. Маркес, конечно. Лет в девятнадцать во время летних каникул нарисовал генеалогическое дерево рода Буэндиа, чтобы было легче ориентироваться среди всех этих Аурелиано.

2. Новеллы Мопассана, романы Маркеса. Шекспир — из пяти главных трагедий в пастернаковском переводе лет пятнадцать назад был готов цитировать с любого места на спор. Генрих Бёлль: "не принимать причастие буйвола". Ежи Лец. Это то, что сформировало душу.

3. Творчество Кафки, предсказавшего все, что случится с человеком в этом столетии.

4. Насчет дутых величин — поименно высказываться не посмею, пальцами затыкают. Хотя при чтении некоторых культовых романов XX века часто вспоминал Юза Алешковского, назвавшего такую сильно интеллектуальную литературу "длинным путем глиста". Многого так и не смог осилить. Впрочем, памятуя о словах Фолкнера (советовавшего всем, кто с третьего раза ничего не понял в "Шуме и ярости", прочесть роман в четвертый раз), отнесу все эти неудачи к своей собственной неусидчивости и необразованности. Кстати, к самому Фолкнеру сказанное мной не относится вовсе — читал с наслаждением.

Из недооцененных, по крайней мере в России, — Борис Виан, особенно его короткие рассказы; Башевис Зингер, Шервуд Андерсон, написавший: "Каждый человек — Христос, и каждого мир распинает, рано или поздно". А вообще-то, что значит недооцененный? Кем? Зингер Нобелевскую премию получил, а публика читает Сидни Шелдона (в лучшем случае).

5. Не знаю, не слышал таких разговоров. К сожалению, я вообще давно не слышал разговоров о литературе...

6. Из национальных предпочтений — с большим отрывом — русская литература. Немножко жалко живущих снаружи: они никогда не поймут, что такое Гоголь или Платонов.

7. Я не литературовед, но по опыту советской литературы — не может не воздействовать. Впрочем, наверное, тут двустороннее движение. Если пишущий — не тот чукча из анекдота, который "не читатель, а писатель".

8. Влияет, конечно, сильно. Я смеюсь и сопереживаю, но одновременно кто-то во мне считает ходы и пытается понять, как *это* сделано.

9. В последние годы читаю мало, и открытия касаются в основном перечитываемого. Последнее сильнейшее впечатление в этом смысле — "Недобрый час" Маркеса.

10. Из переводного: "Винни-Пух", "Алиса в Стране чудес", "Пятнадцатилетний капитан", "Маленький оборвыш", "Том Сойер", "Оливер Твист"... И все-таки наверняка забыл еще что-то, без чего я был бы не я.

11. Чтобы его по-прежнему читали. Тем более что у меня есть кое-какие личные основания пристрастно относиться к "ИЛ": двадцать пять лет назад я мог стать автором журнала. Мне предложено было сделать перевод... с гондурасского.

Вскоре после демобилизации из Советской Армии я начал писать прозу. До того, всю юность, я по недоразумению числил себя поэтом — и мучил литконсультантов своими пробами пера. Пробы эти носили совершенно умозрительный характер: личный опыт у меня отсутствовал начисто.

За опытом я поехал в Забайкальский ордена Ленина Военный округ и приобрел его там, пожалуй, даже чересчур — но насчет дозировки меня никто не спрашивал.

Когда я оклемался, ни о какой поэзии речи уже не шло — то, что я начал писать по возвращении "на гражданку", в восемьдесят третьем, было в чистом виде ябедой на действительность. Мне казалось важным рассказать о том, что я увидел. Я был уверен, что, если рассказать правду, что-то в мире существенно изменится.

Кстати, я уверен в этом и сейчас.

Рассказ, о котором пойдет речь, был чуть ли не первым из написанных мною "армейских" рассказов. Сюжет его прост. Перед самым моим дембелем личный состав армейского хлебозавода, где я дотягивал свой срок, поймал крысу. Крыса была крайней в иерархии, она была младше последнего салаги, и возможность замучить ее безнаказанно до смерти объединила всех, включая офицера, начальника хлебозавода.

За время службы я, как и все остальные, навидался всякого, но в этом эпизоде сошлось слишком много.

Спустя полгода, вынув из забайкальского апреля тот памятный день, я по возможности отстраненно рассмотрел его. Я был молод, поэтому следует снисходительно отнестись к моему желанию увидеть рассказ напечатанным.

Кстати, я хочу этого до сих пор.

В журнале "Юность" я получил на "Крысу" рецензию, которую считаю лучшей из возможных. Звучала рецензия так: "Очень хорошо, но вопрос о публикации не встает". По молодости лет я попытался получить объяснение обороту "не встает" и получил в ответ, что если встанет, то мне же хуже.

Засим мне было объяснено, что такое ГлавПУР.

Аналогичные разговоры со мной разговаривали и в других редакциях, а в одной прямо предложили спрятать рассказ и никому его не показывать.

Но не убедили.

Тут я подхожу к самой сути истории.

В те годы я дружил с очаровательной девушкой. Ее звали Нора Киямова, она была переводчик с датского и норвежского. По дружбе и, признаться, симпатии я давал ей читать кое-что из того, что писал. Дал прочесть и "Крысу".

— Слушай, — сказала Нора. — Хочешь, я дам это почитать Ланиной?

Ланина! Редактор в "Иностранной литературе"! Еще бы я не хотел...

Через неделю Нора сказала:

— Зайди, она хочет тебя видеть.

Я зашел в кабинет и увидел сурового вида даму. Несколько секунд она внимательно разглядывала меня из-за горы папок и рукописей. Мне было двадцать пять лет, и я весь состоял из немереных амбиций и комплекса неполноценности.

— Я прочла ваш рассказ, — сказала Ланина. — Хороший рассказ. Вы хотите увидеть его напечатанным?

— Да, — сказал я.

— В нашем журнале, — уточнила Ланина и поглядела на меня еще внимательнее.

— Но...

— Это будет ваш перевод.

— Как перевод? — спросил я. — С какого?

— С испанского, — без колебаний определила Ланина. — Найдем какого-нибудь студента из Патриса Лумумбы... Где у нас хунта? — перебила она сама себя.

— Гватемала, — сказал я. — Чили. Гондурас.

— Вот, — обрадовалась Ланина. — Гондурас! Прекрасно! Переведем рассказ на испанский, оттуда обратно на русский. Солдаты гондурасской хунты затравили опоссума. Очень прогрессивный рассказ. Ваш авторизованный перевод.

Я бы дорого дал, чтобы посмотреть на выражение своего лица в тот момент.

— Ну? — спросила она. — Печатаем?

Я ответил, что никогда не бывал в Гондурасе. Я спросил, кто такой опоссум.

— Не все ли вам равно? — резонно поинтересовалась Ланина.

Я сказал, что мне не все равно. Не говоря уж об опоссуме. Я забрал рукопись и ушел.

...В последний раз "Крысу" не напечатали уже в 1992 году. Сказали: неактуально. Сказали: ведь в вашем рассказе речь идет об ужасах советской армии, а теперь у нас создается новая, российская!

Конечно, конечно...

Недавно я узнал, что Ланиной пять лет как нет на свете.

Я вспомнил ту нашу единственную встречу — и вдруг остро пожалел о своем авторизованном переводе с испанского. Сейчас я думаю: может быть, Ланина просто шутила? Говорят, это было в ее стиле — вот так, без единой улыбки...

Но то она, а я? Почему я не ударил тогда по гондурасской военщине? Какая разница, Иван или Хуан? Как я мог пройти мимо этой блестящей литературной игры?

...Когда я уходил из редакции, Ланина предложила мне не торопиться и подумать. Что я и сделал.

Сделал, правда, спустя шестнадцать лет — но ведь лучше поздно, чем никогда. И потом, ведь Татьяна Владимировна сама просила — не торопиться.

Хулио Сакраментес[1]

Опоссум

ГАРНИЗОННЫЕ склады находились в стороне от остальных казарм. Только через полкилометра ходьбы вдоль колючей проволоки по раскисшей дороге появлялись наконец металлические ворота воинской части, но в ту сторону никто из солдат не шел. Шли прямо через дорогу — к дыре, проделанной в проволоке еще при прежнем каудильо.

Шли и направо — там через пару минут проволока кончалась, дорога уходила в горы, к индейскому поселку, где жила, переходя от призыва к призыву, утеха солдатских самоволок толстая Хуанита.

Впрочем, речь не о ней.

Старшина Мендес допил чай и поднялся. Тут же поднялись и остальные и по одному вылезли из мазанки, служившей сразу складом маисовых лепе-

© В. Шендерович, 2000

1. Хулио Сакраментес — псевдоним. Свое имя молодой латиноамериканский автор вынужден скрывать, поскольку у власти в Гондурасе по-прежнему находится военщина.

шек, кухней и местом отдыха. Рядом с мазанкой, похлопывая на ветру парусиной, лежала новая палатка. Старую лейтенант Пенья приказал снять и сдать на списание до обеда.

Они вошли внутрь. Прожженный верх подпирали пыльные столбы света. Палатка стояла тут много лет.

— Можно? — спросил Глиста (когда-то мама назвала его Диего, но в армии имя не прижилось).

— Мочи, — сказал старшина Мендес.

Через пару минут, выбитая сержантской ногой, упала последняя штанга, и палатка тяжело легла на землю.

— Л-ловко мы ее! — Рядовой Рамирес попытался улыбнуться всем сразу, но у него не получилось. "Деды" во главе с Эрреро на улыбку не ответили.

— Вперед давай, — выразил общую старослужащую мысль Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов. — Разговоры. Терпеть ненавижу.

Через полчаса палатка уже лежала за складом, готовая к списанию На ее месте дожидались своей очереди гнилые доски настила и баки из-под воды.

— Эрреро, — бросил старшина Мендес уходя. — Рули тут, и чтобы к обеду было чисто.

Он скрылся за занавеской, спасаясь от москитов, и лег, укрывшись чьей-то рубахой. Прикрыв веки, Мендес думал о том, что до дембеля осталось никак не больше месяца; что полковник Кобос обещал отпустить "стариков" сразу после приказа и теперь главное, чтобы этот штабной капитанишка Франсиско Нуньес не сунул палки в колеса. С Нуньесом он был на ножах еще с ноября: на светлый праздник Гондурасской революции штабист заказал себе филе тунца, а Мендес, при том складе сидевший, ему не дал. Не из принципа не дал, а просто — не было уже в природе того тунца: до Нуньеса на складе рыбачили гарнизонные прапорщики...

Между тем у палатки что-то происходило. Приподнявшись и отодвинув занавеску, старшина увидел, как хлопает себя по ляжкам Глиста, как застыл с доской в руках Рамирес. Невдалеке сидел на корточках огромный даже на корточках Хосе Эскалон, а рядом гоготал маленький Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов.

— Давай сюда! — Лопес смеялся, и лицо его светилось радостью бытия. — Скажи Кармальо — у нас на обед мясо будет!

Кармальо был поваром — он тер в палатке маис и, услышав снаружи свое имя, привычно сжался, ожидая унижения. Но было не до него.

Влажная земля под настилом была источена мышами, и тут же зияла огромная нора. Рамирес отложил доску и тоже присел рядом.

— Опоссум, — определил Хосе Эскалон.

Личный состав собрался на военный совет. Старшина Мендес обулся и подошел поучаствовать.

Район предстоящих действий подвергся разведке палкой, но до зверька добраться не удалось.

— М-может, нет его там? — с тревогой в голосе спросил рядовой Рамирес, пытаясь передать свою преданность всем сразу.

— Куда на хер денется, — отрезал мрачный Эрреро.

Помолчали. Глиста поднял вверх грязный палец:

— Я придумал!

Лопес не поверил и посмотрел на Глисту как бы свысока. Глиста сиял.

— Надо залить его водой!

Эрреро просветлел, старшина Мендес самолично похлопал Глисту по плечу, а Лопес восхищенно выругался. Городской мат звучал в его индейских устах заклинанием: смысла произносимого Лопес не понимал, как научили, так и говорил.

Рамирес побежал за водой, следом заторопился Глиста.

Из-под ящика выскочила мышка, заметалась между сапог пинг-понговым шариком и была затоптана. В этот момент на территорию гарнизона хлебозавода вступил лейтенант Пенья. Лицо его, раз и навсегда сложившись в брезгливую гримасу, более ничего с тех пор не выражало.

— Вот, господин лейтенант. Опоссум, — уточнил старшина. Круг раздвинулся, и лейтенант Пенья присел на корточки перед норой. Посидев так с полминуты, он оглядел присутствующих, и стало ясно, что против опоссума теперь не только количество, но и качество.

— Несите воду, — приказал лейтенант. Хосе Эскалон хмыкнул, потому что из-за угла уже показалась нескладная фигура Рамиреса. Руку его оттягивало ведро.

Лицо лейтенанта Пеньи сделалось еще брезгливее.

— Быстрее давай, Рамирес гребаный! — крикнул Лопес. Лейтенанта здесь никто давно не стеснялся. Виновато улыбаясь, Рамирес ковылял на стертых ногах, и у самого финиша его обошел с полупустым ведром Глиста.

— Я гляжу, ты хитрожопый, — заметил ему внимательный старшина Мендес.

— Так я чего? — засуетился Глиста. — Ведь хватит воды-то. Не хватит — еще принесу.

— Ладно. Давай бегом за пустыми ведрами....

Через минуту к засаде на опоссума все было готово, и Лопес начал затапливать шахту.

Опоссум уже давно чувствовал беду — он не ждал ничего хорошего от света, проникшего в нору, и когда свет обрушился на него водой, опоссум понял, что настал последний час.

Но он ошибался.

Крик торжества потряс территорию.

Зверек, рванувшийся на волю от потопа, оскалившись, сидел теперь на дне высокой металлической посудины — мокрый, обреченный. На крик из палатки высунул голову повар Кармальо. Увидел все — и нырнул обратно.

Лейтенант Пенья смотрел на клацающее зубами, подрагивающее животное. Опоссум был ему неприятен. Ему было неприятно, что опоссум так хочет жить.

— Старшина, — сказал он отходя, — давай решай с этим...

Калитка заскрипела, провожая лейтенанта.

Спустя несколько минут опоссум перестал бросаться на стенки ведра и, задрав морду к небу, застучал зубами. Там, наверху, решалась его судьба. Людям хотелось зрелищ.

Смерти опоссума надлежало быть по возможности мучительной. Суд велся без различия чинов.

— Ут-топим, а? — предложил Рамирес. Предложение было односложно забраковано Хосе Эскалоном. Он был молчун, и слово его, простое и недлинное, ценилось.

— Повесить сучару! — с оттягом сказал Эрреро, и на мощной шее его прыгнул кадык. Эрреро понимал всю трудность своего плана, но желание увидеть опоссума повешенным внезапно поразило рассудок.

Тут Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов, все это время сосредоточенно тыкавший в морду опоссума прутом, вдруг поднял голову и, блеснув улыбкой, сказал:

— Жечь.

Приговор был одобрен дружным гиканьем. Признавая правоту Лопеса, Хосе Эскалон сам пошел за соляркой. Опоссума обильно полили горючим, и Мендес бросил Рамиресу:

— Бегом за поваром.

Рамирес бросился к палатке, но вылез из нее один. Виноватая улыбка будто бы приросла к его лицу.

— Он не хочет. Говорит, работы много...

— Иди скажи: я приказал, — тихо проговорил старшина Мендес.

Лопес выразился в том смысле, что если не хочет, то и не надо, а опоссум ждет. Эрреро парировал, что, мол, ничего подобного, подождет. В паузе Хосе Эскалон высказался по национальному вопросу, хотя повар никогда не был евреем.

Тут из палатки вышел счастливый Рамирес, а за ним и Кармальо-индивидуалист. Пальцы повара нервно застегивали пуговицу у воротника.

— Ко мне! — рявкнул старшина Мендес, и, когда Кармальо вытянулся по струнке рядом с ним, победительно разрешил:

— Лопес — давай!

Опоссум, похоже, давно все понял, потому что уже не стучал зубами, а, задрав морду, издавал жалкий и неприятный скрежет.

Лопес чиркнул спичкой и дал ей разгореться.

Опоссум умер не сразу. Вываленный из посудины, он еще пробовал ползти, но заваливался набок, судорожно открывая пасть. Собака, притащенная Лопесом для поединка со зверьком, упиралась и выла от страха.

Вскоре в палатку, где, шмыгая носом, яростно тер маис повар Кармальо, молча вошел Хосе Эскалон. Он уселся на настил, заваленный лепешками, и начал крутить ручку старого транзистора. Он занимался этим целыми днями — и по вечерам уносил транзистор с собой в казарму. Лежа в душной темноте, он курил сигарету за сигаретой, бил на звук москитов, и светящаяся перекладинка полночи ползала туда-сюда по стеклянной панели.

Эрреро метал нож в стены нижнего склада, раз за разом всаживая в дерево тяжелую сталь. Душу его сосала ненависть, и смерть опоссума не утолила ее.

Рамирес растаскивал в стороны гнилые доски. Нежданный праздник закончился. Впереди лежала серая дорога службы, разделенная светлыми вешками завтраков, обедов, ужинов и сна, в котором он был горд, спокоен и свободен.

Глиста катил к свалке ржавые баки из-под воды. Его подташнивало от увиденного. Он презирал себя и ненавидел людей, с которыми свела его судьба на этом огороженном пятачке между гор.

Лейтенант Пенья, взяв свою дозу, лежал, истекая потом, на постели и презрительно глядел в потолок.

Старшина Мендес дремал на койке за занавеской. Голые коричневые ноги укрывала рубаха. Приближался обед. Солнце, намертво вставшее над горами, припекало стенку, исцарапанную датами и названиями индейских поселков. До дембеля оставался месяц, потому что полковник Кобос обещал отпустить "стариков" в первые же дни.

А опоссума, попинав для верности носком сапога, Лопес вынес, держа за хвост, и, поднявшись в поселок, положил посреди дороги, потому что был веселый человек.

1983

Авторизованный перевод с испанского ВИКТОРА ШЕНДЕРОВИЧА, 1999

Великобритания

Вот уж действительно чудеса!

Жизнь в мире английских сказок не стоит на месте. Там продолжает работать Хогуортская школа колдовства и чудес, где всё не как у людей: почту доставляют совы, на уроках химии юные чародеи учатся готовить волшебные снадобья, на уроках физкультуры — совершать чудесные превращения... А один из лучших учеников школы — Гарри Поттер — даже умеет летать. У Гарри есть заклятый враг — лорд Вольдеморт. Он такой злой и страшный, что все его боятся и между собой называют не иначе как "Этот". Но — как и положено — добро побеждает зло.

О том, как именно происходят все эти чудеса, поведала в сказке "Гарри Поттер и пленник Азкабана" (издательство "Блумсбери") Джоанна Роулинг. Это уже третья книга о Гарри, а всего их должно быть семь — по одной на каждый год его учебы. Читатели с нетерпением ждали новых приключений Гарри: в первые три дня было продано 68 000 экземпляров, а в последующие три месяца — почти полмиллиона! И это в одной только Англии; а ведь сказки о Гарри, переведенные на 27 языков, разошлись тиражом в 5 миллионов в 130 странах!

Любопытно, что к юной публике присоединились и взрослые. Причем они берут книгу, чтобы читать самим, а не детям, о чем можно судить по "взрослому дизайну" бумажной обложки, отличному от обычного оформления. Этот камуфляж был специально придуман издателями, чтобы избавить великовозрастных поклонников Гарри от насмешек за чтение детской книжки. "Замаскированный" вариант тоже идет нарасхват, и это не удивляет Джоанну Роулинг: ведь она сочиняла сказку прежде всего для себя — то есть для взрослых. Ее поражает другое — невероятная популярность у юных читателей: "Один школьник слово в слово воспроизвел первые пять страниц первой книги!"

Ее прославленного персонажа можно встретить не только на страницах бестселлеров. Ребята играют в Гарри, рисуют его на майках, устраивают кукольные спектакли и сами перевоплощаются в Гарри и других персонажей в театральных представлениях или в номерах художественного чтения. А один мальчик изготовил визитки, где сообщается, что их обладатель "выпускник Хогуортской школы".

Похоже, детская инициатива опередила предпринимателей из сферы кино— и видеобизнеса, которые собираются сделать Гарри героем экрана и видеоигр. Если книгу читают от мала до велика, причем нередко за один присест (а это 300 с лишним страниц); если ее перечитывают по нескольку раз; если дети уже сами сделали творческое переложение материала, то вряд ли фильмы и видеоигры будут для них занимательнее. Вот уж действительно чудеса!

Обложка книги "Гарри Поттер и пленник Азкабана" и ее автор – Джоанна Роулинг [Журнал "Ньюсуик"]

Испания

Новому поколению — новый перевод

Похоже, именно такое направление приобретает сейчас в Испании переиздание зарубежных классиков. Едва в "Катедре" вышел уже третий по счету перевод "Улисса" Джеймса Джойса, как другое издательство — "Люмен" — объявило о публикации "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста в современной переводческой трактовке. Впрочем, на публикацию новых творений переводчиков решаются далеко не все издатели, ибо это дело дорогостоящее и рискованное. Ведь такого рода новинка редко становится бестселлером и далеко не всегда способна превзойти предыдущие варианты, среди которых есть своя переводческая классика. Так нужны ли новые варианты перевода?

Да, считает Анхель Луис Пуханте, ставший лауреатом Национальной премии за перевод шекспировской "Бури" в 1998 году. Благодаря Пуханте испанцы смогли прочесть на родном языке четырнадцать шедевров Шекспира — произведения, которые наряду с "Дон Кихотом" и Библией являются самым частым объектом перевода во всем мире. Поэтому к доводам этого специалиста стоит прислушаться. По мнению Анхеля Луиса Пуханте, переводы — точнее, их язык — устаревают, а оригинал, если это, конечно, истинный ше-

девр, не утрачивает своей свежести. При этом вовсе не следует считать, что первые варианты переводов безнадежно архаичны. Так, на взгляд испанского шекспироведа, перевод "Гамлета", выполненный в 1798 году, гораздо современнее более позднего варианта. А многих англоязычных читателей до сих пор вполне устраивает "Дон Кихот" от 1611 года в версии Томаса Шелтона — то есть вообще самый первый перевод этой книги на иностранный язык. Словом, все зависит от того, насколько язык старого перевода понятен современному читателю. Если же новому поколению с трудом удается уловить смысл текста, то на помощь ему приходит новый переводчик.

А как же чувствует себя человек, становящийся "соавтором" гения? Не просыпаются ли в нем литературные амбиции? "Безусловно, да", — признается Анхель Луис Пуханте. Здесь важно найти золотую середину. Если у переводчика нет стремления к литературному творчеству, то ему лучше не заниматься художественным переводом. Именно художественным, потому что перевод чисто информационных материалов — это другое дело. Но плох и тот, кто дает себе полную свободу действий, тем самым подменяя автора. Словом, золотая середина — творить в меру.

Об этом сотворчестве нужно обязательно напоминать публике, указывая автора перевода. Иначе у читателей невольно создается впечатление, что, например, герои Шекспира говорят на испанском. И хорошо, если на действительно хорошем испанском, адекватном языку оригинала: ведь бывают низкопробные переводы и просто подделки. Нельзя допускать, чтобы они ассоциировались с именем истинного мастера слова. А вот ассоциации с именами талантливых переводчиков вполне заслуженны — как в случае с Анхелем Луисом Пуханте, ощутившем, что после долгих лет творческой работы над переводами Шекспира он и сам стал писать лучше.

Канада

Один из символов канадской культуры

Одна из самых популярных и известных в мире канадских книг — это сказка "Энн из Грин Гейблз" (1908), однако много лет канадские интеллектуалы старались не замечать ни этой книги, ни ее создательницы Люси Мод Монтгомери (1874—1942). Литературоведы и ученые мужи вспомнили о писательнице лишь в последние 15 лет, после того как ее творение легло в основу трех художественных фильмов, мюзиклов и телесериалов, прошедших по экранам всего мира, а общий тираж книги составил более 50 миллионов экземпляров, разошедшихся в разных странах.

Люси Мод Монтгомери демонстрирует новое платье с пышными рукавами [Газета "Глоб энд мейл оф Кэнада"]

Выпущенный издательством Торонтского университета небольшой том под названием "Л. М. Монтгомери и канадская культура" оказался чуть ли не первым исследованием творчества писательницы и ее вклада в культуру за 91 год, прошедший с момента "рождения" симпатичной рыжеволосой девчушки — сироты Энн, прозванной "Морковка". Сборник под редакцией Ирен Гэммел и Элизабет Эпперли отражает итоги двух конференций, состоявшихся недавно в институте Л. М. Монтгомери при университете острова Принца Эдуарда и собравших ученых из Канады, Швеции, Японии и США, а также таких писателей, как Кэлвин Триллин, Адриенн Кларксон и Маргарет Этвуд.

Один из главных выводов этих конференций заключается в том, что Энн стала уже не просто сказочным персонажем, а своего рода символом канадской жизни; сама же сказка представляет собой "богатый текст, подлежащий различным толкованиям". В немом фильме и двух успешных кинопостановках конца 30-х годов Энн была представлена пассивной романтической героиней; позднее феминистки усмотрели в ней символ скрытого конфликта женских мечтаний и возможностей, предоставляемых обществом. Как сирота, Энн вызывала особую симпатию у читателей, которые потеряли близких. Эмигранты узнавали по ее истории об обычаях и проблемах канадской жизни, учились становиться канадцами. Любопытно, что в Японии, по свидетельству Йосико Акамацу, преподавателя английского языка из Окаямы, сразу после окончания второй мировой войны книги об Энн использовались в японских школах как часть программы "Узнай о Западе". Японцам понравилась женственная девочка, любившая платья с пышными рукавами, природу и

жизнь на острове. Возможно, такой прием особенно порадовал бы автора, ибо Люси Мод Монтгомери считала себя активным участником создания канадских традиций. Она восхваляла деревенскую сентиментальность, высоко ставила понятия "дом" и "родной край", соблюдала условности, даже если высмеивала их в своих книгах.

"Мне выпало несчастье родиться консерватором в тот период, когда все переворачивается вверх дном", — с горечью писала Л. М. Монтгомери в дневнике. А в ее жизни было немало горького: выйдя замуж не по любви, а ради соблюдения условностей, она изо всех сил старалась играть роль респектабельной жены священника. Между тем душевная болезнь мужа (он был подвержен приступам меланхолии), которую она всячески скрывала от людей, надломила ее, в чем она призналась в последнем письме одному из друзей.

Куба

Все новинки — бестселлеры?!

Возможно, Куба — это единственная в мире страна, где не составляются списки бестселлеров. Причина почти парадоксальна: из-за нехватки бумаги тиражи обычно не превышают 2000—3000 экземпляров, а переиздания вообще редки, но читающая публика жаждет книг, поэтому распродается почти все. С коммерческой точки зрения любая новинка становится бестселлером, причем без всякой книжной рекламы. Ее тоже нет из-за нехватки бумаги на литературные приложения к газетам: то есть на Кубе не публикуют ни обзоров, ни рецензий. Единственный вид "работы" над новыми книгами — это цензура. Немало рукописей, не преодолевших идеологический барьер, так и остаются погребенными в ящиках письменных столов писателей или цензоров.

Правда, в последнее время даже на Кубе заметны некоторые послабления в идеологическом плане. Например, ранее запрещенный Антон Арруфат выпустил поэтический сборник "Старый плотник". Но для его пьес вход в театры пока закрыт. А книги, на обложках которых значатся имена Гильермо Кабрера Инфанте, Элисео Альберто, Рейнальдо Ареноса или Зоэ Вальдес, можно приобрести лишь на черном рынке Гаваны — за доллары. Там же продаются и произведения авторов, которые живут на Кубе, но печатаются за рубежом. Это, например, Хуан Гутьеррес: его сборник рассказов "Грязная трилогия о Гаване" увидел свет в Испании. Надо сказать, что кубинские издательства (естественно, все государственные) иногда дают некоторым писателям "зеленый свет" на публикации за рубежом.

США

Женское лицо для американской классики

Ее зовут Уна, она жила в XIX веке, ходила в открытое море на китобойном судне, видела белого кита и самое главное — она жена Ахаба, легендарного капитана, которого прославил "Моби Дик" Г. Мелвилла. Американская писательница Сина Джитер Нэслунд предлагает читателям "женский вариант" знаменитого романа: "Жена Ахаба" (издательство "Морроу") частично сохраняет место и время действия классического произведения, но при этом меняет пол главного героя и повествователя и, как следствие, взгляд на многие события и проблемы.

В книге Мелвилла действительно упоминается о жене Ахаба, но лишь вскользь, а теперь благодаря С. Дж. Нэслунд образ Уны стал более реальным. Девочкой Уна зачитывалась книгами Шекспира и Китса, но затем вдруг решила коротко постричься и уйти в море на китобойном судне в качестве юнги. Этот отчаянный шаг кончается плохо: кораблекрушение, спасение в шлюпке, людоедство ради выживания; однако в конце концов ее подбирает корабль Ахаба, и между молодыми людьми вспыхивает взаимное чувство. Капитан женится на храброй и необычайно образованной девушке, но затем вновь уходит в море, а Уне предстоят почти 700 страниц бурной жизни, полной приключений.

Желание автора придать женское лицо классике американской литературы вполне понятно. Критики всегда называли "Моби Дик" универсальной историей, в то время как это был чисто мужской мир. Как утверждают феминистки, если бы мужчины шили стеганые одеяла, а женщины гарпунили китов, то шитье одеял заняло бы высокое место в литературе и о роли швейной иглы в формировании психологии жителей Новой Англии было бы написано немало трактатов и научных статей.

Героиня Сины Джитер Нэслунд отличается гордым, независимым характером, а ее взгляды на жизнь можно смело назвать передовыми: к концу романа Уна становится пацифисткой, феминисткой, сторонницей отмены рабства и лучшим другом четы соседей-гомосексуалистов. А рецепт пирога с вареньем ей особенно дорог именно потому, что он передается от женщины к женщине. Возможно, кто-то упрекнет ее (и автора) в чрезмерной приверженности феминизму, но Ахабу такая жена, видимо, подходит более других.

Япония

Неисповедимы вкусы японцев...

Примерно в 1004 году, когда в Японии процветала дамская литература, Мурасаки Сикибу поведала свою "По-

весть о Гэндзи", ставшую классикой. Ныне, почти через тысячу лет, это произведение стало еще и бестселлером года. Правда, вспышку интереса вызвал не первоначальный его вариант, а изложение на современном языке, которое сделала тоже женщина — 77-летняя монашка из Киото.

В чем же заслуга новоявленной писательницы? Во-первых, она помогла современному поколению осуществить собственное прочтение шедевра древности не только в переносном, но и в буквальном смысле слова, пересказав его современным языком. Во-вторых, далеко не каждому рассказчику под силу аккуратно перемотать сюжетный клубок амурных интриг на новый лад. Так или иначе, но спрос на современную "Гэндзи Моногатари" оказался ошеломляющим, а никому не известная монашка стала модным автором.

Впрочем, вкусы японских читателей — как и многое другое на Востоке — дело тонкое. Так, когда в ходе одного из опросов им предложили назвать лучших писателей, на первых двух местах оказались Хиро Акагава и Киотаро Нисимура — авторы детективных романов, выходящих массовым тиражом. А Кэндзабуро Оэ и Ясунари Кавабата — два Нобелевских лауреата — поделили лишь пятое место! Более того, в число лучших не попали такие знаменитости, как Юкио Мисима и Дзюнъитиро Танидзаки! Между тем европейцы при аналогичном опросе наверняка назвали бы прежде всего именно их. Конечно, японским новинкам не всегда удается преодолеть барьеры, воздвигнутые самим японским языком и культурой. И судить о том, насколько справедливы в своих оценках японцы, лучше других в Европе могут французы и немцы: именно в этих странах публикуется наибольшее число переводов литературных произведений Страны восходящего солнца.

По материалам газет
"Глоб энд мейл оф Кэнада"
[Канада],
"Паис"
[Испания],
журнала
"Ньюсуик"
[США].

Что читают в мире?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров Ассоциации независимых книготорговцев Северной Калифорнии (второй по значимости книготорговой сети США) от 24 января 2000 г.

1 J. K. ROWLING.
Harry Potter and the Chamber of Secrets

2 CARL HIASSEN.
Sick Puppy

3 J. K. ROWLING.
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

4 J. K. ROWLING.
Harry Potter and the Sorcerer's Stone

5 ISABEL ALLENDE.
Daughter of Fortune

6 NELSON DEMILLE.
Lion's Game

7 KENT HARUF.
Plainsong

8 TRACY CHEVALIER.
Girl with a Pearl Earring

9 J. M. COETZEE.
Disgrace

10 CLIVE CUSSLER.
Atlantis Found

Уильям Тревор
William Trevor
[р. 1928]. Англо-ирландский прозаик, член Ирландской академии литературы, лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Пансион* [*The Boarding House*, 1965], *Элизабет – одна* [*Elizabeth Alone*, 1973], *Пасынки судьбы* [*Fools of Fortune*, 1983; рус.пер.1989] и др., сборников рассказов *День, когда мы захмелели от пирожных с ромом* [*The Day We Got Drunk on Cake and Other Stories*, 1967], *Ангелы в Ритце* [*Angels at the Ritz and Other Stories*, 1975], *Семейные грехи* [*Family Sins and Other Stories*, 1989] и др. В русском переводе издан сборник его рассказов *За чертой* [Библиотека *ИЛ*, 1986]. В *ИЛ* [1996, №8] был напечатан рассказ *Еще два рыцаря*.
Публикуемые рассказы *Телефонная игра* [*The Telephone Game*] и *Оплакивание* [*The Mourning*] взяты из журнала The New Yorker [Jan. 12, 1998 и Sept. 15, 1997].

Анте Поповский
Анте Поповски
[р. 1931]. Македонский поэт и критик.

Автор сборников стихов *Отблески* [*Отблесоци*, 1953], *Непокорность* [*Непокор*, 1964], *Без названия* [*Ненасловено*, 1981] и др. В русском переводе издана книга *Белые холмы отечества* [1988]. В *ИЛ* была напечатана подборка стихов [1988, №3].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Пророчества* [*Провиденија*. Македония, Скопје, 1995].

Дидье ван Ковелер
Didier van Cauwelaert
[р. 1960]. Французский писатель, критик, сценарист, лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Двадцать лет и еще немного* [*Vingt ans et des poussières*, 1982], *Каникулы призрака* [*Les vacances du fantôme*, 1986], *Горький апельсин* [*L'orange amère*, 1988] и др., пьесы *Астроном* [*L'Astronome*, 1983]. В *ИЛ* был опубликован роман *Путь в один конец* [1996, №3].
Роман *Запредельная жизнь* [*La vie interdite*] издан во Франции в 1997 г. [Paris, Éditions Albin Michel S.A.]

Имон Греннан
Eamon Grennan
[р. 1941]. Американский поэт, профессор английского языка и литературы, лауреат престижных литературных премий.

Автор поэтических сборников *Безумие целыми днями* [*Wildly for Days*, 1983], *Свет, который есть* [*What Light There Is*, 1987], *Такие дела* [*So It Goes*, 1995] и др., книги переводов из Джакомо Леопарди [*Leopardi: Selected Poems*, 1998], сборника эссе *Лицом к лицу. Ирландская поэзия XX века* [*Facing the Music: Irish Poetry in the Twentieth Century*, 1999].
Публикуемые стихи взяты из последнего сборника *Родство. Новые и избранные стихотворения* [*Relations: New and Selected Poems*. Crawford Press, St. Paul, Minnesota, 1998].

Сьюзен Сонтаг
Susan Sontag
[р. 1933]. Американская писательница, критик, культуролог.

Автор романов *Благодетель* (*The Benefactor*, 1963), *Набор смерти* (*Death Kit*, 1967), сборника рассказов *Я и т.д.* (*I, et cetera*, 1978), сценария фильма *Дуэт для каннибалов* (*Duet for Cannibals*, 1970) и др.
В *ИЛ* публиковались эссе *Против интерпретации* (1992, №1), *Думать наперекор себе. Размышления о Чоране* (1996, №4), *На пути к Арто* (1997, №4), рассказ *Сцена письма* (1999, №1). Сборник переводов ее избранных эссе 60 – 70-х гг. *Мысль как страсть* издан в 1997 г. (М., Русское феноменологическое общество).
Рассказ *Вот так мы теперь живем* (*The Way We Live Now*) был опубликован в журнале The New Yorker (Nov. 24, 1986).

Марек Хласко
Marek Hłasko
[1934–1969]. Польский писатель.

Автор сборника рассказов *Первый шаг в облаках* [*Pierwszy krok w chmurach*, 1956], повестей *Восьмой день недели* [*Ósmy dzień tygodnia*, 1957], *Все отвернулись* [*Wszyscy byli odwróceni*, 1964], *Обращенный в Яффе* [*Nawrócony w Jaffie*, 1966] и др. В *ИЛ* напечатаны его рассказы [1991, №9], повесть *Петля* [*Pętla*, 1992, №8-9], литературная автобиография *Красивые, двадцатилетние* [*Piękni, dwudziestoletni*, 1993, № 12].
Публикуемые тексты взяты из пятитомника *Избранные произведения* [*Utwory wybrane*, t.4], изданного в Польше в 1989 г. [Warszawa, Czytelnik].

Готфрид Бенн
Gottfried Benn
[1886–1956]. Немецкий поэт, эссеист, теоретик искусства.

Автор поэтических сборников *Морг* [*Morgue*, 1912], *Статические стихи* [*Statische Gedichte*, 1948], *Фрагменты* [*Fragmente*, 1951] и др., прозаического сборника *Птолемеец* [*Der Ptolemäer*, 1949], куда также вошла написанная в 1936 году книга *Пивная Вольф* (*Weinhaus Wolf*) и написанный в 1944 году *Роман фенотипа* (*Roman des Phänotyp*); эссе *Может ли поэт изменить мир?* [*Können Dichter die Welt ändern?*, 1930], *Гёте и естественные науки* [*Goethe und die Naturwissenschaften*, 1934], *Искусство и власть* [*Kunst und Macht*, 1934] и др.
На русском языке опубликованы *Избранные стихотворения* (М., Carte Blanche, 1994) и *Собрание стихотворений* (СПб, Евразия, 1997).
Книга *Двойная жизнь* [*Doppelleben*] вышла в Германии в 1950 г. [Wiesbaden, Limes].

Эрнест Хемингуэй
Ernest Hemingway
[1899–1961]. Американский писатель, лауреат Пулицеровской (1953) и Нобелевской (1954) премий.

Большинство его произведений переведено на русский язык. Публикации в *ИЛ*: *Старик и море* (1955, № 3), *Зеленые холмы Африки* (1959, № 7), *Опасное лето* (1961, № 2), *Праздник, который всегда с тобой* (1964, № 7), *Острова в океане* (1970, № 11, 12; 1971, № 1), рассказы и стихи.
Эссе *Кредо человека* (*A Man's Credo*) взято из журнала Playboy (1963, № 1).

Петр Львович Вайль
[р. 1949]. Писатель, лауреат литературных премий.

В соавторстве с Александром Генисом написал книги *Современная русская проза* [1982], *Русская кухня в изгнании* [1987], *Родная речь* [1990] и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*. Эссе из авторской рубрики *Гений места*, печатавшиеся в *ИЛ* с 1995 по 1998 г., вышли книгой в издательстве Независимая газета [1999].

Виктор Анатольевич Шендерович
[р. 1958]. Театральный педагог, литератор.

Автор книг *Семечки* [Текст, 1995], *Московский пейзаж* [Текст, 1999], автор сценариев и ведущий ряда телевизионных передач.

Переводчики

Инна Соломоновна Стам.
Лингвист, кандидат филологических наук, переводчик с английского.

В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ковентри возрождается* С. Таунсенд [1991, № 3], рассказы Ч. Джонсона [1992, №4], *Время убийц. Этюд о Рембо* Г. Миллера [1992, № 10], роман *Мы с королевой* С. Таунсенд [1994, № 7] и др. Автор ряда работ по современному английскому языку.

Жанна Владимировна Гилёва.
Переводчик со словенского.

Ее переводы печатались в сборнике Весь свет [М., Молодая гвардия, 1985].

Наталия Самойловна Мавлевич.
Переводчик с французского.

В ее переводе публиковались *Сказки кота Мурлыки* М. Эме [Текст, 1990], *Портреты-воспоминания* Ж. Кокто [Библиотека *ИЛ*, 1985]; в *ИЛ* печатались также *Песни Мальдорора* Лотреамона [1993, № 1], романы *Перелом* А. Сарразен [1993, № 10,11], *Голубчик* Э. Ажара [1995, № 7] и др.

Владимир Аркадьевич Гандельсман.
[р. 1948]. Поэт, переводчик с английского и литовского языков.

Автор нескольких стихотворных сборников, переводчик произведений Л. Кэрролла, У. Стивенса, Т. Венцловы и др.

Мария Иосифовна Гальперина.
Переводчик с английского.

В *ИЛ* в ее переводе публиковались рассказы С.Сонтаг (1999, № 1) и Р.О.Батлера (1999, № 4).

Ирина Васильевна Подчищаева.
Филолог, литературовед, автор статей в научных журналах.

В *ИЛ* печатается впервые.

Игорь Иванович Болычев.
[р. 1961]. Поэт, переводчик с английского и немецкого.

Автор стихотворных сборников *Разговоры с собою* [Москва, 1990], *Вавилонская башня* [Мюнстер, 1991]. В его переводах выходили произведения П. Б. Шелли, Р. Бернса, Р. Киплинга, А. фон Дрсте-Хюльсхоф, Г. Гейма, Г. Тракля и др. В *ИЛ* [1999, №12] опубликован его перевод стихотворения П. Целана *Псалом*.

«АНГЛИЯ» Британские книги

МОСКВА, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-5802
С.-ПЕТЕРБУРГ, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-8284

Часы работы: **пн., вт., ср., пт. с 10 до 19**
чт. с 10 до 20
сб. с 10 до 18,
вс. с 11 до 17
без перерыва

РЕГУЛЯРНО В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературе
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить
по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА

«Б.С.Г.-ПРЕСС»

✔**издает серию *«MODERN TALKS»*,**
в которую входят произведения культовых авторов,
представляющих современную отечественную и зарубежную литературу.

в 1999 году вышли:

В.СОРОКИН «Норма»
В.СОРОКИН «Очередъ»

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ
книги Г.СТАЙН, Г.МИЛЛЕРА, А.ЖАРРИ, Р.КЕНО,
Е.КОСИНСКОГО и др.

✔**осуществляет совместное с журналом «Иностранная литература»**
издание новой серии *«ИЛЛЮМИНАТОР»*

✔**распространяет интеллектуальную литературу**
отечественных и зарубежных авторов,
являясь партнером таких издательств,
как *«Симпозиум»*, *«Гиперион»*, *«ИНАПРЕСС»*, *«Согласие»*,
«Независимая газета», *«Издатель Захаров» и др.*

В ближайшее время «Б.С.Г.-ПРЕСС» намерено выпустить каталог книг, предлагаемых к продаже, и разослать его всем заинтересованным организациям и частным лицам. Желающие получить каталог могут выслать открытку со своим адресом с пометкой «каталог».

Почтовый адрес ООО «Б.С.Г.-ПРЕСС»

129090 Москва, ул.Гиляровского, д.1
тел/факс **(095) 207-53-62**, *e-mail* **bsgpress@mtu-net.ru**

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
Серджио Чекотти (р. 1935)
Предметы в темноте (1987)

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев

Компьютерная верстка
Светлана Бейлезон

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
Тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@adicom.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
"Англия" —
Хлебный пер., д.2/3
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д.28
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д.46
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Подписано в печать 30.01.2000.
Формат 70x100 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28,35.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 28,415.
Заказ №627.
Тираж 13 750 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных
особняков Замоскворечья
разместились

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

«линия-арт»

Среди ведущих
авторов Галереи
ИЗВЕСТНЫЕ МОСКОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОКОЛЕНИЙ
60-х, 70-х и 80-х ГОДОВ

Галерея открыта
для посетителей
по предварительным
заявкам
с 12 до 20 час.

Тел./факс 953-3624
201-2603

[3] 2000

В следующем номере:

НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ” / СТИХИ ЧАРЛЬЗА БУКОВСКИ И МИЛАНА РИХТЕРА / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ПОЛА ТЕРУ “МОЯ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ” / ЭССЕ ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ “МОДА КАК ИСКУССТВО” И ОЛЬГИ ВАЙНШТЕЙН “ПОЭТИКА ДЕНДИЗМА”

ИНДЕКС 70394

Библиотека журнала «Иностранная литература»

ИЛЛЮМИНАТОР

В нашей новой книжной серии **“Иллюминатор”** читайте лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

001. Ромен Гари “Обещание на рассвете”. **002.** Питер Акройд “Процесс Элизабет Кри”. **003.** Милан Кундера “Неспешность. Подлинность”. **004.** Эдгар Л.Доктороу “Рэгтайм”. **005.** Джулиан Барнс “История мира в 10½ главах”.

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”

Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@adicom.ru

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2000, №2, 1-288